ИНОСТРАННАЯ *литература*

2 1961

ИНОСТРАННАЯ *Литература*
2 1961

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Рисунок венгерского художника Кароя Фаслера

2

1961

ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

Содержание

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ — Строки воспоминаний (Стихи) 3

ВОЛЬФГАНГ НЕЙХАУЗ — Украденная юность (Роман) 6

С. Т. НИРАЛА — Лирика (Предисловие Сергея Северцева) 77

МИТЧЕЛ УИЛСОН — Встреча на далеком меридиане (Роман. Продолжение) 85

КРИСТОФЕР ЛОГ — Три стихотворения . . 148

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — Опасное лето (Главы из новой книги) 149

БЬЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КОЛОНИАЛИЗМА! (Деятели культуры о Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий и Обращении к народам всего мира)

РЕНЕ ДЕПЕСТР — Долг литераторов 193

КРИТИКА

С. ТУРАЕВ — Навстречу будущему 197

БОГОМИЛ НОНЕВ — В ответе за судьбы эпохи (Заметки писателя) 205

ХАИМЕ ИБАНЬЕС — Человек и земля в колумбийском романе 210

ОБЗОРЫ

ЮН СЕ ПХЕН — Литература освобожденного народа 215
ЖАК СТЕФЕН АЛЕКСИС — Дорогой живых традиций 219

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 225

ПУБЛИЦИСТИКА

ЯРОСЛАВ ПУТИК — Совесть (Дело профессора Оппенгеймера. Окончание) . . . 232

РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ

В. БЫКОВ — К биографии Джека Лондона (85 лет со дня рождения) 257

НАШИ ГОСТИ

Диалог о современном театре 260

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

И. Чернявская — Поэзия детства. ◇ ◇ Вл. Матусевич — Новое издание «Саги о Фритьофе». ◇ В. Неделин — Роман, бьющий тревогу. ◇ Б. Гиленсон — Сборник эфиопских сказок. ◇ М. Белиловская — Поэт восточной Бенгалии. ◇ Библиография новых изданий 265

Издано за рубежом

В. Злыднев — О любви, о дружбе и трудовых буднях. ◇ Я. Фрид — Киносценарии — художественная литература! ◇ ◇ Е. Гальперина — Поэзия и правда гаитянского народа 270

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 275

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

288

Тадеуш Ружевич

СТРОКИ воспоминаний

Перевод с польского Марка Живова

БЫЛ ЯНВАРЬ

I

Был январь сорок пятого года.
Лежали в канавах солдатские трупы
под стеклянным покровом прозрачного льда,
и черными пятнами кровь
на посеревших застыла мундирах.

Морозный восток
выплюнул ночью из чрева
мертвецов и живых.
На пряжках их поясов
было начертано:
Gott mit uns.

Из ночи морозной
медленно выплыл
кровавый рассвет.

Жандарм,
что мать мою бил по лицу,
в канаве лежал без лица,
с головой, как орех,
расколотой танком,
и с ногою, в колене согнутой так,
как будто хотел он от смерти бежать.

Несметную армию трупов
выплюнул грозный восток
январскою ночью.

II

Был январь сорок пятого года.
Гремели орудия, все сотрясая,
и дом наш дрожал, словно лист.
И в час предрассветный
вступили в наш дом
солдаты
Советской страны.

Недолго у нас простояли,
оружие чистили,
и пели солдатские песни,
и матери все помогали по дому,
и мамой ее называли,
и повторяли: «Не плачьте, мамаша,
не надо».

Год за годом проходит,
а я все вижу
улыбку ее
сквозь слезы.

ПЕСЕНКА О МАЛЮТКЕ

Эта малютка
как почка,
упавшая с неба
на мертвую землю,
юный ветер ее овевает,
и она расцветает
лепестками ручонок,
протянутых в серый мир.

Шел солдат, он был мрачен как туча,
склонился
над скорлупой-колыбелькой,
и улыбнулся,
и загляделся
солдат на ребенка.

У солдата бурая кровь,
как у ястреба насуплена бровь,
черные годы за ним, и лицо почернело от дыма,
словно надгробье из камня,
под которым скрыты
война и суровость,
любовь и безумство
и смерть.

Стоит, как скала, он огромный,
как облако, мрачен и сед
и над колыбелькою плачет,
счастливый.
Голову прячет в рукав
человечище,
стыдно ему,
очень стыдно.

Такой черный, и грозный
и славный герой.
И дрожит, словно ивовый лист,—
так дрожит он, огромный солдат,
белокурый
советский
лев.

МГНОВЕНИЕ

Тополя как виноградные кисти
на серебряном блюде
хмурого неба.

Может, и вправду
здесь мне остаться,
чего мне искать?

Здесь девушка есть,
которая только что мимо прошла,
и самым прелестным движеньем
на земле и на небе
в это мгновенье она
откинула пряди волос,
и они растеклись по плечам,
излучая сиянье.

Горы дымятся
средь пепла небес.

Что же, и вправду
останусь я здесь,
ничего мне не надо.

Тени на стенах,
на каменных стенах домов,
и светлая тень на балконе.

Снова забилось сердце,
которое умерло
в чужой, как звезда, Вероне.

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Памяти К. И. Галчинского

Падают люди и птицы,
звезды и снежные хлопья,
созревшие яблоки,
громы, дожди, тишина.

Летая,
споткнулся ты о серебряный пень
декабрьской ночи,
и падаешь ты
все быстрей и быстрей.
Прикладываю ладони к глазам,
но ничего уж не вижу.

А там ожидают тебя
музы,
девочки чинные, с бантами,
из первого класса
деревенской школы.

Они берут тебя за руки,
которые упустили перо,
и ведут дальше,
ибо ты еще слаб,
еще болит твое бедное
живое
человеческое сердце.

Ты им читаешь
ненаписанные,
молчаливые, как цветы,
стихотворения.

Вольфганг Нейхауз

Украденная юность

РОМАН

Перевод с немецкого И. Каринцевой

I

Радло́в проснулся между двумя и тремя часами ночи. Сон не освежил его, не прояснил его мыслей, скорее наоборот, в первое мгновение ему показалось, будто он вынырнул из глубины темного озера, воды которого со страшной силой все еще тянут его в пучину Радлов с трудом открыл глаза и лишь постепенно стал различать окружающие предметы. Он лежал у какой-то темной стены, рядом протягивал к небу свои голые ветви расщепленный ствол дерева. Вокруг тлели остатки домов, сгоревших почти до фундаментов. Жар и гарь душили его, дым стоял над мостом, словно огромный гриб.

Только услышав короткую резкую трескотню выстрелов, Радлов понял, где он находится. До этой минуты он, правда, видел, что творится кругом, но сквозь свинцовый туман усталости смысл всего происходящего не доходил до сознания. Теперь Радлов окончательно пришел в себя. Он приподнялся, опираясь на руки, подтянул ноги и попытался на слух определить расстояние до места, откуда доносилась стрельба. «Надеюсь, вся эта кутерьма не начнется сначала»,— подумал Радлов и почувствовал, как часто и неровно забилось сердце.

Накануне вечером он лежал под ураганным огнем, справа и слева рвались снаряды, его осыпали комья грязи, мимо проносились камни и осколки, от свиста пуль лопались барабанные перепонки. Но испытывал ли Радлов страх?

Нет, смерти он не боялся, она имела свой смысл: враг был бы задержан. Что значила при этом жизнь одного человека? Ведь решался вопрос о судьбе Германии, о судьбе их знамени, а, как говорилось в одной песне, лучше умереть, чем отдать знамя врагу.

Опять без передышки забухали выстрелы. Это уже была не перестрелка потерявших выдержку патрулей — на этот раз в полосе обеспечения столкнулись две сильные группы, поддержанные огнем своих частей. А вот заговорил легкий пулемет, его резкое стрекотание четко выделялось среди других звуков. Вдруг все стихло. Тишина наступила так внезапно и неожиданно, что Радлов непроизвольно затаил дыхание. Несколько мгновений он просидел неподвижно, пригнув голову и прислушиваясь. Но выстрелы смолкли. Слышно было только потрескивание огня в догорающих домах. Что это значит? Сперва бессмысленная паль-

ба, а теперь тишина. Не затишье ли это перед бурей? У русских никогда не поймешь, что они затевают. Может, опять пойдут в атаку?

Последнюю атаку русской пехоты Радлов испытал на собственной шкуре. До сих пор еще звучит в его ушах оглушительное «Ур-р-р-а!» Темные фигуры появлялись везде, куда бы он ни бросил взгляд. Он стрелял как одержимый, пока ствол его пулемета не раскалился. Собственно говоря, все происходило очень просто, почти как на стрельбище: изготовка, прицел, огонь, и после каждой очереди все повторялось сначала. Затем был получен сигнал к контратаке. Красная пелена застилала Радлову глаза, он вскочил и, точно обезумев, бросился вперед, крича и стреляя на ходу.

Атаку русских они отбили. Правда, потом Браун совершил мерзость. А ведь он чуть постарше Радлова. Ему семнадцать, и в гитлерюгенде он всего-навсего шарфюрер. Но мог ли Радлов предотвратить случившееся? Лейтенант Шарф, унтербаннфюрер гитлерюгенда, приказал: пленных не брать. Браун лишь выполнил приказ.

Раненый русский лежал под кустом шиповника. Светлые волосы слиплись на потном лбу, каску свою он, верно, потерял. Радлов совершенно отчетливо увидел круглое добродушное лицо, искаженное гримасой боли. Русский стонал, произносил какие-то своеобразные гортанные слова. Он попытался было поднять руки, но они бессильно упали; в глазах его стоял страх. Браун крикнул:

— Эй, Иван, говори, чего ты хочешь! Ну говори же!

А потом занес ногу, обутую в тяжелый солдатский сапог, подбитый толстыми гвоздями...

Радлов отвернулся, к горлу подступила тошнота. Он услышал хруст раздавленного черепа. Браун спокойно произнес:

— Вот так!

Казалось, он поставил точку.

Молча они пошли дальше. Все вокруг словно было вспахано гигантским плугом. Возможно, у обитателей ближайших домов здесь были когда-то огородики. Через некоторое время Браун сказал:

— Вот так надо учить этих Иванов. Ты видел фото в «Штюрмере»?

Радлов промолчал. Конечно, он видел эти фотографии и не только в «Штюрмере». С тех пор как русские воюют в Германии, в каждой провинциальной газете публиковались рассказы о расправах большевиков с немецкими военнопленными. Радлов еще тогда решил, что последнюю пулю он сохранит для себя и не дастся живым в руки красных. Но несмотря на все это он никогда не смог бы совершить того, что сделал Браун. Вот если ты стреляешь в противника издалека либо идешь в атаку со штыком наперевес, действует лишь один закон: он или я. Это нечто совсем иное, это — война. Но просто взять и ударом сапога разбить пленному голову — нет, никогда. Пленный — существо беззащитное, такое убийство не отвечало представлениям Радлова о солдатской чести. Его восхищало великодушие к побежденным, описанное в хрестоматиях. Там, например, была рассказана история военного летчика Рихтгофена, память которого почтили даже враги, перебросив через линию фронта венок. И разве он не читал, что в Африке немецкий летчик-истребитель пожал руку своему врагу канадцу, когда они после воздушного боя вынуждены были выброситься с парашютами, а уж потом оба пустились в путь по ничейной земле — один направо, другой — налево? Вот это в его глазах и было «фронтовым товариществом», героизмом, уважением к врагу. Но с другой стороны — достойны ли русские такого обращения? Ведь известно, что это дикари, сражающиеся только

потому, что их гонят в атаку. Как же, однако, могло случиться, что эта понукаемая к бою, неполноценная раса дошла до Берлина? Браун, правда, считает, что в этом беды большой нет, мы-де тоже стояли под Москвой. Он мямлил что-то насчет прорыва блокады, насчет того, что Иван еще даст тягу.

Конечно, русские дадут тягу, думал Иоахим Радлов. Ведь именно для этого я и валяюсь в грязи, под градом вражеских снарядов. Берлин мы должны удержать, здесь решается судьба войны. Быть может, сейчас вступают в силу иные законы, быть может, здесь необходимо отбросить рассуждения о чести и порядочности немецкого солдата, чтобы удержать Берлин и выиграть войну. Победителей не судят. И разве в России не спят еще до сих пор на печи, разве он не знает, что там нет каменных домов, а только избы, грязь, вши и даже нет приличных дорог? Быть может, с русскими надо обращаться так же, как обращаются с ними их комиссары? Он видел в иллюстрированном журнале фотографии: внушавшие страх, оборванные, небритые люди, со звериным выражением лиц. Но тот раненый русский под кустом шиповника выглядел совсем иначе. Как в этом разобраться? Все, что Радлов пережил, впервые побывав три дня назад под ураганным огнем противника, вступало в противоречие с его представлениями и взглядами. Действительность на войне была иной, куда страшней. И виноват был только этот приказ. Чем больше Радлов обо всем думал, тем запутаннее становился клубок его мыслей, он совсем растерялся и просто был не в силах что-либо понять.

Насколько дома все было проще. Там тебе приказывали, ты выполнял приказ. И верил. Мысленным взором Радлов увидел свой городок, виноградники и покрытые лесами холмы, шпиль колокольни и средневековую ратушу, узкие улочки, где старинные дома с высокими арками ворот словно подают друг другу руки. Как завидовал он своим товарищам, сменившим гимназические фуражки на каски. Только он еще сидел дома да Клаус Адам, его друг, долговязый, темноволосый, довольно неуклюжий паренек, которого все звали «первый номер». Их год, тысяча девятьсот двадцать девятый, еще не призывали. Вместе с Клаусом они отправились на призывной пункт, потому что были сыты по горло школьными науками и хотели, как и все, облечься в мундир. Они боялись, что пропустят самое важное, они хотели быть причастными к победе. Но дежурный лейтенант сказал:

— Досрочно? Необходимо согласие родителей.

Однако получить это согласие надежды не было. Отец Радлова, бывший составитель поездов, потерявший в результате несчастного случая ногу и теперь из-за недостатка людей вновь принятый на работу старшим стрелочником, пробурчал:

— Сдай сперва экзамены. Как раз и твой год подойдет.

У Клауса Адама положение было примерно то же. Ничего другого не оставалось, как ждать призыва.

Наконец им помог их бывший гефольгшафтсфюрер и соученик Губертус Брандт. Он был на несколько лет старше. Его отец, владелец крупнейшей строительной фирмы округа, слыл в городке влиятельным лицом, он был депутатом рейхстага от национал-социалистской партии, кавалером ордена Крови и, кроме того, приятелем гаулейтера. Губертус записался добровольцем в войска СС и теперь проходил спецподготовку. Иоахим восхищался стройным голубоглазым сынком владельца фирмы. о проделках которого школьники рассказывали еще и по сей день.

Однажды Иоахим с Клаусом, стоявшие во время большой перемены на школьном дворе, увидели, как в ворота вошел Губертус. На нем был серо-зеленый мундир с повязкой гитлерюгенда на левой руке, в углу рта

торчала сигарета. Развязной и самоуверенной походкой он приближался к друзьям. На приветствия гимназистов Брандт отвечал лишь легким кивком, и, когда подошел ближе, Иоахим увидел, что на его кителе поблескивает черно-бело-красная ленточка Железного креста второй степени.

— Что, глазам своим не верите?— крикнул Брандт, когда Клаус, опомнившись от изумления, показал на орден.— Раздобыл в Ахене — поймал сбитого английского летчика.— Он сделал небрежный жест, наслаждаясь, однако, благоговейным восхищением.— Получил за него трехдневный отпуск.

И он протянул им открытый портсигар. Курить на школьном дворе категорически запрещалось, и пойманных на месте преступления безжалостно исключали из гимназии. Иоахим и Клаус не решались последовать приглашению. Брандт заметил их нерешительность и самодовольно заявил:

— Курите. Под мою ответственность. Пока я здесь, с вами ничего не случится. У меня к вам есть дело.

Друзья взяли сигареты, и Губертус дал им прикурить. Разговоры на дворе смолкли. Все с любопытством поглядывали на маленькую группу, над которой поднимались предательские сизые облачка.

На дворе за порядком наблюдал преподаватель старших классов Воппе, пожилой, поседевший на своем посту учитель. В свое время он вышел в отставку, но теперь вернулся в гимназию. Воппе слыл одним из самых строгих учителей, и его боялись. Теперь все взгляды с тревогой устремились на него. Учитель немного помедлил, но, чувствуя всеобщее внимание, размеренным шагом двинулся через двор. Все затаили дыхание. Брандт увидел его и, подождав, пока преподаватель подойдет, коротким молодцеватым движением поднял руку в нацистском приветствии. Озадаченный Воппе уставился на его орден и машинально ответил на приветствие.

— Эге, уже успели понюхать пороху и орден заработали!— воскликнул он.— Поздравляю от всей души.

— Благодарю, господин советник.— Портсигар Брандта вторично раскрылся.— Пожалуйста!

И то, чего никто не ожидал, произошло. С легким поклоном седовласый учитель протянул руку и взял сигарету.

— Небольшое совещание с друзьями,— сказал Брандт.— Вы понимаете, господин советник...

— Конечно, конечно,— Воппе кисло улыбнулся.— Для столь заслуженного фронтовика следует сделать исключение. Не буду мешать.

Иоахим почувствовал, как все облегченно вздохнули. Воппе удалился. Жужжание голосов моментально возобновилось.

— Чертовски здорово ты с ним говорил,— сказал Радлов. В такие минуты он восхищался самоуверенностью Брандта и пошел бы за него в огонь и в воду.

Брандт презрительно усмехнулся.

— Не знаю, чему вы удивляетесь. Человек этот получает сигареты по карточкам, то есть три штуки в день. Но вернемся к делу. Я как раз иду от баннфюрера.

Оба друга, слушавшие с напряженным вниманием, узнали, что в их местах предполагается сформировать полк из молодежи — надежных членов гитлерюгенда.

— Я рекомендовал и вас,— продолжал Брандт.— Вы же все равно собирались отвертеться от школы. А так как я буду командовать взводом, мне хотелось бы иметь там своих людей.

Он бросил окурок, раздавил его ногой и сейчас же закурил новую сигарету.

— Ждите, что в ближайшие две недели вас призовут на обучение в военный лагерь. А чтобы дома не было скандала, я договорюсь сейчас с директором. Вы сдадите экзамены на аттестат досрочно. Приказ свыше. Согласны?

Все произошло так, как обещал Брандт. Аттестат они получили, сдав экзамены лишь для проформы, и отец Радлова, вначале недовольный, тотчас успокоился, узнав, что Иоахим выдержал испытания. Он с трудом сколачивал ту крупную сумму, которую приходилось вносить за обучение сына, поэтому ему совсем не улыбалось, чтобы деньги были выброшены на ветер. Все свои надежды он возлагал на сына, надеялся, что тот устроится в жизни лучше, чем он сам. Когда друзьям надо было ехать на вокзал, он не смог их проводить, так как работал в ночную смену. Мать Радлова, болезненная женщина, ходила с трудом и осталась дома. Провожал их только отец Адама. Его «Выше голову, мальчики» звучало неестественно бодро.

Поездка была довольно скучной и часто прерывалась воздушными тревогами, следовавшими одна за другой. Купе были грязными, окна кое-где выбиты, от драной обивки несло табаком и потом. Можно себе представить, как обрадовались друзья, когда, утомленные бессонной ночью, наконец прибыли в Науэн.

Лагерь — несколько рядов серо-зеленых бараков — был расположен за городом. Мальчиков встретил Брандт в эсэсовском мундире с повязкой гитлерюгенда и петлицами штандартенюнкера.

— Дружба дружбой,— приветствовал он их,— а служба службой... Я это к тому говорю, чтобы между нами не было недоразумений. Наши отношения вне лагеря никого не касаются. Ясно?

По пути к вещевому складу Клаус Адам сказал:

— Надо было записываться в эсэсовцы. Там можно быстрее продвинуться. По Брандту видно. Держу пари, через полгода он раздобудет себе Рыцарский крест.

На складе фельдфебель швырнул им форму:

— Примеряйте.

Брюки, кители и рубахи цвета хаки были взяты из запасов не существовавшего больше африканского корпуса. И хотя их новая одежда была слишком легкой, они очень понравились в ней друг другу. Наконец-то они стали настоящими солдатами, правда пока в полку гитлерюгенда, где официально запрещалось курить.

На следующий день начались учения. Радлову их подразделение казалось кучкой собранных с бору да с сосенки ландскнехтов. Только высшие чины пришли сюда из руководства гитлерюгенда, низшие же были из унтер-офицеров воздушных сил, саперов и танкистов. Даже откуда-то взявшийся моряк расхаживал по лагерю, а фельдфебелем был немец из Латвии. Учения проходили скучно, Радлов был разочарован. Его первоначальный энтузиазм остыл, а со временем окончательно опротивели стрельба, уроки ближнего боя, разбор пулемета и упражнения с фаустпатроном. Строевая подготовка приелась до тошноты. Но ее можно было еще вынести — Брандт иногда посылал их с особыми заданиями, пока остальные ползали на плацу по-пластунски. Так проходили без всяких изменений, серой и однообразной вереницей дни и недели.

Но вот фронт стал приближаться.

Однажды ночью всех поднял резкий свисток дежурного унтер-офицера. Заспанный Радлов побежал к выходу, шатаясь спросонок, засте-

гивая на ходу мундир. Клаус, стоя в строю, проклинал разбудившего их дежурного. Все считали, что это просто ночное учение. Однако дело повернулось иначе. Радлов насторожился, увидев командира полка, капитана Лауканта, спешившего по плацу. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее, ведь старик обычно не появлялся на ночных учениях. И вот над плацем разнесся отрывистый голос Лауканта:

— Др-рузья!.. Фюрер рассчитывает... От вас ждут готовности по первой тревоге... большевистские армии перешли Одер... приказ выступать может последовать каждую минуту. Я жду от вас...

Продолжения речи Радлов не слышал. Все в нем ликовало: наконец, наконец-то они двинутся на фронт. Как ждал он этой минуты, как мечтал о ней и дома и здесь. Теперь он покажет, на что способен. Иоахим взглянул на Клауса, бледное лицо которого светилось в темноте расплывчатым пятном.

— Разойдись! — прозвучала команда.

Этой же ночью наряду с боевыми патронами им выдали фаустпатроны и ручные гранаты. Группенфюреры распределяли между ними копченую колбасу, мясные и фруктовые консервы. Но мальчики и сами не терялись. Как только разнесся слух, что взорван продуктовый склад, они помчались туда и взяли столько, сколько смогли унести. Радлов тоже ушел с полными руками: новые сапоги, маргарин, шоколад. В лагере царил хаос, стоял дикий шум, вылетали оконные стекла, двери трещали. Кто-то из ребят наткнулся на запасы спиртных напитков, и все с ревом принялись растаскивать водку и ликер. А потом палили из боевых винтовок сквозь тонкие стенки бараков. К счастью, пострадавших не оказалось. После нас хоть потоп — таков был лозунг.

Попозже Иоахим Радлов зашел в комнату к своему штандартен-юнкеру, чтобы узнать, когда придет приказ о выступлении и куда их отправят. Брандт укладывался. На кровати лежали два кожаных чемодана, стол ломился от тяжести винных бутылок, шоколада, сигарет и других продуктов. Брандт обеспечил себя надолго. Не отрываясь от своего занятия, он спросил:

— Ну, что тебе?

— Ничего. Не знаешь ли ты подробностей?

Брандт выпрямился, подошел к столу, взял уже откупоренную бутылку ликера и наполнил до краев две рюмки.

— Кутерьма такая, что сам черт ногу сломит. Русские прорвались. Только что звонил папаша.

Они выпили. Радлов поморщился. Он никак не мог привыкнуть пить эту дрянь.

— Будем защищать Науэн? — спросил он.

— Русские обошли нас. Они продвинулись к Потсдаму, заняв Люббен, Барут и Ораниенбург. Говорят, Берлин взят в клещи. Конечно, столицу будут защищать. Фюрер находится в рейхсканцелярии...— Брандт умолк. Уголки его губ нервно подергивались.

Но Радлов ничего не замечал. Фюрер в Берлине, думал он, и, пока фюрер там, дела не так уж плохи. Он все уладит. Для Радлова фюрер был идолом, не человеком, а каким-то неземным существом, решавшим все за всех. Он знал фюрера только по кадрам кинохроники и портретам, восхищался его пробором, усиками, его жестом, когда он поднимал для приветствия руку. Иоахим пылко любил Гитлера, который был для него олицетворением Германии. Он знал наизусть его биографию и глотал книги, рассказывавшие о марше к Галерее полководцев. Гитлер был для него образцом. Радлов представлял себе, как в эту минуту фюрер, полный энергии, склонился в рейхсканцелярии над картой, и подумал,

трепеща от благоговения, что, быть может, как раз в эту минуту тот принимает мужественное решение отбросить русских за Одер.

Брандт снова принялся укладывать вещи. Радлов молча смотрел на него, потом сказал:

— А ты, видно, торопишься. Разве приказ о наступлении получен?

— Нет. А вообще-то вас, по всей видимости, передадут вермахту.

— Кого это — вас?

Брандт прервал свое занятие.

— Черт возьми, никак не запихну все это,— и он взглянул на Радлова.— Взвод я передал лейтенанту Шарфу. А меня откомандировали. Спецзадание руководства гитлерюгенда. Понимаешь?

Нет, Радлов не понимал. Теперь, когда они наконец отправляются на фронт, Губерт не хочет идти? Разве он не ждал, как и все они, этой минуты? Или он хочет увильнуть? Радлов растерялся. Нет, этого Брандт не сделает, такой сорвиголова наверняка ничего не боится. Он не знал, что сказать, и только растерянно глядел на штандартенюнкера. Брандт заметил этот взгляд и тотчас понял, что его авторитет может полететь ко всем чертям. В глазах этого наивного мальчика он прочел недоверие. Брандт самоуверенно улыбнулся и, не теряя самообладания, заявил:

— Я, собственно, не имею права говорить тебе. Секретное поручение. Но если ты умеешь молчать...

Радлов ничего не ответил.

— Ты, верно, слышал об организации «вервольф» *, да?

Радлов кивнул, и Брандт продолжал:

— Ну вот, теперь ты знаешь, куда меня командируют. Но тс-с! — и он приложил палец к губам.

— А-а, ясно!

Глаза Радлова заблестели. И как он только мог подумать, будто Брандт хочет увильнуть? Конечно нет! И какое тот получил опять опасное задание! «Вервольф»! Какие захватывающие приключения предстоят Губертусу! Как Радлов ему завидует, как восхищается им! Иоахим уже видел, как Брандт перебирается через расположения вражеских частей, прорывается через русский патруль, уничтожает склады оружия, взрывает в тылу врага мосты и железнодорожные составы. Ну и парень этот Брандт, настоящий головорез!

— Может, увидимся в Берлине,— сказал прощаясь Брандт,— передай привет Клаусу. Не беспокойтесь о доме, там все еще тихо.— Он пододвинул Радлову большую пачку сигарет и две бутылки ликера.— Вот, возьми на дорогу. Мне все равно больше некуда класть.

На другое утро полк должен был принести присягу, однако по каким-то причинам церемонию отложили на вечер, а потом уже было некогда. Среди дня пришел приказ о выступлении, и через два часа колонна грузовиков выезжала из ворот. Разграбленный, полуразрушенный лагерь остался позади, на мачте все еще развевалось знамя; его забыли взять с собой.

Брандта Радлов больше не видел, а Клаус слышал, что штандартенюнкер рано утром покинул лагерь в закрытой легковой машине. Однако точно никто ничего не знал. Да никто особенно и не интересовался судьбой исчезнувшего командира взвода. Ребятам надо было позаботиться о себе, одни мечтали о будущих геройских деяниях, другие смеялись, острили, и только немногие, подавленные всем происходящим, тихо сидели в кузовах подскакивавших на ухабах машин. Кто-то затянул песню, несколько голосов подхватили, и вот уже несутся к голубому весеннему

* Werwolf — оборотень *(нем.)*. Подпольная фашистская организация, созданная в период разгрома гитлеровских войск.

небу знакомые слова: «Мы будем шагать и шагать вперед и все разнесем в куски...»

Колонна грузовиков выехала с узкой лесной дороги на главное шоссе. И песня оборвалась. Несколько голосов еще взлетели было вверх, но певцы тут же испуганно смолкли. Им открылось горестное зрелище. На запад катился поток беженцев, охваченных паническим ужасом. Узкое шоссе — единственный путь из «котла»— было забито велосипедами, ручными тележками, тачками и подводами. Грузовики с трудом продвигались вперед, и Радлов видел, какими взглядами провожали их беженцы. Ненависть, разочарование и страх можно было прочесть в их глазах. «Неужели это Германия,— подумал Радлов,— плетется сейчас мимо меня, увешанная чемоданами, мешками и рюкзаками, неужели это тот воинственный народ, который призван господствовать над миром?»

Его товарищи тоже были потрясены. Кое-кто отворачивался, стараясь не видеть этих людей. Но напрасно. Всюду, куда ни глянь, тянулось бесконечное шествие беженцев, от которых веяло жутью, словно это было шествие призраков, погруженных в великое молчание.

Шоферы непрерывно сигналили, люди неохотно сторонились. В конце концов машинам удалось набрать скорость, по сторонам замелькали безмолвные людские фигуры и противотанковые заграждения, которыми каждую минуту могли перекрыть шоссе.

Но вот поток беженцев стал редеть. Вдали показались окраины Берлина. У дверей пригородных домишек стояли женщины, прислушиваясь к далеким грозовым раскатам артиллерийских залпов.

На обочине шоссе дети играли в войну, на головы они нацепили каски, в руках держали деревянные сабли. Чем ближе к центру города, тем громче гремела канонада. Все чаще попадались на пути разрушенные здания, целые улицы превратились в щебень и пепел, отовсюду несло гарью, в одном месте путь их колонне преградил труп, но машины проехали по нему с полным равнодушием.

Перед глазами Радлова с ужасающей быстротой сменялись картины. Тут горят дома и кричат женщины, бегая с ведрами по улицам, там открывается каменная пустыня и слух режет протяжный вой снарядов. Иоахим был еще оглушен, когда их взвод получил задание сменить одно отделение фольксштурма. Пожилые мужчины, кое-как вооруженные, несказанно обрадовались, что могут убраться подобру-поздорову. А вскоре русские перешли в атаку и открыли ураганный огонь. Но приказ гласил: «Стоять насмерть. Мост удержать. Пленных не брать».

И вот он лежит у Хафельского моста в районе Пихельсберга под ненадежным укрытием разбитых стен какой-то гостиницы в багровой от пожаров темноте и чутко прислушивается. Кругом все еще тихо. Это безмолвие тревожит и настораживает. Радлов лежит и думает: «Хоть бы один выстрел, хоть бы случилось что-нибудь». Легче вынести шум битвы, чем эту тишину, терзающую нервы. Иоахиму кажется, что русские бесшумно подползают к нему, их руки сжимают ему горло, они душат его до тех пор, пока он, яростно отбиваясь ногами, вдруг не валится в изнеможении наземь. Какой-то шорох рядом с ним заставил его вздрогнуть. Светлое пятно на земле шевельнулось, и его неожиданно окликнули:

— Иоахим?

— Да.

— Который час? Я малость вздремнул.

— Понятия не имею.

Это был Клаус Адам, он потянулся и, пригнувшись, подбежал к Радлову.

— Есть покурить?

Голос Клауса звучал весьма беспечно, а на его заспанном худом лице светилась радость, точно он наконец дома и только что встал со своей постели. Радлов же, наоборот, чувствовал себя разбитым, натянутые нервы дрожали, словно струны. Он дал Клаусу пачку и сам взял сигарету. Они молча пригнулись, на мгновение вспыхнул огонек и тут же погас. Прикрыв рукой свои сигареты, оба жадно затянулись.

Не успели они докурить, как все началось сначала. Они увидели полыхнувшее вдали красное пламя, первый разрыв снаряда сотряс воздух. В глазах у них долго плясали вспышки, сердца колотились как бешеные. Втянув головы в плечи, они так прижались к земле, словно хотели, как черви, уйти вглубь. Первые снаряды разорвались далеко от их позиций, но тотчас же вслед за ними разразилась буря. Земля стонала и содрогалась, вздымаясь, как палуба корабля во время шторма. Клаус отбросил сигарету и зарылся лицом в землю. У Радлова окурок прилип к губе, на лице вместо глаз остались узкие щелочки. Вокруг свистели осколки, друзей окутала плотная пелена пыли, усиливался и нарастал гул залпов советской артиллерии. Крики раненых тонули в грохоте разрывов. Радлов судорожно вцепился руками в землю. Потом ураганный огонь внезапно прекратился. Он продолжался не более четверти часа, а Иоахиму эти пятнадцать минут показались вечностью. То был самый сильный обстрел, который ему довелось пережить. Но вот паузы между залпами стали продолжительнее, еще два-три выстрела, и Радлов, переведя дух, немного приподнял голову. В небе зажглась ракета, похожая на фейерверк, который запускали у них дома на ярмарке. «Сейчас появится пехота,— подумал Радлов.— Самой смерти я не боюсь. Страшно только умирать. Со смертью все кончится, это — Ничто. А вот умирать — жутко. Умирать можно очень долго, можно сойти с ума от боли, мучиться часами и даже неделями. И кто знает, когда тебя настигнет смерть?»

В этот миг совсем рядом угрожающе провыл последний снаряд. Радлов хотел предупредить Клауса, крикнуть: «Внимание!» Но не успел. От ужаса у него остановилось дыхание, взрывная волна словно забила рот, его подбросило в воздух, затем швырнуло оземь и снова подняло вверх. Он только успел подумать: «Так, значит, вот оно как...» И больше уже ничего не помнил.

Очнулся Радлов оттого, что кто-то тянул его за рукав. Иоахим не сразу понял, где он и что с ним произошло, но потом узнал Брауна, склонившегося над ним.

— Дружище, да ты еще жив? — удивленно воскликнул шарфюрер.— Я же видел, как ты взлетел на воздух, и решил, что тебе крышка.

Радлов, шатаясь, поднялся. Еще не вполне придя в себя, он начал ощупывать свое тело. В ушах звенело, он с трудом различал голоса товарищей. «Может быть, лопнула барабанная перепонка»,— подумал Радлов. У него было такое ощущение, будто уши полны воды. Кости, кажется, целы, только в колене он чувствовал легкую боль от ушиба.

Кто-то крикнул:

— Второе отделение: трое убитых, один тяжелораненый!

Радлов слышал этот голос как будто издалека.

Браун протянул ему свою флягу, и он стал жадно пить. Напиток был крепким, у Радлова даже слезы на глазах выступили. Но ему сразу стало лучше. Кто-то назвал его имя. Он ответил: «Здесь»,— и механически полез за сигаретами. И тут же вспомнил о Клаусе.

— А где же Адам? — спросил он.— Он лежал рядом со мной.

Браун пожал плечами.

— Я видел только, как ты летел. Может быть, в него и угодило.

Долго искать не пришлось. Клаус лежал в двадцати шагах от воронки, лицом к земле, раскинув руки, пальцы его все еще сжимали винтовку. Радлов тряхнул его за плечо.

— Клаус,— позвал он,— Клаус, очнись. Послушай, Клаус!

Адам не отвечал. Сквозь густые темные волосы сочилась кровь.

— Прекрасная смерть,— сказал Браун,— мгновенно скончался.

Но Иоахим все еще тряс друга, с отчаянием называя его по имени, пока не увидел, как бессильно у него мотается голова.

— Убит,— пробормотал Радлов,— убит.

— Это может случиться с каждым из нас,— сказал Браун.

Но Радлов не слушал его. Он вспомнил прощанье на вокзале, когда они уезжали, и как отец Адама с подчеркнутой бодростью кричал: «Выше голову, мальчики!» В его словах звучала нотка глубокой озабоченности. А теперь Клаус лежит на земле, раскинув руки, недвижный и бездыханный, и никогда уже не вернется домой. Он был единственным сыном, и Радлов подумал, что сообщить горькую весть его родителям придется именно ему. Присев на корточки, он расстегнул рубашку на груди друга, тело которого еще не успело остыть, отломил висевший на шее опознавательный жетон, достал часы и бумажник.

Потом, уже стоя рядом с Брауном, процедил сквозь зубы:

— Они убили моего друга и дорого поплатятся за это...

«Я отомщу за тебя, Клаус, я отомщу им, обещаю тебе»,— думал Иоахим, имея в виду русских, которым хотел отомстить. Теперь он ждал их атаки.

И атака началась. На этот раз с такой стремительностью и силой, что бои последних дней показались Радлову безобидной перестрелкой. Впереди шли танки, а за танками двигалась пехота. Правда, танков еще не было видно, но уже ясно доносился лязг гусениц и угрожающий гул моторов. Грозные звуки все приближались, нарастали, становились громче и громче. И вот Радлов увидел, как танки, вынырнув из какой-то впадины, поползли вперед, словно клопы, все увеличиваясь в размерах. С моста открыло огонь противотанковое орудие — один из танков как будто удалось подбить, он повернул назад. Радлов глубже ушел в воронку, куда они спрыгнули с Брауном, и лежал, напрягая каждый мускул, ежеминутно готовый к действию. «Я отомщу за тебя, Клаус»,— думал он, одна эта мысль билась в его мозгу: «Отомстить, отомстить, отомстить!» Ненависть к этим темным теням за танками ослепляла его. Он целился и стрелял, целился и стрелял. Потом вскочил и, пробежав несколько шагов, снова бросился на землю. Рядом с собой он слышал тяжелое дыхание Брауна.

Вдруг перед ним выросла стальная стена, словно из-под земли возник колосс и, грохоча и фыркая, двинулся на него... Сигнальные ракеты освещали броню танка, отвратительно скрежетали гусеницы, перемалывая что-то на своем пути, земля дрожала под тяжестью этого стального чудовища.

Танк надвинулся на Радлова, оцепеневшего от страха, не смевшего шевельнуться. Первой мыслью его было: бежать. Но это верная смерть, его подстрелят, как зайца.

— Фаустпатрон! — крикнул Радлов, не успев даже удивиться тому, что Браун сразу его понял. Быть может, шарфюрер разобрал его слова по движению губ. Радлов ощутил пальцами холодный металл и тут же обрел спокойствие и уверенность. Но вдруг его лицо перекосилось, его снова охватило безумие, превратив в дикого, бешеного волка. Он жаждал видеть кровь, убитых, раненых...

Он выстрелил, когда танк был уже в десяти шагах, прижался к земле и через мгновение услышал оглушительный взрыв. Из танка вырвался к небу сноп пламени, взрывной волной Радлова придавило к земле, и, когда он поднял голову, танк уже пылал, как факел. Радлов подумал: «Я отомстил за Клауса».

Настало утро. Поборовшись с тучами и одолев их, взошло солнце. Его теплые пальцы ощупывали израненное тело земли, его мягкая улыбка скользнула по сожженным танкам, по вырванным с корнями деревьям и стонущим раненым, и расставаться с жизнью им стало еще горше. Алый шар в небесах, поднявшись выше, превратил дым, заволакивавший опустошенную землю, в золотое сияние. Лениво катящая свои воды река Хафель засверкала, как пурпурное зеркало. Между обломками фонарных столбов, булыжником и ржавыми рельсами какой-то баррикады высунул свою головку ландыш. И даже защебетала птичка: она сидела на кусте, неподалеку от разбитого здания гостиницы. А на кусте уже набухли сочные зеленые почки. Полной грудью вдыхал Радлов аромат земли и дивился тому, что еще жив.

После того как он подбил танк, противники еще долго поливали друг друга ураганным огнем. Радлов не знал, сколько врагов убил, он просто стрелял и стрелял в них, в эти тени, мелькавшие где-то впереди.

Но вот смолк шум битвы. Оставшиеся в живых командиры взводов пересчитывали оставшихся в живых солдат. Полк Радлова сократился до ста пятидесяти падающих от усталости измотанных людей. Потери в других частях были не менее тяжелыми. Но их группа выполнила приказ, Красная Армия не перешла через мост, позиции были удержаны. Надолго ли? Второй атаки их обескровленная часть не выдержит. Это было ясно и Радлову. Если не придет приказ о переправе на другой берег, их сомнут, сотрут, уничтожат. А тут еще откуда-то поползли слухи о спешащих к ним на помощь войсках, и никто не мог эти слухи проверить, никто не знал, откуда они идут. Говорили, что надо держаться, что между американцами и русскими начались раздоры, что американцы вместе с немцами двинутся на Россию.

Радлов цеплялся за эти слухи, верил им, ибо ему необходимо было во что-то верить, чтобы не впасть в отчаяние. Вокруг рта залегла горькая складка, глаза потеряли свою юношескую ясность. Он был потрясен гибелью друга, сердце ныло, словно у него самого отняли руку или ногу. Конечно, он отомстил за Клауса, он подбил танк, но ведь Клаус от этого не ожил, и Радлов не испытывал удовлетворения, вспоминая об уничтоженном танке.

— Кис-кис...

Одичавшая кошка прыгала по развалинам; казалось невероятным, что она уцелела в эту ночь. Радлов видел, как грязный, потный Браун, присев на корточки возле воронки, манит к себе кошку.

— Кис-кис.

Кошка ощетинилась, фыркнула, но в конце концов все-таки подошла к нему и разрешила себя погладить. Браун раскрошил на ладони печенье и протянул кошке. Потом поднялся и подошел к Радлову, животное последовало за ним.

— Эй, Радлов!

— В чем дело?

— Тебе приказано явиться к Шарфу. Дело, наверно, в подбитом танке.

Уничтоженный танк сделал Иоахима героем. Собственно говоря,

он обязан этим Брауну, здорово привравшему и преувеличившему случившееся,— конечно, Браун при этом не забыл представить и себя в наилучшем свете. Но Радлов вовсе не чувствовал себя героем. Ведь все равно никто не поймет, почему он это сделал. Он считал, что обязан был сделать это в память Клауса, в память своего погибшего друга. Но теперь, когда Клаус отомщен, он уже не ощущал никакой радости. Кивнув Брауну, который снова занялся кошкой, и сунув в рот кусок шоколада, Радлов пошел к блиндажу лейтенанта. Чудесный день — солнце, голубое небо и молоденькая, отливающая яркой зеленью травка, образующая островки на выгоревшей земле. У них дома, верно, уже зацвели вишни, там тишина и покой. Разве Брандт не заверил его, что ему нечего беспокоиться о родных! Смерть, хаос, уничтожение свирепствуют лишь здесь, в Берлине. Но здесь же, среди своих солдат, находится и Гитлер. Он не оставил Берлина, и его присутствие, как сказал Геббельс, ценнее двадцати дивизий. При этой мысли у Радлова радостно забилось сердце. Нет, не напрасными были и тяжелые бои, и жертвы, и даже гибель Клауса. Он ведь погиб за Германию.

Блиндаж лейтенанта смахивал на свежий, только что насыпанный кротом холмик. Худое ястребиное лицо командира взвода высунулось из-за укрытия. Иоахим ускорил шаги и, молодцевато подтянувшись, доложил о своем прибытии.

Шарф кивнул:

— Поздравляю, гитлерюнге Радлов! — лейтенант сиял, словно сам подбил танк.— Тебя представили к награде, и ты должен явиться к командиру нашей боевой группы.

Радлов понятия не имел, что их часть переформирована в боевую группу и кто их командир. Но прежде чем он успел спросить, Шарф сказал:

— Я дам тебе сопровождающего.

Через десять минут Радлов двинулся в путь.

II

Губертус Брандт не солгал, когда в учебном лагере сообщил Иоахиму Радлову, что ему звонил отец. Разговор был короткий, но штандартенюнкер знал теперь, как ему вести себя.

— Слушай внимательно, мой мальчик,— отец старался перекричать треск в аппарате,— тебя откомандировывают в главный штаб молодежных соединений, предписание уже послано. Я только что договорился с гаулейтером, тебе будет дано особое задание.

— Отлично, отец!

— Руководитель гитлерюгенда вместе с фюрером и верховным командованием выедут из Берлина и направятся на юг страны. Гаулейтер знает об этом от Бормана, который намекнул, что фюрер не останется дольше в Берлине. Таким образом, ты по крайней мере ускользнешь от русских целым и невредимым. А когда все кончится...

— Значит, ты считаешь...

— Не перебивай меня. Я ничего не считаю. Когда все кончится, мы встретимся у дяди Альберта в Мюнхене. Здесь пока еще спокойно. Мать не перенесет всех этих волнений. Русские уже близко, каждую минуту у нас тоже может начаться. Тебе все ясно?

— Да, отец.

— Ну, так держи ухо востро, мальчик, желаю удачи. Прощай!

На другое утро после этого разговора за Брандтом приехала легковая машина главного штаба гитлерюгенда и доставила его в Берлин.

Но, явившись для доклада к Артуру Аксману, однорукому рейхсюгендфюреру, в штаб на площади Адольфа Гитлера, Брандт нашел там лишь несколько невыспавшихся юнцов, которые жгли документы, рвали в клочья знамена и ломали мебель. От них он узнал, что Аксман перенес свой командный пункт в бомбоубежище на Вильгельмштрассе, неподалеку от рейхсканцелярии. Однорукий встретил Брандта приветливо, и Губертус понял, что отец позаботился о нем. Адъютант отвел его в комнату, обставленную с суровой простотой: походная кровать, стол и шкаф — ничего лишнего, а вскоре Брандт привык и к тяжелому воздуху убежища. Он принимал сообщения от баннфюреров из районов, еще не занятых русскими, и в свою очередь сообщал и обобщал сведения о действиях групп, оставшихся в занятых местностях Германии. В его обязанности входило ежедневно докладывать эти данные Аксману, который передавал их рейхслейтеру Борману.

В первые дни пребывания в Берлине Брандту казалось, что все здесь настроены оптимистически. Но это впечатление быстро изменилось, в убежище постепенно усиливались тревога и мучительное ожидание, эти гитлерюгендфюреры все чаще заговаривали о контрнаступлении на Берлин обергруппенфюрера войск СС Штейнера. Уже несколько дней имя до сих пор неизвестного генерала, месторасположение войск которого никто точно не знал, будоражило умы. Несмотря на это, по всему Берлину, ожидая его, стояли наготове еще уцелевшие танки и самолеты. Предполагалось, что этот генерал сколотит из вспомогательных частей авиации, слушателей офицерских школ, казначеев, пожарных и фольксштурмистов боевую группу и одним ударом в районе Бернау прорвет блокаду столицы. Все надежды возлагались на этого новоявленного генерала-спасителя.

Но Губертус не поддался всеобщему безумию. Он ведь знал больше, чем другие. Гитлер, как сказал отец, уедет на юг, среди свиты будет находиться и он, Губертус. Какое ему дело до остальных? Главное, что он успеет ускользнуть из Берлина, когда здесь станет слишком жарко.

Гитлер долго не соглашался дать приказ Девятой армии генерала Буссе, отрезанной на Одере Красной Армией, прорваться к Берлину. Кольцо вокруг столицы сжималось все теснее, советские маршалы Жуков и Конев соединили свои армии и подготовили их к удару по последней вражеской крепости. Бои завязались в пригородах Берлина — Глинике, Вильмерсдорфе и других. О прорыве Девятой армии нечего было и думать.

А потом случилось нечто непонятное и непостижимое: генерал войск СС Штейнер не выступил, кольцо осады Берлина никто не прорвал.

Аксман только что вернулся из штаб-квартиры фюрера. Это при нем генерал Йодль, обычно скользкий как уж, не сумел увильнуть от неприятного разговора с Гитлером и на его вопрос тихо, почти неслышно ответил:

— Нет, мой фюрер, Штейнер не выступил!

Еще до сих пор звенит в ушах Аксмана истерический крик Гитлера:

— Измена, измена! Ничего не хочу больше слышать, ничего не хочу знать! Я слагаю с себя командование! Немецкий народ — это бесформенная масса, он не достоин меня... Мне его ничуть не жаль.

Так он кричал без конца, Аксман не выдержал и стремительно бросился из убежища, но в ушах его все еще звучала бешеная брань фюрера.

И вот он стоит среди своих сотрудников, молодых, здоровых парней, которых, по чести говоря, следовало бы отправить на передовую. Они преданно глядят на него, они ждут от него слова, приказа, чего-то тако-

го, что даст им надежду на жизнь. А он ничего, кроме смерти, не может предложить им. Он оглядел всех, одного за другим, долгим взглядом своих тусклых глаз, увидел, как люди дрожали от страха, перевел безнадежный взгляд куда-то в выгоревшую пустоту убежища и произнес:

— Фюрер отказался покинуть Берлин. Нам не остается ничего другого, как вместе с ним умереть.

Губертус вздрогнул от этих слов, как от удара. Мысли его работали лихорадочно. В ушах еще раздавалось: «...отказался покинуть Берлин...» Умереть вместе с ним? Невероятно! Он вспомнил разговор, подслушанный им во время отпуска осенью прошлого года. Его отец беседовал в кабинете с гаулейтером. Они не знали, что он, Губертус, сидит в библиотеке и сквозь раздвижные двери все слышит.

— Если тебе нужны еще акции, Отто,— сказал гаулейтер,— я смогу их раздобыть. Когда кончится эта заваруха, прежде всего понадобятся уголь и сталь. Подумай и о будущем. А будущее вовсе не так туманно... Знаю, что ты хочешь сказать, но лучше, если мы объединимся с вермахтом. Должны же найтись руководители в партии, действующие разумно, а я вовсе не хочу отправиться на тот свет, да и ты, очевидно, тоже? Ну так вот. Я, как ты знаешь, говорил со Шпеером, а у него связи среди крупных промышленников. Промышленники ведут переговоры с Америкой. Ведь именно они и стоят за спиной генерального штаба. Ты же сам не веришь, Отто, будто американцы хотят, чтобы Сталин всем заправлял в центральной Европе. Ну так вот, это единственный шанс снова встать на ноги. Мы будем им нужны, и поэтому лучше всего оказаться в конце войны там, куда придут американцы...

Судя по словам гаулейтера, война была проиграна. Теперь главное — оказаться в конце войны там, где будут американцы, и его отец, депутат рейхстага и кавалер ордена Крови, попытался помочь ему в этом. А тут Гитлер неожиданно отказывается покинуть Берлин. Каждую минуту ловушка может захлопнуться.

«И я окажусь в ней»,— думает Губертус. Словно чья-то ледяная рука сжимает ему сердце. Его трясет озноб, вместо глаз остаются узенькие щелки. Он видит перед собой советских комиссаров с дымящимися револьверами в руках, татар в широких халатах, скачущих на лошадях, взмахивающих кривыми саблями, рыжебородых кавказцев с короткими кинжалами у пояса. Как они расправятся с ними — перережут глотку или вспорют живот? По сути дела, это безразлично. Но он не желает умирать, не желает гибнуть. Нет, к чертям. Отец все так хорошо предусмотрел, неужели его расчеты не оправдаются? «Я должен выбраться из Берлина,— лихорадочно думает он,— должен найти выход, черт подери! Мне вовсе не улыбается видеть, как они раздают водку, а потом расстреливают. В конце концов войну можно вести дальше, даже если она и проиграна. Я ведь участвовал в создании «вервольфа», я знаю все эти дела «оборотней» как никто другой. Я еще им пригожусь!»

Бледное лицо рейхсюгендфюрера порозовело, усталое тело снова выпрямилось. Спокойным голосом Аксман произнес:

— Ситуация в настоящее время не совсем ясна. Я жду звонка из ставки фюрера.

Все вздохнули с облегчением. Отпуская присутствующих, Аксман кивнул Брандту. И только когда комната опустела, он спросил:

— Как действует «вервольф»?

— Пока есть сообщения об операциях в южной и северной части страны. Американский склад горючего удалось...

Брандт сам удивился, что может отвечать так спокойно и с полным самообладанием. Но Аксман уже перебил его.

— Ладно, ладно. Послушай-ка, нам надо съездить в ставку. Рейхслейтер Борман хочет поговорить с тобой. Какое-то личное дело.

— Слушаюсь!

Брандт прикрыл за собой стальную дверь и вышел в коридор. В другом его конце появилась плотная коренастая фигура майора в форме вермахта. Он исчез за одной из дверей, дружески ответив на приветствие Губертуса. «Значит,— подумал Брандт,— оба офицера службы информации снова здесь». Он был в дружеских отношениях и с долговязым неуклюжим капитаном Юргенсом и с толстым добродушным майором Вильнером. Они держались весьма тактично, тем не менее Аксман предостерег Брандта. В первый же день его пребывания здесь рейхсюгендфюрер без обиняков объяснил ему, что «вервольф» подчиняется руководству национал-социалистской партии, а не вермахту.

— Конечно, совершенно отстранить армейских офицеров из штаба Гелена мы не можем, но силой приказа их распоряжения не обладают,— сказал тогда Аксман.— Знать им тоже не все следует. Я полагаю, Брандт, мы поняли друг друга.

Губертус очень хорошо понял его. Но он не собирался связывать свою судьбу с Аксманом. Он хотел сохранить за собой свободу действий, а это возможно только в том случае, если он будет продолжать сотрудничать с геленовскими офицерами. Именно это имел в виду гаулейтер, когда заявил, что не намерен быть одним из тех, кто отправятся на тот свет.

Брандт был все время настороже. Удерживать равновесие, не упасть и не сломать себе шею было довольно трудно. Он сам никогда не выдавал этим офицерам секретных сведений, но делал весьма прозрачные намеки на то, каким путем их можно добыть. Так холодные и сдержанные отношения с двумя штабными офицерами вскоре сменились более дружескими и откровенными.

Придя к себе, Брандт начал размышлять над последними словами Аксмана. С ним, Брандтом, хотел поговорить Борман. По личному делу? Может быть, до него дошли слухи о его сотрудничестве с геленовскими офицерами? На мгновение ему стало жутко, но он тотчас успокоился: невероятно. Да к тому же никто ничего не сможет доказать. Брандт закурил сигарету и стал быстро и нервно затягиваться. Какая еще причина? Отец? Может быть, отец?.. Конечно, и как это он сразу не подумал. Старик узнал, что Гитлер остается в Берлине, и теперь хочет вызволить его, Губертуса. Ничего другого и быть не могло.

В эту минуту зазвонил телефон. Брандт снял трубку и не мог сдержать радости. Он услышал голос Аксмана:

— Приготовьтесь, едем к фюреру.

Через несколько минут Брандт уже сидел с Аксманом в машине. Они покатили в рейхсканцелярию между развалинами Вильгельмштрассе. Машина виляла из стороны в сторону — водитель старался объезжать воронки от бомб.

То и дело слышались глухие раскаты советской артиллерии. Берлин, окутанный дымом пожарищ и взрывов, был смертельно ранен.

Ехали молча. Аксман, подавленный, забился в угол машины, видимо, он не испытывал никакого желания разговаривать.

По винтовой лестнице в тридцать семь ступенек они спустились в глубь подземного убежища и пошли длинным переходом, где в разных позах спали измотанные в боях эсэсовцы. Когда последний часовой про-

верил их пропуска, Брандт почувствовал, как забилось его сердце. «Сейчас решится моя судьба»,— подумал он. Они находились в приемной Гитлера.

Однако здесь, должно быть, произошло что-то необычайное, и Брандт тотчас же это заметил. Тонкие стальные дверцы в конференц-зал были распахнуты настежь. Адъютанты бегали взад и вперед, трещали вовсю две машинки, какой-то генерал военно-воздушных сил, прижимая к уху телефонную трубку, старался перекричать гул голосов:

— ...У нас в убежище происходят сейчас события мирового значения...

В открытую дверь Брандт увидел беспорядочную толпу голубых, серых и черных мундиров, на которых поблескивали ордена. Он видел Кейтеля, Йодля, Геббельса. Стоя отдельной группой, они возбужденно обсуждали что-то, перебивая друг друга. Брандт решил прежде всего найти Аксмана, уже успевшего пройти вперед, но в беспорядочной толпе сбившихся в кучки офицеров и партийных фюреров не смог его сразу отыскать глазами и, бормоча извинения, стал протискиваться вперед. Рейхсюгендфюрер стоял с Борманом в углу комнаты и как раз в тот момент, когда Брандт увидел их, сделал резкий отрицательный жест. Брандт нерешительно приблизился к ним, но остановился на почтительном расстоянии и прислонился к стене. Голоса в зале шумели, как море, гул их то нарастал, то стихал, они шипели, клокотали, бурлили.

Вдруг рядом с ним кто-то сказал:

— Пошли в буфет, Брандт! Смотреть на все это — живот подведет.

Брандт обернулся и увидел капитана Юргенса из штаба Гелена.

— Даже умереть прилично не умеют,— с отвращением продолжал капитан. Он кивнул в сторону стола. Там сидел главный адъютант Гитлера, генерал Бургдорф, и содрогался от истерических рыданий. А рядом генерал Кребс пытался утопить тоску в красном вине.

Капитан презрительно улыбнулся:

— Придворная сволочь дрожит за свою шкуру. Знаете, что заявил Гитлер, обсуждая последний раз обстановку? «Я застрелюсь, война проиграна». А потом прорычал: «Но Берлин я не покину... Никогда!»

У Брандта нарастало только одно желание — удрать отсюда как можно скорее, исчезнуть из Берлина. Он понял, что иначе и его втянут в эту пляску мертвецов. Больше всего ему хотелось удрать — куда угодно, только бы исчезнуть, спрятаться. Автоматически он ответил:

— Так точно, господин капитан,— и при этом почувствовал во рту отвратительный привкус пепла.

Все еще улыбаясь, капитан положил руку ему на плечо и сказал:

— Бросим теперь формальности, дорогой. Мы все одной веревочкой связаны.

Что при этом имел в виду капитан, Брандт узнал, уже подойдя к буфету, находившемуся в соседней комнате. Там они встретили другого офицера из отдела «Восточных формирований» — коротышку майора Вильнера, который как раз осушал большой стакан можжевеловой водки. Майор весело поздоровался с Брандтом.

— Что ж, в этом сумасшедшем доме не вредно и подкрепиться. Пожалуй, последний раз в этом гостеприимном местечке. Когда же вы смоетесь?

Штандартенюнкер, недоумевая, смотрел на офицеров. Но в ответ на его удивленный взгляд те громко рассмеялись, и капитан пододвинул к нему рюмку французского коньяка.

— Ну-ну, Брандт, не притворяйтесь,— сказал он.— Мы же обо всем информировали майора Хаазе. Ведь он наш связной на севере.

Брандт ничего не понимал. Он лихорадочно думал, на что они, собственно, намекают? Путаница исключена, либо здесь какая-то ошибка, либо — и при этой мысли Брандт вздрогнул от радости — эти двое знают больше, чем он.

— О чем вы говорите? — с расстановкой спросил он, и в голосе его звучало такое неподдельное удивление, что майор опешил. Он взглянул на Брандта, и взгляд его, обычно такой приветливый, утратил все свое добродушие. Подчеркивая каждое слово, майор с угрозой в голосе спросил:

— Рейхслейтер Борман уже говорил с вами?

— Нет, господин майор.

Оба офицера обменялись быстрыми взглядами. Молчание становилось гнетущим, и Брандт нервно вертел в руке рюмку. Чего, собственно говоря, хотят они от него? Если они не имеют права говорить о своих делах, то пусть, черт возьми, оставят его в покое. У него свои заботы. Вдруг капитан резко обратился к нему:

— А почему вы вообще здесь, в убежище?

— Я и сам не знаю.

Брандт разозлился. Черт побери, пусть он работал с ними, давал им время от времени информацию, но такое обращение — это уж слишком. Такого тона он не допустит. В конце концов он подчиняется Аксману, а не им, и, если они хотят что-либо знать, пусть обращаются к рейхсюгендфюреру. В свою очередь Брандт так же резко спросил:

— Это что — допрос, господин капитан?

Но майор тотчас же успокоил его:

— Извините, штандартенюнкер, это всего-навсего вопрос...

— Я только полчаса назад приехал сюда с Аксманом,— ответил Брандт по-прежнему раздраженно.

Но капитан уже снова улыбался.

— Это недоразумение, Брандт. Все в порядке. Вы еще сами не знаете, как вам повезло. Но не пугайтесь. Ваше здоровье!

Брандт подумал: «Нечего им секретничать. Больше того, что я подозреваю, и они не знают».

Капитан неторопливо поставил пустую рюмку на стол и сказал:

— Хочу вас подготовить, Брандт, вы откомандированы в Плён и, возможно, сегодня ночью покинете Берлин. Все это вам подтвердит сам Борман.

— Вот как? — у Брандта перехватило горло.

Новость ошеломила его, и, хотя он ожидал чего-нибудь в этом роде, ему было трудно скрыть охватившую его радость. Плён — значит, прощай, Берлин, Плён — значит, прощай русские. Оттуда уж наверняка представится возможность сбежать на юг, в Мюнхен, где он договорился встретиться с отцом. Но в тот же миг сомнения опять охватили его. Можно ли вообще доверять офицерам из штаба главного командования? Может быть, это провокация, блеф? Но ради чего они стали бы морочить ему голову?

— Почему именно в Плён? — спросил он, удивленно подняв брови

— Потому что вам поручено руководство группой «вервольф» на севере,— ответил капитан и наполнил рюмки.— У Бормана есть планы насчет вас, а нам,— он пододвинул к нему рюмку,— нам нужен там свой человек.

Свой человек! Брандт поморщился. Как это понимать? До сих пор все звучало правдоподобно, но как армейские офицеры могли назвать

его «своим человеком»? Значит, на севере ему придется представлять штаб Гелена?

— Откуда, господин капитан,— спросил Брандт,— вам известно, что именно мне поручена эта роль?

Теперь ему ответил майор, с показным равнодушием прислушивавшийся к беседе.

— Да потому, что мы вас знаем, Брандт, вас... и вашего отца.

Вашего отца! Ага, так, значит, вот каким путем старик пытается выцарапать его отсюда. И как ловко он все это опять подстроил! Но пусть они не воображают, что он, Губертус, такой простак. И он осторожно спросил:

— А какое отношение имеет ко всему этому мой отец?

— Он уже не первый год сотрудничает с нами,— ответил капитан Юргенс и поднял рюмку.

Брандт поблагодарил, но пить не стал. Его отец сотрудничает со штабом главного командования? Это верно! Он опять вспомнил слова гаулейтера, которые подслушал: «Лучше, если мы объединим свои усилия с вермахтом». Да, оба офицера говорят правду. И вдруг Брандт звонко рассмеялся. «Превосходно все получилось.— подумал он,— на это способен только мой отец. Борман ему доверяет, а старик тем временем интригует против него и обделывает свои делишки».

Но майор Вильнер неверно истолковал его смех:

— Вы, Брандт, можете, конечно, отказаться. В этом случае, надеюсь, мы будем считать, что разговор наш не состоялся.

— Для нас война еще далеко не кончена,— бросил капитан,— и не закончится даже тогда, когда русские войдут в Берлин.

— Знаю, знаю,— Брандт улыбнулся,— господа могут вполне на меня рассчитывать.

Капитан в третий раз наполнил свою рюмку. Выпив, он сказал:

— Итак, Брандт, вы обратитесь к майору Хаазе. Вам надлежит иметь дело только с ним. Он в курсе.— И с двусмысленной усмешкой заключил:— В Плёне нет ни Бормана, ни Гиммлера. Дениц их обоих недолюбливает.

С этими словами офицеры вышли, оставив Брандта одного.

Брандт закурил сигарету и маленькими глотками выпил коньяк. После этого разговора у него камень свалился с сердца. Итак, он отправится в Плён, и то, что станет концом для всех, будет для него только началом. Ему наплевать, пусть Берлин провалится ко всем чертям. Когда в этом убежище откроют газ, его уже и след простынет. Довольный, вышел он в приемную.

Там возбуждение несколько улеглось, никто больше не кричал, но атмосфера все еще была накалена. В группах и группках перешептывались, Йодль, Геббельс и Кейтель продолжали спорить, отметил про себя Брандт, проходя мимо. Увидев Бормана, Брандт решил доложить ему о своем приходе Но в это время открылась боковая дверь, и шепот мгновенно стих. Раздался стук каблуков, взлетели вытянутые руки. В дверях показался Гитлер в сопровождении штурмбаннфюрера Гюнше, своего личного адъютанта, широкоплечего силача с лицом боксера. Гитлер поднял руку. Жест этот потерял свою обычную театральность, сегодня в нем чувствовалась усталость, а осунувшееся лицо, запавшие и воспаленные глаза свидетельствовали о том, что фюрер вконец измотан. К нему тотчас подскочили Борман и Геббельс, пытаясь в чем-то его убедить. Брандт затаил дыхание. Что произойдет? Не начнется ли у фюрера новый припадок безумия? И на кого он обрушится на сей раз, на Кейтеля, или на этого толстого Кребса, или на генерала Вейд-

лиига? Гитлер с минуту слушал своих любимцев, затем сделал несколько шагов по комнате и, кивнув остальным, пригласил последовать за ним. Брандт не знал, как ему поступить, и поискал глазами Аксмана, но, увидев, что однорукий подает ему знак, направился вместе со всеми.

В конференц-зале на столах лежали карты, разложенные еще на прошлом совещании. Гитлер опустился в свое кресло, взял красный карандаш и вопросительно взглянул на Йодля. «Ему придется докладывать,— подумал Брандт,— интересно, как он выкрутится». Йодль был краток и ограничился сообщением о более или менее удачных операциях по воздушной переброске в Берлин боеприпасов и продовольствия. Но не успел он кончить, как Гитлер прервал его:

— Сколько дней может еще продержаться Берлин?

Столь прямого вопроса никто не ожидал. Все испуганно уставились на фюрера. Брандт инстинктивно почувствовал, какую опасность таит в себе внезапно наступившее молчание. Он видел, как Гитлер гневно сжал правый кулак, но Йодль ответил:

— Мой фюрер, если вы прикажете генералу Венку прорвать кольцо осады Берлина, то столица продержится, пока сражение не будет выиграно.— Он подошел к столу, нагнулся над картой и торопливо продолжал: — Венк стоит в Магдебурге на восточном берегу Эльбы, он может соединиться с корпусом генерала Реймана у Потсдама.

Йодль пальцем показал на карте маршрут Венка. Гитлер некоторое время молчал, уставившись на карту, потом недоверчиво спросил:

— А какими силами располагает Венк?

Йодль перечислил дивизии с блестящими названиями: «Шарнхорст», «Клаузевиц», «Ульрих фон Гуттен». Но Брандт знал, что эти дивизии состоят из одних семнадцатилетних юнцов, членов гитлерюгенда, из слушателей офицерских школ и отбывающих военизированную трудовую повинность.

— Только Венк может прорваться в Берлин, мой фюрер! — повторил Йодль с нажимом.

В его голосе появилась уверенность, он держался свободнее и непринужденнее. «Точно кельнер в ресторане,— подумал Брандт,— только вместо вина подает Венка».

Гитлер медленно поднялся.

— Венк,— пробормотал он,— Венк!

Он приказал адъютанту немедленно соединить его с Венком. Гюнше подошел к столику, на котором стояли три телефонных аппарата, а Гитлер снова повернулся к генералам. В его мутных глазах опять словно вспыхнули искорки.

— Венк прорвется к Берлину! — сказал он. И тут Гитлера понесло, слова лавиной хлынули из его рта: — Я изменю ход войны! У врат Берлина я выиграю решительную битву. Провидение поддерживает меня, о возвращении Девятой армии не может быть и речи. Она останется там, где стоит, на Одере. Венк отбросит русских, а Буссе их просто изрубит... изрубит!

Беспорядочные фразы бурным потоком срывались с его губ, а вокруг с каменными лицами застыли генералы.

В эту минуту Гюнше доложил:

— У аппарата Венк, мой фюрер.

Гитлер шаркая подошел к телефону. В комнате воцарилась гробовая тишина. Глаза присутствующих загорелись надеждой. Все, казалось, задавали себе один и тот же вопрос: пойдет ли Венк на Берлин?

— Венк,— говорил Гитлер в трубку,— Венк, вы меня слышите?

Вы должны прорваться к Берлину, я приказываю вам! — и патетическим тоном добавил: — В ваши руки я отдаю судьбы Германии.

Пауза на другом конце провода длилась несколько секунд. Но Брандту они показались вечностью. Наконец из трубки явственно донесся голос Венка:

— Мой фюрер, жизнь моя и моих солдат принадлежит вам...

В эту минуту ординарец позвал Брандта к телефону. Выходя, он услышал, как Гитлер, обращаясь к генералам, торжествующе воскликнул:

— Пока в Германии есть такие люди, преступно говорить о том, что война проиграна!

Брандт взволновался. «Может быть, звонит отец,— подумал он,— может быть, он уже в Мюнхене. Все устроил и решил вызвать меня с совещания». Губертус поспешил к телефону, но его задержал капитан Юргенс:

— Что нового?

— Венк обещает прорваться к Берлину.

Брандт попытался пройти дальше, но капитан, смеясь, задержал его.

— А вы уже бежите ему навстречу? Да ведь это заговор обреченных, милый мой! Венк, как всегда, переоценивает себя. Но со своими юнцами ему далеко не уйти. Поверьте мне, Брандт, Берлину конец.— Он повернулся, но еще крикнул вдогонку: — Всего хорошего, Брандт... До свидания!

Штандартенюнкер поднял телефонную трубку, и лицо его выразило разочарование. На другом конце провода прозвучал голос адъютанта Аксмана:

— Послушай, Брандт, доложи старику, что от обергебитсфюрера Шлюндера прибыл курьер. У них большие потери за последнюю ночь. Шлюндер просит дать приказ об отступлении. Курьер ждет ответа.

— Вряд ли это выйдет. Старик на совещании. Что еще?

— У нас здесь парнишка из гитлерюгенда подбил русский танк. Шлюндер представил его к Железному кресту. Теперь все.

— Есть. Я позвоню.

Он положил трубку. На обратном пути его снова трясло от страха. А что, если попытка Венка прорвать осаду автоматически отменяет задание в Плёне? Борман слыл человеком капризным, с переменчивым настроением. В последние дни Брандт достаточно часто наблюдал, как приказы и назначения давались и отменялись в течение одного часа.

У дверей конференц-зала его остановил Геббельс. Казалось, он почуял скверные вести и теперь озабоченно осведомился о содержании телефонного разговора. Брандт передал ему все, и Геббельс доложил Гитлеру о подбитом танке.

— Мой фюрер, немецкая молодежь с доверием взирает на вас. Как мне доложили, в бою у Хафельского моста член союза гитлеровской молодежи уничтожил большевистский танк.

Гитлер взглянул на карту и спросил:

— А разве мост через Хафель еще в наших руках?

Аксман ответил утвердительно. Он разозлился на Геббельса, который выхватил у него из-под носа хорошую новость, но, увидев, что Гитлер благожелательно кивнул, добавил:

— Я позволю себе просить вас, мой фюрер, лично вручить награду этому юноше. Награда, полученная из ваших рук, мой фюрер, будет иметь огромное моральное значение для членов гитлерюгенда, сражающихся и умирающих с вашим именем на устах.

И он насмешливо взглянул на Геббельса, обычно сопровождавшего награждение орденами шумной пропагандистской болтовней. Теперь тот сердито отвернулся.

Брандт воспользовался этим обстоятельством, отозвал в сторону Аксмана и шепотом сообщил ему о потерях Шлюндера.

Аксман раздраженно нахмурился.

— Шлюндер должен выстоять,— сказал он,— сообщи ему, что Венк уже выступает. Я не могу обременять фюрера подобными заботами. И выясни имя этого истребителя танков. Пусть его пришлют сюда.

Во время короткого разговора с рейхсюгендфюрером Брандт пытался по выражению лица прочитать мысли Бормана, который стоял рядом с Гитлером и с интересом рассматривал карту. Но это лицо, как всегда непроницаемое и надменное, ничего не выдавало, ни один мускул в нем не дрогнул.

Брандт на цыпочках вышел из конференц-зала, чтобы выполнить распоряжение Аксмана. Узнав по телефону имя юноши, подбившего танк, он невольно с недоверием переспросил:

— Радлов? Иоахим Радлов?

Погруженный в свои мысли, он рассеянно опустил трубку на рычаг. Обернувшись, увидел, что в дверь протиснулся Борман. Брандт вытянулся, но партийный фюрер, небрежно кивнув ему, плюхнулся на диван в углу комнаты. Брандт застыл в ожидании.

— Сегодня ночью вы покинете Берлин, штандартенюнкер,— начал Борман,— и отправитесь в Плён, в штаб-квартиру гроссадмирала Дёница. Там явитесь к штурмбаннфюреру Вольфу. Вы назначаетесь руководителем северной группы «вервольф».

— Слушаюсь! — Брандт продолжал стоять неподвижно.

— Вы отвечаете за прекращение на севере всех действий этой группы против союзников. Но это не значит, что группы должны быть распущены. Вы поняли меня?

— Так точно!

— Подробные инструкции вы получите от Вольфа. Штурмбаннфюрер будет вашим непосредственным начальником, пока я сам не прибуду в Плён. Майору Хаазе, офицеру связи из отдела «Восточных формирований», знать о делах «вервольфа» не следует. Вы меня понимаете?

— Так точно,— пробормотал испуганно Брандт.

Значит, геленовские офицеры все-таки обманули его. В Плёне, сказал капитан Юргенс, не будет ни Бормана, ни Гиммлера. А может быть, он и сам не знал, что Борман приедет позже? На глазах у Бормана ему, Брандту, будет трудно сотрудничать с Хаазе.

Борман встал и дружески положил Брандту руку на плечо.

— Я доверяю вам, штандартенюнкер,— сказал он, пытаясь говорить отеческим тоном.— И глубоко сожалею, что должен сообщить вам печальную весть.

Он помолчал, словно подбирая выражения, и начал после долгой паузы:

— Чтобы сохранить существование нашей нации, все мы приносим в жертву родных и близких. Я высоко ценил вашего отца. Свято храните его наследие, покажите себя достойным сыном этого честного национал-социалиста и продолжайте то дело, которое он начал.— Помолчав немного, он добавил: — Ваш отец, командовавший батальоном фолькс-штурма, погиб при защите родного города. Можете гордиться его героической смертью. Примите мои самые искренние соболезнования.

Брандт ощутил пожатие руки и механически ответил на него. Он

слышал скрип сапог и удаляющиеся шаги. Пронзительный визг бронированной двери болезненно отозвался у него в ушах.

В зеркале отразилось искаженное лицо, белое, как стены убежища.

III

Командный пункт боевой группы охранялся часовыми. Расположен он был в небольшом сосновом лесочке, на краю лощины. Дверь блиндажа была открыта, у входа паренек в форме гитлерюгенда возился с полевым телефоном. Внутри возле кое-как сколоченного стола стояли два армейских офицера, а рядом — статный мужчина лет тридцати пяти также в форме гитлерюгенда. Огненно-рыжий, с выдающимся вперед подбородком и бледной нездоровой кожей, усыпанной веснушками, этот человек был на голову выше остальных. На левой стороне груди у него поблескивал Железный крест первой степени.

— Гитлерюнге Радлов явился по вашему приказанию.

— Ага. Значит, это ты подбил танк?

— Так точно! — Радлов мгновенно окинул взглядом петлицы и звездочки на погонах рыжего и повторил, как положено: — Так точно, обергебитсфюрер!

Шлюндер подошел к нему, и его широкий рот расплылся в доброжелательной улыбке:

— Ну, ну, расскажи, как это тебе удалось?

Рассказать? А что, собственно, рассказывать? Он и сам не знал, как это произошло. Все случилось слишком быстро. Он смутно помнил, как перед ним внезапно возникла стена из стали и как он выстрелил. Иногда ему казалось, что он видел сон, отвратительный, кровавый сон. И теперь, не зная, что ответить, он пробормотал несколько бессвязных слов.

Шлюндер одобряюще кивнул.

— Ты стал примером для всей немецкой молодежи,— сказал он.— По приказу рейхсюгендфюрера тебе надлежит явиться в рейхсканцелярию, где тебе будет вручена высокая награда. Примет тебя сам Адольф Гитлер.— И он протянул Радлову руку.

Тот не шелохнулся. У него не было сил отвечать; вытянувшись в струнку, он стоял перед своим командиром, ожидая объяснений. Радлов еще ничего не понимал. Слишком сильны были впечатления от ночных событий, чтобы он мог воспринять сказанное. Что говорит Шлюндер? Рейхсканцелярия... Награда... Адольф Гитлер... Только сейчас Радлов понял смысл этих слов, и его охватил радостный испуг, щеки вспыхнули румянцем. Фюрер, сам фюрер его примет! Его, Радлова, представят фюреру! Значит, он действительно герой!

Иоахим глубоко вздохнул, гордый собой, взволнованный, и вдруг подумал, что о его геройском поступке узнают теперь все — родители, и знакомые, и доктор Крафт, директор школы. Его портрет поместят в газетах, и, может быть, по радио уже передали сообщение о его подвиге. Директор созовет всех в актовый зал, как он это делал, когда сообщал им о победах немецкого оружия. Радлов очень ясно представил себе доктора Крафта на кафедре, покрытой знаменем со свастикой. Его гладко выбритая голова поблескивает, как биллиардный шар, а внизу, затаив дыхание, внимают ученики. Крафт говорит и говорит о героическом поступке, который совершил он, Иоахим Радлов.

Иоахим опомнился, только очутившись на улице. Он держал в руках стандартный пакет с конфетами, шоколадом, печеньем и даже с си-

гаретами. Обалдевший и смущенный, он не помнил, кто дал ему этот пакет. Мальчик-вестовой, который проводил его сюда и, видимо, слышал весь разговор, стоял, разинув от восхищения рот. В порыве великодушия Радлов подарил пакет ему, но мальчик не в состоянии был произнести ни слова. Вдруг кто-то сказал:

— Пошли, машина ждет.

Голос принадлежал тому парню, который чинил телефон.

Машина доставила Радлова в Берлин, туда, где был сосредоточен огонь двадцати тысяч советских орудий. Кругом вздымались тучи дыма и раскаленной пыли, застилавшие голубое весеннее небо. Средь бела дня Берлин окутала ночь.

Над грудами обломков обрушившегося соседнего дома высились колонны ворот рейхсканцелярии, входа не было видно. Пыль клубилась вокруг здания, зиявшего пустыми глазницами окон. Радлова остановили только в вестибюле.

— Стой! Куда?

Двое часовых, подобно теням, выступили из мрака и встали с обеих сторон. На их головных уборах поблескивал серебряный череп. Проверив документы Радлова, они указали на застланный ковровой дорожкой коридор, который вел вниз. Радлов миновал бронированную дверь, потом очутился в помещении с усиленной охраной, вооруженной автоматами. Здесь снова тщательно изучали его пропуск. Потом он ждал, пока из подземелья появится связной. И вот наконец его поглотила бездна.

Внизу Иоахима буквально ослепил яркий свет ламп, питаемых от аккумуляторов. Он будто попал в другой мир. В ушах еще звучало протяжное «уии» летящих снарядов, треск бушующего пламени, дробный стук осыпающихся кирпичей, вой «катюш» — здесь же его вдруг окружила тишина. Слой железобетона толщиной в восемь метров, затем лабиринт убежища для солдат с трехметровым стальным потолком полностью изолировали лежавшее еще ниже бомбоубежище от внешнего мира. Вентиляторы вытягивали насыщенный углекислотой воздух, толстые ковры в коридорах поглощали звуки шагов, на стенах комнат, через которые проходил Радлов, висели гобелены и дорогие картины. Связной что-то сказал Радлову, но тот не понял. Его барабанные перепонки еще не отвыкли от более громких звуков. Он прошел дальше, двери, ковры, усиленные посты — боже мой, кончится ли это когда-нибудь! Вот наконец анфилада комнат, четыре телефонных коммутатора, где-то стрекочет телеграфный аппарат. Радлов слышит этот звук и теперь наконец понимает, что говорит ему связной. Он, стало быть, в личном убежище фюрера. Здесь, слева, находится квартира Гитлера. Распахнулась какая-то дверь, оробевший Радлов замедлил шаги и оказался посреди большой четырехугольной комнаты.

На этот раз его ослепило множество мундиров, сверкающих орденами. Повсюду мелькали красные генеральские отвороты, но Радлов не узнавал лиц, он видел только, что при ярком свете все они кажутся неестественно бледными. Присутствовавшие имели холеный вид, от них пахло одеколоном, аккуратно расчесанные волосы были напомажены и блестели.

И вот он стоит среди этого золотого и серебряного сияния, потный, измазанный, но почтительный и полный веры. Его сапоги облеплены глиной, волосы растрепаны, под глазами темные от бессонницы круги. Ему казалось, он весь изгажен, невообразимо изгажен. Он почувствовал мучительную потребность немедленно вымыться и хотел было сказать об этом сопровождающему, но тот уже исчез.

Радлов беспомощно огляделся, и тут к нему кто-то подошел, пожал руку, его мгновенно окружили. Ему трясли руки, хлопали по плечу, что-то говорили. Теперь Радлов начал узнавать отдельные лица, которые видел в газетах и в кинохронике. Кто-то протянул ему бокал вина, кажется это генерал Йодль. Держа в руках подносы с жарким и бутербродами, повсюду мелькали молчаливые, в черных фраках официанты, похожие на марионеток. Радлова окружали улыбающиеся маски в блестящих мундирах. Все здесь было призрачным, точно порожденным фантазией горячечного больного.

Вдруг кто-то прошептал:

— Сейчас выйдет фюрер.

Фюрер! У Радлова замерло сердце. Сейчас он будет здесь... Простой, скромный, но полный сил, несокрушимый, мужественный, каким Радлов часто видел его на экране. Из руки фюрера получит он, Радлов, награду, из этой твердой, волевой руки, которая одна способна вывести Германию из хаоса к прекрасному будущему. И Радлов посмотрит ему в глаза, в глаза фюрера — лучистые, светлые и конечно голубые,— и поклянется ему, что умрет, но ни одного метра своей земли не отдаст врагу. Как радостно умереть, имея перед глазами образ фюрера! При этой мысли Радлов даже вздрогнул от благоговения.

И вот через какую-то боковую дверь шаркая вошел фюрер.

Да он ли это? Не привидение ли, не призрак? Нет, это он, сходство с портретами еще сохранилось.

Дверь захлопнулась, и фюрер оказался в зале — величайший полководец всех времен, глава государства, идеал Радлова. Усталый, измотанный, очень постаревший, он производил впечатление живого трупа. Лицо, выдающее неуравновешенность характера, хрящеватый нос, угрюмые, слезящиеся, тусклые глаза. Медленно, едва переступая, подошел он к юноше, впившись в него взглядом. Тело фюреру не повиновалось. Он волочил одну ногу, голова тряслась. Человек ли это? Нет, это не человек, а развалина, уже выброшенная за борт истории, но все еще злобная, пытающаяся кусаться,— опасная, загнанная крыса.

«Боже мой, боже мой...» — промелькнуло в голове Радлова. От ужаса мурашки забегали у него по спине, крепко сжатые губы побелели. Сон это или явь? Этого не может, не должно быть! Неужели перед ним Адольф Гитлер, которого он боготворил,— единственный, кто мог спасти Германию?!

И вот фюрер стоит перед ним. Глаза моргают, он приветствует Радлова. Но уже не величественно и театрально, как прежде, когда он вызывал трепет восторга. Жест фюрера скорее был жестом автомата, правая рука тряслась. Радлов видел, как левой он ее придерживает. Вот он протянул руку к шкатулке с орденами, звякнуло железо, трясущаяся рука теребит его мундир, не будучи в силах справиться с простой задачей. Один из адъютантов вынужден был прийти на помощь Гитлеру. Вдруг Радлов почувствовал руку фюрера на своей щеке, она ласково потрепала его, но ему показалось, что она безжизненна и холодна, как тело мертвой лягушки.

А затем это жалкое подобие человека проковыляло дальше. Сгорбленный, посеревший, словно заводная кукла без суставов, он исчез за окаменевшими генералами.

Все! Ушел!

Во что же верил Радлов? Кого вознес до небес? «Гитлер — это Германия,— думал Радлов,— и мы не можем представить себе Германию без Гитлера». И вот это божество сброшено с пьедестала, низвергнуто с

недосягаемых высот. А что же осталось взамен, теперь, когда он понял все? Растерянность, ужас, отчаяние. Он ощутил невероятную горечь.

Неужели все напрасно? Лишения и невзгоды, ночи, проведенные под градом пуль, смерть Клауса? Напрасно, все напрасно! Ради чего жить дальше, если Германия погибла? Останутся только хаос и большевики. Так его учили в школе.

И зачем он стоит здесь? Зачем?

Смерть — лучший выход, она освободит его от мук, с ней исчезнут навсегда и разочарование и надежды. Смерть — лучший выход. Смерть на поле брани!

Рыдания комом подступили к горлу. Глаза жгло. Шатаясь, Радлов дошел до двери. Скорей отсюда, скорей... На улице он припал горячей головой к статуе «великого Фридриха». Слезы проложили светлые бороздки на его грязном лице, судорожные всхлипывания сотрясали тело.

И тут его нашел Брандт.

Борман еще находился в комнате, а штандартенюнкеру Губертусу Брандту казалось, будто земля уходит у него из-под ног. Неимоверным усилием воли он взял себя в руки, и, только когда рейхслейтер исчез за бронированной дверью, силы оставили Брандта, лицо его исказилось от боли, и он в отчаянии упал на диван, где только что сидел один из его фюреров.

Отец — его единственная надежда — мертв. Невероятно, но тем не менее правда. Этот шумный, грузный человек, грубоватый баварец больше не существует. Никогда не услышит Губертус его басовитого смеха и смачных проклятий. Он любил отца, любил его простоватое обхождение, его грубые шутки, он восхищался отцом и прежде всего хитростью, с какой тот, не считаясь ни с чем, умножал свой капитал, участвуя в политических и прочих аферах. Он хотел стать когда-нибудь таким же, как отец. Этот пышущий здоровьем человек казался ему символом цветущей неиссякаемой жизни. Только теперь Губертус с болью осознал, что потерял и чем был обязан отцу. Исчезла могущественная рука, отворившая перед ним не одну дверь. Теперь он вынужден будет пробиваться в одиночку.

О матери Губертус не вспомнил. С детства его отпугивал ее необычный, странный образ жизни. Он боялся заходить к ней в комнату, вечно погруженную в мягкий полумрак, там даже днем всегда были наполовину опущены жалюзи. Да и позднее он не мог отделаться от чувства неизъяснимого страха. Никогда не влекло его к этой болезненной женщине, которая была последним отпрыском обедневшего офицерского рода. Он был рад, что в доме не чувствовалось ее присутствия. Целыми днями она лежала на диване, листая французские романы. От матери Губертус унаследовал стройную, изящную фигуру, правильные черты бледного лица и тонкие, прозрачные руки. От отца — практичность и беспощадность. Эти особенности его характера взяли верх даже теперь, когда еще не улеглась боль утраты.

Отец погиб. Ему, видно, не удалось прорваться в Мюнхен, и он пал от русской пули. И теперь сын, Губертус Брандт, встанет на его место. При этой мысли сердце Брандта вдруг замерло, потом неистово забилось от волнения. Он встанет на место отца, да, он! А это значит, что он теперь наследник.

И тотчас Губертус снова почувствовал почву под ногами, которую было потерял. Хладнокровно и трезво он подсчитал: «Я наследник множества хуторов, виллы и довольно крупного состояния. Отныне я

уже не ничтожный штандартенюнкер, существующий благодаря протекции отца, нет, я отпрыск и наследник депутата рейхстага Отто Брандта. А это кое-что значит».

Эта мысль опьянила его. Досадно, правда, что он не знает, как велико отцовское состояние. Отец никогда не говорил с ним об этом, но Губертус был уверен, что тот посвятил бы его в свои дела, если бы им удалось добраться до Мюнхена. Каковы были планы отца на будущее? Быть может, остались какие-нибудь документы? И где? Прежде всего надо знать, куда вложены деньги, в какие бумаги? И где они хранятся?

Вопрос возникал за вопросом. Подперев голову руками, Губертус размышлял. Где ключ к решению задачи и где найти какую-нибудь зацепку? Может быть, поговорить с гаулейтером? Акции — промышленность — генеральный штаб — Америка? Конечно, отец был весьма предусмотрителен, он сотрудничал с офицерами вермахта, за которыми стояли магнаты промышленности. Не зря открыл он в прошлом году в Мюнхене филиал своей конторы. А он, Губертус, как один из деятелей подпольной организации, должен был осуществлять связь с секретной службой Гелена. «Для нас война не кончится, даже когда русские будут в Берлине»,— заявил капитан Юргенс. Стало быть, вот в чем дело: в борьбе с большевиками не забывать и собственной выгоды. Вот что имел в виду отец. Ну и хитрый был человек! «А теперь я встану на его место, и наплевать мне на Бормана и его штурмбаннфюрера Вольфа в Фленсбурге! В Плёне я буду ориентироваться на майора Хаазе, как того хотят офицеры из главного штаба. Так будет надежнее, да и отец хотел того же».

Мысль обрести самостоятельность и власть помогла ему справиться с горем. Он поднялся с дивана и подошел к зеркалу. Лицо снова было хладнокровным, ни один мускул не выдавал его мыслей. «Цель намечена,— подумал он,— но, чтобы достигнуть ее, нужны крепкие нервы. Этого я добьюсь».

Он вышел и на улице наткнулся на обессилевшего, плачущего Радлова.

Прошло несколько минут, прежде чем Радлов узнал штандартенюнкера. Он слышал, что кто-то с ним заговорил, но отвернулся. Радлов не мог никого видеть, хотел остаться один и выплакать свое горе, прежде чем умереть.

Вдруг чья-то рука опустилась на его плечо и с силой повернула. Радлов попытался вырваться, но рука цепко держала его. Наконец подняв глаза, он узнал Брандта и тут же снова отвернулся, пробормотав, как упрямый ребенок:

— Оставь меня в покое...

Брандт еще раз повернул его к себе.

— Что с тобой приключилось? Получил орден — и ревешь, вместо того чтобы радоваться!

На ресницах Радлова еще не высохли слезы, он посмотрел на бывшего школьного товарища. Неужели Брандт продолжает верить в победу? Разве он не видел, что произошло с фюрером? Или не хотел видеть?

— Все напрасно, все...— снова всхлипнул Радлов.

— Что напрасно?

— Война-то ведь проиграна! — крикнул Радлов.

Брандт подумал: «Он сошел с ума. Орет так, что стены дрожат. Видно, на фронте ему здорово досталось. Надо поскорей улепетывать отсюда, а то, пожалуй, влипнешь с ним».

— Пошли,— сказал Брандт,— пошли, Ахим. На мосту, видно, жарковато было, а?

Он схватил Радлова за руку, потащил по какой-то винтовой лестнице мимо часового и втолкнул в уборную.

— Ну вот,— сказал он, облегченно вздохнув,— теперь умойся, стань человеком, а потом расскажешь, что случилось.

Он говорил с ним мягко, как с больным.

Радлов, равнодушный ко всему вокруг, безвольно подчинился и выполнил все, что от него требовали. Когда он снова повернулся к Брандту, тот понял, что Иоахим действительно измучен. На какое-то мгновение Брандт даже почувствовал к нему сострадание. Перед ним был не тот Иоахим Радлов, которого он знал.

— А теперь мы пойдем в казино, закусим, выпьем водочки и кофе,— сказал он,— это тебя живо вылечит.

Казино для младших офицеров СС находилось этажом выше убежища фюрера. И здесь на полу лежали ковры, а на стенах висели картины. Между накрытыми столиками неслышно сновали вестовые в белых куртках. В углу пищал патефон. Радлов ел механически, опустив застывший взгляд на прибор, потом он закурил сигарету, которую Брандт положил перед ним, и выпил одну за другой две большие рюмки водки. Спирт огнем обжег ему горло и ударил в голову.

Брандт все время наблюдал за ним, как врач-психиатр наблюдает за больным. Он не доверял безучастности Радлова и раздумывал над тем, что могло послужить причиной такого неожиданного приступа меланхолии.

Радлов заметил вопрос в глазах приятеля. Горько усмехнувшись, он подумал: «Эх, все равно нет смысла объяснять ему... Это мой последний ужин, зайдет солнце, и мой труп будет валяться где-нибудь среди развалин. К чему еще какие-то разговоры? Если уж он непременно хочет знать, пожалуйста...»

Но так как Радлов молчал, штандартенюнкер заговорил первым:

— Ты считаешь, что все было напрасно?

— Все! Жертвы, смерть Клауса...

— Адам погиб?

— Да.

Брандт замолчал и выпустил дым через ноздри. Потом сказал вполголоса:

— Жаль, хороший был парень. Мой отец тоже погиб.

«Всегда погибают лучшие,— подумал Радлов.— От тех, кто остался, толку мало».

— Почему ты считаешь, что война проиграна? — спросил Брандт.

Радлов твердо взглянул на штандартенюнкера. И, понизив голос, ответил:

— Фюрер, Губертус, фюрер... разве ты его не видел?

«Стало быть, вот что выбило его из колеи. Ужасный вид Гитлера. И как это я сразу не догадался, совершенно ведь ясно. Он был всегда слишком доверчив, этот наивный Радлов. Понятно, что подобное зрелище подействовало на него угнетающе».

— Фюрер в таком состоянии, что, конечно, не может уже быть хозяином положения,— продолжал Радлов.— А если мы проиграем войну, то оставшихся в живых повесят, как сказал однажды сам Гитлер. Помнишь?

— Да, конечно.

— А я не хочу, чтобы меня вешали,— возразил Радлов.

Брандт кивнул вестовому и заказал коньяк.

— Что это значит? — спросил он.

— А это значит, что я либо погибну на поле брани, либо застрелюсь.

Штандартенюнкер взглянул на приятеля. Лицо Радлова оставалось спокойным, но Брандт прочел на нем непоколебимую решимость претворить свои слова в действие. «Трусом он никогда не был,— подумал Губертус,— он сделает, как сказал, это не пустая болтовня». И в тот же миг ему пришла в голову блестящая мысль, которая заставила его разволноваться. А что, если приказать Радлову работать на него? Этот парень всегда считался смельчаком, лучшего связного не найти. Правда, в таком случае надо прежде всего выбить у него из головы дурацкую мысль о самоубийстве. И Брандт сказал:

— Эти слова я уже сегодня слышал.

— Какие?

— «Я застрелюсь».

В другом конце комнаты совсем молоденький пьяный унтерштурмфюрер завел новую пластинку и грубым голосом стал подпевать: «Вот как у казармы, у больших ворот...»

— От кого? — спросил Радлов.

— От фюрера, Ахим. Он заявил, что война проиграна.

— Вот видишь! И у тебя не будет выбора.

Только теперь Радлов сообразил, что он даже не поинтересовался, каким образом очутился здесь Брандт. Он ведь думал, что Брандт взрывает где-то мосты и склады оружия.

Штандартенюнкер закурил новую сигарету и неторопливо ответил:

— Ты ошибаешься, Иоахим, я не овца, чтобы добровольно лечь под нож. Так, мой милый, недолго и промахнуться. Германия будет существовать, пока существует наше движение.

— И ты хочешь, чтобы я поверил, будто фюрер...

Брандт сделал отрицательный жест.

— А, фюрер,— отрывисто сказал он,— и что тебе дался этот Гитлер? Он — человек конченый, на нем надо поставить крест. От него ждать больше нечего. Но ведь с Гитлером идея не умрет. Неужели ты думаешь, что с проигранной войной погибнет и наше движение? По секрету могу тебе сказать, что сейчас такое готовится, о чем ты и мечтать не смеешь. Или ты воображаешь, что американцы будут сложа руки смотреть, как русские большевизируют Германию? Мой милый, ты страшно заблуждаешься. Мы продолжим работу в подполье, у нас и сейчас уже есть подпольная армия, и мы боремся. А ты, дурачок, болтаешь о смерти! Теперь-то как раз и надо жить, чтобы бороться с большевизмом. В этом сейчас твой долг, долг немца. А умереть ты всегда успеешь. Подожди, пока мы выступим.

Он залпом осушил рюмку и повторил:

— Пока мы выступим.

Но Радлов молчал. Пьян Брандт, что ли? Не похоже, чтобы водка ударила ему в голову. Если Брандт за что-нибудь берется, у него все продумано. Это уже наверняка. На него можно положиться. Но сейчас, при создавшемся положении, следует ли ему верить?

Брандт прервал его мысли:

— Наши усилия не напрасны, Ахим, мой отец, и Адам, и все другие погибли не напрасно. Германию никогда не удавалось уничтожить, всегда находились люди, охранявшие национальное достоинство нашего народа от недочеловеков. А теперь нам завещано вести поверженную Германию к новой победе, такова наша цель. Рейхслейтер Борман сегодня назначил меня руководителем северной группы «вервольфа». Ночью я уезжаю из Берлина. Наши подпольные действия против западных

держав прекращаются. Понимаешь, что это значит? Мы собираем силы и в один прекрасный день наносим удар по большевикам — возможно, совместно с американцами. Изгоняем русских из Германии. Ну как, это тебе нравится? Веришь, что Германия будет великой и могущественной державой?

Радлов медлил. Он слишком свыкся с мыслью о смерти и вошел в роль трагического героя. Теперь ему трудно было возвращаться к жизни. Неужели жизнь снова обрела смысл? Удастся ли действительно возродить великую и могущественную Германию? И он коротко ответил:

— Вероятно, ты прав.

— Слушай,— Брандт наклонился к нему через стол,— у меня есть для тебя задание, приказ. Ты останешься членом гитлерюгенда, ты...

В эту минуту, перекрывая шум в зале, раздался голос из репродуктора. Громко, угрожающе он начал передавать последние известия: «Сегодня вечером в сражающейся имперской столице Адольф Гитлер принял члена гитлерюгенда Иоахима Радлова из Вергенштедта. Семнадцатилетнему юноше фюрер собственноручно вручил Железный крест второй степени за уничтоженный им в бою на Хафельском мосту русский танк...»

IV

Депутат рейхстага Отто Брандт сердито выключил приемник своего «мерседеса». Он надеялся услышать в последних известиях сообщение о своей собственной смерти. Но о нем ничего не сказали. Он был разочарован, страдало его тщеславие. Разве за все годы, отданные им «движению», он не заслужил некролога? Но, видно, в Берлине смерть старого борца и депутата рейхстага не воспринимали столь трагично, по всей вероятности, там больше дорожили живыми, мертвых и без него хватало. А ведь приятно было бы, посасывая сигару, услышать, каким ты был выдающимся человеком. И этого удовольствия его лишили. Кстати, верховное командование вермахта, видно, не знало, где проходит линия фронта. Кроме сообщений о боях за Берлин и Бреслау радио передавало лишь призывы держаться до последнего, а они были для Брандта сейчас совершенно бесполезны. Еще что-то говорилось о юноше из гитлерюгенда, подбившем танк, родом из Вергенштедта, который депутат Брандт сегодня покинул. Как, бишь, его зовут? Радлов, да, Иоахим Радлов. Имя показалось ему знакомым, и он подумал: «Возможно, кто-нибудь из друзей Губертуса? Во всяком случае, мальчик доказал свою отвагу, и если все мои фольксштурмисты из Вергенштедта будут так сражаться, тогда — и при этой мысли он вдруг звонко рассмеялся,— тогда меня еще, быть может, наградят посмертно Рыцарским крестом...» Но сегодня утром, когда фронт приблизился к городу, его люди выглядели далеко не такими отважными. Всю ночь Брандт провел в ратуше, на командном пункте фольксштурма, ожидая приказа выступать. Только в три часа утра позвонил гаулейтер и рявкнул в трубку:

— Пора, Отто! Можешь высылать людей на позиции. Ни пуха ни пера!

Брандт только и ждал этих слов, они послужили ему сигналом к исчезновению. Он знал, что гаулейгер тоже немедленно покинет город. Но прежде чем уехать, гаулейтер обещал Брандту урегулировать одно дельце, оказать ему в известном смысле дружескую услугу, а именно: сообщить по телеграфу Борману, что депутат рейхстага Отто Брандт пал на поле брани. Затем связь с Берлином прервется. Для Брандта это озна-

чало: вперед в Мюнхен! Быть может, Губертус тоже находится сейчас на пути к городу на берегах Изара.

Повесив трубку, Брандт оповестил всех группенлейтеров, что производит их в компанифюреры. Затем отдал приказ включить установленную на крыше школы сирену. Ее протяжный вой разносился в ночи бесконечно долго. Этот сигнал давно уже был известен жителям. Он означал — быть в полной боевой готовности, Красная Армия наступает, населению укрыться в подвалах, а фольксштурмистам собраться на гимнастическом плацу. Только после этого Брандт позвонил жене:

— Собирайся, мы уезжаем.

Теперь, используя переполох в городе, можно было и уехать, незаметно исчезнуть. Но такой тайный побег был ему не по душе. Фольксштурмисты разбегутся, если увидят, что их командира нет на месте. До отъезда он должен им по крайней мере показаться. Поэтому Брандт ждал, сидя за письменным столом бургомистра, пока ему не доложили, что батальон собрался на плацу. Тогда, втянув живот и поправив портупею, Отто Брандт. грузно ступая, вышел из ратуши.

На плацу выстроились его солдаты. Солдаты? Эта горстка несчастных, в поношенных мундирах и кое-как вооруженных людей представляла собой жалкое зрелище. Хромые и кривобокие старики, калеки и дети, пытаясь изо всех сил выглядеть воинственно, корчили свирепые физиономии. Но, проходя вдоль рядов, Брандт отлично видел, что немногие из них жаждут умереть за Германию. У большинства можно было прочесть в глазах отчаяние и страх. Широко расставив ноги и засунув большие пальцы за портупею, Брандт, облаченный в темную коричневую форму, стоя среди плаца, произнес энергичную речь. Затем он приказал выдать всем боеприпасы и занять позиции в окопах, вырытых на окраинах города. Компанифюрерам он приказал собраться через час в ратуше. Сам же покинул отряд и направился домой.

Ровно в шесть часов он открыл кованую железную калитку своей виллы. Сквозь молочную пелену утреннего тумана с трудом пробивались лучи восходящего огненного шара. В городе, до сих пор не пострадавшем от бомб, все было спокойно, в парке среди густых ветвей серебристых елей звонко и весело пели свою утреннюю песню птицы. Если бы не постепенно приближавшийся грохот, могло бы показаться, что город живет мирной жизнью.

Брандт шел по каменной дорожке сада, и четкий звук его шагов нарушил видимость покоя. Он с шумом распахнул дверь и вошел в вестибюль. Сусанна, его жена, сидела в одном из глубоких кожаных кресел, накинув на плечи меховую пелерину. Лицо ее смутно белело на фоне темных, обшитых дубом стен. Отто Брандт остановился в дверях и коротко спросил:

— Ты готова?

Она ответила легким кивком.

— Хорошо, хорошо.

На ходу он отстегнул портупею и пистолет, бросил их в кресло рядом с неподвижно сидящей женой и, громыхая сапогами, поднялся наверх. По дороге он успел еще крикнуть ей:

— Нельзя терять ни минуты, самое позднее через три часа здесь будут русские.

Вбежав в свою комнату, он сорвал с себя коричневую рубаху, с проклятьями принялся стаскивать узкие сапоги. А через две минуты уже стоял в вестибюле во всем штатском, накинув на плечи непромокаемый плащ. Он вынул пистолет из кобуры, проверил магазин и, удовлетворенный, опустил его в карман куртки. Жена все еще молча и неподвижно

сидела в кресле, следя за ним равнодушным взглядом. Она поднялась только после его окрика:

— Пошли!

В кабинете он отпер потайной ящик своего стола, вынул пачку денег и сказал:

— Мне нужны твои бумаги.

Сусанна вышла из комнаты, но тут же снова вернулась, держа в руках сумку из блестящей черной кожи, и молча протянула ее мужу. Он извлек пачку документов, небрежно просмотрел, затем постепенно сжег их над свечкой, а пепел сдул со стола. Сусанна по-прежнему молча следила за ним.

— Так,— произнес Брандт довольным тоном, закончив эту работу,— теперь запомни: Отто и Сусанна Брандт умерли, только что умерли. Их больше не существует. Тебя зовут Элона Шиндлер, по профессии ты балерина, проживала в Ратиборе. Дата твоего рождения указана в новом паспорте. Вот он.— Брандт сунул документы в ее сумку.— Я твой муж,— продолжал он,— Альфонс Шиндлер, по роду занятий коммерсант, сорока восьми лет, также из Ратибора. Надеюсь, ты поняла меня? Да, вот еще что: ты урожденная Крачковская, твоя мать — полька.

— Нет!

Это было первое слово, произнесенное Сусанной, очень тихо, почти шепотом, но совершенно отчетливо. Брандт задвинул потайной ящик и запер его, точно собирался выйти из дому всего на несколько минут. Он встал и спросил, не глядя на жену и не отвечая на ее восклицание:

— Надеюсь, ты все поняла?

— Нет!

— Что — нет? — заорал он.

— Я урожденная Зедлиц,— сказала она тихо и спокойно, но очень гордо.

— И что же?

— Если это имя ничего не говорит тебе, то я ценю его весьма высоко.

Она посмотрела на него насмешливо и сверху вниз. Брандт рассвирепел. Она всегда кичилась своим дворянским происхождением, эта генеральская дочка, и вышла за него замуж только из-за денег. Он знал это давно. Она была холодной и бессердечной все годы их супружества, холодной и расчетливой, да к тому же гордилась тем, что умеет кое-как болтать по-французски, бренчать на рояле и получила так называемое высшее образование. А ну ее к черту, сейчас дорога каждая минута, пусть остается, если не желает ехать.

Брандт повернулся, вышел, хлопнув дверью, и побежал через сад к гаражу. Выведя машину и убедившись, что оба чемодана с продуктами и одеждой на месте, он подумал: «Придет, никуда не денется. Побоится остаться в пустом доме». Он разогревал мотор и ждал. Но Сусанна не шла. Тогда он бросился обратно, чертыхаясь оттого, что терял драгоценное время. Сусанна сидела, как и прежде, в кресле, высокомерная и гордая, с презрительной усмешкой на губах.

— Ты едешь или нет?

— Только как Зедлиц. Иначе нет.

Брандт разразился лающим смехом. Он видел ее презрительную усмешку и думал: «Пусть себе пыжится и важничает, но оставлять ее здесь ни в коем случае нельзя. Не то лопнет, как мыльный пузырь, эта басня о моей смерти. Она должна ехать, хочется ей или нет».

Теперь в его голосе зазвучали угрожающие нотки:

— Хочешь чтобы тебя изнасиловали русские?

— До этого не дойдет. Оставь мне ключи от ящика с оружием.

Он снова рассмеялся, на этот раз зло и грубо. Подойдя к ней, он крикнул тоном, не допускавшим возражений:

— Пошли! Живей!

И так как она даже не шевельнулась, он схватил ее за руки и швырнул об стену. Время не терпит, у него больше нет охоты препираться с ней.

— Дело идет о жизни и смерти, дурища,— заорал он.— Не понимаешь, что ли? Я тебе покажу, что такое неповиновение! — Не дожидаясь ответа, он схватил ее, поволок к двери, вытолкнул на лестницу и стащил вниз к машине. Бросив ее, точно мешок, на заднее сиденье, он запер дверцу. Затем дал газ, вывел машину из ворот, промчался по городу в западном направлении и выехал на шоссе, с которого через несколько сот метров свернул в луга.

Лицо Сусанны покрылось красными пятнами, она вся сжалась в комок и сидела молча. Брандт ни разу не обернулся, в течение трех часов они не обменялись ни единым словом. Но вот он остановил машину, достал из чемодана продукты и положил их перед женой. Сусанна с полным безразличием взирала на все происходящее и к пище не притронулась.

Брандт размышлял, задумчиво посасывая сигару. Уже давно остались позади луга, где он когда-то охотился и знал каждую тропку. На протяжении пути они встретили лишь несколько человек. Все шло именно так, как он и предвидел. По шоссе медленными тяжелыми волнами катился поток беженцев. Там Брандта могли узнать, пусть даже по какой-нибудь глупой случайности, или он мог застрять в толпе и его нагнали бы русские. Да, он поступил правильно, избрав проселочные дороги, хотя и менее удобные для движения, но зато безопасные. «А люди ведь настоящее стадо,— размышлял он,— они чувствуют себя хорошо только в толпе».

Правда, ему пришлось призадуматься, когда полчаса назад он наткнулся на покинутый дом лесника. Неужели русские уже так продвинулись, что наступают ему на пятки, или американцы перешли Эльбу и семья лесника предпочла выйти им навстречу? Радио ничего не сообщало о военном положении.

И вот он сидит теперь на опушке леса, скрытый со всех сторон густым кустарником, и не знает, где же, собственно, проходит линия фронта. Он вытащил карту и, разворачивая ее, злобно прошептал:

— Из-за твоих дурацких кривляний мы уже, кажется, сели в лужу.

Сусанна не ответила. Карта мало чем могла помочь. Он понял только, что если поедет дальше, то через двенадцать километров попадет в маленькую деревушку на берегу Эльбы. Там есть мост. Но в чьих руках эта деревушка? Все ли еще это «ничейная» земля, или там уже русские? Ничего не поделаешь, надо рискнуть хотя бы подъехать к деревне. Может быть, кто-нибудь попадется навстречу и расскажет, как обстоит дело.

Когда машина уже тронулась, Брандт подумал: «Опасная местность, на три километра вокруг все просматривается. Если русские уже здесь, им ничего не стоит подстрелить меня, как зайца». И он невольно пригнулся к рулю. Машина подпрыгивала на разбитой дороге, точно жеребенок, их швыряло из стороны в сторону, и Брандту пришлось сосредоточиться, чтобы не потерять управление. Лишь изредка кидал он быстрый взгляд на поля, где из черной земли пробивались зелененькие стрелки озимых. Кругом было спокойно. Некоторое время машина мчалась вперед без задержек. Вдруг Брандт заметил в небе темную точку,

она приближалась, увеличивалась с головокружительной скоростью. Он рывком остановил машину. Сусанну бросило вперед. Брандт крикнул:

— Бомбардировщик! — Он рванул дверцу.— Скорей выходи!

Улучив минуту, он помчался к изгороди метрах в двадцати от дороги. Изгородь делила поле надвое, но это было весьма сомнительное укрытие. И только когда Брандт задыхаясь упал на землю, он увидел, что Сусанна не последовала за ним. Вдруг он с ужасом вспомнил о ключе. Ключ! Ведь он запер заднюю дверцу, опасаясь, как бы Сусанна не выпрыгнула по дороге из машины. Удалось ли ей выбраться?

Брандт трусливо приподнял голову над изгородью. Поздно! Он хотел закрыть или отвести глаза, но какая-то магическая сила приковала его взгляд к машине, в которой жена отчаянно дергала дверцу. И тут свою жертву настиг ревущий самолет. Застучала пулеметная очередь, полетели осколки стекол, взорвался бак, машина вспыхнула, как факел. Низко, почти задевая изгородь, самолет пролетел над Брандтом. Он увидел на несущих плоскостях американские опознавательные знаки, уткнулся лицом в землю, буквально распластался, словно хотел втиснуться в нее. Так он лежал несколько минут, парализованный страхом, прислушиваясь к потрескиванию пламени. Затем Брандт с трудом поднялся и стряхнул с одежды налипшую грязь. Он пытался отвести взгляд от машины, но подумал и пошел к горящим обломкам. Правда, из предосторожности он остановился, не дойдя до нее. «Все, что мне нужно, при мне,— размышлял он,— деньги, документы, пистолет. А женщина сгорит и постепенно обуглится. Для нее это лучше, и она наверняка умерла мгновенно. Кто знает, что ждало ее впереди... Она ведь привыкла к роскоши, а в Мюнхене я не мог бы обеспечить ей такой жизни, во всяком случае вначале. Ведь все эти годы она была для меня только обузой».

С полным равнодушием и без тени печали смотрел он на пламя. Машина погибла. Жаль. Придется шагать пешком. Тем или иным способом, а уж до Мюнхена он доберется. Пешком даже удобнее, чем в громоздком «мерседесе», который был плохой защитой от опасностей. Брандт резко повернулся и широким шагом пошел прочь.

Минут через десять ему навстречу попался мотоциклист, который резко затормозил в нескольких шагах от него. Мотоциклист, ефрейтор, кивком подозвал Брандта. Из коляски вылез унтер-офицер в каске с расстегнутой кобурой на боку.

— Вы не знаете, что там горит?

— Моя машина.

— А с вами ничего не случилось?

— Нет, пронесло.

Брандт исподтишка наблюдал за унтер-офицером и выжидал. «Их двое,— размышлял он,— посмотрим, чего они хотят. Если дело примет дурной оборот, я буду стрелять. И тогда из двух останется только один».

— Верно, бомбардировщик? — добродушно спросил унтер-офицер.

— Да.

— Ну, вам не повезло. А мы из деревни увидели дым и решили, что наш капитан влип. Он где-то здесь разъезжает в своей машине.

Он поискал в кармане сигареты, но не нашел. Брандт предложил ему сигару. Унтер-офицер осмотрел ее и обрезал кончик.

— Ого какая! Откуда?

— От русских спас.

Оба рассмеялись, как над остроумной шуткой. Брандт осведомился о положении в деревне и узнал, что там полным-полно солдат и бежен-

цев. Сегодня утром американцы разбомбили мост, но саперы скоро восстановят его. Есть надежда, что переправу можно будет начать часа через три, правда, прежде всего переправят войска.

— Мы хотим попасть к американцам,— заключил унтер-офицер,— а потом домой. Все равно ведь скоро конец.— И после небольшой паузы добавил:— Знаете что... если вы уступите еще несколько этих штучек,— он показал на сигару,— я прихвачу вас в деревню.

— И через Эльбу,— торговался Брандт.

— Нет, только в деревню. Через Эльбу будут переправлять одних солдат. Ничем помочь не могу.

С этим унтер-офицером можно было договориться, он не спрашивал, почему человек цветущего вида разгуливает в штатском. Его интересовали сигары и возможность поскорее попасть домой.

В деревне Брандт передал ему сигары.

— Здесь ждать — пустое дело,— сказал унтер.— Не успеем мы перебраться на тот берег, как подоспеют русские. Идите вверх по Эльбе, там где-то есть брод.

Но Брандт прежде всего осмотрел деревню. Она была переполнена беженцами, расположившимися в сараях и конюшнях. Оборванные, измотанные, они, как видно, уже много дней брели по дорогам страны. В садах и на луговинах, между танками, грузовиками, орудиями и легковыми машинами разбили свои палатки солдаты, кое-как прикрыв их ветками для маскировки. Совсем юные парнишки копали могилы, чтобы похоронить нескольких убитых штатских и солдат — жертв воздушного налета. У околицы еще дымились развалины двух сгоревших усадеб.

Да, ждать действительно не имеет смысла. Русские могут появиться раньше, чем войска будут переброшены на ту сторону. Да и вообще оставаться в этом местечке небезопасно. По примерному подсчету Брандта, здесь скопилось более четырех тысяч человек, американским летчикам стоило сбросить десяток-другой бомб, и от всех этих людей останется мокрое место.

Брандт подошел к самому берегу Эльбы. Река далеко вышла из берегов и, как обычно весной, затопила близлежащие луга. Середину моста разнесло несколькими прямыми попаданиями. Обнаженные до пояса саперы, обливаясь потом, работали под горячими лучами солнца. Работа у них была опасная. После таяния снегов вздувшаяся река мчалась, словно взбесившееся животное, все снося на своем пути.

Брандт в нерешительности остановился и с тоской посмотрел на противоположный берег, суливший ему убежище и безопасность. Он должен переправиться любыми средствами. Может быть, переплыть?

Брандт постоял в раздумье. Хорошим пловцом он никогда не был, а Эльба река бурная, понесет его и он еще, пожалуй, утонет, как котенок. Нет, слишком опасное и почти безнадежное предприятие. Вот если бы достать лодку...

Он решил довериться своей счастливой звезде и идти берегом вверх по течению, как ему советовал унтер-офицер. К тому же следовало убраться из битком набитой деревни.

Два часа Брандт шагал берегом Эльбы, но так и не нашел переправы. Непривычное путешествие изнурило его, он вспотел и выбился из сил, к тому же голод давал себя знать, в желудке бурчало все сильнее. Он обрадовался, когда наконец за поворотом реки увидел дымок, поднимавшийся из трубы, и небольшой двухэтажный домик с красной крышей. По всей видимости, здесь жил перевозчик. За домом Брандт заметил мостки, протянувшиеся метра на три над водой. К ним цепью была

привязана лодка. В первую минуту он не поверил своим глазам. Но нет, это не сон, не фантазия.

Лодка принадлежала лоцману, жившему в домике вместе с женой. Он водил баржи вниз по Эльбе, оттого что русло в этих местах не было расчищено. Но этот жилистый шестидесятилетний старик не обнаружил никакого желания стать перевозчиком. Он окинул Брандта испытующим взглядом маленьких умных глаз и неторопливо ответил, подчеркивая каждое слово:

— Нет, уважаемый господин, вы ошибаетесь. Я не перевозчик.

Брандт, стоявший в низкой комнатке во весь рост, был значительно выше и сильнее лоцмана. Но его физическое превосходство никак не могло помочь ему при создавшемся положении. Лодка была привязана и заперта на замок, а ключ находился у этого человека. Нет смысла убивать его, надо попытаться поладить с ним.

— Я заплачу вам за труды,— сказал он, открыл бумажник и положил на стол банкнот в сто марок.— Пожалуйста.

Жена лоцмана стояла у очага, помешивая суп в горшке. Седые волосы прядями падали ей на лоб. Сил у нее, как видно, немного, опасности для Брандта она не представляла. Он увидел быстрый алчный взгляд, который она бросила на деньги.

Лоцман не дотронулся до бумажки. Степенно и неторопливо он раскурил свою трубку и пробормотал:

— А вам, господин, очень уж срочно понадобилось на тот берег?

— Да вам какое дело?

Лоцман не обратил внимания на его ответ. Он спокойно пускал голубые струи дыма и продолжал:

— А может, за вами кое-какие грешки водятся, уважаемый... Не знаю... может, вы крейслейтер или эсэсовец. Вы и смахиваете на такого.

— Ладно.— Брандт с усилием подавил ярость и выложил на стол еще пятьдесят марок, теперь наверняка достаточно за перевоз, ведь он займет минут десять, не более.

И снова он поймал взгляд, брошенный женщиной.

— За перевоз-то достаточно,— согласился лоцман,— да недостаточно за дела, которые натворили вы и ваша братия.

— Нет так нет,— ответил Брандт очень спокойно, взял деньги со стола и спрятал их. «Это социалист,— подумал он,— какой-нибудь красный, которому удалось в свое время улизнуть от нас. Ну подожди же. Я поговорю с тобой по-иному».

— Так, значит, вы не хотите меня перевезти? — спросил он еще раз.

— Нет!

— Хорошо же! — Не спуская глаз со старика, Брандт мгновенно сунул руку в боковой карман и вытащил пистолет. Отскочив на два шага, он встал так, что оба старика оказались в поле его зрения.— Тогда поговорим по-иному. А ну, руки вверх, да поживей! А вы, эй, повернитесь-ка к стене, милашка. И горе вам, если будете кричать, пристрелю!

Медленно и неохотно лоцман поднял руки.

— Думаете этим чего-нибудь добиться?

— Где ключ от лодки?

— Не знаю.

Брандт потерял терпение.

— Послушайте,— его голос выражал крайнюю решимость,— у вас есть две возможности. Или вы перевезете меня сейчас же, или я вас укокошу, затем разобью замок и переправлюсь на ту сторону сам. Только прежде я и жену ваши пристрелю.

Седая женщина, стоя лицом к стене, тихо всхлипнула.

— Да перевези ты его, Вилли,— попросила она.

Глаза лоцмана сузились. Брандт видел, что он пытается придумать какой-нибудь выход. Но ему угрожал пистолет.

— Да уж ладно, поехали.

Лоцман медленно вышел из-за стола и снял с гвоздя шапку, Брандт, с пистолетом в руке, последовал за ним. И даже стоя на противоположном берегу и оттолкнув лодку, он все еще направлял черное дуло на недоброхотного перевозчика. Несколько мгновений Брандт размышлял, спустить курок или не спускать. Одним свидетелем меньше. Но потом решил: черт с ним, пусть катится... Увидев же, что лоцман, доплыв до середины реки, погрозил ему кулаком, Брандт только презрительно улыбнулся.

V

В течение трех дней пытался штандартенюнкер Губертус Брандт выбраться из столицы. Но тщетно. Красная Армия сомкнула кольцо вокруг Берлина, и Брандт сидел, как мышь в мышеловке. Нигде не найти лазейки, в которую он мог бы ускользнуть, подвала или развалины достаточно надежных, чтоб в них укрыться. Повсюду свистят пули, рвутся снаряды.

Безопасно теперь только под землей, под толстым железобетонным перекрытием, глубоко внизу — в чреве земли. Губертус вынужден снова и снова спускаться в царство теней, в подземное убежище, как ни жутко было ему. Но там он по крайней мере защищен от русского стального урагана, и можно попытаться отсрочить трагическую развязку. Оставалась ли у него какая-нибудь надежда? На что? Может быть, на случай, на удачу, на других, кто, как и он, поставил все на карту...

Духота в баре была такая, что он чуть не задохнулся. Вентиляторы не работали, сквозь град пуль в коридоры прорывались тучи пыли, все время мелко дрожали стены. Брандта захлестнул дикий шум. Рев, идиотский хохот, свист, сладострастные стоны, хлопали пробки от шампанского, визжали пьяные телефонистки и горничные. Началась развязка трагедии. Это была поистине пляска мертвецов.

Брандт был совершенно трезв, он один пил здесь крепкий черный кофе. Но не одурманенный алкоголем мозг отчетливо сознавал весь ужас происходящего.

Русские пытались прорваться к убежищу со стороны станции метро «Анхальтер». Когда наступит конец?

В нижнем этаже убежища Гитлер готовился к свадьбе с Евой Браун. Рекой лилось шампанское, пьяный шум нарастал... Фюрер остался наедине с «адской девой». Через час за бронированной дверью раздался одинокий выстрел. Гитлер был мертв, Ева Браун приняла яд. Это произошло тридцатого апреля, в четыре часа дня. Вечером уже никто не обращал внимания на тоненькую струйку дыма, вившуюся там, где были сожжены их облитые бензином трупы.

А в баре все так же надрывались патефоны, потные руки искали грудь девушек, одна из телефонисток, безобразно напившись, отплясывала на столе. На пол летели бутылки, хрустели под ногами осколки, пляска на столе закончилась истерическим припадком. Девушка сорвала с себя одежду. Отовсюду понеслись вопли и крики. Совсем обезумев, сползла она со стола в объятия какого-то оберштурмфюрера, который уволок ее в угол.

Брандт отвернулся, и его взгляд остановился на молодом долговязом пареньке. На детском молочно-розовом лице глупо таращились пьяные глаза. Что-то бормоча про себя, мальчик неожиданно выхватил пистолет и приставил его к виску. Дикий шум разыгравшейся оргии заглушил выстрел, осевшее на сторону тело свалилось со стула, и никто не обратил на него внимания...

Истерия, пляска мертвецов... Вот он, конец!

Никто не прислушивался к шороху оползающей земли за обшивкой стен, к дробному стуку щебня и гальки, к буре рвущихся снарядов и бомб.

Дух уничтожения и катастрофы царил на улицах.

А полевая жандармерия все еще вытаскивала дезертиров из щелей и подвалов. Кому везло, того не расстреливали на месте, а гнали под огонь противника. Потсдамская площадь превратилась в груду развалин, красные и белые звезды осветительных ракет рассыпались над станцией метро «Анхальтер» и ярко освещали вокзальное убежище. Оно уже было в руках Красной Армии, эсэсовские части, занимавшие последний оборонительный пояс вокруг Вильгельмплац, оставив убежище, станцию метро и отель «Эксельсиор», отошли. Войска маршала Жукова продвигались вперед и гнали немцев по Шлоссбрюкке и Унтер-ден-Линден. Эта широкая нарядная улица была завалена трупами солдат, павшими лошадьми, обломками орудий, сгоревшими танками... Вильгельмплац, Фоссштрассе, старую и новую рейхсканцелярию окутал густой дым... В центре города отдельные группы солдат еще пытались сопротивляться, но они уже давно потеряли связь друг с другом. Немецкая армия растаяла, остался один-единственный батальон на Вильгельмплац. Этот батальон был последней надеждой подземных пленников, последней соломинкой, за которую хватался и Брандт.

В двадцать один ноль ноль армия получила приказ: все оставшиеся танки стянуть к убежищу, всем находящимся в убежище под командованием Бормана и под прикрытием батальона на Вильгельмплац сделать попытку прорваться.

Пьяный гомон постепенно смолкал, тех, кто никак не мог уняться, утихомирили трезвые. Одни не держались на ногах, другие спали в креслах, но все-таки нашлась горсточка эсэсовских офицеров, готовых в качестве статистов принять участие в последнем действии этой трагедии.

Брандт лихорадочно стал собирать вещи, без разбора кидая в рюкзак, что попадалось под руку, потом все опять вытащил и, придя в себя, начал спокойно рассуждать. «Штатская одежда, туфли и продукты — вот основное, что мне нужно,— решил он,— прежде всего рюкзак не должен быть тяжелым, мне придется долго идти!» Губертус взвесил рюкзак в руке. Можно выходить. Огневого шквала он уже не боялся, все казалось ему лучше бесплодного ожидания. «Прорвутся не все,— думал он,— но ведь и я могу попасть в число тех, кому повезет».

Горстка обреченных собралась у выхода в бывший сад рейхсканцелярии. Теперь его буквально перепахали снаряды. Борман укрылся в одной из ниш в стене и обсуждал что-то с эсэсовским бригадефюрером. Ему приходилось кричать, чтобы тот его понял. А бригадефюрер, стараясь перекричать шум, передавал приказы Бормана дальше. В перерывах между залпами до Брандта доносились обрывки этих распоряжений: «Идти по подвалам и туннелям... станция «Вильгельмплац»... по путям до Фридрихштрассе... Боевая группа Монке... Переход по мосту Вейдендам... Станция «Лертер»... Встреча на главной квартире в Плёне... Выступаа-ать!»

VI

Кто-то молился: «Отче наш, иже еси на небеси... Избави нас от лукавого... яко твое есть царствие, и сила и...» Голос оборвался. Какая-то женщина то кричала, резко, с взвизгиванием, то хохотала злым безумным смехом. Кто-то с отчаянием взывал:

— Огня, ради господа, неужели ни у кого нет огня...

Радлов не различал людей, он только слышал их голоса и чувствовал, что, ища спасения, они инстинктивно льнут друг к другу. Все кругом было погружено во мрак, и никто не видел, откуда хлынула вода.

Вода! Вначале она шумела где-то вдали, не поймешь где, от этого шума Радлов и проснулся. «Сколько же я спал? — подумал он.— Верно, часа три-четыре». На самом деле он проспал целых тридцать шесть часов. Теперь Радлов снова вспомнил свой последний разговор с Брандтом, усталость, внезапно охватившую его, и приказ, который он получил от Брандта. Когда он вернулся к разбитым колоннам рейхсканцелярии, машины уже не было, он перешел большую просторную площадь и, пошатываясь, двинулся дальше, хотя его и одолевал сон.

Черная пасть с огромным перекошенным «М» поглотила Радлова, внизу он побрел по туннелю, спотыкаясь о щебень и рельсы, толкая людей с мешками, чемоданами и детскими колясками, наконец свалился в каком-то углу и, скрючившись, заснул там. А потом показалась вода.

Вода! Вначале доносилось лишь тихое нежное журчание. Затем она дошла до щиколоток. Вокруг него стоял сплошной крик страха и отчаяния. Вода поднималась все выше.

Кто-то схватил Радлова за плечи, ощупал грудь, пуговицы мундира, ремень. Он хотел оттолкнуть руку, но тут сдавленный смертельным ужасом голос спросил:

— Ты солдат?

«Девушка,— подумал Радлов,— девушка, молодая женщина или ребенок».

— Да, я солдат,— неохотно ответил он.

— Я не умею плавать,— продолжал голос,— я утону, если ты не спасешь меня.

«Как же я спасу ее,— подумал Радлов,— если не знаю, откуда идет вода. Тут не спасать, а удирать надо. Вода-то все прибывает, как начнут все цепляться друг за друга, так потянут и меня за собой».

— А ты знаешь, откуда вода? — спросил он в темноту, наполненную криками и воплями.

— Они, видно, открыли шлюзы Ландверского канала,— ответил голос, неизвестно кому принадлежащий.

— А где этот канал?

— Не знаю. Но ты должен меня спасти, я не хочу утонуть.

Голос просил и молил, и рука не отпускала ремень. Радлов решил. «Я должен выбраться отсюда, непременно выбраться, есть же здесь выход, можно выбраться наверх, туда, где нет воды».

— Давай руку,— приказал он, но тут же решил иначе и спросил: — А пояс у тебя есть?

— Да, на пальто.

Радлов отстегнул передний ремешок портупеи, рукой пошарил в темноте, там, откуда доносился голос, ощутил теплое тело и тугие яблоки груди. «Женщина,— подумал он,— а молодая или старая, это уже все равно. Плавать она не умеет, придется взять с собой. Не оставлять же ее тут».

— Бери ремень,— приказал он,— привяжи к своему поясу... Вот так, а теперь пошли!

Связанные одним ремнем, они начали пробираться вперед. Им преградил дорогу клубок человеческих тел, но Радлов отталкивал всех, кто попадались на пути. А вода все поднималась, вот она уже дошла ему до колен, вот поднялась еще выше...

— Идем!

Спотыкаясь, побрели они вперед, скользя по грязи и размытой земле. Радлов упал на рельсы, потянув за собой незнакомку, но тут же со стоном поднялся.

— Идем, идем!

Все глуше и глуше звучали за ними крики и бессмысленные призывы:

— На помощь, на по-о-омощь!!

Кругом ведь никого не было, кто мог бы оказать эту помощь. Вода доходила им уже до пояса. Она все еще поднималась и поднималась, на поверхность всплывали чемоданы, ящики, пустые консервные банки, узелки. И трупы. Радлов натыкался на них, борясь с потоком, отпихивая одеревеневшие тела, если они преграждали ему путь. Наконец вдали он увидел слабый лучик света, потащился к нему и потянул за собой всхлипывающую девушку. А вода нагоняла его, теперь черные зловонные волны доходили ему до груди. «Нам не выбраться,— решил он в отчаянии,— вода прибывает слишком быстро, мы утонем, как и все». Но он не сдавался, он продолжал бороться с мужеством человека, которому нечего терять, скользя, пробиваясь шаг за шагом вперед, пока наконец не добрался до источника света — шахты с отверстием. Стальная лесенка вела вверх. Он решил передохнуть и крепко схватился за стальные поручни. Но усталость дала себя знать, и только теперь он заметил, что силы его на исходе. Медленно, перекладина за перекладиной поднимался он, девушка, связанная с ним ремнем, карабкалась следом. Наверху оказалось новое препятствие. Железная решетка, кое-где продырявленная, преграждала им выход на улицу. Вначале Радлов попытался приподнять ее руками, потом плечом. Решетка даже не дрогнула. Он сделал еще одну попытку, но все напрасно. Тогда, спустившись на одну перекладину, Радлов набрал полные легкие воздуха, поднялся и из последних сил нажал плечом на решетку. Посыпалась ржавчина, раздался скрежет, и решетка наконец поддалась. Иоахим руками отодвинул ее в сторону. Он увидел прежде всего дымящиеся развалины, лошадиные трупы, согнутые трамвайные рельсы. Очевидно, раньше здесь была улица. Где-то щелкали выстрелы. Он выбрался наружу и огляделся, не зная, в каком месте находится. Но голос рядом с ним произнес:

— Пошли!

Он обернулся и увидел усталое заплаканное лицо, распущенные по плечам волосы, когда-то белокурые. «Девушка,— подумал он,— или молодая женщина. Я сразу по голосу определил». Все еще связанные ремнем, перебежали они через улицу к развалинам и забились в какой-то угол. Заднюю стену дома разворотило снарядом, и в каких-нибудь ста метрах по другую его сторону Радлов увидел танк. Извергая огонь из орудия, танк стоял среди развалин и щебня. Это был «Т-34». Вдруг из-за него вынырнули темные фигуры и побежали, пригибаясь к земле.

— Русские,— сказала девушка.

Радлов, увидев русских, попытался еще глубже забиться в угол.

В сером дожде пепла угасал этот жуткий день. И тут перед ними вырос широкоплечий исполин с пылающим взором и угрожающе направил дуло автомата на Радлова.

— Эй, фашист! — хрипло крикнул он.

Радлов медленно поднял руки. Все кончено! Его ждет пуля. Он, правда, безоружен, но мокрые лохмотья мундира явно выдавали его. В ушах зашумело, и сквозь этот шум до него ясно донесся голос Брандта: «Красные всех подряд ставят к стенке...» Хоть бы скорее конец, выстрел — и все! А что, если он, как Браун, сапогом размозжит мне череп?

От ужаса кровь застыла у Радлова в жилах, руки, поднятые вверх, словно налились свинцом, лицо стало белее бумаги, и вдруг все в нем возмутилось: нет! Он не хочет умирать. Помоги же мне, мама, помоги!

— Он не фашист,— сказала девушка, и голос ее прозвенел, как надтреснутое стекло.

Солдат обернулся.

— Ты... женщина... ты не солдат.

И снова дуло автомата коснулось груди Радлова. Но девушка не унималась.

— Не фашист! — кричала она.— Брудер, понимаешь, брудер? — Ее голос окреп, стал настойчивее.

Исполин в зеленой форме недоверчиво прищурил глаза.

— Бруттер,— пробормотал он сурово,— бруттер, бруттер.— Лицо его стало напряженным, он пытался понять смысл немецкого слова.

— Не бруттер — брудер,— девушка говорила все запальчивее, бурно жестикулируя.— Мама... папа... брудер... швестер...

От ее резких движений натянулся ремешок портупеи, который связывал ее с безучастно стоящим рядом Радловом. Лицо солдата выразило внезапное понимание.

— Мама...— сказал он, а потом показал на девушку,— сестра.

Но тут же взгляд его опять стал гневным, он заметил ремень и дернул за него, да так, что оба покачнулись.

— Это что?

Девушка показала на отверстие шахты.

— Вассер.

Исполин кивнул, словно понял, в чем дело. Девушка, имени которой Радлов до сих пор не знал, сказала:

— Брудер ни пиф-паф!

— Ни пиф-паф! — подозрительно повторил исполин. Он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. В конце концов он обыскал Радлова, ощупал его сверху донизу и не нашел ни оружия, ни патронов.

— Ни пиф-паф! — повторил он еще раз, словно хотел убедиться в чем-то. Девушка затрясла головой.

— Ну, домой! Нах хаузе!

Это было так неожиданно, что Радлов в первое мгновение ничего не понял. Ему можно идти? Он свободен, действительно свободен? Почему же русский попросту не уложил его? Это невероятно, этого не может быть! Он стоял неподвижно, пока девушка спокойно и неторопливо отвязывала ремень от своего пальто, увидел, как она повернулась, и неуклюже зашагал рядом с ней. Но тут его пронзила мысль: «Русский выстрелит мне в спину, поставит, так сказать, точку куском свинца!» Его прошиб холодный пот, он сделал над собой усилие, чтоб не бежать изо всех сил, а идти медленно и спокойно. Пройдя метров сто, он вынужден был сесть, мокрый от пота, с дрожащими коленями. И только теперь отважился оглянуться.

Советский солдат исчез. Танк стоял на том же месте, но уже давно не стрелял.

— Нам повезло,— сказала девушка.

«Больше, чем повезло»,— подумал Радлов, пытаясь овладеть собой. Тяжело дыша, он отер тыльной стороной ладони пот со лба, поднял глаза на девушку в бесформенном пальто, из-под которого выглядывали мужские брюки, и попытался улыбнуться.

Девушка улыбнулась ему в ответ.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Урсула. А тебя?

— Радлов, Иоахим Радлов,— ответил он и подумал: «Сколько же ей лет? Двадцать, или восемнадцать, или еще меньше, а может быть, и больше». Они помолчали, смущенные, глядя куда-то в сторону. Потом Урсула сказала:

— Нам не добраться до дому. Ты в форме, а я... Говорят, русские насилуют всех женщин подряд.

Нет, о том, чтобы добраться до дому, не могло быть и речи. Среди боевых позиций, неподалеку от рейхсканцелярии, немец в форме непременно вызовет подозрение у любого менее добродушного русского солдата. И тогда его незамедлительно расстреляют. Положение, в которое они попали, было безнадежным, отчаянным. Каждую минуту могли снова появиться русские, занявшие эту часть города.

— Самое лучшее, если мы спрячемся в каком-нибудь подвале,— сказала Урсула,— переждем там ночь, а утром обсудим, как быть.

— А если они прочешут все подвалы?

— Но на улице нас наверняка схватят.

Поискав немного, они нашли наполовину заваленный обломками и щебнем вход в подвал. Дом, вплоть до нижнего этажа, разрушило миной. У Радлова, который первым протиснулся в довольно большую щель, буквально остановилось дыхание от тяжелого, сырого воздуха. Пока глаза не привыкли к полутьме, он не разгибался, готовый к прыжку. Потом он протянул руку Урсуле и помог ей пробраться внутрь.

Казалось, этот подвал только что в панике покинули жильцы. Несколько снарядов пробили потолок, на железной арматуре еще висели куски бетона. Может быть, люди испугались, что они будут заживо погребены или сгорят здесь. Всюду валялись узлы. Между дровами, капустой и картофелем Иоахим и Урсула увидели чемодан, опрокинутую детскую коляску и банки с консервированными фруктами. Радлов сейчас же стал рыться в вещах, но нашел в чемодане только какой-то бесполезный хлам и книги, которые ему были ни к чему, скорее уж можно было использовать одеяльце, лежавшее в коляске. В узлах были всевозможные тряпки. Он уже хотел было отказаться от поисков, как вдруг под каким-то чурбаном нашел рабочую спецовку. Эти грязные лохмотья означали для него жизнь, свободу! Торжествуя, показал он свою находку Урсуле, которая пыталась устроить постель из мешков и одеял.

— Теперь у нас все в порядке,— крикнул он девушке,— если они придут, мы просто скажем, что жили в этом доме и прятались в подвале.

Он расстегнул пуговицы форменной рубашки. Но прежде чем стянуть ее, попытался нащупать ленточку Железного креста. Ее не оказалось на месте, должно быть, он потерял ее в туннеле или на улице.

Ночь была холодной и принесла с собой новые страхи. Девушка, лежа под одеялами, стучала зубами от холода, и Радлов, хоть и натянул на плечи мешок, замерз как собака. У обоих нервы были напряжены до предела, и при каждом шорохе Радлов и девушка вздрагивали. А шорохов в подвале было достаточно: потрескивала штукатурка, время от времени откуда-то сверху падали камешки, из угла в угол шныряли крысы, уцелевшие после бомбардировок.

— Ты спишь? — прошептала девушка.
— Нет.
— О чем ты думаешь?
— О том, как все пойдет дальше.
— А ты разве знаешь?

В мозгу юноши проносятся, обгоняя друг друга, мрачные, темные, тревожные мысли. Перед его внутренним взором возникают одна за другой зловещие картины, и все снова и снова слышит он голос Брандта: «Друзей ты разыщешь... каждую первую пятницу у «Камня Наполеона». В полночь. Пароль — «Германия». Это приказ, слышишь! И запомни: предателей ждет тайный суд Феме. Предателей ждет суд Феме! Ты должен продержаться, добраться домой, переждать, спрятаться как-нибудь, где-нибудь! Германия будет жить!»

— Я даже не знаю, доберусь ли до дому,— ответил он Урсуле.
— А где твой дом, Иоахим?

«Оставит она меня, черт побери, в покое или нет? У меня достаточно своих забот, я стал волком-оборотнем и должен жить по волчьим законам. Предателей ждет суд Феме!»

Он назвал свой городок, название это ничего не говорило Урсуле.

— А как ты попал в туннель?

«Какое ей дело? Ей-то ведь все равно, как я там очутился, мы же, черт возьми, выбрались!.. Интересно, долго ли она пробыла в шахте?»

— Да так, случайно, захотелось спать, просто падал от усталости. А ты?

«И зачем только я ее расспрашиваю? Мне нужно отдохнуть, нужно не спеша все обдумать».

— А я бежала,— ответила она,— все время бежала от русских. Целых два дня. А потом я уже не могла понять, где нахожусь, все выглядело так непривычно, все было разрушено, кругом одни развалины. И тут какая-то женщина взяла меня с собой в туннель.

— А почему ты не осталась дома? — спросил он ворчливо и неприязненно.

— Мы работали до последнего дня, выпускали аппаратуру для авиации, военную продукцию. А потом выключили ток, и пришли эсэсовцы.

Он поднял голову.

— Эсэсовцы?

— Да, и они отдали приказ защищать завод, никто не смел ни выйти, ни войти. Мужчины и мальчики получили оружие, а мы, женщины, должны были таскать воду и перевязывать раненых. И тоже стрелять.

— Значит, ты принимала участие в бою.

— Ну, до этого дело не дошло. Нам ведь было безразлично. Возможно, я и стреляла бы. Эсэсовцы сказали, что мы все погибнем и что мы должны как можно дороже продать свою жизнь, потому что нас, женщин, сначала изнасилуют. И не один, а многие,— она всхлипнула, охваченная воспоминаниями.

Радлову хотелось ее утешить, но он не знал, что сказать. Ему было жаль девушку. В конце концов он произнес:

— Лучше бы ты осталась у матери.

— Мама умерла. У нас была квартира на Франкфуртераллее. Дом разбомбило. Отец пропал без вести. Вот я и жила у бабушки. У нее есть маленький садовый участок и домик из двух комнат.

Они помолчали. Но Урсула долго не выдержала, переживания последних дней мучали ее, ей хотелось выговориться, чтобы преодолеть свой страх.

— Бабушка считает,— начала она снова,— что русские ничего с ней не сделают. Знаешь, она совсем старенькая, полуслепая. «Я выйду к ним с хлебом и солью,— говорила она,— это они наверняка поймут». Надо тебе сказать, что бабушка очень набожна. А ты веришь в бога?

— Нет.

— И я не верю.

Девушка смолкла, но тут же, словно ее кто-то подгонял, заговорила снова:

— Когда русские были уже недалеко, эсэсовцы начали отходить. А нас они оставили. Но мы все бросились врассыпную. И знаешь, что они, эти эсэсовцы, говорили перед уходом, знаешь?

— Тсс. Не так громко. Откуда же мне знать?

— Они сказали...— она всхлипнула,— они сказали: «Пойдем, девушка, ляжем. В последний раз перед смертью. Лучше уж с нами, чем с русскими». А среди них были и совсем молоденькие, не старше шестнадцати.

«Замолчала бы она, что ли,— подумал Радлов,— и чего ради она мне это рассказывает. Мы с ней здесь одни, и я не хочу знать об этом, не хочу слышать, что проделывали эсэсовцы». И ответил словно назло:

— А мне тоже шестнадцать.

— Но ты ведь совсем не такой.

Скорей бы прошла эта ночь, эта проклятая бесконечная ночь, когда мысли мучают, как кошмары. Хоть бы девушка замолчала, но нет, вот она опять что-то говорит.

— Ты совсем не такой.— Это звучало как извинение.

Наконец он не выдержал и спросил:

— А ты тоже?..

— Нет, я — нет, но многие пошли на это. Я же всегда боялась... А как подумаю, что русские...

Выстрелы! Невдалеке раздались сухие и резкие звуки выстрелов. И вот уже слышны крики, русская речь, неожиданно совсем близко затрещала пулеметная очередь, за ней еще ближе вторая и третья, казалось, будто пулемет стоит над ними. Сверху посыпались куски штукатурки и кирпичи. Юноша и девушка затаили дыхание и словно оцепенели. Но скоро крики замерли где-то вдали. И вновь воцарилась тишина. Радлов подумал: «А может быть, как раз в эту минуту кого-нибудь убили?» Мысль о смерти заставила его содрогнуться. Не смея пошевельнуться, пролежали они минут пятнадцать, и вдруг он услышал, что девушка стонет. Схватив ее руку, он почувствовал, что она холодна, как у мертвеца. Девушка прошептала:

— Иди ко мне под одеяло. Мне холодно.— А когда он уже лежал рядом, она продолжала: — Ну, решайся же! Решайся. Сделай это, пока они не сделали!

Он хотел оттолкнуть ее и не смог. В эту ночь их соседями были крысы, а их ложем — куча вонючего тряпья.

Утром небо над Берлином алело, словно окрашенное только что пролитой кровью. В первые часы этого нового дня никто еще не знал, что Берлин капитулировал. Генерал Вейдлинг, назначенный комендантом германской столицы самим Гитлером, объявил на совещании своим офицерам:

— Фюрер умер! У нас есть три пути: сопротивление, прорыв, капитуляция. Сопротивление бесполезно; при попытке прорваться, даже если

она увенчается успехом, мы будем попадать из окружения в окружение, остается только третий путь.

Никто не возражал. Ни один из присутствующих не пожелал последовать примеру Гитлера.

В районе Темпельхоф в большом двухэтажном здании, поврежденном только с фасада, у Шуленбургринга, расположился штаб советского генерала армии Чуйкова. Здесь последний гитлеровский комендант Берлина подписал акт о капитуляции. А затем произнес разъяснительную речь, которую записали на пластинку.

Машины с радиоустановками разъезжали по городу, передавая запись с речью немецкого генерала. Голос его проникал в шахты метро, под своды подвалов, в убежища, доносился до последних опорных пунктов немецких боевых групп. Этот голос разбудил и Радлова, спавшего глубоким сном. Правда, сквозь пробитый потолок голос доносился в погреб так глухо, что Радлов понял, о чем шла речь, только когда машина уже отъехала, а репродуктор повторял заявление Вейдлинга. Согнув колени, обхватив их руками, прислушивался Радлов к словам генерала. Берлин капитулировал, настал конец, позорный горький конец, вот она, гибель Германии! Мечты его юности рухнули вместе с проигранной войной. Он мог бы стать летчиком и бороздить воздушные просторы или стать колонизатором в восточных областях, как внушали ему в школе. Но теперь все его мечты развеялись как дым. Мог ли он еще гордиться тем, что он немец?

Радлов взглянул на девушку. Урсула лежала рядом с ним на куче тряпья, свернувшись калачиком, положив щеку на локоть. Она спала и не слышала голос генерала. Он вспомнил прошедшую ночь, страх и холод. При мысли о том, что между ними произошло, краска бросилась ему в лицо. Некоторое время он рассматривал спящую с любопытством мужчины, впервые обладавшего женщиной. Его захлестнула теплая волна нежности.

Как спокойно она спит, для нее война кончилась.

Стоит ли ее будить? Он поколебался, но все-таки принялся трясти ее за плечо:

— Урсула, проснись, слышишь?

Она открыла глаза, поморгала спросонья и улыбнулась ему.

— Урсула, послушай-ка!

— А... что случилось?..— девушка еще не совсем проснулась. Но когда голос из репродуктора загремел снова, она приподнялась, и Радлов вдруг увидел, что у нее большие и очень ясные глаза. Оба прислушались.

— Немецкие солдаты! Тридцатого апреля фюрер, которому мы присягали в верности, бросил нас на произвол судьбы... Каждый час вашего сопротивления продлевает страдания гражданского населения и наших раненых... Согласно договоренности с верховным командованием советских войск я призываю вас прекратить сопротивление...

— Что это значит? — спросила она.

— Фюрер умер, война кончилась.

— Кончилась? — она сказала это шепотом, беззвучно, она ничего не понимала.

— Да, кончилась!

— А что теперь?

— Теперь ты можешь идти куда хочешь, домой или к бабушке...

Она вскочила, встала перед ним, взволнованная, бледная, широко раскрыв голубые глаза.

— ...и ничего больше не бойся,— закончил он.

— Ничего не бойся...— повторила она недоверчиво, погруженная в свои мысли. И тут же спросила: — А ты? Что ты будешь делать?

— Мне надо домой,— коротко и умышленно резко ответил Радлов.

Он вовсе не хотел, чтобы она заметила, как ему тяжело с ней расставаться, он только и ждал, чтобы это расставание было уже позади. Урсула взяла его за руку.

— Ты мог бы пойти ко мне... к нам,— сказала она, запинаясь,— место для тебя найдется, и лучше... если мужчина будет в доме.

— Мне надо домой,— повторил он упрямо и вспомнил «вервольф» и слова Брандта: «Предателей ждет суд Феме!»

— Чепуха! Поезда не ходят, путь тебе предстоит длинный и опасный. Ты попадешь в плен, или еще что-нибудь может случиться.

Он горько рассмеялся:

— В этом-то наряде? Кто может доказать, что я солдат? Документы мои лежат вон там под кучей угля, я оставил только спортивное удостоверение. Нет, Урсула, мне надо домой.

— И ты забыл все, что произошло?

Наступила мучительная долгая пауза. Наконец он сказал:

— Нет, не забыл. И никогда не забуду, поверь мне. Но несмотря ни на что мне надо домой, во всяком случае теперь. Пойми меня. Мне надо... к моим родителям...

Она отпустила его руку и посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Потом встала, повернулась и подтолкнула ногой одну из консервных банок.

— Возьми себе, по крайней мере, хоть немного продуктов,— грустно предложила она.

Через некоторое время они выбрались из подвала. У Радлова за спиной висел узел. Неподалеку на куче кирпича лежал убитый эсэсовец. Вытекшая кровь уже почернела и запеклась. Лицо заострилось, пожелтело, он таращил на них свои остекленевшие мертвые глаза. Судорожно сжатая рука все еще держала автомат.

— Вот, значит, кого пристукнули нынче ночью,— сказал Радлов и, заметив, что Урсуле страшно, прошептал: — А ты не смотри на него, я провожу тебя немного.— Ему было трудно оставить ее одну.

Над городом сквозь клубы дыма пробивалось солнце. Они пустились в путь, с трудом пробираясь по изрытым улицам. Пройдя несколько сот метров у бывших противотанковых заграждений, они наткнулись на русских. Совсем еще молодой солдат с лихо сдвинутой на ухо пилоткой окликнул их. Они не поняли, хотели пройти мимо, не обращая на него внимания. Но тут он рассердился и задержал их, а другой, с мрачным взглядом, подтолкнул обоих к проходу в развалинах, ведущему к какой-то площади. Там уже собралось около ста человек, окруженных конвойными, которые рассеянно поглядывали на солнце. Радлов следил за каждым их движением, но у тех, видимо, никаких дурных намерений не было. Люди на площади нервничали и волновались. Какая-то толстуха прерывающимся голосом пронзительно кричала.

— Они отправят нас в Сибирь. Они не разбирают, кто женщина, кто мужчина, они пошлют нас в рудники, я знаю наверняка. В Иоханнистале они опустошили целые улицы, все вывезли.

Она громко заплакала и своей истерикой заразила остальных, все начали строить самые дикие предположения и передавать друг другу нелепые слухи.

В конце концов и Радлов поверил, что их сейчас посадят на машины, отправят на вокзал и в телячьих вагонах повезут в Сибирь. Вот

почему, когда вскоре действительно пришли грузовики, началась настоящая паника. Женщины цеплялись за своих мужей, звали детей, которых здесь и не было. Некоторых пришлось буквально растаскивать и силой вести к машинам.

Радлов обратил внимание на двух мужчин в одежде явно с чужого плеча — наверняка дезертиры,— их лица оставались совершенно невозмутимыми и безучастными. Да и Радлов воспринимал все происходящее не так уж трагично. Он надеялся, что ему с Урсулой удастся сбежать. В бывших военных он видел верных сообщников. Прежде чем влезть в грузовик, он шепнул Урсуле:

— Не отходи от меня, не давай себя оттеснить!

Как только последний человек взобрался в кузов, машины тронулись, и сильный толчок бросил Радлова на одного из дезертиров. Уцепившись за него, Радлов прошептал:

— Я смываюсь, хотите вместе?

Но тот лишь пожал плечами и равнодушно бросил:

— Отстань! Мне на все наплевать!

Второй просто не ответил. Радлов обиженно отвернулся и шепнул Урсуле:

— Трусы. Но мы удерем, держись ближе ко мне.

Она кивнула в знак того, что поняла его.

Однако случая удрать, как ни искал его Радлов, так и не представилось. Машины отвезли их в один из отдаленных районов города, у полуразрушенного моста им приказали выйти и объяснили, что придется подождать. Часовые следили за ними, не спуская глаз, один русский даже держал автомат наготове, и если кто-нибудь делал шаг в сторону, его тут же возвращали обратно. Стали подъезжать и другие грузовики, набитые подростками, женщинами и мужчинами самых разнообразных профессий. Среди них был железнодорожник в форме, который, как он рассказывал, слышал заявление Вейдлинга и решил отправиться, согласно этому заявлению, к месту своей работы. На улице его и поймали. Тут же стоял банковский служащий, длинный и тощий, в черном костюме. Он твердил всем, кому попало:

— Неслыханно. Это же насилие. Даже часы у меня украли. Каково? А?

И так как ему не отвечали, он налетал на следующего.

Но Радлова не покидала мысль о побеге. Местность была подходящая, неподалеку рос кустарник, затем несколько деревьев, дальше стояли дома. Если ему удастся до них добраться, он будет в безопасности. У моста их, очевидно, продержат недолго, поэтому он твердо решил поставить все на карту и вместе с Урсулой при первом же удобном случае бежать. Однако его надежды не оправдались. Через некоторое время появились советские офицеры и солдаты, всех собранных людей построили по три в ряд и пересчитали. Каждые двенадцать человек образовывали группу, их отводили к кустам. «Наконец-то,— подумал Радлов,— там-то мы и исчезнем». Он, правда, заметил, что почему-то то одного, то другого отводили в сторону, но не придавал этому никакого значения. Вдруг перед ним остановился сержант и с удовольствием оглядел его комбинезон.

— Ты специалист?

Радлов беспомощно поднял руки.

— Специалист, хорошо, хорошо!

И ему тоже пришлось отойти к сторонке, к уже отобранной группе людей. И хотя он протестовал, ничто не помогло. Сержант, подталкивая Радлова перед собой, привел его к группе. Последнее, что видел

Радлов, было полное отчаяния лицо Урсулы и ее губы, дрожавшие так, словно она плачет. Железнодорожник благодаря форме тоже попал в группу «специалистов».

— Мне просто интересно, что будет,— сказал он Радлову, добродушно улыбаясь. И тут же показал на мост: — Смотрите-ка, они уже начали восстанавливать...

— Что?

— Да мост.

Радлов глазам своим не поверил. Нет, это не мираж. Первая группа уже тащила из кустов доски и сваи для моста, с одного из грузовиков сгружали инструменты, другая группа чинила развороченную мостовую, им помогали часовые, они отставили в сторону свои автоматы и сбросили гимнастерки. И вот уже до него донеслись удары топора и возгласы:

— Работай-работай! Давай-давай!

Оправившись от изумления, Радлов проворчал:

— Нашли себе даровых батраков!

Но железнодорожник отрезал:

— Не болтай чепухи. Мост через Шпрее и нам нужен. Как только будет готов, пустим электричку на ту сторону.

Радлов ничего не ответил. Только подумал: «А он не лишен юмора. Сказал тоже: для нас электричка! Все, что мы теперь делаем, мы делаем только для русских, для победителей».

Очередь дошла и до них, до «специалистов». Им раздали сварочные аппараты, и сержант жестами объяснил, что надо сварить балки. К счастью, среди них нашлось несколько человек, умеющих обращаться с аппаратурой. Они начали обучать остальных. Сержант, весь в поту, ругаясь, бегал между ними, силился наладить дело и подгонял тех, кто работали спустя рукава. Но потом настроение заметно поднялось, и после полудня, когда солнце стало припекать, «специалисты» тоже сбросили рубашки. А возле моста группа женщин, среди которых была и Урсула, затянули песню «Эх, моряка не удивишь ничем...»

Все работали семь часов без продолжительных перерывов. Затем, усталые и голодные, опять собрались возле грузовиков, здесь им всем выдали по полбуханки хлеба, а «специалистам» по буханке. После этого их отпустили.

Домик прятался за кустами и деревьями в центре небольшого загородного поселка. Он был одноэтажный, деревянный, но при бледном свете луны произвел на Радлова впечатление вполне добротного и солидного дома. К передней стене была пристроена терраса, а у левой стоял старый сарай. Калитка в сад была отворена.

— Бабушка, наверно, спит,— сказала Урсула.

— Глупо, что я потащился с тобой.

— Ну, хватит... Я сейчас вернусь.

Прислонясь к забору, Радлов смотрел вслед Урсуле, которая по узкой выложенной плитками дорожке побежала к террасе. Услышав скрип двери, он подумал: «Долго я все равно здесь не пробуду. Может, удастся достать велосипед, тогда я живо доберусь до дому. Кто знает, что теперь там делается, ведь в Вергенштедте шли бои, и отец Брандта погиб. А мои родители... Живы ли они? Может быть, погребены под развалинами, и я не найду ничего, кроме обломков и пепла». И вдруг его охватила тревога и тоска по родному городу, по матери и отцу.

В это время вернулась Урсула.

— А бабушки нет дома, заходи.

— Нет дома?

— Нет. Она, верно, пошла ночевать к знакомым, тут неподалеку. Ей, конечно, было страшно одной.

Его подбитые гвоздями солдатские ботинки застучали по каменным плитам, он ощупью пробрался по террасе в комнату, но наткнулся на что-то и остановился.

— Постой, сейчас зажгу свет.

Он услышал чирканье спички о коробок, голубоватый огонек перекинулся на фитиль керосиновой лампы. Радлов украдкой осмотрелся. Комната была небольшая, просто обставленная: три плетеных кресла вокруг стола, кушетка у стены, шкафчик и какой-то старый солдатский сундучок — вот и вся обстановка. Радлов положил на стол хлеб и достал консервные банки.

— Я рада, что ты пришел,— вполголоса сказала Урсула. Она подошла к нему и несмело поцеловала в губы.

Но тут в дверь тихонько постучали. Оба испуганно вздрогнули и посмотрели друг на друга.

— Кто там? — спросила, запинаясь, Урсула.

Глухой мужской голос ответил:

— Это я, фрейлейн Хольцман, ваш сосед Лаутербах.

«Значит, ее фамилия Хольцман»,— подумал Радлов и сам удивился, что до сих пор не спросил об этом. Урсула пошла к двери, и Радлов услышал, как мужской голос произнес:

— Извините, фрейлейн Хольцман, что я так поздно зашел. Но я услышал шаги, увидел свет и не знал, кто бы это...

— Очень любезно с вашей стороны, господин Лаутербах,— прервала его девушка,— что вы побеспокоились.

— Не стоит благодарности, мы уж решили, что с вами случилась беда.

— Что же вы не заходите?

«Какая она неосторожная,— подумал Радлов,— этому соседу вовсе незачем знать, что я здесь». Он подозрительно взглянул на коренастого человека, входящего в комнату. Но у порога тот остановился.

— Эге,— пробормотал он удивленно,— да здесь еще кто-то есть!

Это прозвучало не слишком дружелюбно, и Радлову показалось, что вошедший предпочел бы побыть с девушкой наедине. Или он только делал вид?

— Это беженец, у него нет пристанища,— спокойно ответила Урсула.— Я привела его со своей фабрики.

Голос у нее даже не дрогнул, нельзя было и подумать, что она лжет. Только быстрый взгляд, которым она обменялась с Радловом, мог бы ее выдать. Но Лаутербах ничего не заметил.

— Дело в том, что нас забрали русские,— начала девушка и показала на хлеб,— вот за это мы работали целый день. А бабушка не у вас?

Обратившись к Радлову, Лаутербах пробурчал что-то вроде приветствия. Но юноша прочел в его глазах недоверие. У него было такое ощущение, что этот человек пришел сюда не только для того, чтобы проверить, все ли в порядке.

— А что делается в городе? Все еще идут бои? — спросил Лаутербах и осторожно присел на одно из плетеных кресел.

Радлов предоставил ответить Урсуле. Ему вовсе не хотелось вступать в разговоры с посторонним, он устал от работы, волнений и длинного тяжкого пути по будто вымершим улочкам городской окраины.

К тому же этот Лаутербах не нравился ему, что-то в нем отталкивало его, Радлов и сам не мог бы сказать, что именно. Вместе с тем в его облике было что-то необычное. Складки вокруг рта, седые, зачесанные назад волосы, нос с горбинкой и живые черные глаза придавали лицу этого человека смелое выражение и делали его привлекательным.

И снова Радлов подумал: «У него что-то на уме, но он не знает, как приступить к делу. Урсула вполне может проговориться, и старик донесет на меня. Теперь надо быть очень и очень осторожным. Шпиков и доносчиков кругом полным-полно...»

— У нас здесь было сравнительно тихо,— сказал Лаутербах своим глухим голосом,— только у фрау Шольц танк повалил часть забора. А в «Райском уголке» засели ребята из гитлерюгенда, вот сумасшедшие, называют себя «оборотнями»,— он сделал презрительный жест, и снова Радлов поймал на себе его подозрительный взгляд. Иоахим лишь равнодушно пожал плечами, но внутри у него все кипело. Презрение, с которым Лаутербах говорил о его сотоварищах, усилило антипатию к нему.

— Мы вывесили белые флаги,— продолжал Лаутербах,— чтобы русские танкисты не раздавили наш поселок. Так и вышли из положения.

Радлов с трудом сдержался. Ему хотелось вскочить и сказать этому человеку, что он о нем думает: «Негодяй, предатель, и сейчас хочет все выведать, за тем и пришел. Значит, ради таких вот подлецов мы сражались? Но этого я не забуду, и когда-нибудь мы рассчитаемся».

— Ваша бабушка тоже вывесила белый флаг,— продолжал рассказывать Лаутербах,— она даже принесла из сарая лестницу. Хотела обязательно водрузить его на крышу, хотя мы все кричали ей, что не нужно. Но вы же сами знаете, она плохо слышит.

До сих пор Урсула слушала спокойно и с интересом, но тут она наклонилась вперед, и глаза у нее от страха расширились. Она с трудом выдавила:

— И что же?

И так как Лаутербах ответил не сразу, воскликнула:

— Ну говорите же, говорите!

Губы ее сжались, и Радлов видел, что она вся дрожит.

— Вам тяжело будет это слышать, фрейлейн Хольцман.— В голосе Лаутербаха звучало сожаление и сострадание.— Я от всего сердца сочувствую вам... Эти молодчики из гитлерюгенда начали стрелять в вашу бабушку. Мы похоронили ее вчера. Мы же не знали...— он смолк не договорив.

В комнате стало вдруг очень тихо. Урсула словно окаменела, казалось, понадобится много часов, пока она поймет случившееся. Одну руку она вытянула вперед, будто защищаясь, но потом бессильно опустила ее. Мучительные рыдания нарушили тишину.

Наконец она снова подняла голову.

— Теперь... я совсем... совсем... одна на свете,— прошептала она.

Радлов же подумал: «Я нужен Урсуле, ей необходим близкий человек. Но они не смели этого делать, нет, не смели!»

VII

«Стало быть, я им ни к чему!» — думал штандартенюнкер Губертус Брандт, разминая пальцами длинную тонкую английскую сигарету, которую ему предупредительно предложил майор Хаазе. Майор сидел

в удобном кресле, зажав в левом глазу монокль; в безупречном мундире, подтянутый, он блистал выправкой. Брандт по сравнению с ним казался бродягой. Штандартенюнкер с трудом проскочил сквозь шквальный огонь русских, разметавший немецкие танки ударной группы Монке между Вейдендамским мостом и Цигельштрассе. Последней кучке защитников рейхсканцелярии удалось прорваться, и Брандт вместе со статс-секретарем Науманом из министерства пропаганды добрался до Альтмоабитштрассе, а оттуда, через Тиргартен и район Ванзе, они вышли из Берлина. Это чреватое опасностями путешествие привело его вначале в Тельтов, затем мимо заброшенного полигона Ютербог он пробрался в Виттенберг, где ему, после многократных попыток, наконец удалось переправиться через Эльбу. Только в Любеке он узнал, что гроссадмирал Дениц перенес свою главную квартиру из Плёна во Фленсбург-Мюрвик. И вдруг, оказывается, он им ни к чему. Все это время он вел двойную игру и, как теперь выяснилось, проиграл обе партии. От Бормана помощи ждать нечего, тот пропал где-то возле Вейдендамского моста. Согласно завещанию Гитлера Дениц стал президентом и военным министром, и как ни вежлив и предупредителен этот майор Хаазе из штаба Гелена, но он совершенно ясно дал ему понять, что не желает иметь ничего общего с эсэсовцами.

— Вам должно быть ясно, штандартенюнкер,— сказал Хаазе,— что гроссадмирал, как безупречный солдат, позаботился о том, чтобы все, кто принадлежали к войскам СС, были удалены из гарнизонов.

Брандт вспылил.

— Что это значит?

Мысль его лихорадочно заработала: «А что, если майор хочет выдать меня союзникам, чтобы спасти собственную шкуру?»

Хаазе пододвинул к нему открытую пачку английских сигарет и примирительно сказал:

— Боже мой, Брандт, не принимайте все на свой счет. В вашей честности никто не сомневается, мы ведь вас знаем...

Брандт поклонился:

— Благодарю.

Если то, что рассказывает Хаазе, правда, значит, между СС и вермахтом теперь началась неприкрытая вражда. Но этого никогда не допустит Гиммлер, ведь несмотря ни на что рейхсфюрер остается еще главой службы безопасности и полиции.

— Исключительные ситуации требуют исключительных мер,— продолжал Хаазе.— Гроссадмирал сформировал новый кабинет. В него вошли Шверин-Кросиг в качестве министра иностранных дел, Шпеер, Бакке, доктор Дорпмюллер. Все одиозные фигуры удалены. Понимаете, чего мы хотим? С такими безупречными деятелями может сотрудничать любое правительство.

Брандт наконец стал догадываться, куда клонит Хаазе.

— Я начинаю понимать. Но что скажет на это рейхсфюрер СС?

Хаазе ждал этого вопроса. Он вынул портсигар, выбрал бразильскую сигару, отрезал кончик и закурил. Укрывшись за облаком дыма, он сказал:

— Рейхсфюрера СС больше не существует.

Это было вполне возможно. Брандт знал, что Гитлер отдал приказ арестовать Гиммлера. Может быть, этот приказ успели выполнить. А может быть, Гиммлер тоже застрелился.

— Умер? — нерешительно спросил Брандт.

— Нет. Уволен в отставку.

— Невероятно! — пробормотал Брандт.

Он не мог себе представить, что кроме Гитлера и Бормана кто-то осмелится замахнуться на Генриха Гиммлера. Для него рейхсфюрер СС все еще оставался олицетворением власти.

— Между Гиммлером и гроссадмиралом Деницем состоялись переговоры,— пояснил Хаазе и, улыбаясь, добавил,— конечно, были приняты известные меры предосторожности. У гроссадмирала теперь есть личная охрана, матросы-подводники, присягнувшие ему. Кроме того, он положил свой пистолет на письменный стол и прикрыл его бумагами.— Казалось, Хаазе угадал мысли Брандта.— Рейхсгенрих больше не обладает властью. Он просил Деница оставить за ним второе место в кабинете. Но вчера его лишили всех чинов и должностей. Шверин-Кросиг посоветовал ему сдаться союзникам.

— Ну, а «вервольфы»? — спросил Брандт.

От ответа на этот вопрос зависело его будущее. Он уже догадывался, что ему скажет майор. Тем не менее в его душе еще теплилась надежда.

— Действия «вервольфа» приостановлены два дня назад.

Чтобы не выдать своего волнения, Брандт потянулся за сигаретой. Он умел владеть собой. Хаазе не заметил, что Брандт внезапно почувствовал страшную усталость. Брандту стало ясно: он окончательно проиграл и никому не нужен. Оба геленовских офицера в Берлине обманули его. Он ничего не получит по отцовскому счету. Впрочем, как знать! Что там говорит Хаазе? О чем? Брандт слушал невнимательно, и ему было очень неприятно переспрашивать:

— Простите, вы сказали?..

— Это не значит, конечно, что все группы распущены,— повторил майор.— Они, так сказать, держат порох сухим.

Стало быть, его все-таки могут использовать! Брандт инстинктивно выпрямился, словно ожидая приказа.

— Но тем не менее нам придется с вами расстаться, Брандт...— Увидев, что штандартенюнкер вот-вот вспылит, майор торопливо продолжал: — Хотя бы на время. Это не имеет никакого отношения лично к вам. Это относится только к форме, которую вы носите... вернее, носили,— быстро поправился майор, ибо Брандт был в штатском.

Хаазе аккуратно стряхнул пепел со своей сигары и подождал ответа. Но штандартенюнкер молчал. После небольшой паузы Хаазе снова заговорил:

— Я прошу вас сохранить наш разговор в тайне. Все, что я скажу вам, должно остаться между нами.

Брандт кивнул и выжидательно наклонился к майору. Хаазе понизил голос:

— Завтра в Берлин вылетают представители трех родов войск вермахта: генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал фон Фриденсбург и генерал-полковник Штумпф. Они совершат печальный акт подписания безоговорочной капитуляции. Но это чисто военный шаг. Вы понимаете, он, конечно, не означает политической капитуляции, и все говорит о том, что англичане и американцы признают новое правительство...— Он опять помолчал.— Политическую концепцию нового правительства гроссадмирал Дениц изложил первого мая в своей речи по радио. Она произвела большое впечатление на союзников. Его концепция предусматривает прекращение враждебных действий против западных держав, борьбу против русских. Четвертого мая между Монтгомери и нами был подписан акт о частичной капитуляции. Мы предложили то же самое Эйзенхауэру, но он, к сожалению, не согласился. Он боится русских...—

Майор смял сигару в пепельнице и сдул пылинку с мундира.— Из-за Эйзенхауэра мы не избежали полной капитуляции на всех фронтах. Она вступает в силу восьмого мая в двадцать четыре часа. Мы уже по радио призвали наши войска, сражающиеся против западных держав, сложить оружие.

Он снова остановился, давая Брандту возможность осознать все сказанное. Потом закончил:

— В настоящее время мы пытаемся, с помощью англичан, спасти от русских около двух с половиной, трех миллионов человек. Мы переправляем сейчас через Эльбу армии Буссе, Венка и Хейнрици, большая часть армейских соединений Шёрнера и Рендулика с боями пробивается на запад, а флот непрерывно вывозит войска из Курляндии, из гаваней в Померании, из восточной и западной Пруссии.— Он откинулся на спинку кресла.— Теперь вам ясно, почему нам необходимо отмежеваться от эсэсовских войск. Мы зависим от поддержки западных держав и получим ее прежде всего от Англии. Следовательно, речь идет, в конце концов, только о тактическом маневре.

— Конечно, я понимаю...

Но майор не дал Брандту докончить.

— Самое важное для нас сейчас, Брандт,— сказал он с нажимом,— чтобы новый кабинет был признан странами-победительницами как законное правительство. Гроссадмирал Дениц уверен, что так оно и будет. Но до тех пор вам, Брандт, придется набраться терпения.

Хаазе поднялся. Брандт тоже встал. Усталость как рукой сняло. Он понял, на что намекал майор: пусть только признают новое правительство, и я снова буду нужен. А пока следует исчезнуть, иначе нельзя. Не надо беспокоиться, мы опять на пути к власти.

— Благодарю вас, господин майор,— сказал Брандт.

Хаазе сделал отрицательный жест:

— Пустяки, Брандт. Здесь у нас есть так называемый энклав, во всяком случае, англичане считаются с ним. Если вам негде остановиться, то на сутки...

— Благодарю, господин майор.

— Единственное, что я еще могу сделать, это демобилизовать вас из армии.— Последнее слово Хаазе произнес с ударением.— У вас будет меньше затруднений. А жалованье вам в Берлине, вероятно, не выплатили?..

К концу дня Брандт получил койку в комнате капитан-лейтенанта из батальона охраны Деница. Долго стоял он у открытого окна, прислушиваясь к шорохам наступающего вечера. Мир, покой и тишина царили кругом. Брандт закурил английскую сигарету — из тех, что получил сегодня в особом пайке на продовольственном складе.

«Им здесь хорошо живется,— подумал он,— но и я заживу неплохо. Добраться бы до Мюнхена, к дяде Альберту. Все и вся зависит от связей. Только глупцы этого не понимают».

VIII

Садовый поселок на окраине Берлина назывался «Фермеры с Миссисипи». Но громадную реку Миссисипи заменял ручеек, через который в лучшие времена мог свободно перейти цыпленок, «фермерами» были мелкие ремесленники, рабочие, служащие. Они построили в садиках добротные домики и уже несколько лет проживали в этих местах. К тому же своих квартир в городе большинство из них лишилось. Через

поселок проходило довольно широкое шоссе, кроме того, здесь было много переплетающихся дорожек и тропинок, ведущих неизвестно куда и для постороннего глаза совершенно незаметных. С последними садами граничил канал, который тянулся до Шпрее.

Радловом никто не интересовался. В первые дни мая в Берлине не было ни электричества, ни газа, и людей одолевали совсем другие заботы — им некогда было заниматься этим юношей, хотя его появление в поселке и могло казаться подозрительным. А те немногие, кто познакомились с ним, верили тому, что рассказывала Урсула, и называли его беженцем. Только Лаутербах — Радлов это чувствовал — не доверял ему. Его антипатия к этому человеку усилилась, когда Урсула рассказала о том, что Седой был социал-демократом и два года просидел в тюрьме. Радлов старался избегать Лаутербаха и по возможности уклонялся от встреч с ним. Но вскоре он понял, что это ему не удастся. Лаутербах частенько приходил к ним — то он зайдет за Урсулой, чтобы проводить на могилу бабушки, то принесет кусок картона, которым Радлов забил пустые рамы в окнах. Правда, иногда он в течение дня совсем не показывался, так как часами бегал по разрушенному городу в поисках плакатов, которые потом расклеивал на заборах. На этих плакатах было написано: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, а государство немецкое остается». Радлов злился, читая эти слова. «Почему бы немецкому государству и не остаться»,— думал он, но остерегался высказывать свои мысли вслух.

В присутствии Лаутербаха Радловом овладевала тревога. И каждый раз, когда он чувствовал на себе испытующие взгляды старика, у него начинало щемить сердце. В этих светлых ясных глазах за толстыми стеклами очков он читал что-то, заставлявшее его предполагать: старик знает больше, чем говорит. Иногда ему казалось, что Лаутербах выслеживает его и хочет донести. Но ведь тот мог это сделать давно, если бы Радлов был ему подозрителен. Кто в эти времена требует доказательств? Значит, Лаутербаху нужно что-то другое. Как-то вечером старик снова навестил их. Он был, видимо, утомлен, на лбу поблескивали мелкие бисеринки пота, громко кряхтя, он уселся в плетеное кресло. Свертюк с плакатами, который Лаутербах прижимал к себе, он положил на стол.

— Сегодня был на Александрплац...— начал он.

Урсула не дала ему договорить и подвинула к нему тоненький ломтик черствого хлеба. Лаутербах с готовностью его взял.

— У нас, знаете ли, дома нет хлеба,— виновато сказал он таким тоном, словно его жена просто забыла сбегать в булочную. На самом деле «фермеры» уже давно сидели на картошке и брюкве. Лаутербах с благодарностью взял и второй ломтик, который Урсула завернула ему в бумагу.

— Это для вашей жены.

— Я был сегодня на Алексе,— начал снова Лаутербах и собрал крошки со стола в ладонь.— Повсюду люди работают, убирают развалины. Только мы живем здесь, точно на луне.— Он отправил крошки с ладони в рот и показал на плакаты.

— Ага! Гитлеры приходят и уходят? — Радлов не мог сдержать насмешки.

— Нет.— Лаутербах с удивлением взглянул на Радлова, и снова Иоахим почувствовал в его взгляде нечто недоступное его пониманию.— Это приказ советского коменданта.

Он развернул один из плакатов и протянул его Радлову. При тусклом свете керосиновой лампы Радлов прочел о том, что все фашистские

организации запрещаются, их члены обязаны явиться в комендатуру, оружие обязаны сдать и никто не имеет права выпускать какие-либо печатные материалы без специального разрешения. Вначале Радлов читал приказ неохотно, из любопытства, потом даже со сдержанной злобой. «Ничего другого нельзя было и ждать,— думал он,— запрещают все наши организации, как будто после этих запретов они перестанут существовать. Нас пытаются унизить, опозорить». Но на лице Радлова ничего не отразилось. Он только спросил:

— Ну и что же?

— Приказ находится в нашем районе уже двадцать четыре часа. А так как срок его исполнения истекает через семьдесят два часа и мы потеряли уже один день, я подумал, не поможете ли вы мне...

— В чем?

— Сообщить соседям. Довести до сведения всех наших. Мы можем позвать их ко мне. Конечно, если вы сами не принадлежите к тем...— и он показал на плакат.

— Что?

— Я говорю, если вы не принадлежите к тем, кто обязан явиться.

— Нет.

Радлов и сам заметил, что ответ его прозвучал неубедительно. Это «нет» он произнес чересчур быстро и чересчур нервно. Но Лаутербах не обратил внимания.

— Тогда все в порядке,— сказал он.— Мне одному трудновато все это провернуть. Если вы возьмете на себя центральную улицу, я справлюсь с остальными...

— Ну конечно,— с готовностью подхватила Урсула,— он это сделает. верно, Иоахим?

Радлов рассердился, что Урсула ответила за него и не колеблясь распорядилась им. Но он ничем не выдал себя.

— Конечно! — ответил он и поднялся.

Он стучал в окна, повторял одну и ту же фразу: «Всем жителям поселка собраться у господина Лаутербаха»,— и размышлял: «А почему, собственно говоря, Лаутербах выбрал для этой цели меня? Что-то он задумал. Если бы только знать, что именно. До чего я дожил, посыльным у русских стал...»

При этой мысли Радлов в страхе остановился. Посыльным у русских? Конечно! Если это обнаружится, если его сотоварищи по организации узнают об этом, они сочтут его предателем. И он снова вспомнил слова Брандта: «Предателей ждет суд Феме. Разговор будет коротким!» Он прислушался, всматриваясь в темноту, ошеломленный этой мыслью, пронзившей его мозг. Но темнота не дала ему ответа на его вопрос. «Разве я предатель? Конечно же нет,— думал он.— Я готов сражаться, делать все, что в моих силах, чтобы помочь Германии. Я вовсе не предатель». Но одновременно боялся, что сотоварищи его не примут такого ответа. «Оборотни» не поверят ему, они скажут: «Ты бегал и собирал людей, чтобы они выслушали русский приказ». А это в глазах его приятелей — измена. Может быть, именно этого и хочет Лаутербах, может быть, он хочет, чтобы они сами вынесли ему приговор? Что же ему делать? Убежать, исчезнуть в ночи? Невозможно, первый же советский патруль схватит его. Радлову ничего не оставалось, как делать хорошую мину при плохой игре.

Он уже побывал в последнем доме и теперь медленно шел обратно. То тут, то там хлопала калитка. Звучали ворчливые мужские голоса. Входя в дом к Лаутербаху, Радлов решил: «Придется выполнять все

его требования, хочу я или нет. Иначе я выдам себя. Но при первой же возможности смоюсь».

Комнату едва освещали три свечи. Они были вставлены в горлышко бутылок, и каждый раз, когда кто-нибудь входил, порыв ветра колыхал язычки пламени.

Комната была переполнена, примыкающая к ней кухня тоже. Кроме фрау Лаутербах здесь присутствовали только мужчины. Они усердно курили самосад и так надымили, что вскоре пришлось растворить все двери и окна. Фрау Лаутербах сидела в старом дедовском кресле. Хотя она и держалась прямо, но вид у нее был болезненный, и в ее позе чувствовалась какая-то неестественная напряженность. Радлов подошел к ней, а она не заметила его. Только услышав приветствие, она обернулась и склонила голову набок, словно пыталась узнать его по голосу. При этом она улыбалась, как ребенок.

Лаутербах шепотом сказал:

— Моя жена слепая.

Их взгляды встретились, и Радлов увидел в глазах Лаутербаха не враждебность, а терпеливое спокойствие. И на мгновение ему стало жаль этого человека. Но он тут же отвел глаза, будто стыдясь своих чувств. Взгляд его невольно привлекла висевшая на стене пожелтевшая фотография какого-то бородатого человека.

— Знаком он вам? — спросил Лаутербах, кивнув в сторону фотографии, и Радлову показалось, что Лаутербах, насторожившись, ждет ответа.

— Нет.

— Это Август Бебель,— спокойно ответил Седой,— один из основателей социал-демократической партии.

«Значит, тоже красный,— подумал Радлов,— тоже из большевистских главарей, которые хотят ликвидировать частную собственность и у каждого, у кого есть два костюма, отнять один». Он впервые видел портрет одного из немецких вождей-социалистов и удивился, что этот бородатый человек выглядит так обычно. Почти как дедушка, который в стоячем воротничке и с холеной бородой улыбался с портрета в золоченой раме, висевшего у них в кухне над диваном. Но дедушка ни у кого не хотел ничего отнимать. Удивительно, что у социал-демократов обычные человеческие лица, а он представлял их себе совсем иначе, какими-то страшными разбойниками...

— В свое время я зарыл портрет в землю,— услышал он голос Лаутербаха,— но теперь пришла пора, когда его можно всем показывать. Но, конечно,— он проницательно взглянул на Радлова,— нам еще много придется поработать с молодежью, пока она не поймет, кем, собственно, был Август Бебель.— Затем обернулся к остальным и крикнул: — Больше, должно быть, никто не придет. Давайте начнем.

«Много придется поработать с молодежью...» Эти слова запали Радлову в душу, и пока Лаутербах зачитывал приказ № 1 советского коменданта Берлина, он размышлял, что бы они могли означать. Старик читал медленно, почти монотонно, слово за словом, иногда поглядывая поверх очков на собравшихся. На лицах присутствующих были написаны интерес и любопытство, хотя некоторые и пытались прикрыться напускным равнодушием. Радлов чувствовал, что люди чего-то ждут, ждут того, что позволит им понять дальнейший ход событий. Но чем дальше читал Лаутербах, тем меньше интереса выражали эти лица, а когда Седой наконец кончил, никто не нарушил затянувшегося молчания. Зашуршала бумага, кто-то кашлянул, и снова наступила тишина.

— Ну, что же? — спросил Лаутербах.— Может, кто-нибудь выскажется?

Ответа не последовало. Люди слишком привыкли молча выслушивать приказы, чтобы вот так вдруг свободно высказать свои мысли. Они поглядывали друг на друга, пожимали плечами, и в конце концов кто-то произнес:

— Запреты, только одни запреты. Ничего другого и они не принесли нам.

— Мне они принесли свободу,— спокойно возразил Лаутербах, и Радлов увидел, как он от волнения выставил вперед подбородок,— и вернули мое отечество. Вам тоже. Хотя вы еще сами этого не понимаете.

— И я должен пойти отмечаться? — спросил какой-то кряжистый малый. Он стоял против Радлова, прислонясь к стене и скрестив руки на груди.

— Вы же были блоквартом, господин Флейшер.

— Но я никому ничего не сделал.— Кряжистый малый опустил руки и сжал кулаки.— Под конец нас заставляли многое делать насильно, а мне всегда хотелось выйти из партии.

Лаутербах прервал его:

— А противотанковые рвы у канала? Мы копали, а вы, надев коричневую форму, командовали нами?

— Я обязан был слушаться.

— Не выкручивайтесь! — Голос Лаутербаха окреп.— Вы до последнего дня усердно командовали нами и все ждали «чудесного оружия».

Бывший блокварт промолчал. Кто-то спросил:

— Что же дальше? Скоро нам нечего будет есть.

— За это мы должны благодарить фашистов,— ответил Лаутербах.— Они заварили кашу, а нам ее расхлебывать. Поглядите вокруг, везде развалины, разорение... Нам придется начинать все сначала и сил не жалеть. Начинать надо немедленно.

— Говорят, в городе уже работают,— вставил кто-то.

— Да, в Берлине трудятся вовсю, вот и нам хорошо бы засыпать рвы, которые мы вырыли под командой господина Флейшера. Я полагаю, нам уже завтра надо начинать.

— С брюквой-то в животе! — насмешливо крикнул один из присутствующих, но, так как никто его не поддержал, тут же спрятался за чью-то спину.

Радлов иронически улыбнулся и подумал: «Так просто старику нас не обработать, хоть он из кожи лезет. И как он это себе представляет — засыпать рвы?..»

— Совершенно верно, с брюквой в животе,— ответил Лаутербах,— но я постараюсь достать продуктов, по крайней мере для тех, кто работает.

— Откуда же это возьмутся продукты? — подал голос тот же насмешник.

— Конечно, придется приложить усилия,— невозмутимо продолжал Лаутербах,— мы изберем комитет, он будет отвечать за работу и доставать продукты. Можно его назвать «Демократическая Германия» или как-нибудь иначе. Комитет наладит связь с советской комендатурой. А там посмотрим. Ну, кто сам хочет работать в комитете?

Никто не отозвался. Лаутербах медленно обвел взглядом всех присутствующих, потом обернулся к Радлову:

— А как молодежь, не желает подать пример?

При этом вопросе Иоахим вздрогнул. Он прозвучал слишком неожиданно. Прежде чем Радлов собрался ответить, Лаутербах уже заявил:

— Стало быть, господин Радлов первый.

— Если вы меня возьмете...— Из кухни медленно протиснулся какой-то пожилой сутулый человек. Седые волосы космами свисали на лоб, левый рукав болтался пустой.— Ни на что другое я уже не годен...

— Прекрасно, папаша Шольц. Я полагаю, теперь достаточно. Или кто-нибудь еще хочет?

Но ни у кого больше не было охоты. Люди нетерпеливо шаркали ногами. Всем хотелось уйти домой.

— Значит, завтра у канала,— сказал на прощание Лаутербах.— Да захватите лопаты и кирки!

И он закрыл собрание; воспользовавшись толкотней, Радлов улизнул. Он, правда, видел, что Лаутербах кивнул ему, приглашая остаться. Но притворился, что ничего не заметил.

Ночью он беспокойно метался на узкой кушетке. При каждом движении под ним скрипели ржавые пружины, он прислушивался, не откроется ли притворенная дверь в соседнюю комнату. Там на бабушкиной кровати лежала Урсула. Она не спала, в душном весеннем воздухе чувствовалась какая-то напряженность, и Радлов догадывался, что девушка тоже прислушивается к каждому его движению. Вернувшись с собрания, он ничего не сказал ей. Пусть его оставят в покое.

А когда ему надоели ее расспросы, он попросту огрызнулся:

— Ах, отстань. Ну что особенное там могло произойти. Завтра надо работать, и комитет они выбрали.

Иоахим лег на кушетку и уставился в потолок. Впервые он так нагрубил ей и сейчас жалел об этом. Но он был раздражен, взволнован, его мучили сомнения. И зачем только он ввязался в это дело. Как ему из всего этого выкрутиться? А теперь вот Лаутербах забрал его в комитет, правда против его воли, но об этом ведь недавние приятели и спрашивать не станут. Он боялся, что придется держать перед ними ответ, теперь именно они были Радлову страшнее его мнимых врагов.

Снова закряхтели под ним пружины.

— Ахим?

В соседней комнате по полу зашлепали босые ноги. Скрипнула дверь, и лунный свет отбросил на пол силуэт Урсулы. Иоахим почувствовал ее руку на одеяле и подвинулся. Она легла рядом и стала гладить его по голове.

— Ну расскажи мне, почему ты мучаешься?

— Да вовсе я не мучаюсь!

— Что-то у тебя на душе... Я ведь вижу. И вот сегодня вечером, когда Лаутербах спросил тебя... Скажи, ты из тех, кого разыскивают? Мне ведь ты можешь все сказать.

— Нет. Меня никто не разыскивает.

Молчание. А через некоторое время она прошептала:

— Ты хочешь уйти от меня. Ты не любишь меня.

«Не... любишь... меня»? Конечно, он ее любит. И что это ей пришло в голову? Он привлек ее к себе, ощутил ее кожу, ее волосы, упругую, крепкую грудь. И тут впервые понял, что у него есть близкий человек и что он несет за этого человека ответственность. Как было бы все прекрасно, если бы не приказ Брандта, и как теперь ему тяжело. На миг мелькнула мысль, не остаться ли здесь у этой девушки навсегда, начать с ней новую жизнь, отрешиться от всего, что связано с теми приказами. Но он тут же одернул себя: это предательство, одна мысль об этом — уже предательство. И он сказал:

— Я навсегда останусь с тобой, Урсель, навсегда.— Ему было тяжело лгать ей.

Утром он достал из сарая лопату и отправился на канал. А к концу дня вместе с Лаутербахом и Одноруким стоял уже перед советской комендатурой.

Комендатура находилась в здании бывшего управления концерна «Шеринг». На фасаде висели лозунги и портреты советских государственных деятелей. У входа стояла полевая кухня, на ней восседал повар в высоком белом колпаке, а вокруг теснились дети, женщины и мужчины, протягивавшие ему всевозможные посудины. Они так толкались и напирали, что повар чуть не свалился наземь. Разозлившись, он стал махать половником, громко выкрикивая русские и немецкие ругательства. Когда и это не помогло, он прекратил раздачу, ожидая, чтобы все выстроились снова в очередь. Часовой в саду комендатуры равнодушно наблюдал за этой сценой.

Радлова и его двух спутников никто не задержал, и они прошли в здание. Внутри стоял запах кожи, пота и пыли, вся обстановка производила впечатление чего-то временного. Папки с делами канцелярии лежали штабелями в коридорах, между ними взад и вперед сновали офицеры и солдаты, перед одной из дверей столпилась группа немцев. Какого-то офицера окружили иностранцы и, крича, что-то ему объясняли. У Радлова было смутно на душе, он не чаял выбраться отсюда подобру-поздорову. Поэтому он держался поближе к Лаутербаху и втайне дивился тому, как спокойно смотрели его спутники на эту суматоху. В приемной коменданта их остановила переводчица. Это была белокурая девушка в форме, она курила сигарету с бумажным мундштуком. По-немецки она говорила с твердым славянским акцентом.

— Комендант на конференции.

Последнее слово она произнесла протяжно. Но от Лаутербаха было не так просто отделаться. В ту минуту, когда он начал свою тщательно продуманную речь: «Мы являемся представителями комитета «Демократическая Германия»...— дверь в кабинет коменданта открылась, оттуда вышли несколько офицеров и высокий стройный человек в светлом летнем костюме. На пороге он остановился, буквально застыв от удивления, и заморгал, будто хотел убедиться, что глаза его не обманывают. А потом тихо воскликнул:

— Фридрих!

Лаутербах, не обративший, казалось, на штатского никакого внимания, на оклик оглянулся, но не произнес ни слова.

— Не узнаешь меня, а?

Только теперь Лаутербах овладел собой. Радлов заметил, как что-то дрогнуло в лице Седого. Но мелькнувшая было улыбка застыла и пропала.

— Гартман,— сказал он,— кто бы мог подумать, что ты еще жив!

Он шагнул вперед, но остановился посреди комнаты. А штатский уже подскочил к нему и принялся трясти обе его руки. Радлову показалось, что Лаутербаху это не очень приятно. Он никак не мог взять в толк, что же здесь происходит; робко забившись в угол, он наблюдал сцену, смысл которой силился понять.

Человек, названный Гартманом, почувствовал холодок Лаутербаха. Он внезапно выпустил его руки, которые только что так порывисто пожимал, и сказал:

— Забудем старые споры, Фридрих, ты видишь, к чему они привели.

«Что за споры? — спросил себя Радлов.— Что происходило между ними?» С любопытством ожидая дальнейших событий, он отважился выйти из своего угла. Против ожидания, Лаутербах дал себя уговорить.

Мгновение стоял он еще в раздумье и потом, словно приняв решение, ответил:

— Верно, ты прав. Теперь все мы пригодимся.

И он с такой же энергией и сердечностью пожал руки Гартману, с какой минуту до этого тот пожимал ему. Его морщинистое лицо просто засияло от радости.

— Откуда же ты взялся?

— Расскажу после. Скажи лучше, что ты...

— А помнишь, в двадцать девятом...

— Конечно, во время забастовки на городском транспорте. Если бы вы тогда...

— Мы? Почему же мы? Это вы...

Они забыли, где находятся, окружающие для них не существовали. Оба раскраснелись, размахивали руками, кричали, перебивая друг друга. И все время повторяли одно и то же.

— Вы тогда...

— Нет, вы...

Переводчица, высоко подняв брови, стояла рядом, ее ясные серые глаза перебегали с одного спорщика на другого. Она, казалось, лучше понимала, что здесь происходит, чем Радлов, который снова жался к углу и чувствовал себя всеми забытым. Но когда в разговор вмешался еще и однорукий Шольц, переводчица решила их прервать.

— А не присядете ли вы, товарищи? — спросила она.

Лаутербах и Гартман громко рассмеялись.

— Вы правы, Мария Сергеевна,— сказал Гартман, все еще смеясь,— сейчас есть дела поважнее, чем старые партийные счеты.— Он снова повернулся к Лаутербаху.— Ты не один?

Старик представил ему сначала Однорукого, потом Радлова. И заявил не без гордости:

— Оба члены нашего народного комитета...

Гартман, нахмурив лоб, прервал его:

— Что еще за народный комитет?

— Народный комитет «Демократическая Германия».

— Ну вот, опять что-то новое. Но об этом поговорим потом. Пошли, товарищи,— и он подтолкнул всех троих к выходу,— у нас есть о чем потолковать.

Они спустились по черной лестнице во двор, заваленный всяким хламом — матрацами, скамьями, столами в кляксах, конторскими книгами и горами папок с письмами и делами,— и уселись посреди этого старья на опрокинутый шкаф. Гартман вытащил из кармана коробку папирос и пустил ее по кругу.

— Буду краток, товарищи,— сказал он.— Я только что вернулся из Советского Союза. Состою в инициативной группе немецких коммунистов. Мы налаживаем связь с немецкими антифашистами, организуем новый управленческий аппарат и снабжение продовольствием, короче говоря, наметили первые мероприятия, чтобы обеспечить порядок и создать условия для работы предприятий. А теперь, Фридрих, рассказывай, что привело тебя сюда и что вы уже сделали.

Пока Лаутербах докладывал о созданном им комитете и о первых трудовых успехах, Радлов наблюдал за штатским в светлом костюме. Ему было, вероятно, за пятьдесят, но живость и целеустремленность его речи и уверенность, с какой он держался, делали его моложе. У Радлова создавалось впечатление, что Гартман знает, чего хочет, и это нравилось ему. От этого человека как бы исходила энергия и деятельная сила, и, хотя Радлов в душе сопротивлялся, Гартман захватил его и увлек.

Выслушав Лаутербаха, Гартман сказал:

— Не нравится мне этот ваш комитет, Фридрих...

— Комитет останется! — резко прервал его Лаутербах.

— Я тебе скажу почему,— невозмутимо продолжал Гартман.— Потому что затрудняет создание демократического управления. А главная задача сейчас именно в этом. Вы, правда, можете убирать развалины и распределять продукты, и только.

Лаутербах обиделся:

— Ты приехал к нам и сразу распоряжаешься. Мне это не нравится.

— Будь же благоразумен, Фриц. Тебе нет никакого смысла растрачивать свои силы по мелочам. Ты сидишь в своем поселке, как в подполье...— он вдруг прервал себя.— Да знаете ли вы, что произошло сегодня ночью?

— А что?

— Сегодня ночью фашистская Германия капитулировала... В Карлсхорсте Кейтель подписал акт о капитуляции. Наступил мир.

— Но какой мир...— задумчиво проговорил Лаутербах, и Радлову показалось, что Седой при этом взглянул на него. Известие о капитуляции прозвучало для Радлова как гром среди ясного неба. Поражение — капитуляция — мир. А дальше что? О чем говорит Гартман?

— Сейчас главное — создать новую, демократическую Германию. Наша первейшая задача состоит в том, чтобы с помощью оккупационных властей ликвидировать хозяйственную разруху и начать снабжение населения продуктами. Мы ведь не можем без конца питаться за счет Красной Армии, нам необходимо убрать развалины, восстановить движение транспорта, подачу электричества и газа, пустить заводы, создать новую почтовую и финансовую систему. А это значит: трудиться и трудиться, всего этого не смогут осилить мелкие комитеты, работающие в одиночку, для этого необходим магистрат, районные управления, государственный аппарат. Нам нужен бургомистр, новая полиция. Да, Фридрих, ведь этого мы все и хотели — чтобы власть оказалась в руках рабочих.

— Но неужели ты думаешь всерьез, что русские допустят это?

— А ты не думаешь? Но ведь ты для того и расклеивал плакаты, в которых говорится, что немецкое государство остается. Немецкое государство, Фридрих, демократическое государство, без нацистов. Знаешь, кто сегодня прибыл в Берлин? Товарищ Микоян.

— Ну и прекрасно,— Лаутербах встал.— Ты информирован лучше, чем я. Поживем — увидим. Но что же нам теперь делать?

— Комитет распустить, вместо него избрать доверенное лицо, которое составит картотеку населения вашего поселка. Нацисты ведь уничтожили все документы. Завтра встретимся здесь. Приводи с собой товарищей и друзей, которых ты хорошо знаешь и кто готов сотрудничать. Нужны сейчас все, кроме нацистов.

Гартман каждому пожал руку. Возле Радлова он на мгновение задержался.

— Ты правильно делаешь, Фриц, что заботишься о молодежи. У них в голове еще полная неразбериха.— Он легонько похлопал Радлова по плечу.— Стало быть, до завтра.

Они снова поднялись по лестнице, но возле приемной коменданта Гартман вдруг спросил:

— А зачем, собственно говоря, ты пришел?

— Да вот, видишь ли, хотелось бы раздобыть продуктов для тех, кто работает.

Через десять минут они уже вышли на улицу. Офицер по снабжению выписал им ордер на тонну картофеля.

Молча двинулись они в обратный путь. Каждый был погружен в свои мысли. У Радлова в голове все перемешалось. Он уже ничего не понимал. А сравнивая Брандта и Гартмана, не мог прийти ни к какому решению. Оба говорили о Германии, но слова произносили разные. Что понимал под Германией Брандт, было Радлову ясно, но как должна выглядеть демократическая Германия, он не мог себе представить.

IX

Губертус Брандт никогда ничего подобного не видел. Площадь перед главным вокзалом Мюнхена так и кишела множеством людей. И в этой толкучке шныряли мелкие торгаши, они предлагали все на свете. В царящей здесь толкотне и сутолоке никто даже не пытался скрывать свои темные делишки. Беззастенчивее всего вели себя американцы, они и покупали и продавали. Вот один оптом предлагает сигареты, между ногами у него стоит рюкзак, и он достает из него все новый и новый товар. Оптовым покупателям американец делал значительную скидку, торговля шла блестяще, деньги он небрежно совал в карман брюк. Вокруг него сновали орущие, жестикулирующие люди. И среди них — штандартенюнкер запаса Губертус Брандт.

Он только что приехал в Мюнхен. Двадцать четыре часа, которые ему полагалось пробыть в штаб-квартире Деница, он растянул на три дня и до сих пор оставался бы в Фленсбурге, если бы Советская контрольная комиссия не предупредила о своем приезде.

Известие о прибытии русских произвело в штабе Деница впечатление разорвавшейся бомбы. Там были слишком уверены в своих силах, особенно после речи Черчилля по радио, ибо она превзошла все ожидания «нового правительства». Он и не подумает, заявил Черчилль, поручать своим войскам в Германии управление страной. Дениц увидел в этом признание своего кабинета, и в Фленсбурге-Мюрвике царило на следующий день веселое оживление. Все поздравляли друг друга. Но преждевременно...

Брандт, узнав о прибытии русских, предпочел поскорее убраться. Палуба нового правительственного корабля оказалась слишком шаткой и неустойчивой.

И вот он стоит посреди мюнхенской площади и, одурев, глядит на толкучку. Еще в пути он заметил, что все вокруг торгуют и меняют. Но это еще были отдельные группки людей, которые торчали в залах ожидания, какие-то темные личности, предлагавшие хлеб и сигареты и обделывавшие между собой свои «чернорыночные дела». Но здесь, перед главным вокзалом, Брандт, сам того не желая, попал в гигантский водоворот, и его подхватил поток продавцов и покупателей. Он пытался сопротивляться, работая локтями,— напрасно. Его куда-то тащило, и людской клубок не отпускал его. Повсюду, куда бы он ни глянул, люди с жадными, истощенными лицами торгуют и торгуются. Среди них попадались и женщины в тоненьких платьишках из дешевых материй военного времени; бледные и худые, они тем не менее пытались как можно дороже продать свои жалкие прелести.

Омерзительная картина. Брандт почувствовал отвращение. «Неужели немецкий народ,— подумал он,— стал народом мелочных торгашей?» Он попытался прочесть ответ на всех этих лицах, но на них был написан только голод и неприкрытое стремление выжить. Весь свет

точно расползался по швам, добрый немецкий порядок и дисциплина были опрокинуты. Брандт даже усомнился, действительно ли его раса призвана покорить мир. В отчаянии он подумал: «Нам необходим фюрер — твердая рука, сильный кулак. Если в ближайшее время не объявится тот, кто крепко натянет вожжи, мы скатимся к большевизму».

Но тут раздался пронзительный свист. Брандт обратил на него внимание, лишь когда все находившиеся поблизости вдруг куда-то помчались. Однако было поздно. Машины с отрядами полиции резко затормозили на перекрестке, полицейские в зеленой форме — ремешки касок опущены, в руках резиновые дубинки — соскочили с еще не остановившихся машин и оцепили улицу.

— Облава! — закричал высоким голосом какой-то человек, не успевший, как и Брандт, вовремя скрыться. Он выбросил деньги и пачки американских сигарет в канаву и попытался дать тягу. Но полицейский поймал его и поволок за собой. Вот и перед Брандтом вырос баварец с толстым красным лицом.

— Пройдемте!

— Я протестую...

— Протестовать будете потом. А сейчас идите!

Полицейский грубо потянул его за рукав, и у Брандта хватило ума не сопротивляться. Но от ярости все в нем кипело. И надо же, чтобы этакая беда приключилась именно с ним, штандартенюнкером и сыном депутата рейхстага. И вот его, как преступника, сунули вместе со спекулянтами и перекупщиками в тюремную машину с решеткой и отвезли в полицию. Там его встретили полицейские и, подгоняя вместе с другими, провели по железной лестнице на второй этаж, где окриками и пинками прогнали по длинному коридору в большую, выложенную белым и желтым кафелем общую камеру. В углу стояла бадья, издававшая едкий запах.

Попросту невыносимо! Даже более того, унизительно и оскорбительно! Брандт стоял в стороне от других, прислонясь к кафельной стене, зажав в зубах сигарету. Лицо его выражало высокомерие и презрение. И когда полицейский открыл дверь камеры, чтобы впустить следующую партию заключенных, он быстро выступил вперед:

— Я требую, чтобы меня немедленно допросили!

Но страж порядка, даже не ответив, захлопнул дверь перед самым носом Брандта. Один из заключенных, наблюдавший эту сцену, сказал, добродушно улыбаясь:

— Да не волнуйтесь вы. Когда надо будет, они сами заявятся. Ведь им от нас что-то надо, а не нам от них.

Брандт сделал вид, что не слышит. Ожидание изматывало его, вонючая камера вызывала отвращение.

Наконец под строгим конвоем их начали выводить по десять человек. Брандт попал в первую партию и замыкал шествие.

— А ну живей, живей, поторапливайся! — прикрикнул на него полицейский.

Но Брандт пропустил это замечание мимо ушей. Он продолжал идти медленно, глядя поверх полицейского. Этот человек не существовал для него. В первом этаже перед одной из комнат их остановили, приказали выстроиться в очередь, и только после этого они были впущены.

За длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидели полицейские вахмистры. Как только заключенные выстроились перед ними, они заорали:

— Всё из карманов на стол!

Брандт, не торопясь, начал выкладывать свои вещи: часы, удостоверение, кошелек, одну неначатую и одну надорванную пачку английских сигарет. Авторучку, записную книжку, солдатскую книжку и военный билет он оставил при себе. Держался он очень спокойно. Холодно смотрел на полицейского, у которого было самое обычное оплывшее лицо, низкий лоб, большой рот и мясистый нос. Полицейский почувствовал его взгляд и поднял глаза. Брандт держался высокомерно и самоуверенно, эта заносчивость как будто не понравилась полицейскому — он сердито наморщил лоб и рявкнул:

— Сигареты конфискованы. Владеть имуществом союзнических армий немцам запрещено!

— Сигареты не конфискованы,— невозмутимо возразил Брандт.

Его надменность ошеломила полицейского. От удивления он запнулся, но тут же пробурчал:

— Это решаете не вы!

— А кто?

— Я! — Полицейский произнес это так резко, что терпение Брандта лопнуло.

— Вы? — заорал он, и в его голосе прозвучали прусские казарменные нотки, сдерживаемая до сих пор ярость прорвалась. Это был голос человека, привыкшего командовать.— Да кто вы, собственно говоря, такой? — гаркнул он.— Вы что, не видите, с кем имеете дело? Я запрещаю вам этот тон. Не знаете, кто я? Сигареты я получил в штабе гроссадмирала Деница, так указано и в моих документах, и это вас совершенно не касается, понятно? А теперь вызовите мне какого-нибудь офицера, да поживей, неужели вы думаете, что я стану разговаривать с вами!

У полицейского отнялся язык. Он обычно сталкивался со спекулянтами, проститутками и шпиками. Когда они грубили, он орал на них, а если это не помогало, брал дубинку или сажал в камеру, пока они не очухаются. Это был поседевший на службе опытный полицейский, тянувший свою лямку столько же лет, сколько Брандту было от роду. Полицейский многое перевидал на своем веку, но чтобы арестованный осмелился орать на него, такого с ним еще не случалось. От ярости он побагровел, рука потянулась было за дубинкой, но тут же опустилась. Он потерял уверенность. По высокомерному поведению молодого человека, по интонациям, выдававшим привычку командовать, он начал догадываться, что здесь не все так просто. Достаточно было заглянуть в удостоверение. Там стояло: курсант второго курса военного училища, и действительно печать штаба гроссадмирала Деница, нового главы правительства. Полицейский насторожился.

Брандт заметил нерешительность вахмистра. Подчеркивая каждое слово, он заявил:

— Живей вызовите офицера.

И полицейский послушно пошел к двери.

Все присутствующие замерли в ожидании. Полицейские пытались изобразить на лицах равнодушие, но уже несколько тише препирались со спекулянтами, а те, в свою очередь, начали широко улыбаться.

Брандт незаметно наблюдал за происходящим. У большинства арестованных никаких товаров не было, и они с готовностью уплачивали штраф в несколько марок. Брандту казалось, полицейские понимают, что черный рынок неистребим, и выполняют свою работу автоматически. Чего он хотел от офицера, Брандт и сам не знал и не представлял себе, как будет держать себя с ним этот офицер. Но чувство собственного достоинства не позволяло ему вступать в пререкания с простым поли-

цейским. Это не соответствовало его положению. Он твердо рассчитывал на то, что полицейский офицер примет во внимание его прежнее звание.

Но вот полицейский вернулся с капитаном. Тот быстро подошел к Брандту.

— Вы прибыли из Фленсбурга?

— Так точно.

— Прошу...

Кабинет капитана находился неподалеку. Офицер пропустил Брандта вперед и уже в комнате представился:

— Разрешите — капитан Майбах.

— Очень приятно!

Последовало щелканье каблуков, короткий взаимный поклон.

— Прошу извинить—неприятное недоразумение, господин Брандт,— сказал капитан,— но мои люди не могли знать...

Брандт сделал рукой небрежный жест. Теперь он мог себе позволить быть великодушным. Он с первого взгляда понял, что перед ним офицер старой немецкой школы, который не потребует от него объяснений. Однако Брандт на поведение полицейского смотрел теперь иными глазами. С чернью необходима строгость и дисциплина, народ должен уважать полицейских как защитников закона. Всякие там демократические послабления в полиции недопустимы.

— Ваше дело, разумеется, улажено,— заявил скрипучим голосом капитан и указал на одно из кресел.— Прошу садиться, господин Брандт.

Но зачем ему задерживаться? С недоразумением покончено, он может идти! Неужели ему придется еще выслушивать поток извинений? Но у этого капитана есть что-то на сердце. Вот он уже начал выкладывать:

— Я и сам, господин Брандт, был в свое время кадровым офицером. Поэтому хотелось бы знать... Вы понимаете? В настоящее время мы зависим от американцев и не можем действовать по собственному разумению. А нам, полиции, предписаны всевозможные ограничения...

— Все это временное, господин капитан, временное,— в тон ему заговорил Брандт.— Могу вас заверить...

Но капитан, в свою очередь, прервал его:

— Видите, в том-то и дело! Мы живем, можно сказать, сегодняшним днем, не зная, что с нами будет завтра. А вы приехали из штаба правительства и, конечно, лучше представляете себе ситуацию. Что думают там о политическом будущем нашего отечества?

— Могу вас обрадовать, господин капитан,— Брандт почувствовал всю значительность своей особы и веско заявил: — Гроссадмирал Дениц настроен оптимистично, весьма оптимистично.

— Интересно,— вставил Майбах,— ведь американцы сами по себе весьма великодушны, с ними можно работать. Они оставили нетронутыми прежнее городское управление и полицию. Конечно, кроме особенно зарвавшихся, которых действительно неудобно держать. И тем не менее.... высшие чиновники, да и мы, офицеры, предполагаем, что предстоят демократические преобразования.

Брандт с сомнением покачал головой. Не боится ли этот капитан, что ему придется расстаться со своей должностью? На этот счет он может его успокоить.

— Народу нужна сильная рука, я понял это, когда попал сегодня с вокзала на черный рынок.

— Ужасно,— согласился капитан,— но мы не в силах бороться Большая часть товаров американского происхождения, а победители

подлежат только своему военному суду. У народа нет сдерживающей узды.

— Могу вас заверить, господин капитан, что вскоре все изменится.

И он рассказал ему о расчетах Деница на то, что западные союзники признают его главой государства, о надеждах фленсбургского правительства на создание стотысячной армии. Он повторил слова Хаазе о том, что капитуляция имеет исключительно военное, но не политическое значение. О Советской контрольной комиссии он умолчал. На капитана все это произвело огромное впечатление.

— В высшей степени поучительно,— воскликнул он.— Я весьма обязан вам за ценную информацию.— Он поднялся.— Если вам потребуется какая-либо помощь...

— Благодарю.

— Что я еще могу сделать для вас, господин Брандт? Вы предполагаете остановиться в Мюнхене?

— У родственников.

— Если вас устроит полицейская машина.. Другого транспорта у меня, к сожалению, нет.

Капитан снял телефонную трубку, что-то пробормотал и спустился с Брандтом вниз.

— Если уж полиция доставила вас сюда на машине,— сказал он, улыбаясь,— пусть обеспечит вас машиной и на обратный путь.— И он проводил Брандта через обширный вестибюль на улицу. Машина уже подошла, полицейский распахнул дверцу. Капитан приложил руку к козырьку:— Очень рад был познакомиться с вами, господин Брандт.

Губертус, очень довольный, плюхнулся на сиденье. По дороге он размышлял: первое впечатление оказалось ошибочным. Прежний дух еще чувствуется, счастье — особенно для нас, офицеров,— что союзники ведут себя столь разумно. Без них у нас, пожалуй, через месяц-другой была бы революция.

В последний раз Брандт навестил с отцом дядю Альберта, когда ему было двенадцать лет. Он помнил, что у дяди были рыжие волосы ежиком и жил он в собственном домике на окраине города. Перед домиком был разбит небольшой сад, а когда открывалась входная дверь, над ней звонил колокольчик. Помнится, это ему так понравилось, что он то и дело хлопал дверью, чтобы услышать звон.

С тех пор он ни разу не встречал своего дядю. Это был простой человек, сапожник по профессии, мастерская его находилась в том же доме, и колокольчик звонил для того, чтобы он слышал, когда входят клиенты. Дядя Альберт остался холостяком.

Губертус помнил, как однажды за столом отец между прочим сказал:

— Придется помочь Альберту, у него трудности с мастерской.

— Помогай, раз ты считаешь необходимым,— язвительно ответила мать.

Она вообще была неважного мнения о дяде Альберте. А когда отец как-то раз хотел пригласить его, родители по-настоящему поссорились.

— Пока я в этом доме,— заявила мать,— он не переступит наш порог. Этот неотесанный мужлан не умеет даже рыбу есть за столом.

Поэтому дядю Альберта так и не пригласили.

Все это Губертус вспомнил, сидя в полицейской машине. Подъехав к дому, он тотчас его узнал. Все было как и прежде, терраса такая же облезлая, и колокольчик на двери вызванивает все ту же мелодию. Да и сам дядя, казалось, не изменился. Вот он стоит в синем переднике

с молотком в руке и смотрит на Брандта, щуря свои близорукие глаза. Он только постарел, волосы из рыжих стали седыми, да спина согнулась под тяжестью лет. Удивленно рассматривал он молодого человека.

— Приветствую вас, уважаемый...

— Здравствуй, дядя Альберт. Не узнаешь меня?

На лице дяди не отразилось ни радости, ни удивления. Оно выражало только равнодушную вежливость...

— Так ты Губертус?— сказал он на своем певучем баварском диалекте, протянув ему черную от сапожного вара руку. И не без горечи добавил:— Теперь дядя стал достаточно хорош, чтобы приютить вас. Иди-ка наверх, там тебя кто-то ждет.

И он повернулся к старой обуви, наваленной горой у его рабочего места. Можно ли было ждать иного приема после того, как мать так обошлась в свое время с дядей? Да, наверно, и сейчас обходится с ним не лучше! Кто же еще мог ждать его наверху? Ей, значит, удалось удрать, и теперь она будет изматывать ему нервы своими жалобами и требованиями комфорта и денег. Поднимаясь по узкой скрипучей лестнице, он решил быть с матерью как можно сдержаннее.

Но наверху стояла не мать, наверху его ждал... отец! Он, вероятно, услышал, как Губертус разговаривает внизу с дядей, и теперь стоял в дверях, вцепившись руками в косяк. Да, перед ним стоял отец, собственной персоной, такой, каким его помнил Губертус: массивный, сильный, в расстегнутой спортивной куртке с костяными пуговицами. Это был отец, действительно отец! Он жив, сообщение о его смерти оказалось ошибочным, ложным, произошло, очевидно, какое-то недоразумение.

Не ярче ли и теплее вдруг стало светить на дворе майское солнце, не радостнее ли поют за окном птицы, вселяя надежду и уверенность? Отец, единственный человек, которого Губертус любил! Младший Брандт испугался и обрадовался, он даже замедлил было шаги. Но тут же в два-три прыжка очутился возле отца и заключил этого грузного человека в объятия.

Отец тоже был тронут. Он вытер рукой глаза и, обняв Губертуса за плечи, дружески тряхнул его.

— Кто бы мог подумать... ты жив и здоров, мой мальчик... ты выбрался оттуда...— И он громко расхохотался, как, бывало, раньше.— Брандтов не уничтожить. Самому черту не одолеть нас.

И только позже, сидя в скромной комнатке дяди, Губертус заметил, что отец все-таки изменился. Цвет лица был нездоровый, как у человека, много дней не выходившего на свежий воздух, и держался он как-то иначе, и походка изменилась, стала вялой и больше не выражала деятельную силу и энергию. Губертус заметил на столе в бутылке остатки водки и почувствовал запах сивухи изо рта отца. Что это значит? Неужели отец запил, потерял власть над собой? Нет, чепуха, он остался таким, каким был всегда, недаром так шумно хохотал он над своей собственной смертью. Шедевр дерзости, вот что это, так ловко сработать мог только отец, прошедший огонь и воду...

— Да, не думал я, что ты об этом так узнаешь, Губертус... мы всё представляли себе иначе и конец тоже. Гаулейтера арестовали американцы, да и меня они разыскивают.

Его лицо вдруг осунулось, постарело, он потянулся к бутылке, налил водку в стакан и выпил. В этом движении сквозила привычка и тупая безнадежность.

— Я ночами не спал, твердил себе: это я виноват, на моей совести смерть родного сына. Я уже не верил, что ты жив, но в душе надеялся, что ты все-таки явишься. Кто мог знать, что Адольф останется в Бер-

лине, ведь все было заранее решено и договорено: фюрер уедет на юг. На юге был Гелен, туда же и я хотел пробраться. А потом узнаю — Адольф застрелился в Берлине, и вот я потерял надежду...— Но он тут же снова от всего сердца расхохотался:— Раз ты здесь, теперь все пойдет по-иному, мальчик! Ты моя плоть и кровь. И ты жив! Это надо отпраздновать, малыш, да так, чтоб чертям тошно стало. Ну, рассказывай теперь, рассказывай.

О смерти матери Губертус узнал как-то между прочим, словно невзначай. Они не вдавались в подробности, и это молчание выражало их мысли: хорошо, что все так кончилось.

Вечер они провели в «Трокадеро», ночном ресторане в центре города. Здесь все было выдержано в темно-красных тонах: обои, обивка кресел, даже джаз-бандовцы в красных фраках, красноватым было и освещение. Отец с сыном пришли туда рано, в девять, и посетителей оказалось еще немного. В баре сидели скучающие девицы. Раскрашенные, напудренные, в открытых вечерних платьях. «Совсем другой класс, не то что простые шлюхи у вокзала»,— подумал Губертус и окинул девушек оценивающим взглядом.

Он был молчалив и задумчив. Отец ему не нравился, нет, отнюдь нет. Первая радость свидания исчезла, и Губертус начал критически приглядываться к нему. «Что-то с отцом неладно,— раздумывал он,— пьет без удержу, все подряд. Что же случилось? Раньше он был совсем другим, разумным, энергичным. И о своих планах он тоже молчит».

— В эти часы здесь еще скучновато,— проворчал отец.— Веселье начнется в одиннадцать. Нравится тебе?

— Гм. Ничего себе.

Отец заказал красного вина. Но время от времени доливал в него водки, лицо его скоро потеряло землистый оттенок и начало медленно краснеть. Уже сейчас, в начале вечера, он был не совсем трезв. Доверчиво положив руку Губертусу на плечо, он сказал:

— Давай повеселимся, ни о чем не заботясь, Губерт. Только сейчас и пожить.— Он стукнул ладонью по карману.— Денег у нас много.

Да, денег у отца было много. Перед уходом в ресторан он протянул сыну десять стомарковых бумажек.

— Для начала, мальчик. А не хватит, скажи.

Мелочным отец никогда не был. Но как раз теперь нельзя было жить беззаботно, теперь все зависело от их оперативности. А если отец будет продолжать в том же духе... Губертус сказал ему об этом. Но отец отмахнулся.

— Поживем — увидим, мальчик. Времена меняются. Пока я ничего не могу предпринять. Да и тебе после всего пережитого неплохо сейчас отдохнуть.

Губертус промолчал в ответ. Но с отцом не согласился. Отто Брандт, казалось, угадал его мысли и заявил:

— В настоящий момент вновь открыть свою строительную фирму я не могу, я же умер. А попасть в лагерь для интернированных у меня нет ни малейшей охоты.

Он обмакнул сигару в вино, закурил и сказал:

— Я тут в свое время спровадил на тот свет кое-кого из своих конкурентов-евреев. Они попали в газовую камеру — о чем я весьма сожалею, я этого не хотел. Но если меня теперь схватят, то вполне возможно, что под горячую руку и повесят. Стало быть, надо мне держаться сейчас тише воды, ниже травы и на время стушеваться Понял?

— Да,— Губертус улыбнулся.

Значит, папаша все-таки разоткровенничался.

— Слушай-ка, Губерт,— отец перегнулся к нему через стол.— Эй, кельнер, коньяку.— Он продолжал после того, как кельнер поставил рюмки на стол.— Я надежно пристроил наше состояние. Бумаги и деньги — золотые марки, понятно,— положены в швейцарский банк. Дельце-то ведь я с гаулейтером обстряпал.— Он залпом выпил коньяк.— Беспокоиться нам, следовательно, не о чем, так чего же ради мне мучиться? И по правде говоря, боюсь я, черт побери. Сам не знаю, откуда он берется, страх этот.— Он приказал подать еще коньяку.— Я хорошо все устроил, перевел свою фирму в Мюнхен. Русским остался никому не нужный хлам. А тут вдруг арестовывают гаулейтера, именно нашего друга... Сам не знаю, что со мной стало, хожу как неприкаянный.

— Да тебе, отец, просто чудятся всякие ужасы.

— Возможно,— пробурчал отец,— но попробуй с ними бороться. У меня такое ощущение, будто земля из-под ног уходит. Попросту нервы не в порядке.

Вот сидит отец, этот массивный, сильный человек, обычно такой хладнокровный, с несравненной наглостью работавший на два фронта, симулировавший собственную смерть, чтобы спасти свое добро и свою шкуру, и у этого человека не в порядке нервы! Губертус пригубил коньяк. Пусть отец пьет, сам он будет осторожен.

— Ты понимаешь меня?— спросил Отто Брандт.

Губертус резко ответил:

— Нет! Я тебя не понимаю, при всем желании — не понимаю! Никогда не следует останавливаться на полпути, отец, надо биться до последнего. А ты говоришь об отдыхе... Но ты хоть установил связи?

Ответа не последовало. «Значит, нет,— решил Губертус,— отец начинает меня тревожить. Может, было бы лучше, если бы он...» Губертус сам рассердился на свои мысли. Чепуха, отец в полном порядке, просто он переутомлен, это пройдет.

— Ты, по крайней мере, знаешь, как обстоят дела с Геленом?— спросил Губертус.

Отец покачал головой. Даже этого он не знает. Ладно, видно, нет смысла говорить дальше на эту тему. К тому же отец уже пьян.

— Завтра спокойно обсудим все это,— сказал сын.— А теперь повеселимся. Нельзя ли пригласить девушек к столу?

Тут строитель Брандт понимающе хохотнул.

— Наконец-то ты заговорил разумно, мальчик.

Он жестом пригласил девушек, сидевших в баре у стойки. А кельнеру крикнул.

— Открой-ка несколько бутылок шампанского!

Было около полуночи, когда Губертус почувствовал на плече чью-то руку и кто-то произнес над ним:

— Здорово, Брандт. Я же говорил вам, что мы еще встретимся!

Губертус вскочил и уставился в знакомое лисье лицо. В последний раз он видел его в Берлине в убежище Гитлера. Принадлежало оно капитану главного штаба.

— Дружище Юргенс, откуда вы взялись?

Капитан явно наслаждался удивлением Брандта и небрежно заметил:

— Худое споро, не сорвешь скоро.— Он кивнул в сторону бара.— Мне надо с вами поговорить.— На пьяного строителя он не обратил никакого внимания.

Губертус шепнул своей соседке:

— Извини, дела.

В баре Юргенс заказал виски.

— Уже два дня я бегаю за вами, Брандт,— проворчал он.

— Я только сегодня прибыл.

Юргенс усмехнулся.

— Как жилось у Деница? Дело дрянь, а? Н-да... мы представляли себе все это совсем иначе. Кстати, Вольф снова вынырнул, помните, доверенное лицо Бормана у Деница.— И он с таинственным видом подмигнул Губертусу.

Штандартенюнкер в отставке повертел наполненную рюмку. Он не совсем понимал этого Юргенса: капитан принадлежал к штабу Гелена, и для штаба Гелена он, Губертус, должен был работать на севере. Но там от его услуг отказались. А теперь вдруг появляется этот капитан и утверждает, что разыскивает его. Что за игру он ведет? Какое задание привезла с собой эта ищейка, и почему майор Хаазе во Фленсбурге не намекнул ему на это? Губертус недоверчиво разглядывал капитана. Тот встретил его взгляд насмешливой улыбкой.

— Хочу вам кое-что сказать, Брандт,— заявил капитан и, проглотив виски, с удовольствием щелкнул языком.— Никто из нас не предполагал, что дело Деница сорвется. Кто мог подумать, что Гитлер окончательно спятит и оставит завещание.— Он кивнул бармену и протянул ему пустую рюмку.— И Дениц принял единственно верное решение при сложившейся ситуации. А что титул «рейхспрезидент» ударил ему в голову,— Юргенс саркастически усмехнулся,— ну... это его дело. И вообще-то с этими господами скоро покончат. Майор Хаазе... что ж... он вас использовать не смог.— Капитан с сожалением поднял руки.— Вам следует это понять, уступки неизбежны. Но вы здесь в американской зоне, и Гелен тоже здесь.

— Да что с этим Геленом? — сердито спросил Брандт.— Где же он, наконец, пропадает?

— Ах, так вы не знаете, что с Геленом?

Капитан нарочито растягивал слова, он с видимым удовольствием выпил виски и только потом сухо пояснил:

— Сидит за колючей проволокой. У Шлирского озера, на хлебе и воде. Сам сдался в руки американского патруля. Но вы можете быть спокойны, все материалы в безопасности, они спрятаны в трех местах.

«Смеется он надо мной, что ли?— подумал Брандт.— Нечего играть в прятки и забавляться мной, как кошка мышкой. Он уже в Берлине достаточно занимался этим».

— Американцы время от времени допрашивают Гелена,— продолжал капитан.— Впрочем, они допрашивают всех, кто значится в их особом списке. Но, конечно, в том случае, если эти люди попали к ним в руки. Кстати, вы тоже состоите в этом списке, вам это известно? Как один из организаторов «вервольфа».

— Любопытно!— Губертус хотел ответить небрежно, но не сумел: страх сдавил ему горло. Страх проник в него до мозга костей. Проклятье! Американцы ищут его, на это он не рассчитывал. Правда, американцы это не русские. Так уж сразу они ему глотку не перережут. Но все-таки! Ведь у отца на совести жизнь нескольких евреев, а в Америке евреев достаточно. Что, если они заставят его платить за грехи отца?— Но не затем же вы пришли сюда, чтобы рассказать мне это?— накинулся он, в свою очередь, на капитана.

Юргенс иронически улыбнулся.

— А нервишки-то шалят у вас, Брандт. Выпейте-ка лучше водки, это помогает.

Верно, теперь Губертусу следовало выпить, но сухость во рту не исчезла и после спиртного.

— Я хочу дать вам только один совет,— снова начал капитан.

— А именно?

— Явитесь добровольно!

Брандт со стуком поставил рюмку на стол. Что этому зазнайке взбрело в голову?

— Вы с ума сошли, Юргенс?— отозвался он.

Капитан сделал вид, что не слышит. С невозмутимым спокойствием он пояснил свою мысль:

— Ваше дело подлежит компетенции «особого отделения». Руководит им некий капитан Броун. Симпатичнейший парень, я уже давно знаком с ним.— При этом он снова бесстыдно рассмеялся.

«Лучше всего было бы просто оборвать этот разговор»,— подумал Губертус, но что-то удержало его. По нахальному тону капитана он чувствовал, что у того в запасе есть еще козырь. И он сказал.

— Валяйте, показывайте, что у вас там есть.

— Две рюмки виски!— Юргенс закурил сигарету и поверх горящей спички бросил взгляд на Брандта. Но ответил, только когда перед ними поставили рюмки.— Итак, «особое отделение» капитана Броуна подчиняется генералу... Фамилия роли не играет. Этот генерал весьма заинтересован в Гелене, и не только в нем, но и в восточных материалах и, что, с моей точки зрения, особенно приятно, в нашем аппарате,— он неожиданно перешел на ты.— Теперь ты наконец понимаешь, что мне от тебя нужно?

Брандт от неожиданности онемел. Вот это перспективы! Неужели здесь могут осуществиться надежды, погибшие было у Деница?

— Генералу,— Юргенс поднял рюмку и чокнулся с Губертусом,— лучшего и желать не приходится. Получает в свои руки вышколенный аппарат.— Он самодовольно улыбнулся.— Аппарат, состоящий из специалистов по востоку. А сведения американской разведки о восточных странах, мягко говоря, более чем недостаточны, это известно нам давно. Это знал уже покойный Канарис *.

Брандт слушал с напряженным вниманием.

— Ну и ну...— пробормотал он, у него не хватало слов, чтобы выразить свое изумление. Теперь и он начал кое-что понимать. Это дело закручено, видно, давным-давно, и уже в Берлине Юргенсу все было известно. Но там у него на пути стоял Борман. Тайная-де борьба с большевизмом дело не армии, а партии. Так или примерно так говорил этот рейхслейтер. И вот борьба продолжается, да только на совсем иной основе. Этого Брандт не ожидал, очевидно не ожидал и отец.

— Наша агентурная сеть порвана,— продолжал Юргенс и снова приказал наполнить рюмки.— Приходится сейчас связывать концы. А это наталкивается на известные трудности, которые возникают между упомянутым американским генералом и сторонниками Рузвельта.

Юргенс бросил окурок в пепельницу и тотчас закурил новую сигарету.

— Кроме того, нам надлежит собрать всех наших бывших агентов и резидентов, а для этого нужны филиалы. Ясно?

— Ясно!— Брандт кивнул.

— Следовательно, мнимые предприятия или что-нибудь в этом роде. Вот тут-то ты, мой милый, и пригодишься. Вместе с твоим стариком.

— Но, дружище Юргенс, он ведь и сам в этом списке.

Капитан ухмыльнулся.

---

* Во время второй мировой войны руководитель разведывательной службы Германии. В 1944 году в связи с офицерским путчем 20 июля был казнен. *(Прим. автора)*

— Ничего себе семейка.— Но тут же снова стал серьезным.— Никакой беды в этом нет. Теперь его фамилия Шиндлер. И можешь быть спокоен, этот Броун отлично знает, кто такой в действительности Шиндлер. Следовательно, твой папаша может открыть свою лавочку. Неплохо звучит: «Строительная контора Шиндлер». Лицензию я получу через Броуна. Твое здоровье, Брандт.

— Твое здоровье.

— Нам нужны связные, молодые люди для работы в русской зоне. На кого же можно рассчитывать? Только на членов организации «вервольф», застрявших у русских. А в этом деле ты спец. Итак, тебе придется расширить сеть агентов и держать связь с восточной зоной. Подробности мы еще обсудим. Возможно, что будет лучше всего, если ты станешь руководить филиалом в Берлине. Согласен?

Брандт медлил.

— Значит ли это, что я должен буду отправиться в русскую зону?

— Нет. Все зависит от тебя. Найди себе надежного связного — и дело в шляпе. Так как же?

— Согласен.— Губертус Брандт радостно хлопнул Юргенса по плечу и крикнул:— Две двойные порции виски!

При этом он подумал: «Я и мечтать не смел, что все так обернется. А Юргенс — до чертиков ловкий парень. Вот удивится отец. Это действительно надо отпраздновать». Вслух он сказал:

— А теперь повеселимся, Юргенс.

Но капитан уже сполз с табурета.

— Я, знаешь ли, не при деньгах. Если можешь выложить за меня бармену мелочишку...

Мелочишка бармену обернулась в триста марок. Однако Губертусу не жаль было денег. То, что он услышал от Юргенса, стоило в десять раз дороже.

Он только сказал:

— Пустяки. Пошли. А баб прихватим с собой.

(Окончание следует)

С. Т. Нирала

Лирика

Предисловие и перевод с хинди Сергея Северцева
Под редакцией Е. Челышева

Немногим поэтам Индии довелось еще при жизни заслужить высокое звание «махакави» (великий поэт). Среди этих немногих — Сурьякант Трипатхи Нирала, шестидесятилетие которого отмечала недавно вся литературная общественность Индии.

Не сразу пришла к Нирале заслуженная слава. «Не печатайте его стихов, не платите ему денег, пусть он умрет с голоду... Он — враг священных традиций, он хочет заставить Ганг изменить свое течение!..» — злобствовали недруги, которым сразу пришлись не по душе его необычные по образам и по форме стихи. С первых же шагов Нирала смело вступил в единоборство с господствовавшей в ту пору упадочной, мистической литературой, с ее застарелыми канонами. Полемичным был самый псевдоним поэта: «Нирала» — особый, необычный.

С восхищением вспоминают друзья, каким был Нирала в молодости — в разгаре его борьбы за новую поэзию. Он завоевывал сердца не только стихами, но и всем своим обликом. Высокий, могучего сложения, с горящим взором и черными волнистыми волосами до плеч, с прекрасным, звучным голосом, он не раз выходил победителем на поэтических состязаниях.

Нирале всегда была близка жизнь индийской деревни, образы родной природы. Но его отнюдь нельзя назвать лишь певцом патриархальной Индии. Наоборот, социальной сущностью новаторства Ниралы с самого начала был протест против старого, закоснелого уклада жизни. Чутко прислушиваясь к сокровенным мечтам и надеждам своего народа, поэт воплотил их в образы своих революционно-романтических стихов — таких, как «Воодушевление», «Не умирай, о бессмертный, в пути...» и другие.

Наиболее реалистическим и проникнутым острыми социальными проблемами становится творчество Ниралы в 40-е годы — в годы победоносного подъема народных сил, восставших против колониализма. В эти годы написаны его сатирико-аллегорическая поэма «Гриб», сборники стихов «Новые листья» и «Жасмин».

Тяжелым был жизненный путь поэта. Долгие годы непризнания и нужды, безвременная смерть жены и горячо любимой дочери, суровая, полная лишений жизнь литературного борца и труженика — все это могло сломить, но не сломило его по-юношески страстную и непримиримую душу. «Мы видели, как сгибалось железо, но ни разу не видели, чтобы согнулся Нирала... Не видели, чтобы Нирала когда-нибудь пошел на соглашение с врагами или признал поражение...» — сказал о нем писатель Кришнадас. Сейчас на склоне лет Нирала живет в своем скромном домике на окраине Аллахабада и, прикованный к постели тяжелым недугом, уже почти не в силах продолжать свой труд. Но по-прежнему звучит его поэзия: десятки книг, заслуживших любовь и признание, несколько литературных обществ, изучающих и пропагандирующих его творчество, целая плеяда молодых поэтов, его приверженцев и последователей,— таков жизненный и творческий итог Ниралы.

* * *

Вспоминая о днях, проведенных в Индии, в этой красочной, полной таких удивительных контрастов стране, то и дело открываешь как бы живые иллюстрации к лирике Ниралы.

Вот молодая женщина на починке дороги в предместьях Бомбея: сидя на корточках, под палящим полуденным солнцем, она бьет и бьет молотком, дробя в щебень серые обломки камня. Изнурительно тяжел ее не женский труд, и все же сколько женственности в гибких движениях этих плеч, в наклоне маленькой головы с длинной косой, сползшей на грудь! А глухой, монотонный стук молотка словно сурово повторяет: «Камни дробит она!..»

Вот поднимается над краем красно-коричневой раджастанской равнины большая туча, стремительно захватывает она полнеба своими тяжелыми, темными, как старое серебро, клубами. И уже заволновались в ожидании грозы поникшие побеги молодой пшеницы и высокие пожелтевшие заросли сахарного тростника. А смуглый, под цвет своей земли, сухощавый крестьянин в одном только белом дхоти вокруг бедер остановился и, опираясь на плуг, поднимает потное лицо навстречу долгожданному дождю. Даже его буйвол, вытянув шею и прижав к горбу свои покрытые голубой краской рога, с облегчением вздыхает, жадно втягивая ноздрями доносящуюся прохладу. Все выше встают облака, загромождая небо,— и невольно вспоминаются строки Ниралы: образ грозового облака, несущего земле благодатный дождь, повсюду пробуждающий всходы новой жизни, символ очистительной бури — один из любимых образов поэта.

Вот по сельской улице, вдоль длинных глинобитных стен, шагает навстречу девушка-бенгалка, плавно неся на голове два поставленных друг на друга медных сосуда с водой. Словно сойдя с фресок Аджанты, царственной походкой проходит она, древним жестом поправляя на ходу перекинутый через плечо край темно-пурпурного сари. Легко побрякивают ножные браслеты, пыльные босые ступни с наведенной по краям карминовой полоской уверенно ступают по родной земле. С гордой застенчивостью опускаются при встрече изумительные ресницы — любая городская модница позавидовала бы им! Не любимая ли это героиня Ниралы, посвятившего столько строк простой индийской женщине — ее красоте и верности, стойкости и душевной чистоте? В его поэтическом сознании родная Индия всегда представала в облике прекрасной женщины, матери и возлюбленной, полной возвышенных мыслей и надежд, всей душой неустанно стремящейся к счастью.

ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Грянь, торжественный гром,
Чтобы твердь и земля сотрясались кругом!
Загреми, налети,
Потемневшее небо в объятья схвати!
Ты — владыка над всеми потоками вод,
Что на землю обрушивает небосвод,
Как могуч и прекрасен ты, гром животворный,
Прихотливо окутанный тучею черной!
Словно чьей-то фантазией ты порожден:
Ты бесчисленных молний огнем озарен,
Переполнен слепящею их красотой,
Ибо ты — новой жизни поэт молодой!
Но пускай твои молнии нам не грозят
И клинками измученный край не разят,
Этот мир озаряя изломами молний,

Новой песней его, новой жизнью наполни,
Грянь, неистовый гром!
Истомленные зноем, тебя мы зовем,
Люди мира от засухи изнемогли
И горят, как в огне, задыхаясь в пыли.
Но уже из счастливого дальнего края
Долгожданная туча плывет дождевая.
Вся земля пробудилась, ее призывая:
— Остуди, освежи благодатным дождем!
Грянь, живительный гром!

КАМНИ ДРОБИТ ОНА

Камни дробит она!
Я увидел ее по дороге в Аллахабад:
Камни дробит она.
С утра дотемна
Молотка удары звучат.
Ни деревца здесь, где в жаркие дни
Можно укрыться в густой тени.
От пыли, от солнца палящих дней
Кожа ее — сажи черней.
Потупив глаза, вздыхая тайком,
Дробит она камни большим молотком,
А рядом, красуясь у всех на виду,
Пестреет дворец в тенистом саду.
Солнце все выше над головой
Всходит по лестнице огневой,
Лицо почернело, руки в пыли,
Жар поднимается от земли.
И кажется: зной до того жесток,
Что искры сыплются на песок,
Пылает, как хлопок, земля кругом,
А девушка бьет и бьет молотком...
Украдкой глаза на меня подняла
И сразу в сторону отвела:
Не вышел ли кто-нибудь из дворца
И не следит ли за ней с крыльца?
Взглянула глазами, полными слез,
Как будто ей кто-то удар нанес,
Нежданной обидою оглушил
И даже плакать не разрешил.
Но боль от удара душа хранит,
Разбитой ситарой душа звенит,
Звенит с отчаяньем и тоской —
Я песни еще не слыхал такой!
По юному телу, как трепет крыла,
Дрожь пробежала — и замерла.
Пот со щеки смахнув на песок,
Опять молоток она подняла,
И словно громко сказал молоток:
— Камни дробит она!

*
* *

Шефали* распустилась при луне,
И засмеялись листья в полусне...

Прекрасны ветки молодой шефали —
Чью красоту, чей блеск они украли?
А легкий ветер, словно вздох печали,
Несет их тонкий аромат ко мне.

В полночный час, когда про них забыли
И спящие давно глаза закрыли,
Цветы шефали распускают крылья
И улетают к звездной вышине.

А в небе смотрят феи молодые,
Как реют эти вестницы живые,
И с удивленьем узнают впервые
О наступившей на земле весне.

*
* *

Зеленого леса большая душа
В движенье пришла и наполнилась счастьем —
То ветер пронесся, по веткам спеша.

Повисли гирлянды цветов на лианах:
Деревья обняв, как супругов желанных,
Склонились они, от восторга застыв,
Почти не дыша.

Шмели погрузились в цветы с головою,
И койлы** поют за тенистой листвою —
Как весть, долетевшая с ясных небес,
Их песнь хороша!

Ликуют цветы, и деревья, и птицы —
Во всем ароматная юность струится,
И гибкие лотосы нежно сплелись
Среди камыша.

А дальше, красуясь в зеленом наряде,
Кешар распустил свои длинные пряди,
И зыблются трав золотые ковры,
Тихонько шурша.

*
* *

Вот ветка дерева, чьи листья облетели:
Она молчит, склонясь, качаясь еле-еле,

---

* Ночной цветок.
** Индийская кукушка — традиционный образ весны и любви

И, в небо устремив надежды полный взгляд,
Приказа ждет надеть весенний свой наряд.
Ждет, неподвижная, в тиши завороженной,
Подобно женщине, в молитву погруженной,
И лишь по временам колышется слегка
От опрометчивых порывов ветерка.
Красива и стройна, богинею Парвати *
Она мне кажется в небесной благодати.
Упруга и крепка, она ласкает взор,
Как дева, что живет близ гималайских гор.
Настанет вновь пора цветенья и надежды —
Наденет вновь она зеленые одежды,
И, пробуждая мир от горестного сна,
Гирлянду из цветов ей принесет весна,
Наполнит душу ей любви живым напевом
И обручит ее с прекрасным Камадевом **
И ветка примется за новые труды,
И будут сладостью полны ее плоды.
Так трудится она, чтоб людям быть счастливей,
И, бескорыстная, она подобна Шиве:
Вино бессмертия, амриту, нам дает,
Сама же горький виш, напиток смерти, пьет.

* * *

Что за люди на той стороне отдаленной?
Неизвестностью сердце мое не томи:
Расскажи про обычаи их и законы,
Я хочу быть знакомым со всеми людьми!

Обо всем расскажи, чтобы знал я отныне:
Где живут эти люди? В горах? На равнине?
Что за нравы у них, и дома, и святыни?
Как смеются они? Как играют с детьми?

Есть у них мудрецы? Что всего им дороже?
На людей ли они, на богов ли похожи?
Черных, желтых, коричневых и краснокожих
Не молитвам учи, а сперва накорми!

ЧИСТОЕ НЕБО

После долгих дождей небеса наконец прояснились,
А тяжелые тучи исчезли, как будто приснились.

Духоту грозовую сменили покой и прохлада,
Вся природа вокруг тишине и безветрию рада.

Так сияет земля и прозрачное небо над нею,
Что, далекое, стало отчетливей, ближе, виднее:

* Супруга бога Шивы, одного из трех главных индуистских божеств.
** Бог любви.

Вон коровы и буйволы дружно идут к водопою,
Вон по пастбищу овцы рассыпались пестрой толпою.

Отдыхает листва, детвора у ограды резвится,
Оживились улыбками нежные девичьи лица.

Всюду — новая жизнь, всюду слышится говор и пенье,
Люди начали в гости ходить из селенья в селенье.

Кто пошел на базар, кто сидит под тенистым баньяном,
Кто, с друзьями беседуя, бродит по влажным полянам.

Собираются юноши — будут играть и бороться,
В разноцветных одеждах соседки сошлись у колодца.

Им не надо бояться, что снова их дождик намочит
Или грязью запачкать их яркие сари захочет.

У колодца стоят, опираясь на край отсырелый,
И смеющихся взоров бросают лукавые стрелы.

*
* *

Здесь привязывать лодку не надо, мой брат!
Не причаливай здесь, возле сада, мой брат!
Будут люди в селенье расспрашивать нас,
Ведь она в этом месте купалась не раз,
И с нее не сводил я восторженных глаз,
Чуть припомню ее, трепещу и сейчас,
Этот смех для меня был отрадой, мой брат!
Этот смех — он без слов говорил обо всем,
Ведь она так умела бороться со злом,
Всем служила и всех одаряла теплом,
Но молчала всегда о страданье своем...
Наша память ей будет наградой, мой брат!

ПЕСНЯ

Никогда ты меня утолить не могла
И от жажды меня исцелить не могла.

Сколько раз в этот сад прилетал суховей,
Обрывая листву с опаленных ветвей,
Сколько раз беспощадный, дождливый сава́н *
Неприветливых туч пригонял караван,
Но опять приходила с улыбкой весна,
Ароматами щедрыми напоена,
И печальный Вриндаван ** опять оживал
И на ветви гирлянды цветов надевал.

---

* Месяц дождей.
** Прекрасный сад легендарного героя Рамы

Разве странник, томящийся жаждой в пути,
Хоть однажды источник не сможет найти?
Разве горестный вздох одиноких сирот
Хоть однажды ответа себе не найдет?
Разве каждый из этих несчетных цветов
На заре лепестки приоткрыть не готов?
Разве радостью не отвечает земля,
Услыхав над лугами жужжанье шмеля?

Лишь во мне бесконечною жажда была —
Никогда ты меня утолить не могла.

*
* *

Я сегодня вйну * взял другую —
Новой жизни вину золотую:
Это — песня нового рассвета,
Эта песня радостью согрета.

В каждом доме сделалось светлее,
В каждом сердце сделалось теплее,
И надежда озарила лица,
Как из туч блеснувшая зарница.
Над землей пронесся зов певучий
Этих торжествующих созвучий,
И сердца среди земных лишений
Стали вдруг добрей и совершенней.

Эта песня всюду возродила
То искусство, что забыто было:
Жаждал мир услышать это слово,
И теперь оно вернулось снова!
Сквозь распахнутые окна жизни
Разнеслось оно по всей отчизне,
И в домах, где поселилось горе,
Люди счастья ожидают вскоре.

Вот что в мире за одно мгновенье
Совершить сумело вдохновенье!

*
* *

Я — одинок... Если жизнь считать
Одним нескончаемо долгим днем,
То скоро должна уже ночь настать:
Сгущается мрак на пути моем.

Мой шаг ослабел, румянец поблек,
В морщинах лицо, седина до плеч...
Я все водопады уже пересек,
Которые должен был пересечь.

---

* Индийский народный музыкальный инструмент.

Все меньше знакомых... Скоро дождусь
И я своего последнего дня.
И вот — смотрю и тихо смеюсь:
Никто не выходит встречать меня.

*

* *

Не умирай, о бессмертный, в пути,
Братьев-рабочих ты должен спасти,
Руку мозолистую подними,
В счастье и в горе останься с людьми.
Видишь: сиянием новой весны
Листья несчетные озарены,
Будем же сердцем чисты, горячи
И бескорыстны, как эти лучи.
О человек, о трудящийся брат,
С нами ты станешь сильнее стократ,
Так поделись же источником сил
С тем, кто себя до конца истощил!
О, как разрознены души людей
В этом потоке стремительных дней:
Словно лианы, порывами зла
Были оторваны мы от ствола.
Братьев своих ободряя в борьбе,
Будь неустанным, забудь о себе,
Юношей, девушек — всех по пути
Объедини, чтобы к счастью идти!

Митчел Уилсон

Вёрнера НА ДАЛЕКОМ МЕРИДИАНЕ

Перевод с английского И. Гуровой, Н. Дехтеревой и Н. Треневой

Глава пятая

1

В Стокгольме он садился в самолет усталый и расстроенный, и ему казалось, что если он начнет анализировать свое состояние, то еще больше устанет и расстроится. Потом он несколько часов просидел, сонно глядя в окно и даже не предчувствуя, что в Москве, едва советский чиновник соберет паспорта, он выйдет из самолета, исполненный жадного и деятельного любопытства ко всему окружающему, словно весь превратится в широко открытые, удивленные глаза. Но вот откуда-то изнутри в нем поднялась живительная волна энергии. Внезапно все вокруг стало захватывающе интересным — либо потому, что резко отличалось от всего, к чему он привык, либо (и это было не менее примечательно) потому, что было точь-в-точь таким же.

На секунду он задержался на площадке приставной алюминиевой лестницы, освещенной жиденькими лучами солнца. Почти под его ногами перед белым зданием аэропорта виднелось обнесенное барьером пространство, заполненное сотнями людей. Через калитку на поле аэродрома вышло человек тридцать советских носильщиков: они нестройной вереницей потянулись за невысокой, бодро шагающей стюардессой, которая с видом школьной учительницы повела их к приземлившемуся самолету. Громкоговоритель, скрипуче подражая человеческому голосу, сообщал об отлетающих самолетах, монотонно повторяя: «Харьков, Ростов, Симферополь. Рейс сто четвертый. Харьков, Ростов, Симферополь!»

Ник смотрел на толпу. Это были русские: женщины без шляпок в ярких летних платьях, мужчины тоже без шляп, некоторые в пиджаках, некоторые просто в рубашках с расстегнутым воротом. Головы поворачивались, руки жестикулировали, тела двигались — он видел все это удивительно отчетливо, а затем, медленно спускаясь по ступенькам, заметил, что почти прямо перед ним через барьер перегибается Горчаков, машет ему рукой, улыбается, что-то говорит своему соседу и тот тоже смотрит на него и улыбается.

Громкоговоритель — на этот раз звонким сопрано — нараспев возвестил о новом рейсе: «Рейс сорок пятый, в Китай... рейс сорок пятый. Ташкент — Пекин! Ташкент — Пекин!»

Продолжение. Начало см. в № 1.

Ник прошел за барьер и погрузился в волны русской речи — звуки барабанили по его ушам слишком быстро, чтобы слагаться в слова, и становились словами лишь через несколько секунд, потому что ему все еще требовалось время на мысленный перевод. Он изо всех сил пытался ускорить этот процесс, чтобы сразу схватывать смысл. Словно ему объявили, что отныне он должен бежать, чтобы не отстать от тех, идущих шагом; однако, проталкиваясь навстречу Горчакову, он чувствовал, что широко улыбается. Их протянутые руки соединились в крепком пожатии.

— Добро пожаловать в Москву! — сказал Горчаков по-английски.

— Я счастлив, что я тут,— ответил Ник заученной русской фразой, удивляясь и радуясь своей внезапной веселости.— Где у вас проходят таможенный досмотр?

— Об этом позаботятся,— улыбнулся Горчаков.— Вы понимаете, когда я говорю по-русски?

— Вы владеете русским очень недурно,— с полной серьезностью ответил Ник.

Горчаков представил своего спутника:

— Киреев, Академия наук.

Тот поклонился, и они обменялись рукопожатием.

— Рад познакомиться с вами, доктор Реннет. Мы хорошо знаем ваши труды,— сказал Киреев по-английски.— Но почему вы не приехали все вместе? Остальные члены делегации уже два дня как здесь.

— Делегации? — недоуменно сказал Ник. Потом он засмеялся.— Я и забыл, что я делегация. А сколько всего американцев будет присутствовать на конференции?

— Пять, включая вас. Номера для вас сняты в одной гостинице, в «Москве», и расположены рядом. Ну, идемте. И скажите мне откровенно,— доверительно спросил Горчаков, беря Ника под руку,— у вас есть с собой гашиш?

— Что?..

— Гашиш или опиум, ну, хоть чуточку...— настаивал Горчаков,— для собственного употребления.

— Нет,— ответил Ник, ничего не понимая.

— Или оружие? — Если не считать смешливой искорки в глазах. лицо Горчакова было совершенно серьезно.— Ну, там револьвер или пулемет, хотя бы подержанный.

— Нет.

— А может быть, танк? Небольшая ракетная установка? Нет? Вы уверены? Хорошо,— закончил он довольным голосом.— Тогда мы можем не беспокоиться о таможенном досмотре. Ничем другим они не интересуются.

Ник вошел в высокий белый зал и так увлекся, рассматривая огромные колонны, всевозможные плакаты и указатели, торопливо снующих людей, что чуть было не споткнулся о женщину в косынке, которая мыла пол. Он был на голову выше всех окружающих и видел все лица так отчетливо, что казалось, будет помнить их до конца жизни: усталого худого солдата, который нес на левой руке младенца и в той же руке пакет, словно ему непременно было нужно, чтобы правая рука оставалась свободной, и его жену, державшую два небольших свертка и обмахивавшую платком свое раскрасневшееся лицо; изящно одетую девушку с льняными волосами и умело подкрашенными ресницами, в черных летних перчатках и черных лакированных туфлях на высоком каблуке, которая, читая «Правду», расхаживала взад и вперед, очевидно чтобы как-то убить время; толстяка с пышной бородой, в зеленой тенниске

и соломенной шляпе с дырочками, который толкнул его, пробегая мимо, и торопливо буркнул:

— Извините!

— Пожалуйста,— сказал Ник, неожиданно для себя отвечая тоже по-русски, но толстяк пробежал дальше, даже не оглянувшись.

Загремел громкоговоритель, объявляя рейс на Ленинград, а затем в третий, последний раз прозвучал призыв: «Харьков, Ростов, Симферополь». Тут в его ноздри вдруг проник едкий запах карболки, которой была пропитана тряпка уборщицы, и он продолжал его чувствовать даже в полной синего плюша и бахромы комнате для ожидания, куда провел его Горчаков, пока их третий спутник побежал улаживать формальности.

Все с тем же жадным любопытством, скрытым за невозмутимой маской лица, Ник оглядел остальных ожидающих. Некоторые из них были иностранцы, а другие — русские, которые их встречали. В одном углу англичанин, походивший на литератора, с помощью переводчика давал интервью двум русским журналисткам, а русский радиокорреспондент, ожидая, когда те кончат, невозмутимо устанавливал перед ним переносный магнитофон. Ник, казалось, слышал и видел все и всех, кроме Горчакова, который уже начал говорить о физике. Тут к ним быстро подошел Киреев, чтобы спросить:

— Сколько у вас с собой денег?

— Не знаю,— рассеянно ответил Ник.— Около двухсот долларов. Несколько аккредитивов — еще сотни на две. Несколько английских фунтов, которые я забыл обменять, и несколько шведских крон...

— Ну, скажем, двести долларов,— быстро сказал Киреев.— Это только для таможни.— И он опять удалился.

— А теперь довольно шуток,— сказал Горчаков.— Давайте перейдем к серьезным делам.

— Хорошо, но прежде мне надо позвонить в наше посольство,— сказал Ник; последняя фраза Горчакова напомнила ему о пустячном поручении, которое он хотел выполнить, пока о нем не забыл.— Это был очень строгий приказ, и я обещал следовать ему неукоснительно.

Лицо Горчакова утратило всякое выражение.

— Разумеется,— сказал он.— Я сейчас все устрою. Вероятно, здесь есть телефон, которым вы можете воспользоваться.

Он отошел к лысому человеку, сидевшему за столом в дальнем конце комнаты. Ник увидел, как они быстро о чем-то заговорили, поглядывая в его сторону. Затем лысый кивнул, и они вышли через дверь, из которой почти немедленно появились трое одетых в одинаковые синие куртки китайцев в сопровождении четверых встречающих русских, затем индус с черной бородой и усами, в тюрбане и в костюме, сшитом лондонским портным, а за ним — худощавая француженка с грустными глазами, необыкновенно грациозная и чуть небрежно одетая. Ник узнал знаменитую французскую балерину. Она опустилась в одно из плюшевых кресел и лениво огляделась: взгляд ее скользнул по китайцам, потом задержался на англичанине, теперь очень серьезно и искренне говорившем что-то в микрофон, который корреспондент, словно кормя его с ложечки, держал у его губ, а потом остановился на Нике. Не всякий мужчина решился бы окинуть женщину таким спокойно оценивающим и предельно откровенным взглядом.

Быстрыми шагами вошел Горчаков и поманил Ника за собой. Они оказались в маленьком кабинете, где лысый служащий, с которым говорил Горчаков, уже успел набрать номер телефона. Он передал трубку Нику, поглядев на него с нескрываемым любопытством.

— Вам сейчас ответят,— сказал Горчаков. Он кивнул лысому, и оба они вышли, прикрыв за собой дверь прежде, чем Ник успел сказать, что разговор не составляет никакой тайны и они ему не помешают.

Женский голос, несомненно принадлежащий американке, сказал «Алло!», и Ник попросил вызвать Мартина Филлипса из консульского отдела. Через несколько секунд мужской голос устало произнес:

— Филлипс у телефона.

— С вами говорит Никлас Реннет. Я только что из Стокгольма. Меня просила позвонить вам ваша сестра Грейс. Она взяла с меня клятву, что я сделаю это сразу же, как только приеду, не то она меня убьет.

Филлипс весело засмеялся.

— Узнаю Грейс! А она, случайно, не просила сообщить, что не сможет встретиться со мной в Вене?

— Именно. Она сказала, что будет ждать вас в Риме.

— Мне очень жаль, что мы причинили вам столько хлопот. Она, конечно, послала мне телеграмму, но почему-то она никак не может поверить, что телеграф здесь работает. Очень жаль, что мне не удастся повидаться с вами, ведь я, как вы знаете, сегодня уезжаю на полтора месяца в отпуск. Но раз уж вы позвонили, я, пожалуй, вас сразу же и зарегистрирую. Мы предпочитаем, чтобы американцы сообщали нам, где они остановились, если они собираются пробыть здесь больше одной-двух недель. Это только формальность. Но если у них дома что-нибудь случается, их родным не приходит в голову запросить Интурист, и они начинают бомбардировать телеграммами нас. Месяц назад нам пришлось разыскивать одного приехавшего сюда с делегацией фермера из Айдахо, у которого заболела жена.

— Я еще в аэропорту,— сказал Ник. Стоило ли объяснять, что для него эта формальность совершенно не нужна: в Соединенных Штатах не было ни одного человека, которому он мог бы неожиданно понадобиться. В любое другое время ему стало бы грустно от этой мысли — но не теперь, когда будущее, ожидавшее его тут же, за дверью, казалось, обещало ему так много. Он был не одинок, а свободен.— Я приехал на конференцию физиков.

— В таком случае мы всегда можем найти вас через Академию наук. Нам нужно только знать номер вашего паспорта и где вы остановились. Но, как я уже сказал, это — формальность, и вы можете не утруждать себя. Еще раз спасибо и примите мои извинения за Грейс.

Ник повесил трубку и вышел к Горчакову и Киреву. Последний сказал:

— Машина ждет.

Горчаков вопросительно посмотрел на Ника.

— А теперь мы можем поговорить?

— О космических лучах? — спросил Ник. Балерина встала и пошла к нему, улыбаясь и протягивая руку, но эту руку взял и поцеловал худощавый, элегантно одетый человек, который появился из-за спины Ника и оживленно сказал что-то по-французски, хотя и с заметным русским акцентом. В комнату энергичной походкой вошел пожилой советский генерал в белом кителе и синих брюках с красной полосой, он недовольно осмотрелся по сторонам, словно здание аэропорта сыграло с ним неумную шутку, и снова исчез за дверью, а Ник проводил его взглядом, жадно ловившим каждую деталь советской жизни.— О космических лучах? Пока не надо, если можно,— попросил он, зная, что ничего не способен слушать, пока глаза его не насытятся. Улыбнувшись, он добавил: — Дайте мне сперва сориентироваться.

Оживление на лице Горчакова снова угасло, и оно стало непрони-

цаемым. В зале запах карболки еще более усилился, и Ник торопливо прошел к двери, стремясь скорее выбраться на свежий воздух. Снаружи на ступеньках, теперь освещенных уже довольно ярким солнцем, в ленивых позах стояли носильщики, которых не смогли преобразить даже их форма и кепи с кожаным козырьком — наоборот, им удалось придать своей форме непринужденность пижамы. Но Нику так и не пришлось глотнуть свежего воздуха — шоссе недавно заново асфальтировали, а кроме того, всюду пахло бензином. Их ждал длинный черный лимузин с распахнутыми дверцами, сиденья которого были покрыты чехлами в сине-белых цветочках. Чемоданы уложили в багажник, все сели, шофер включил передачу, и машина плавно покатила мимо стоянки, где сгрудилось двадцать такси с узкими клетчатыми полосками под окнами, а их шоферы, сбившись в кучки, о чем-то весело болтали — точь-в-точь как где-нибудь в Питсбурге и в Нью-Йорке, в Париже и в Риме.

За границей аэродрома потянулась поросшая молодыми деревцами равнина, сохранявшая все черты дикой природы. Вскоре перед ними открылось широкое шоссе, где одна изящная белая стрела с надписью «Аэропорт» указывала назад, а другая, под прямым углом к ней,— налево, на Москву.

— В Москву, в Москву! — сказал Ник, цитируя Чехова.

— Мы будем там примерно через полчаса,— ответил Горчаков. К нему уже вернулось хорошее настроение, и он принялся описывать фазотрон, но Ник только рассеянно отвечал: «Ах, вот как!» — а сам во все глаза смотрел из окошка на окружавшую его Россию: на широкое шоссе, на движущиеся с одинаковой скоростью грузовики и легковые автомобили — и задавал себе вопрос, почему шоссе в Советском Союзе производит на него такое впечатление, в то время как он совсем не обратил внимания ни на Большое Западное шоссе, ведущее в Лондон, ни на подъезд к Стокгольму. Сейчас он находился на Луне, но только она почему-то совсем не отличалась от всего остального мира. Он открыл окно, но вместо свежего воздуха вдохнул запах русского бензина.

— Какое у вас было самое первое впечатление от Нью-Йорка? — прервал он Горчакова.

— Самое первое? — повторил Горчаков, сбитый с толку неожиданным вопросом.

— Да, самое-самое первое.

— Запахи,— не задумываясь, ответил Горчаков.— Ваш бензин пахнет не так, как наш, дезинфицирующие средства, которыми вы пользуетесь в ваших учреждениях, пахнут не так, как мы привыкли, это относится даже к вашим кушаньям. Я вышел из самолета, мечтая подышать свежим воздухом, но меня со всех сторон подстерегали новые запахи — не то чтобы плохие или хорошие,— пояснил он дипломатично,— а просто непривычные, однако и этого оказалось достаточно. Я очень долго не мог к ним приспособиться, ну а потом, разумеется, перестал их ощущать совсем — чувствовал только свежесть воздуха. С тех пор мне больше не удавалось понюхать Америку. Может быть, вам неприятно то, что я говорю?

— Ну что вы! — сказал Ник.

Они мчались по залитому солнцем шоссе. Небо казалось невысоким и прозрачным. И вдруг слева возник шпиль, венчавший квадратную белую башню. Это был Московский университет, но вокруг по-прежнему тянулись поля и перелески. Затем внезапно показались вспоротые пласты земли, над которыми, фыркая, трудились бульдозеры, а потом по обеим сторонам шоссе поднялся решетчатый лес обнаженных стальных ферм, подъемные краны ворочали над ними свои узкие головы,

напоминавшие черепа доисторических птиц, и тросы свисали с их длинных клювов, как струйки стальной слюны. Несколько миль вдоль шоссе тянулись эти шести-, восьми- и десятиэтажные клетки, а затем внезапно скелеты зданий стали одеваться плотью кирпича.

— Новая Москва,— сказал Горчаков.— Два месяца назад здесь были деревушки с бревенчатыми избами наполеоновских времен. Пройдет два месяца, и сюда въедут первые жильцы.

Еще через несколько миль показались уже готовые дома. Дети играли на тротуарах, которые были даже новее, чем сами здания. В первом этаже располагались магазины. Ник успевал читать неоновые вывески: «Мебель», «Ателье», «Продовольственный магазин», «Ресторан». Шоссе пересекло широкий проспект, и оказалось, что новые дома образуют уже и боковые улицы. Появились набитые людьми троллейбусы со стеклянным верхом. В окнах квартир виднелись занавески, абажуры, цветочные горшки. Миля за милей тянулся вдоль шоссе новый город, и все дома были очень похожи, если не считать мелких деталей фасадов. Вдруг слева на фоне голубого деревенского неба возникла вся панорама университета и сразу пропала позади. Высокие дома исчезли еще быстрее, чем появились, и снова на несколько сот метров потянулись поля. Впереди виднелся другой город, более старый, низкий и темный. Лимузин пронесся по мосту над железной дорогой, скользнул между двумя высокими серыми домами и, не снижая скорости, помчался по широкому проспекту. Теперь повсюду вокруг Ника были дома, люди, автомобили той Москвы, о которой он читал, и совсем иной, чем этот оставшийся позади новый город. Машин стало гораздо больше. По тротуарам двигались толпы прохожих. Мимо мелькали многоквартирные дома, деревянные заборы, деревянные домики, афиши кинотеатров, пестрые плакаты на стенах домов, призывавшие хранить деньги в сберкассе, пить молоко и переходить улицу, соблюдая правила уличного движения. Мелькали старинные, выкрашенные в зеленую краску дома с деревянным кружевом карнизов, лишившиеся водосточных труб еще сто лет назад; мелькали темно-серые шестиэтажные жилые дома, длинные бурые заборы с газетными витринами, мужчины без шляп, женщины в летних платьях, рубашки с открытым воротом, соломенные шляпы, вышитые тюбетейки. В толпе на уровне колен и бедер болтались покупки в плетеных сумках, демонстрировавших все свое содержимое — французские булки, арбузы, апельсины, помидоры, бутылки с минеральной водой, а порой торчащую из бумажного пакета ухмыляющуюся рыбью голову; но улицы были безупречно чисты. На перекрестке, где сходились семь улиц, свисток и полосатый жезл одного-единственного регулировщика легко управляли семью потоками уличного движения. Внезапно мелькнула узенькая речка в каменных берегах, затем еще одна река, а за ней из-за бахромы зелени поднялись зубчатые красные стены Кремля, над которым виднелись верхушки деревьев, золотые купола, венчающие белые колокольни, и желтые дворцы итальянского стиля. Невысокое белое длинное здание восемнадцатого века на мгновение заслонило Кремль, а когда он снова возник за широкой мощеной площадью и кронами деревьев над ярким цветником, лимузин захлестнула волна уличного движения, мелькнули проезды, кишащие народом, и машина, резко затормозив, остановилась перед высоким массивным зданием.

— Приехали,— сказал Горчаков.

— Куда?

— В «Москву».

Вестибюль оказался не очень ярко освещенным мраморным залом с высокими потолками. Лифты из темного дерева напоминали европейские, а добродушная толстая лифтерша сосредоточенно хмурилась, словно она обдумывала обед и вдруг сообразила, что он получится невкусным. Людская волна оттеснила Ника, Горчакова и Киреева в глубину лифта, и все смотрели друг на друга широко открытыми незрячими глазами, как смотрят в лицо незнакомого человека, который чуть ли не обнимает тебя. В голове Ника тупо билась одна мысль: «Это все русские, я действительно здесь».

На пятом этаже он вышел вслед за Горчаковым, и тот, остановившись перед сидящей за столом женщиной, взял у нее ключ. Номер в конце длинного, устланного зеленым ковром коридора состоял из двух комнат, ванной и балкона, выходившего на широкую оживленную улицу. Ник разглядывал синий с бахромой абажур, синие плюшевые портьеры, телевизор и рояль, пытаясь уловить общий стиль, но в это время Горчаков взял его руку и пожал ее.

— Вы, вероятно, устали, и вам хочется отдохнуть. Завтра утром за вами пришлют машину, чтобы отвезти вас на первое заседание. Еще раз — добро пожаловать в Москву.

Оба русских ушли, и Ник внезапно остался совсем один в самом центре Москвы. Надо было прожить оставшуюся часть дня и вечер, а у него не было никакого представления о том, что он хочет делать или что он может сделать. Он страшно устал и в то же время был так возбужден, что каждая деталь обстановки — белая скатерть на круглом обеденном столике, тяжелая чернильница из серого мрамора на письменном столе, узор ковра, рисунок рамы огромного окна — все это отпечатывалось в его мозгу с почти болезненной четкостью. Зазвонил телефон. Вероятно, ошибка. Раздался второй звонок. Снимая трубку, русские говорят «Слушаю!» или «Да?». Ник попробовал произнести вслух оба слова. Телефон продолжал звонить. Он снял трубку и откашлялся.

— Хэллоу? — сказал он по-английски.

— Доктор Реннет? — спросил незнакомый мужской голос по-английски, но с русским акцентом.— Говорит Петровский, переводчик американской делегации. Вы довольны номером? Да? Очень хорошо. Может быть, вы хотели бы перекусить? Делегация решила пообедать в семь часов — по-американски, а затем отправиться в цирк. Я зайду за вами без пяти семь. Вам это удобно?

— В цирк? — сказал Ник. Последний раз он был в цирке тридцать лет назад. Неужели он проехал третью часть земного шара для того, чтобы отправиться в цирк? Но затем он вспомнил, как трудно бывало придумывать развлечения для иностранных делегаций. Советская программа была, возможно, не хуже, а может быть, и гораздо лучше того, что американцы предлагали русским. На чьем-то столе лежит отпечатанное по-русски расписание, озаглавленное «Программа для американской делегации», и копия его находится в еще одном служебном кабинете,— расписание, почти совпадающее по духу с тем, отпечатанным по-английски, которое лежало на его собственном столе в Кливленде и копия которого была послана в Вашингтон. Когда официальные часы начинали тикать, хорошо воспитанному гостю оставалось только механически кивать головой и говорить «тик-так» в предписанном ритме.

— Я буду очень рад побывать в цирке,— любезно сказал он и повесил трубку. И тут, как пар из внезапно открытого люка, его обволокла усталость; развязав галстук и расстегнув воротничок, он прошел в спальню и улегся на одну из широких кроватей, не распаковав чемодана и даже не сняв синего шелкового покрывала.

2

На третий день своего пребывания в Москве Ник проснулся раздраженный и усталый. Он был голоден, потому что еще не успел приспособиться к принятым здесь часам еды, и нервничал, потому что допустил серьезный просчет. Доклад, который ему предстояло сделать в пятницу— в последний день конференции,— потребовал гораздо большей подготовки, чем он предполагал.

Он никак не ожидал от русских такой сильной аргументации в дискуссиях, такого широкого знакомства с американской научной литературой; неожиданностью для него оказались и убийственно перегруженные программы заседаний, которые начинались раньше, чем в Америке, и тянулись гораздо дольше. Неужели кто-нибудь может внимательно прослушать все это и сохранить хоть какую-то творческую энергию? Он до сих пор не мог понять, как это удается русским. Но во всяком случае, выступая перед ними, он ради самого себя должен показать, на что он способен. Выступление в пятницу будет решающим для всех его надежд. Этот доклад должен стать одним из лучших в его жизни.

Но Ника начинал охватывать страх, потому что времени на подготовку доклада не было: когда заседания кончались, для американцев это была лишь половина дневной программы. Каждый вечер их везли в какой-нибудь театр, а затем следовал холодный ужин. До сих пор Ник еще совсем не видел Москвы, если не считать того, что удается рассмотреть из окошка мчащегося автомобиля, и не ходил по московским улицам, если не считать нескольких шагов между подъездом гостиницы или театра и машиной, ожидающей у тротуара. Кроме участников конференции, американцы разговаривали только друг с другом и со своим переводчиком Петровским. И к страху начинало примешиваться разочарование: он не занимался тем, чем хотел заниматься, он не видел того, что хотел увидеть. Он рассчитывал, что Горчаков покажет ему Москву, но после его приезда они почти не встречались — только обменивались дружескими кивками на заседаниях да в первый день конференции выпили по кружке пива в буфете.

Короче говоря, Ник чувствовал себя так далеко от настоящей Москвы, словно и не приезжал в Россию, хотя из широкого окна своего номера ему были видны Охотный ряд и торопившиеся на работу прохожие.

Автобусы со стеклянными крышами останавливались по ту сторону широкой улицы, извергая все новые людские толпы. Прямо против него, в Доме Совета Министров, в квадратных комнатах двигались человеческие фигурки: возились у картотек, сидели за пишущими машинками, снимали телефонные трубки. Для Москвы день был жарким. Он догадывался об этом, видя, как мужчины снимают пиджаки и несут их, перекинув через руку, как женщины в пестрых платьях обмахиваются носовыми платками, ожидая зеленого сигнала светофора, чтобы пересечь широкое пространство улицы Горького; но для американца из Нью-Йорка или Кливленда московская жара казалась приятной весенней погодой. Он приехал сюда, ожидая какого-то чуда, но теперь он уже знал, что чуда не будет, если только он сам не потрудится стряхнуть его с неба, а на это оставалось очень мало времени.

Час был поздний — половина девятого, но поскольку он не любил возиться с житейскими мелочами, он успел уже выработать четкий утренний распорядок, и привычные действия не отвлекали его от размышлений. К тому времени когда он кончил бриться и пить кофе, он принял твердое решение: сегодня вечером не будет никаких театров

и никаких других развлечений. Он по собственному опыту знал, сколько времени и хлопот требуют всяческие телефонные звонки, переговоры, заседания, запросы и ходатайства, обеспечивающие скрытую основу дружеской атмосферы и безупречной организации подобных визитов, и до сих пор по мере сил сотрудничал со своими любезными хозяевами. Но теперь довольно — и этот вечер и все оставшиеся вечера он посвятит подготовке к докладу.

Благодаря удивительно тонкому чувству времени он принял это решение как раз в ту секунду, когда раздался телефонный звонок, возвещавший, что остальные делегаты ждут его в вестибюле и начинается программа нового дня.

Пятеро американцев сели в машину, и она тронулась с места. Ник почти не слушал разговоров своих спутников. Он был так же далек от них, как и от миллионов людей в кипящем жизнью городе, расстилавшемся за окном автомобиля. Для остальных эта поездка была только временным перерывом в привычной жизни, а его ждало неизвестное будущее, которому еще предстояло начаться в какой-то неведомый день.

Солнце светило весело, но по-северному мягко. Кругом высились стрелы подъемных кранов, город бурно менял свой облик, однако сердитые глаза Ника замечали только мелькавшие кое-где низенькие покосившиеся домишки с потрескавшейся и осыпавшейся штукатуркой. Нервы его были так напряжены, что он стал беспощаден и к самому себе и ко всему, на что падал его взгляд.

Его сосед, Прескотт из Принстонского научно-исследовательского института, тоже смотрел в окошко так, словно он был совсем один; бесцветная кожа, тусклые седые волосы, серый костюм и мелкие правильные черты были неприметны и запоминалась только странная отрешенность худого задумчивого лица. С ним никто не заговаривал, потому что он еще в первый день предупредил: «До десяти часов утра я за свой тон не ручаюсь».

С другого бока — Левин из Чикагского университета, похожий больше на слесаря, чем на ученого, читал только что полученное письмо из дому — в тех редких случаях, когда он говорил не о физике, он начинал рассказывать о своей пятнадцатилетней дочери.

— Что за девочка! — сказал он.— Была на вечеринке, танцевала все время, и каждый раз с новым кавалером.

Сидевший на откидном месте Мэони из Гарвардского университета, с которым Ник когда-то учился и который год от года становился все больше похожим на костлявого висконсинского фермера, весело болтал:

— ... и вот я встал сегодня в половине седьмого и улизнул из отеля, чтобы погулять одному. Это было чудесно. Я шел по улице Горького, разглядывал все витрины и прохожих и добрался так до статуи Пушкина, а назад пошел по другой стороне, миновал наш отель и вышел на Красную площадь. Представляете — семь часов утра, и я совсем один *посреди Красной площади!* Я и голуби! На самой ее середке! Позади меня — Кремль, справа — эта сказочная церковь, а напротив — универсальный магазин Гума.

— Вы ошибаетесь,— поправил Ник.— ГУМ — это не фамилия. Это не так, как мы говорим «магазин Гимбеля или Мейси».

— Ге-у-эм,— рассеянно нарушил Прескотт свое утреннее молчание,— Государственный универсальный магазин. Как ваш доклад, Ник?

— Ничего.

— Ничего— это слишком мало. Или вы еще не сообразили, что вы здесь — представитель?

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что вы здесь — не на вашингтонском съезде Физического общества, где представляете только самого себя. Ведь вы — один из первых американцев, который после бог знает какого перерыва будет делать доклад по физике на заседании советской Академии наук. По-моему, тот факт, что вы американец, для них гораздо важнее того, что вы физик.

— У меня такого впечатления нет,— сказал Ник.

— Это потому, что вы все еще не можете отрешиться от привычных взглядов. А попробуйте встать на их точку зрения, и вы обнаружите, что это — совсем другое. Беда в том, что они так же не понимают нас, как мы — их, хотя и нам и им кажется, что мы знаем друг о друге все. Вспомните, сколько здесь людей, которые считают себя великолепными знатоками нашей жизни и все же удивляются, когда говоришь им, что наша Академия наук совсем не похожа на здешнюю. Они привыкли к верховной всемогущей Академии, которая содержит научно-исследовательские институты и платит ученым жалованье чуть ли не самое высокое в стране, и, узнав, что у нас академик — только почетное звание, а Академия существует на ежегодные взносы своих членов и что наши научно-исследовательские институты и университетские лаборатории совершенно независимы друг от друга, они искренне ужасаются и жалеют нас так, словно мы оказались во власти полной анархии. «Но кто же руководит?» — спрашивают они. И, услышав, что каждый отвечает сам за себя, покачивают головой и скептически улыбаются. У нас многие думают, что все эти люди мечтают жить, как живем мы, по нашей системе, но это нелепое заблуждение. О господи, как мы не похожи друг на друга!

— Кое в чем,— согласился Ник.— Но в общем между нами нет большой разницы.

— Вы пришли к этому выводу после трехдневного знакомства со страной? — сухо спросил Прескотт.

— А разве вы не считаете себя экспертом, пробыв здесь пять дней? — пожал плечами Ник.

— Но вспомните — стоит одному человеку добиться здесь хороших результатов, и они называют это победой всего советского общества! Мы в таких случаях говорим: «Ай да он!» А они говорят: «Ай да мы!» Только приехав сюда, я понял, сколько людей, в отличие от нас, считают науку не всеобщими поисками истины, а соревнованием между советской и американской наукой — конкуренцией, а не совместными усилиями. Это они превращают вас в представителя.

— Я не представитель,— резко сказал Ник.— Я приехал сюда не для этого. Но даже если вы правы, боюсь, что это сходство, а не различие. Наши газеты тоже противопоставляют *наших* ученых *их* ученым. Они признают, что «русские опередили нас с запуском первого спутника». Мы *тоже* говорим о «гонках к Луне». А вы когда-нибудь слышали о гонках, которые не были бы соревнованием? Разве французы не считают Пастера и Кюри своей национальной гордостью? Национальная гордость — это не исключительная монополия русских. Она есть и у нас, и это совсем не плохо.

— Так почему же вы так удивились, когда я сказал, что вы представитель?

— Потому что я лично не смотрю на физику с такой точки зрения И думаю, что их настоящие ученые — тоже. Я хочу, чтобы мой доклад оказался удачным, и, естественно, буду рад, если выяснится, что моя теория ближе к истине, чем теория Горчакова. Но не потому, что я амс-

риканец, а он — русский. Это просто профессиональное самолюбие, только и всего. Я чувствовал бы то же самое, если бы Горчаков был американцем. И убежден, что он смотрит на это точно так же.

— Однако вы знаете, во что превратит это пропаганда.

Ник презрительно хмыкнул.

— Когда те, кто на любой стороне занимаются пропагандой, выберутся из своих мягких кресел, пойдут в лаборатории и на заводы и станут действительно полезными членами общества, я соглашусь их слушать. А до тех пор реклама как была, так и будет только рекламой. Какая муха вас укусила, Прескотт? Вы никогда раньше так не говорили. Или все дело в том, что сейчас еще нет десяти часов?

— Дело в том, что эта поездка в Москву заставила меня, как никогда, почувствовать себя американцем,— нервно ответил Прескотт.— И поверьте, теперь, когда я встречаюсь с русскими просто как с обыкновенными людьми, они мне очень нравятся. Но я — американец, а они — русские. Это исторический факт. Я сознаю его, и они его сознают. А если вы думаете, что я заблуждаюсь, то прочтите стихотворение Маяковского о советском паспорте. Я его прочел перед самым отъездом сюда. Будьте уверены, вам отвели такую важную роль на конференции не столько из уважения к вашей работе, сколько потому, что вы представляете в их глазах американскую науку. А не просто науку Никласа Реннета. Это большая ответственность!

— Я уже сказал вам— я чувствую себя ответственным за то, чтобы сделать этот доклад лучшим в моей жизни. Неважно, по каким причинам. Но если это ответственность не перед самой физикой, то я уж не знаю, как ее назвать.

— Спросите русских,— заметил Прескотт,— они вам скажут.

— Об этом мне незачем спрашивать ни русских, ни кого бы то ни было другого. Я стал физиком задолго до того, как приехал сюда, и на это у меня были свои причины.— Помолчав, он добавил: — И после отъезда я останусь физиком, и опять-таки у меня есть на это свои причины. Вот почему я сюда и приехал.

Машина оставила город позади и помчалась к новой Москве в бесконечном потоке открытых темно-серых грузовиков, которые, грохоча, везли материалы для новых зданий, потом вырвалась из него и повернула к университету, где проводилась конференция.

У входа переводчик показал их пропуска женщине в форме, они вошли в вестибюль и в одном из шести лифтов поднялись наверх, в большой зал. Там Ника встретила знакомая атмосфера, одинаковая на всех съездах физиков, где бы они ни проводились: как всегда, перед началом заседания делегаты переходили от одной группки к другой, группки распадались, сливались с соседними и вновь возникали; были тут ученые в расцвете сил, жаждущие поделиться своими последними идеями; старики, немного уставшие от многолетних повторений одного и того же; молодые люди — и пылко влюбленные в науку, и те, кто хотят только пустить пыль в глаза или стремятся перехватить взгляд кого-нибудь из маститых в надежде, что, как по волшебству, этот взгляд посветлеет, палец поманит, и академик скажет: «Кстати, я только что вспомнил... У меня в институте есть место как раз для такого человека, как вы...»

Разговоры вокруг Ника шли только о физике, но он знал, что за ними скрываются обыкновенные человеческие надежды, стремления, нужды и мечты. Одни посвятили себя работе во имя самой работы, другие посвятили себя работе во имя самих себя, а третьи просто посвятили себя себе. Настоящие ученые и законченные карьеристы — две враждеб-

ные армии, вечно воюющие между собой в цитадели науки. Они были и здесь тоже.

Этот день, как и все предыдущие, слагался из сотен разорванных впечатлений. После того как Ник отказался от помощи переводчика, он уже немного привык к русской речи. Понимал он очень мало, но, когда рядом был переводчик, он даже и не пытался схватывать смысл. Теперь после первого сосредоточенного усилия его перегруженный мозг утратил способность что-либо воспринимать, но Ник все же не хотел сдаваться. Возможно, ему удалось выдержать только потому, что он давно уже привык чувствовать себя посторонним, однако, хотя он понимал далеко не все, ему было ясно, что, какова бы ни была причина, большинство этих людей целиком отдается своей работе. Он внимательно наблюдал за ними, зная, что ему следует взять их за образец. Неужели вопреки его стараниям эти проницательные глаза заметят внутреннюю опустошенность, которая так его гнетет? Он вспомнил предостережение Прескотта. Они видят в нем не только его самого, но и его народ. Над докладом придется работать и сегодня вечером, и весь день завтра.

Однако к концу заседания откуда-то появился Горчаков, взял его под руку и сказал:

— Завтра, если вы ничего не имеете против, мы пропустим заседание. Вместо этого я заеду за вами, отвезу вас к нам в институт и познакомлю с сотрудниками. Они очень этого ждут. И для них и для вас будет гораздо интереснее встретиться в неофициальной обстановке. Но, может быть,— поспешно добавил он,— вам это почему-либо неудобно?

— Совсем нет,— ответил Ник. Он надеялся, что такая непринужденная встреча поможет ему избавиться от чувства полной изолированности, навеянного словами Прескотта. Ему хотелось быть для них человеком, а не символом.— Я собирался завтра поработать, но мне очень хочется познакомиться с вашей группой. Посижу подольше сегодня вечером, вот и все.

Но ему пришлось изменить свои планы даже на этот вечер. К нему неожиданно подошел Петровский.

— К сожалению, нам пора уезжать,— шепнул он.

— Куда? — спросил Ник.

— Вас ждут в вашем посольстве,— объяснил Петровский.— Там в честь вашей делегации устраивается прием. Я должен доставить вас туда к семи часам.

— Но меня не предупреждали ни о каком приеме,— возразил Ник.— Мне надо работать.

— Вам придется свыкнуться с Петровским,— сказал Мэони, подходя к ним и дружески беря переводчика за локоть.— Вы немножко говорите по-русски и поэтому пускаетесь в самостоятельные экспедиции, а нам некуда деться от нашего милого юноши, и мы его уже хорошо изучили. Он — как те женщины, которые слишком много тратят на наряды: всегда сообщает свою приятную новость в самую последнюю минуту. Впрочем, не жалуйтесь. Подумайте, сколько вас ждет чудесных холодных сухих мартини!

— Но я не могу,— отбивался Ник.— Мне надо работать.

— Ведь я обещал вашему посольству привезти вас,— настаивал Петровский.

— Ну, так и быть,— сдался Ник,— я не хочу, чтобы вас сочли лжецом. Вы меня туда привезете, но и только. Я появлюсь там и сразу же уеду.

Однако ему пришлось отказаться и от этого плана.

3

Он увидел ее не сразу, потому что сперва ее заслоняли четверо мужчин, которые о чем-то разговаривали в углу. Только когда один из них, смеясь, отошел в сторону, Ник понял, что они собрались вокруг ее стула. Несколько секунд, пока она со спокойным вниманием слушала одного из них, Ник смотрел на ее рыжие волосы, на закинутый профиль. В ее вздернутом подбородке чувствовалась какая-то холодная отчужденность, которую не могла до конца смягчить даже легкая улыбка, полная чуть снисходительной нежности, понимания и сочувствия. Но особенно его поразила удивительная безмятежность, которой дышал весь ее облик, и он посмотрел на нее снова. На этот раз она повернула голову и заметила его взгляд. Мгновение они смотрели друг другу в глаза с откровенным любопытством и интересом, а еще через мгновение она отвернулась к своим собеседникам.

На несколько минут он потерял ее из виду в толпе гостей. Когда он увидел ее в следующий раз, она стояла в группе женщин; пока она говорила, ее выразительные руки то складывались в просьбе, то взлетали вверх, подчеркивая наполненную смехом паузу, и он почувствовал в ней неожиданную жизнерадостность — словно на оборотной стороне вьющегося по ветру, озаренного солнцем красивого флага вдруг оказался совсем другой, гораздо более яркий и веселый узор. Он все время искал ее глазами поверх голов других гостей, но где бы он ни стоял, куда бы ни переходил, он почему-то видел ее со спины. Он лишь разглядел, что она стройна, невысока и что на ней черная узкая юбка и строгая белая блузка. Ее короткие, по-мальчишески подстриженные рыжие — почти оранжевые — волосы разлетались при каждом движении головы, рук, худых гибких плеч. На вид ей было года тридцать два—тридцать три. Вместо того чтобы уйти, он еще полчаса следил за ней, надеясь, что она повернется и он снова увидит ее лицо. Казалось, она умеет легко смеяться, а он изголодался по смеху. Он даже не был уверен, что она американка.

Посольство поразило его внезапным обилием американских лиц, американской мебели, голосов, одежды, и у каждого гостя был налитый до половины бокал с коктейлем, столь же обязательный для таких приемов, как галстук. Трехдневное пребывание в Москве уже приучило его к звукам полупонятной русской речи, к официальной русской любезности, к разнообразию славянских лиц, к прямым линиям, массивности и торжественным колоннадам официальной русской архитектуры, к абажурам с бахромой, к плюшу и зеленому сукну официальных московских интерьеров. И дело было не в одной Москве. Он уехал из Америки больше месяца назад, пересек за это время с запада на восток всю Европу, и смена стилей, начавшаяся в Лондоне, была настолько постепенной, что после Стокгольма даже резное и инкрустированное дерево Москвы не показалось чересчур странным его американскому глазу.

Но здесь, в посольстве, едва поднявшись по лестнице в гостиную, он сразу вернулся в обстановку, знакомую ему с самого рождения. Как будто излечившись от частичной глухоты, он вновь обрел способность понимать все, что говорится вокруг, и это было приятно. Но такое внезапное возвращение в Америку сбило его с толку и раздосадовало — словно его разбудили как раз в ту минуту, когда неоконченный сон должен был стать понятным.

Гостями на приеме были иностранные физики, приглашенные на конференцию, и члены советской Академии наук. Присутствовали также члены дипломатического корпуса, журналисты и еще какие-то люди неизвестных профессий, которые чувствовали себя здесь как дома. Теперь

рыжеволосая женщина, смеясь, говорила о чем-то с послом в другом конце комнаты, а когда тот отошел, она вдруг обернулась, и их глаза снова встретились. Под его пристальным взглядом улыбка ее медленно угасла, сменившись сначала холодным недоумением, а потом растерянностью и почти мольбой о пощаде. Наконец, словно задумавшись о чем-то, она отвернулась, и он снова видел только ее спину.

Одна из посольских дам, бледная молодая женщина, одетая со стандартной изысканностью, завела с ним незначащий светский разговор, и он, улыбаясь, подавал требуемые реплики. Когда она отошла, к нему обратился американский корреспондент Адамс, высокий лысый человек с живыми проницательными глазами, уже несколько лет живший в Советском Союзе. Он сказал, что у него есть к Нику несколько вопросов.

— Валяйте,— ответил Ник,— но сперва я сам задам вам вопрос. Кто эта рыжая женщина в том конце комнаты? Вон та, в белой блузке с глубоким вырезом и в черной юбке, с жемчужными серьгами и ожерельем?

— Рыжая? — корреспондент оглянулся и сказал с улыбкой: — А, это наша здешняя туземка, Анни Робинсон. Анни — великий знаток Москвы.

— Значит, она русская?

— Анни? Ну что вы. Она американка.

— А кто здесь мистер Робинсон?

— Такого не имеется. Она вдова. Если хотите, я буду рад вас познакомить. Но прежде скажите мне, есть ли у вас какие-нибудь новые данные, которые вы могли бы противопоставить последним результатам Горчакова?

— Каким последним результатам? — спросил Ник.— И давно ли корреспонденты так внимательно следят за развитием физики?

Адамс улыбнулся.

— Но ведь теперь физика — это не только наука, не правда ли? Как и все остальное, она стала частью «мирного сосуществования и соревнования». А я, собственно говоря, имел в виду статью о Горчакове в сегодняшней «Правде». Разве вы не читали?

— Нет,— ответил Ник.— Чтобы прочесть русскую газету, мне даже со словарем потребовалось бы несколько часов. Но мы с ним все обсудили весной в Кливленде.

— Именно это я и хотел бы уточнить. Судя по всему, он уже после поездки в Соединенные Штаты получил какие-то дополнительные данные, подтверждающие его теорию.

— Не может быть,— сказал Ник.— Я разговаривал с ним всего час назад, и он ни словом об этом не упомянул.— Он нахмурился при одной мысли о таком невозмутимом и любезном двоедушии.— Ни единым словом.

— Это вас удивляет?

— Правда, я около месяца разъезжал по свету, но при обычных обстоятельствах он написал бы мне одновременно с передачей своего сообщения в какой-нибудь физический журнал. И только после этого он дал бы интервью в газету. То есть все это — в том случае, если их физики придерживаются тех же правил, что и мы. А я в этом убежден.

— Но если для него это вопрос национального престижа?

Ник нетерпеливо покачал головой.

— Для меня это просто вопрос профессиональной этики. С какой стати скрывать от меня то, что он сообщает миллионам читателей га-

зеты, которые понятия не имеют о физике? Здесь какая-то ошибка. Иначе быть не может.

— Почитайте «Правду».

— А где-нибудь здесь не найдется этой газеты?

— Я спрошу. Но если нет, поедем ко мне после приема, и я вам ее переведу. А теперь, если хотите, я представлю вас миссис Робинсон.

— Нет,— ответил Ник, расстроенный и смущенный.— Спасибо, пока не надо.

Он почувствовал большое облегчение, когда Адамс отошел и он остался один. Его мучила мысль, что Прескотт может оказаться на тысячу процентов прав. Одно дело — не упомянуть о планах нового эксперимента, и совсем другое — скрыть от собрата-ученого полученные и обработанные данные. И так уже, к несчастью, эпоха требует, чтобы некоторые разделы физики засекречивались ввиду их военного значения. Но ведь в данных, полученных Горчаковым, не могло быть ничего секретного! Проще всего предположить, что эта скрытность диктуется стремлением обеспечить себе преимущество, поставив Ника в глупое положение, когда он будет делать свой доклад. Пропагандистская победа, которую предсказывал Прескотт. Но Нику было слишком тяжело думать так о Горчакове. Вероятно, здесь какое-то недоразумение. Иначе вся его поездка теряет смысл. Однако, пока он сам не прочтет статью, он не может так просто отмахнуться от этого варианта.

Внезапно ему захотелось поговорить с кем-нибудь, кто не имел бы ни малейшего отношения ни к физике, ни к конференции. Он оглянулся, ища взглядом рыжеволосую женщину, просто чтобы отвлечься, но на прежнем месте ее уже не было.

Однако мгновение спустя, повернувшись, чтобы взять коктейль с подноса, который проносили мимо, он вдруг замер — она брала бокал с того же подноса, внезапно возникнув рядом с ним, словно его желание исполнилось, как по волшебству. Когда поднос унесли, они оказались лицом к лицу, и он взглянул в задумчивые глаза, ясные, как глаза лани; чуткие и зоркие, они могли выражать горе, изумление, радость или просто раскрываться от наивного удивления. Они, казалось, говорили, что на все это уже смотрели и раньше — либо с состраданием, либо с легкой улыбкой.

Он чуть-чуть приподнял свой бокал.

— За ваше здоровье,— сказал он.— Да сбудутся все ваши желания.

Она удивленно поглядела на него, потом улыбнулась и тоже приподняла бокал.

— Благодарю вас.

Это было сказано достаточно шутливо, и в то же время казалось, что она готова отнестись к его словам гораздо серьезнее, если только поверит в их искренность. Затем, после маленькой паузы, она добавила:

— Да сбудутся и мои, и ваши желания!

Они отпили немного, не глядя друг на друга, но все еще чем-то друг с другом связанные. Он украдкой покосился на ее короткие волосы, рыжие, мягкие и прямые. Его охватил страх, что она сейчас отойдет.

— Мне очень хотелось поговорить с вами,— сказал он, и она снова внимательно посмотрела на него.— Я никак не мог догадаться, кто вы и чем занимаетесь. Сначала мне даже показалось, что вы русская...

— Я живу здесь уже давно,— ответила она,— а кроме того, мой костюм сшит здесь.

— Неважно почему,— сказал он,— но вы самая интересная женщина в этой комнате.

— Я? — она изумленно поглядела на него, проверяя, не шутит ли он.

— Вы обладаете удивительным свойством...— он умолк, пытаясь разобраться в собственных впечатлениях,— свойством неопределенности. Вы *такая*, и вы *не такая*...

Она продолжала глядеть на него так, словно он в чем-то обманул ее ожидания. Но в конце концов засмеялась, и глаза ее весело заблестели.

— Должна признаться, этого мне никто никогда не говорил.

— Кто вы? — спросил он.— Чем вы занимаетесь? Откуда вы?

Она еще несколько секунд молча смотрела на него, стараясь догадаться, что за человек скрывается за этим градом вопросов. Затем, улыбнувшись, выбрала из них тот, который позволял ограничиться наиболее конкретным ответом.

— Вы хотите знать, где я родилась?

— Начните с этого,— разрешил он. Лишь бы завязать разговор, а как — это не имело ни малейшего значения.

— В Бостоне,— сказала она, но не добавила, в каком районе, на какой улице, в каком доме и с кем она там жила. И все годы ее раннего детства остались во мраке, потому что она сообщила только: — И оставалась там до восьми лет.

У него рвался с языка новый поток вопросов, но он почувствовал, что она, хотя и очень вежливо, будет только перечислять даты и географические названия, которые были внешними вехами ее жизни. То, что лежало глубже, было для нее слишком серьезным и не подлежало обсуждению со случайным знакомым за бокалом коктейля.

— А после того как вам исполнилось восемь?

— Москва.

— И вы с тех пор так здесь и живете? — усомнился он.

— Ну конечно нет.— Она негромко рассмеялась.— Мой отец был инженером. Его фирма заключила контракт с советским правительством, и поэтому он каждый год проводил несколько месяцев в Москве. Я всегда приезжала к нему. А потом вся наша семья прожила здесь целый год. Я даже ходила в здешнюю школу.

— В школу при посольстве?

— Нет.

Ему очень нравился ее смех, негромкий, веселый и заразительный. Нет, она не могла быть скрытной. Он не сомневался, что его первая догадка верна: она делится своими чувствами и даже воспоминаниями о них только с теми, кто, по ее убеждению, тоже способны на глубокие чувства. А со всеми остальными она бывает вот такой — улыбающейся и сдержанной. Он злился на себя: что бы она о нем ни подумала, впервые увидев его издалека, ему еще пока не удалось оправдать ее ожиданий.

— Да, я жила здесь,— говорила она, но он уже не чувствовал, что всецело владеет ее вниманием: она оглядывалась по сторонам.— Я ходила в настоящую московскую школу. Куда бы мы ни приезжали, мой отец всегда требовал, чтобы я ходила в школу вместе с детьми тех людей, с которыми он работает. Иногда мне приходилось трудно, но он был прав. Мою здешнюю учительницу звали Марина Тимофеевна.

На мгновение ее сдержанность исчезла, растворившись в теплоте, с которой она говорила о маленькой девочке, затерявшейся в непонятном мире, где ей помогла освоиться чуткая и добрая женщина, даже не знавшая английского языка.

— Теперь она ушла на пенсию и живет на Арбате в маленькой узенькой комнате с единственным узеньким окошком, окруженная ста-

рыми газетами, старыми журналами и старыми чемоданами. Но одна стена вся увешана фотографиями тех классов, которые она вела. Месяц назад я навестила ее, и, когда она показала мне фотографию моего класса, я чуть не расплакалась.

— Почему?

Она быстро посмотрела на него, едва удержавшись от резкого ответа, и в глазах ее блеснуло что-то похожее на гнев, но она тут же улыбнулась и мягко сказала:

— Трудно объяснить. Это покажется сентиментальным. Лучше расскажите мне о себе,— добавила она поспешно.— По правде говоря, я тоже обратила на вас внимание и все думала, кто вы такой.

— Так, значит, мы кончили говорить о вас? Ведь вы, наверно, еще не все рассказали.

— Боюсь, это очень скучная история. Во время войны я почти все время жила в Лондоне, а в конце войны снова приехала сюда, на этот раз с мужем — он был корреспондентом.— Она говорила торопливо, почти равнодушно, снова прикрывшись щитом любезной сдержанности, потому что, как он понял, разговор опять затронул переживания, слишком серьезные для светской болтовни. И опять она подменяла рассказ о них перечнем дат и городов, не касаясь того, что происходило в ее сердце, и делала это с таким непринужденным изяществом, что о подлинной глубине ее чувств можно было только догадываться.— В последний раз мы приехали сюда лет пять назад.— Она снова медленно отпила из бокала и, не поднимая глаз, добавила: — Когда я увидела вас в дальнем конце комнаты, у меня было ощущение, что я должна сию же минуту что-то для вас сделать: принести вам коктейль или бутерброд...— Ее руки и плечи рассказывали ему, что она бессильна объяснить, какое впечатление он на нее произвел.— У вас случилось что-то неприятное?

— У меня? — спросил он, удивленный неожиданным сочувствием со стороны совершенно незнакомого человека. Даже если она сказала это только для того, чтобы прекратить разговор о себе, ему все равно хотелось уверить ее, что у него все хорошо, очень хорошо, но он не мог. Ее чуткость делала любую бодрую отговорку бессмысленной, и поэтому он уклончиво облек правду в слова — ложью был только его шутливый тон.

— Ну, если не считать того, что, во-первых, я не готов к докладу, который мне предстоит сделать в пятницу, и что, во-вторых, несколько минут назад я узнал, что меня, возможно, обманул тот самый человек, ради которого я сюда приехал,— в остальном все великолепно.

— Вы говорите серьезно? — спросила она. В ее глазах мелькнуло сожаление, что он так неуместно начал шутить: она ждала от него большего.— Все действительно так плохо?

— Я еще не знаю, но и в самом худшем случае я это как-нибудь переживу. Но, может быть, я делаю ошибку, уверяя вас, что все кончится хорошо?

Она опять засмеялась своим негромким смехом.

— Нет, я умею дружить и со счастливыми людьми.

И тут он слишком поздно заметил, что вторично не сумел воспользоваться возможностью, которую она ему сознательно предоставила,— она не любила сентиментальных излияний, но ее точно так же отталкивало и несерьезное отношение к жизни. Она признавала либо искренность, либо сдержанность, а все, лежащее между этими крайностями, считала пошлыми уловками. Он был смущен и расстроен. Начиная с первого же, излишне игривого тоста он делал ошибку за ошибкой. Чтобы вернуть утраченное, ему оставалось лишь одно: обратить против нее ее же собственные принципы.

— Но вы мне так и не объяснили, почему эта фотография в комнате вашей учительницы произвела на вас такое впечатление.

— Мне вдруг пришло в голову,— сказала она просто,— что это, пожалуй, единственная моя фотография, которую кто-то повесил у себя в комнате. Единственная. Во всем мире.— В ее глазах блеснули слезы.— Это меня потрясло.

Он не сумел ответить с такой же глубокой искренностью и не смог подобрать какую-нибудь банальную сочувственную фразу.

— Мне это не кажется сентиментальным.

— Возможно,— согласилась она с легкой улыбкой,— но без жалости к себе тут не обошлось.

— А это не разрешается?

Она отрицательно покачала головой.

— Вероятно, вы слишком долго жили за границей. Когда вы собираетесь вернуться домой?

Ее глаза вдруг погасли и стали печальны, как заходящее солнце.

— Когда я узнаю, где мой дом,— ответила она просто и после короткого молчания, извинившись, быстро отошла.

Он несколько минут следил за ней, но она упорно держалась в дальнем конце комнаты, и на ее губах снова появилась жизнерадостная веселая улыбка. Теперь вокруг нее собралась кучка мужчин постарше, и на их лицах отражалась немножко грустная радость, которую доставляло им общество этой очаровательной женщины. Но тут с ним заговорил посол, а потом еще один корреспондент, которому тоже хотелось узнать, что он думает о статье в «Правде», и, когда через несколько минут он снова оглянулся, она уже исчезла — ему так и не удалось узнать, кто она, чем занимается, почему живет в Москве, не удалось договориться о новой встрече. Она исчезла, вот и все; очевидно, их короткий разговор значил для нее не больше, чем мимолетная болтовня с другими гостями. Когда она увидела его издали, он чем-то понравился ей, но, заговорив с ним, она почувствовала, что первое ее впечатление ошибочно. А может быть, она разгадала его тайну.

Ему захотелось немедленно уехать, но тут его перехватил Адамс, снова заговоривший о статье в «Правде».

— Нам незачем ехать ко мне,— сказал он.— Этот номер есть у них в библиотечной подшивке. Идемте, я вам переведу.

Интервью с Горчаковым занимало лишь несколько абзацев в большой статье. В ней говорилось о конференции и о том, что присутствие стольких иностранных ученых объясняется возросшим престижем советской науки в глазах всего мира. Затем перечислялись важнейшие работы советских физиков за последние полгода. Все это Ник выслушал без малейшего интереса. Наконец автор перешел к физике космических лучей — эксперимент Горчакова был назван попыткой установить внутреннее строение и состав вселенной путем измерения энергетического спектра несущихся в пространстве элементарных частиц. Его теорию оспаривает американский ученый доктор Никлас Реннет, который выступит с докладом на конференции; однако теперь, говорилось в статье, Горчакову удалось получить дополнительные экспериментальные данные, подтверждающие точку зрения советских физиков.

Затем приводились слова Горчакова:

«Когда во время поездки по Соединенным Штатам я посетил доктора Реннета, еще не была исключена возможность, что расхождение в наших результатах объясняется расхождением в показаниях приборов, поскольку мы пользовались разными методами. Однако совсем недавно наш институт разработал третью методику, совершенно не похожую на

первые две. Новые результаты полностью согласуются с данными, полученными нами ранее. Если только мы не повторили какой-то принципиальной ошибки — а это представляется маловероятным,— можно с уверенностью сказать, что теперь возможность простого расхождения в показаниях приборов полностью исключена. Хотя это расхождение относительно очень невелико, оно тем не менее дает основание для двух следующих гипотез: либо каждая галактика представляет собой герметически замкнутую систему, связанную с остальной вселенной только посредством излучения, либо между отдельными галактиками происходит обмен материальными частицами, создающий между ними взаимосвязь материи».

На этом цитата кончалась. Затем следовало описание нового прибора, которое, впрочем, как и большинство таких научно-популярных описаний, было совершенно непонятно для специалиста, но во всяком случае Ник теперь твердо знал, что со времени их встречи Горчаков действительно провел новый эксперимент и что он пользовался прибором, о котором до сих пор не обмолвился ни единым словом. И, следовательно, Прескотт был прав: его пригласили только для того, чтобы дать Горчакову возможность публично одержать победу.

И все же, когда Адамс начал расспрашивать Ника, он отвечал очень сдержанно.

— Так как я по-прежнему не знаю, что́ именно он сделал, мне по-прежнему нечего вам сказать.

— А в прошлом вы всегда держали друг друга в курсе своей работы? — не отставал Адамс.

— Мы всегда обменивались копиями сообщений, которые посылали в журналы, никогда не заставляли друг друга дожидаться, пока эти материалы будут опубликованы. Кроме того, мы иногда сообщали друг другу о своей текущей работе. Как видите, наши теоретические разногласия не мешали нам обмениваться информацией.

— А не мог он послать вам сообщение об этом последнем эксперименте уже после вашего отъезда из Соединенных Штатов?

— Разумеется, мог, — ответил Ник, которого уже начали раздражать попытки журналиста добиться от него какого-то конкретного утверждения. — Однако это не объясняет, почему он ни слова не сказал мне после моего приезда сюда. Разве вы не понимаете, что все дело именно в этом?

— Когда он был в Штатах, он не говорил вам, что собирается испробовать новый метод?

— Тогда он мог и сам об этом ничего не знать.

— А вы, со своей стороны, предполагали провести дополнительный эксперимент после его отъезда?

— Нет, — медленно произнес Ник. Теперь, оглядываясь назад, он не мог бы сказать, что именно сделал после того, как Горчаков весной побывал в Кливленде. Последние несколько месяцев были периодом бесплодия, духовного паралича. Он мог бы ответить, что полученные результаты вполне его удовлетворяли, однако честность требовала признать, что логично было бы провести контрольный эксперимент так же, как сделал Горчаков. — Нет, — повторил он резко, — не предполагал.

— Так как же теперь обстоит дело?

— Я все еще не знаю, что конкретно сделал Горчаков. Да и как бы то ни было это не президентские выборы и не конкурс красоты. Я уверен в своем эксперименте. Я знаю пределы возможной ошибки моего прибора. Мои результаты не опровергнуты. Горчаков по-прежнему не обнаруживает элементарных частиц с таким высоким уровнем энергии, как

те, которые обнаружил я. Следовательно, ничто не изменилось и не изменится, пока не будет найдена ошибка либо в его методе, либо в моем или пока не возникнет новая теория, которая каким-то образом докажет, что это расхождение в наших результатах не столь важно по сравнению с тем, что у нас совпадает.

— Значит, я могу написать только о нарушении частного случая неофициального советско-американского научного сотрудничества. О нарушении его советской стороной, — добавил Адамс спокойно и многозначительно.— Просто для характеристики конференции.

Ник покачал головой.

— Не пишите об этом. Подождите хотя бы, пока я не поговорю с Горчаковым и не спрошу его прямо, в чем дело. Может быть, тут просто какое-то недоразумение.

— А может быть, ему рекомендовали не обмениваться больше с вами информацией...

— Во всяком случае, пока ничего не пишите, — повторил Ник. — Если уж я готов ждать, чтобы выяснить истину, то ваши читатели тем более подождут. В конце концов, для меня это гораздо важнее, чем для них.

4

На следующее утро в половине девятого позвонил Горчаков и, сказав, что подъедет к гостинице ровно через полчаса, попросил Ника подождать его внизу. В это время уличное движение очень интенсивно, объяснил он, и ему негде будет поставить машину. Он говорил вежливо, казалось, был рад предстоящей встрече с Ником, и тот при всем старании не мог уловить в его голосе никакого смущения. Ник отвечал так же любезно, подавляя досаду, которая при обычных обстоятельствах заставила бы его говорить сухо и зло. Накануне он до двух часов ночи работал над докладом и встал в шесть, чтобы как-то его закончить. Он изложил свои теоретические положения, описал эксперимент и сформулировал выводы. Закончить доклад следовало бы анализом противоречий в полученных данных, но провести такой анализ он мог бы лишь в том случае, если бы Горчаков был с ним откровенен. С точки зрения Ника, этот дружеский телефонный разговор был только маленькой дипломатической комедией.

Погода стояла удивительно ясная — на солнечной стороне, у Дома Совета Министров, было уже жарко и душно, но в тени около гостиницы еще чувствовалась утренняя прохлада. На темно-зеленых листьях молодых лип блестели капли воды — улицу недавно поливали. По тротуару уже сновали прохожие — два встречных потока, которым предстояло иссякнуть только в первом часу ночи; по обе стороны от Ника колыхалось море непокрытых голов — они смыкались в небольшие гроздья около киосков с газированной водой, и сквозь этот живой барьер лишь изредка удавалось увидеть белую шапочку или халат продавщицы.

Пересекая залитую солнцем улицу Горького, непрерывной лавиной неслись такси: коричневые, зеленые и серые «Победы» в клетчатых ожерельях. Попадая в тень Охотного ряда, они мгновенно становились темными. Некоторые останавливались у подъезда гостиницы, чтобы высадить пассажиров; но зеленый огонек «свободно» за ветровым стеклом успевал вспыхнуть только на тот срок, который требовался, чтобы заплатить за проезд: в машину немедленно садились новые пассажиры, счетчик включался, и она отъезжала.

По улице мчались, обгоняя друг друга, автомашины — одноцветные «Победы», двухцветные «Волги» и изредка «ЗИЛы», черные и массив-

ные. Однако «Побед» — такси и собственных — было больше всего. Не было видно ни иностранных машин, ни других иностранцев, и в глазах Ника ничто не нарушало своеобразного, неповторимого облика Москвы.

Наконец синяя «Победа», отделившись от общего потока, подкатила к тротуару, и сидевший за рулем Горчаков в тенниске с расстегнутым воротом приветственно помахал Нику рукой. Ник сел, машина снова нырнула в общий поток и, обогнув угол, оказалась на залитой ярким светом площади Свердлова, где всюду пестрели цветы — на клумбах сквера у Большого театра и в пышных букетах перед шеренгой продавщиц на противоположной стороне площади. Первые несколько минут они ехали молча.

Горчаков вел машину очень уверенно, но совершенно не обращал внимания на окружающее. Водители соседних машин бросали на него яростные взгляды, а какой-то шофер такси злобно его обругал.

— Теперь я расскажу вам о наших планах на будущее, — сказал он как ни в чем не бывало, не замечая ни сердитых лиц кругом, ни холодного молчания Ника. — Конференция кончится в пятницу, тогда, собственно говоря, по-настоящему и начнется ваш визит. В пятницу вечером Академия устраивает большой прием и банкет. Все будет сугубо официально. — Он резко повернул руль и проскочил в нескольких сантиметрах от грузовика. Побелевший водитель крепко выругался, и Горчаков бросил на него взгляд, полный ледяного терпения, словно уговаривал сумасшедшего.— Но в субботу вечером я думаю пригласить к себе кое-кого из моих друзей и буду очень рад, если и вы придете. Мы соберемся совсем по-домашнему, и, мне кажется, вам будет интересно познакомиться с моими друзьями: среди них есть не только ученые, но и писатели, и актеры. А в понедельник мы начнем по-настоящему работать в институте над нашими данными. — Крепко сжав руль, он обогнал автобус справа. — Я думаю, мы с вами меньше чем за две недели не управимся, а если вы захотите посмотреть и другие институты, вам придется задержаться в Москве еще на неделю. Возможно, вы решите съездить в Дубну посмотреть циклотроны. А потом, если вас это еще не перестанет интересовать, мы слетаем на юг, на нашу станцию, и пробудем там столько времени, сколько вам потребуется, чтобы ознакомиться с работой прибора на месте. Мне было очень жаль, что вы уже демонтировали свою установку в пустыне. Мне очень хотелось ее осмотреть, самому увидеть, как она действует...

— Это там, на юге, вы провели второй эксперимент, который упоминался в «Правде»? — негромко спросил Ник.

Горчаков резко затормозил перед красным сигналом светофора, и регулировщик, подбоченившись, вперил в него изумленный взгляд: машина Горчакова остановилась как раз поперек пешеходной дорожки.

— Да, — сказал Горчаков, глядя прямо перед собой и не замечая, с какой злостью смотрят на него люди, обходящие машину спереди и сзади. — Этот прибор вы тоже увидите. Знаете, я испытываю эстетическое наслаждение, занимаясь исследованием космических лучей на открытом воздухе — в пустыне или в горах...

Раздался сердитый свисток милиционера.

— Это вам, — сказал Ник спокойно.

— Мне? Почему?

— Посмотрите, где вы остановились! Либо проезжайте дальше, либо дайте задний ход.

— И правда, — сказал Горчаков, удивленно оглядываясь по сторонам.— Ну, теперь уже ничего не поделаешь. Сейчас дадут зеленый свет.

Раздался новый свисток, еще более сердитый.

— Берегитесь! — сказал Ник. Его бесило, что Горчаков так невозмутимо уклоняется от разговора о втором эксперименте даже после прямого упоминания о нем. Однако он твердо решил быть таким же непроницаемым и уклончивым, как его собеседник. — Через десять секунд этот фараон подойдет к нам...

— Фараон? — переспросил Горчаков, оглядываясь. — Если уж вам так хочется употреблять жаргон, то у нас существуют более новые эквиваленты — «мильтон» или «мент», однако культурные люди...

— Ну, пусть мильтон или мент,— сказал Ник,— а вы все равно угодите в тюрьму. Дайте задний ход.

Горчаков невольно рассмеялся.

— Критика критикой, но у вас есть пословица: «Не чайнику перед котлом хвалиться». Видите ли, дорогой мистер Чайник, мне как-то довелось ехать с вами...

— Ну и?..

— У меня все время душа в пятки уходила. Скорость сто километров в час, а машина вензеля выписывает...— Зажегся зеленый сигнал, и машина Горчакова прыгнула вперед, как заяц.— О чем я говорил? Ах да... Нам нужно добраться до станции прежде, чем начнутся снегопады. Иначе это может оказаться не слишком простым делом. На этой горе метели иногда начинаются уже в сентябре, хотя в долинах еще стоит летняя погода...

— Самосвал...— пробормотал Ник, изо всех сил нажимая на воображаемые педали.

— Конечно, если начнутся снегопады,— продолжал Горчаков, на скорости в шестьдесят пять километров пуская машину накатом, чтобы сэкономить бензин,— можно будет взять трактор. Раньше нам приходилось перевозить оборудование самим на лыжах. Как-то раз мы подняли туда несколько тысяч килограммов оборудования. Но теперь мы...— он опять включил третью передачу, чтобы обогнать еще одну машину,— мы строим дорогу. Я уже говорил в Академии о продлении вашей визы и думаю, что все будет в порядке.

— Так, значит, точно это пока неизвестно?

— Пока нет. Но если визу продлят, вы сможете задержаться в Советском Союзе на такой срок? Вы уладили свои дела?

— Но я же писал вам, что рассчитываю пробыть здесь довольно долго.

— Я знаю. Но когда вы приехали, вам, по-видимому, надо было уладить еще какие-то дела. Какие-то дополнительные дела. Так, значит, они улажены?

— Я не понимаю, о чем вы говорите,— сказал Ник.— Я с самого начала ехал сюда с тем, чтобы сделать доклад, а потом совместно с вами попытаться установить причину несоответствия наших результатов. Никаких дополнительных дел у меня не было.

— Понятно,— отозвался Горчаков.— Следовательно, вопрос только в продлении визы. Но это решаю не я.

— А если ее не продлят? Мне придется уехать в конце недели?

— Нет никаких оснований предполагать, что ее не продлят.

— Как я уже говорил,— продолжал Ник,— дополнительных дел у меня не было, но мне кажется, что у нас появились какие-то дополнительные несоответствия.

Горчаков сперва ничего не ответил, потому что разворачивал машину перед входом в институт, затем, открыв свою дверцу, он сказал:

— Да, я как раз собирался поговорить с вами об этом. Я не стал по-

сылать вам сообщение о наших новых данных, зная, что вы уже уехали и письмо едва ли вас догонит.

— Ах, вот как,— сказал Ник огорченно: его расстроило, что Горчаков сослался на столь малоубедительный предлог.

— А когда вы приехали и я хотел рассказать вам, оказалось, что это невозможно,— продолжал Горчаков.

Ник удивленно посмотрел на него, и Горчаков слегка развел руками.

— И только из-за вас,— закончил он со сдержанным гневом, хотя тон его оставался любезным.— Пойдемте.

В своем институте, в своих лабораториях, в окружении своих сотрудников Горчаков был гораздо более уверен в себе и спокоен, чем Горчаков — легкомысленный шофер или Горчаков — пребывающий в чужой стране, язык которой, как бы хорошо он его ни знал, все-таки не был для него родным. Теперь Ник понял, что в Кливленде Горчаков — хотя он ничем этого и не выдавал — испытывал, вероятно, большую робость. Кроме того, он, вероятно, ни на секунду не забывал о напряженных отношениях, существующих между его страной и страной, в которой он находился. Теперь Ник по собственному опыту знал это ощущение, хотя, если не считать статьи в «Правде», никто не сказал и не сделал ничего, что могло бы ему быть неприятным. До сих пор он встречал только самое любезное и дружеское внимание и от души надеялся, что все люди, с которыми Горчаков сталкивался в Америке, относились к нему точно так же. Тем не менее, ему было теперь до боли ясно, что человек не может отделить себя от истории своей эпохи, как бы страстно он ни желал, чтобы все сложилось по-иному.

Обходя лаборатории и знакомясь с сотрудниками, Ник видел, что Горчаков до мельчайших деталей знает все работы, ведущиеся в институте. Некоторые эксперименты ставились непосредственно здесь, но главным образом в институте разрабатывались планы экспериментов, проводившихся затем по указанной схеме на горной станции.

Большинство сотрудников были очень молоды, гораздо моложе Горчакова,— кроме разве начальника механической мастерской, худого человека с совсем седой головой, с чутким и нервным морщинистым лицом труженика. Горчаков рассказал Нику, что этот инженер вырос в деревне и впервые познакомился со сложными механизмами только во время войны, когда стал летчиком. Ник решил, что ему лет шестьдесят.

— Как он мог стать летчиком? — спросил Ник.— Ведь он тогда уже был слишком стар.

— Стар? — переспросил Горчаков.— Он на год моложе меня. Просто ему на войне пришлось трудно.

Станки в мастерской, за исключением швейцарского винторезного и чешского фрезерного, были советского производства и довольно старые — непритязательные, некрасивые и такие массивные, словно запас прочности для них рассчитывал чрезвычайно консервативный человек, а затем его цифры были еще увеличены вдвое. Но детали, как Ник увидел с первого взгляда, обрабатывались превосходно. Большая часть станков работала, что указывало на хорошее планирование. Выключенные станки были смазаны, вычищены, их можно было пустить в ход в любую минуту, это означало, что культура труда здесь очень высока. Он мысленно подсчитал число рабочих и количество оборудования, и оказалось, что здесь людей на станок приходится больше, чем в кливлендских мастерских. Либо производительность труда была здесь ниже, либо велась широкая подготовка новых рабочих.

И в мастерской, и в лабораториях его то и дело поражали резкие контрасты. Новейшие счетчики, осциллографы, электрические приборы были почти такие же, как у него, но, кроме них, использовалось много приборов, изготовленных лет двадцать пять, а то и тридцать назад. Промежуточных ступеней не имелось совсем. В здании института даже не было скрытой проводки: электрический ток, используемый для освещения и питания экспериментов, настолько новых, что они говорили уже о завтрашнем дне науки, бежал по проводам, подвешенным на огромных фарфоровых изоляторах, к громоздким выключателям, которые устарели уже ко времени Октябрьской революции. Создавалось впечатление, что определенные отрасли электропромышленности сорок лет следовали одним и тем же неизменным шаблонам, а затем все массовое производство одним скачком достигло современного уровня. От дальнейших выводов Ник решил воздержаться. Привычные для него нормы были здесь неприменимы.

Но пока ему еще не показали никаких новых экспериментов. И когда они с Горчаковым на несколько минут остались одни, он спросил:

— Выходя из машины, вы сказали очень странную вещь, что не могли сообщить мне о вашей новой работе из-за меня. Какие у вас основания так говорить?

— В аэропорту, едва я сказал, что у меня есть для вас важные новости, вы заявили, что вам строжайше приказано позвонить в посольство, прежде чем начинать какие бы то ни было разговоры,— холодно и резко ответил Горчаков, как человек, который слишком долго вынуждал себя сдерживаться.— Из этих слов и из того, что вы говорили потом, мне пришлось заключить, что вы обязаны были обратиться за последними политическими или секретными инструкциями. Я не знаю, в чем дело, и ни о чем не спрашиваю. Вы, конечно, прямо так не говорили, но ведь и я не совсем дурак. После этого с моей стороны было бы бестактно заводить разговоры, которые могли поставить вас в неловкое положение.

Ник ничего не понимал.

— Но ведь я просто звонил одному посольскому служащему по поручению его сестры — он уезжал в отпуск, и она просила передать, что не сможет встретиться с ним там, где они условились,— сказал он наконец растерянно и сердито.— Неужели это можно назвать политической инструкцией? Такой невинный пустяк?

— А когда вы кончили говорить по телефону, я снова коснулся этой темы,— настаивал Горчаков,— и вы сказали, что не можете обсуждать со мной проблемы космических лучей, пока не сориентируетесь. Я понял, что вы подчиняетесь какому-то приказу, хотя это показалось мне очень странным — ведь в космических лучах нет ничего секретного. Мне оставалось только предположить, что со времени нашей последней встречи вы сделали какое-то открытие, которое было засекречено, или что вы вообще заняты работой, о которой даже не намекнули мне. Мы живем в фантастическое время, Реннет, но я считаю, что ради решения нашей проблемы мы все-таки должны попробовать работать вместе, не переступая границ возможного.

— И в этом вся тайна вашей скрытности? — спросил Ник.

— Моей скрытности! — возмутился Горчаков.— А кто с таинственным видом торопился звонить в посольство? И кто порывался рассказать свои новости, пока ему не заткнули рот? Скрытность! — снова вспыхнул Горчаков.— Это мне нравится! Когда мои сотрудники спросили меня, что вы сказали о новом эксперименте, мне пришлось объяс-

нить им, что нам не удалось его обсудить. Когда корреспондент «Правды» спросил меня, что вы сказали...

Дверь открылась, и Горчакову доложили, что в конференц-зале все уже собрались.

— Нельзя заставлять их ждать,— сказал Горчаков.— Поговорим позднее.

— Хорошо,— ответил Ник.— Давно пора все это выяснить.

Вслед за Горчаковым он вошел в комнату, где стоял стол, покрытый зеленым сукном. Теперь, увидев всех сотрудников института вместе, Ник очень удивился. История мировой науки насчитывает лишь пять-шесть видных женщин-физиков. Этому можно найти множество объяснений, но как бы то ни было, факт остается фактом: и теперь, когда женщины получают такое же образование, как мужчины, женский ум по-прежнему мало восприимчив к физике. На родине Ника даже в самых крупных лабораториях не так уж часто можно встретить женщину-физика, способную к творческой работе. А здесь из двадцати восьми человек, ожидавших его за длинным зеленым столом, шесть было женщин — процент необыкновенно высокий. Когда Ник выразил свое изумление вслух, молоденькие сотрудницы дружно рассмеялись.

— Мы здесь еще не в полном составе,— сказала одна из них по-английски.— К сожалению, не смогла прийти Валя... Валентина Евгеньевна. А то бы вы еще больше удивились!

— Она действительно так талантлива? — спросил Ник у Горчакова.

— О ее способностях как физика пока судить рано, она очень молода. Они имели в виду ее личные качества.— Горчаков улыбнулся, но, казалось, эта тема была ему неприятна, и он, внезапно (слишком внезапно, как впоследствии вспомнил Ник) заговорил о другом и повел всех в соседнюю комнату — большой зал со стенами, обшитыми деревом, где на длинном, покрытом накрахмаленной белой скатертью столе уже были расставлены бутылки с минеральной и фруктовой водой и с сухими кавказскими винами, вазы с фруктами, вазочки с конфетами и тарелки с пирожными, а также приборы для всех и рядом с ними — синие стеклянные бокалы и рюмки и изящно сложенные бумажные салфетки. На высоких окнах — белые занавески и шторы из синего плюша, отделанные пушистыми шариками. По стенам, обшитым светлой карельской березой, висели портреты Ломоносова, Ньютона, Фарадея, Галилея, Максвелла, Гаусса, Ампера, Менделеева и Эйнштейна.

Горчаков усадил Ника во главе стола и протянул ему папку.

— Тут все сведения о нашем втором эксперименте,— сказал он.— Прибор находится на горной станции, но здесь вы найдете фотографии, чертежи, схемы и сводные таблицы полученных результатов. Пожалуй, целесообразнее всего будет ознакомить вас с этими материалами сейчас. Вечером на досуге вы сможете заняться ими подробнее. А если у вас останутся вопросы, мы обсудим их рано утром перед вашим докладом.

— Да, так будет лучше всего,— согласился Ник. Он был смущен и обезоружен благородством Горчакова, хотя и заметил, что тот все еще держится натянуто. Горчаков быстро встал из-за стола и отодвинул панели, закрывавшие черную доску.

В какой бы форме ни ставились эксперименты, указал Горчаков, все сводилось к преодолению двух основных трудностей. Во-первых, элементарные частицы с максимальной энергией относительно редки. Даже если вынести непрерывно работающий детектор в верхние слои земной атмосферы, пришлось бы ждать несколько месяцев, чтобы накопить количество данных, достаточное для статистического анализа. Вторая трудность заключалась в том, что все измерения производились в

земных условиях. Наблюдение велось не за самой частицей, а за вызванным ею ливнем. Таким образом, необходимо было еще доказать, что все продукты распада порождены одной и той же частицей. Преодолеть первую трудность ни сейчас, ни в ближайшем будущем не представлялось возможным, и Горчаков заранее соглашался, что второй эксперимент пока еще не мог дать убедительных количественных результатов. Он отстаивал только его принципиальную ценность.

После того как Горчаков кратко объяснил суть эксперимента, у Ника не создалось впечатления, что он строится на совершенно новой основе, скорее это был очень остроумный вариант первого советского эксперимента.

— Все зависит от предпосылки,— возразил ему Горчаков.

— В таком случае,— заметил Ник,— весьма вероятно, что причина нашего расхождения лежит не в самих полученных данных, а в их обработке. Пожалуй, имеет смысл обработать ваши данные по моему методу, а мои — по вашему.

— Да, если ничего другого не останется,— согласился Горчаков,— но вычисления потребуют столько времени, что меня это совсем не прельщает. Целесообразнее будет, как мы и хотели, проверить, не сводится ли все к ошибке приборов.

— Но в Москве это невозможно,— заметил Ник, после чего разговор перешел на горную станцию и только теперь стал общим.

Оказалось, что все присутствующие то или иное время работали на горной станции, хотя и не дольше, чем два-три месяца подряд. Нику объяснили, что слишком длительное пребывание на больших высотах угнетающе действует на психику, если, конечно, человек не вырос в горах.

Но он по-настоящему увлекся, только когда ему показали аэрофотоснимки станции. На первом он сначала увидел лишь цепь снежных вершин — суровые, дикие пики, громоздящиеся к небесам,— но потом разглядел в седловине между двумя вершинами крохотный поселок. На фотографиях, снятых крупным планом, были видны деревянные постройки, сгрудившиеся вокруг каменного здания, странно похожего на огромный магнит, затерянный в небесных просторах. Ник долго глядел на этот снимок, испытывая радостное возбуждение, словно перед решительной схваткой; он пытался отгадать, каким же он станет, попав туда (если ему вообще суждено туда попасть), на эту гору, от которой его отделяют две тысячи миль, ибо интуиция подсказывала ему: долгожданное преображение может произойти с ним только там. И он глядел на снимок так, словно узнавал давно знакомые места.

Это волнение не покидало Ника до конца последовавшей затем беседы, и он заметил, что Горчаков внимательно глядит на него, как будто довольный его живым интересом, и в то же время — с прежней холодной настороженностью. Наконец он сделал знак своим сотрудникам, что пора кончать. Ник встал и пожал всем на прощание руки, с нетерпением ожидая, когда они с Горчаковым снова останутся одни.

— Нам следует выяснить отношения,— сказал он.

— Согласен. Садитесь, пожалуйста,— ответил Горчаков и, снова сев к столу, взял кисть винограда. Он ел медленно, отщипывая по одной ягодке.

— Мне надо вам кое-что сказать,— начал он очень серьезно, не глядя на Ника.— Я буду говорить откровенно. Мне очень не хотелось бы, чтобы вы поняли меня превратно. Видите ли, официально вы — гость Академии наук, пока не кончится конференция и еще на неделю, до истечения срока вашей теперешней визы. Все это время я не несу за вас никакой ответственности. Но потом, если вам продлят визу — я под-

черкиваю «если»,— тогда вся ответственность падет на меня.— Он в первый раз посмотрел на Ника.— Я говорю с вами совершенно честно. Все, что вам захочется увидеть в этом институте или в любом другом из наших институтов, вы увидите. Я это устрою. С моей стороны было бы глупо ожидать, что вы сообщите мне о не подлежащих оглашению особенностях вашего положения или о каких-либо полученных вами инструкциях. И я ни о чем вас не спрашиваю. Но повторяю еще раз: в какой-то мере являясь вашим поручителем, я буду нести ответственность за...

— Я не смеюсь над вами только по одной причине,— перебил его Ник.— Пока мы еще не начали этого разговора, а он, собственно говоря, длится с самого утра, я тоже подозревал вас в скрытности. И, признаться, это было мне крайне неприятно. Вы неправильно истолковали несколько самых невинных моих поступков, а я — ваших. Я считал даже, что вы обманули меня, и притом довольно подло...

— Я?— воскликнул Горчаков.— Я?

— Так мне казалось,— спокойно продолжал Ник.— Разумеется, все это — смехотворное недоразумение, но, к сожалению, так будет повторяться снова и снова, пока мы не познакомимся друг с другом по-настоящему. Мы дышим воздухом нашей эпохи: пока мы вот так сидим за одним столом, каждый из нас видит в другом живого человека, и все же, стоит возникнуть недоразумению, пусть самому пустячному и безобидному, каждому начинает казаться, что перед ним символическая фигура. Между нами невидимым барьером встают все пугающие газетные заголовки, броские и кричащие, и распространяют удушливый газ подозрительности. Я повторяю еще раз: я приехал сюда без всяких задних мыслей и без каких-либо обязательств. И вы должны в это поверить. В противном случае я уеду сразу же после моего доклада или, точнее говоря, в понедельник, когда кончится срок моей двухнедельной визы, чтобы это не вызвало никаких разговоров. Я говорю совершенно серьезно. Если вы считаете, что можете попасть из-за меня в неловкое положение, я уеду и избавлю вас от такой опасности. И я буду рад уехать — ведь в таком случае мы все равно не смогли бы сотрудничать. Либо мы с вами будем работать над проблемами физики, доверяя друг другу, либо просто распрощаемся и снова станем дружески переписываться с безопасного расстояния в пять тысяч миль. Так решайте же! Говорите прямо, без обиняков, я заранее согласен с любым вашим решением.

Горчаков впился в него холодным проницательным взглядом, а потом широко улыбнулся.

— Будем работать над проблемами физики,— сказал он, протягивая руку.— О'кей?

— Карашо!— ответил Ник, пожимая ее. Он тоже улыбнулся и встал.— Когда будет известно, продлена ли виза?

— Не позже завтрашнего дня. Когда мы встретимся на приеме в Академии, я уже буду знать ответ.

Ник чуть было не спросил, сообщил ли Горчаков руководителям Академии, как он истолковал его телефонный звонок в посольство, но вовремя удержался. Если да, то он, несомненно, сообщит и сегодняшний разговор, а если нет, то тем дело и кончится. И в том и в другом случае задавать этот вопрос не имело никакого смысла.

— Будем надеяться на лучшее,— сказал он вместо этого.— Мне очень хотелось бы остаться.

— Я сделаю все, что в моих силах,— просто ответил Горчаков.— Если не поздно, я еще раз поговорю в Академии.

— Это то самое «если», которое вы имели в виду тогда? — спросил Ник.

— Нет, совсем другое. Этих «если» существует немало.

Ник едва поспел в английское посольство, устраивавшее прием в честь своих ученых. Не успел он войти в зал, как увидел Анни Робинсон. Она стояла у окна, из которого видны были за рекой красные стены и светло-желтые дворцы Кремля. На ней был тот же костюм, что и накануне, но если на фоне безупречных туалетов американских дам она выглядела уважаемой, но бедной родственницей, то здесь казалась гораздо более элегантной. С ней разговаривал молодой англичанин в военной форме, смотревший на нее с победоносным видом, и только хорошие манеры мешали его улыбке превратиться в сальную усмешку. И все же, несмотря на очевидную пошлость этого человека, Анни смеялась, слушая его.

Некоторое время Ник сознательно ее избегал. Он даже обрадовался, увидев Адамса — корреспондента, первым сообщившего ему о статье в «Правде»,— который шел к нему с одним из своих коллег.

— И вы ему поверили? — скептически спросил второй корреспондент, когда Ник рассказал им о том, что произошло.

— Конечно поверил. И могу только надеяться, что он поверил мне. Я хочу, чтобы мне продлили визу.

— Продлят,— сказал Адамс,— об этом можете не беспокоиться.

— А по-моему, не продлят,— возразил его коллега. Лицо у него было надутое и недовольное.— Он верит в то, о чем сказал вам вначале. А ваши объяснения на него никак не подействовали. Я-то знаю здешнюю публику. Они говорят вам одно, а сами бегут к телефону и сообщают совсем другое. А вам и невдомек, кто вас подвел.

— Нет, продлят,— настаивал Адамс.— Он же ученый, а не журналист. Почему бы и не разрешить ему провести здесь еще месяц? Чем он им помешает? Или, по-вашему, их возмутила первая история, сообщенная Горчаковым, что иностранный ученый приехал сюда со специальным заданием от своего правительства? Да ведь они ничего другого и не ждут. Вам разрешат остаться,— обратился он к Нику.— Но увидите вы только то, что они захотят, и встречаться будете только с теми, кого они выберут. Об этом позаботится ваш переводчик, а вы даже ничего не заметите.

— Но я езжу без переводчика,— возразил Ник.

— Так вы знаете русский язык? — осведомился Адамс совсем другим тоном.

— Немножко. Достаточно, чтобы объясниться.

— И это им известно?

— Вероятно.

— Тогда другое дело,— сказал Адамс.— Скорее всего, с продлением визы выйдет задержка, и все будут выражать искреннейшие сожаления по этому поводу, а месяца через два-три вы получите письмо — ах, как жаль, что вы тогда уехали, ведь виза пришла ровно через двадцать минут после отлета самолета.

— Я ставлю на Горчакова,— упорствовал Ник.— Он меня не обманывает. Я это знаю.

— Только не ставьте долларов,— вмешался второй корреспондент,— тогда это обойдется вам недорого!

Они отошли, а у него сразу испортилось настроение. Он был так уверен, что опять нашел общий язык с Горчаковым,— но ведь эти люди считались специалистами по Москве! Анни все еще болтала с офицером. Однако, когда несколько минут спустя кто-то из сотрудников

посольства любезно предложил Нику коктейль, он не удержался и ловко навел разговор на нее, осведомившись, кто ее собеседник.

— Его фамилия как будто Энрайт. Он здесь проездом, завтра или послезавтра уезжает в Пекин. О нет, он не из наших, в отличие от Анни. Вы ведь с ней знакомы?

— Из ваших? — удивленно переспросил Ник.— Как же так? Ведь она американка.

— По рождению, может быть,— ответил молодой человек с тем великолепным пренебрежением к американскому гражданству, на какое способен только англичанин.— Но она была замужем за англичанином и столько лет прожила в Лондоне, что об этом как-то забываешь. А когда ее муж был еще жив, они очень часто бывали здесь.

— Ах вот как! — сказал Ник. Ему хотелось прекратить этот разговор, но он все-таки не удержался и спросил: — Вы его знали?

— Робинсона? Ну конечно. Прекрасный был человек. Удивительно честный и прямой. И очень смелый — был готов поехать куда угодно — немножко сумасшедший, конечно, но в лучшем смысле слова. И если так можно выразиться о подобном человеке — очень добрый. Необыкновенно добрый! Да, никому не пришло бы в голову спросить: и что она в нем нашла?

— А она? — спросил Ник.

— Анни? — удивился его собеседник.— Для нее существует только одно определение — чудесная. Правда, она американка, но все равно она чудесный человек. А вот с кем она заговорила сейчас, я не знаю. Судя по виду, кто-то из ваших соотечественников.

Ник обернулся. Анни была на прежнем месте, но разговаривала теперь с каким-то штатским, который стоял спиной к нему. Это был худощавый, безупречно одетый человек с седыми, гладко прилизанными волосами вокруг лысины, придававшей ему еще более лощеный вид. Даже до того как он оглянулся и Ник увидел худое лицо и сложенные в иронически-любезную улыбку губы, сердце его упало — он узнал Хэншела.

Его первым желанием было повернуться и уйти, чтобы избежать этой гнетущей встречи. До тех пор пока их отношения с Горчаковым не выяснятся окончательно, говорить о них с Хэншелом не хотелось. Он ведь так настойчиво утверждал, что его заветные желания непременно сбудутся в Москве! Признаться теперь, что он ошибался, значило бы поставить себя в глупое положение.

Ник продолжал наблюдать за Хэншелом и Анни, но смотрел больше на нее, любуясь грациозными жестами ее рук, изящными поворотами головы, внезапной улыбкой и неожиданно пробегавшим по лицу облачком сочувствия. Она, казалось, знала здесь всех, и все, казалось, были рады ее видеть. Жизнь ее, очевидно, была так полна, что он был бы в ней лишним, для него не нашлось бы даже крохотного местечка. Вчера она ушла, не попрощавшись с ним только потому, что тут же забыла о его существовании. Вот оно, самое простое объяснение. А Хэншела она, конечно, не забудет: Ник следил за его жестами, за быстро меняющимся выражением оживленного лица, и ему становилось ясно, что Хэншел полностью овладел вниманием своей собеседницы — если он и не завоевал ее симпатии, то во всяком случае ей было с ним интересно.

Внезапно его захлестнула черная волна одиночества. Горчаков, наверно, предаст его. У Руфи будет ее долгожданный ребенок, а потом еще дети, и в конце концов она забудет о том времени, когда они жили вместе. Мэрион тоже — и даже с большей легкостью — выбросит из

головы воспоминания о кратких мгновениях, которые делила с ним. Его леденило отчаяние: он брел невидимкой в густом черном безмолвии, помощи ждать было неоткуда, и лишь апокалиптическое видение раскаленной добела гибели разрывало мглу, словно вспышка молнии. Но он не хотел поддаваться этому чувству, как не хотел поддаться соблазну и принять проповедуемое Хэншелом спасительное отвращение к жизни, хотя бы и отравленной людской подлостью и лицемерием.

Он вырвался из этого одиночества и решительно пошел в другой конец комнаты. Первой его увидела Анни. Она сразу улыбнулась ему, и, к его величайшему изумлению, в ее глазах мелькнул вопрос, как будто она все еще пыталась что-то в нем разгадать. Она хотела было познакомить его с Хэншелом, но тот, повернувшись, радостно и удивленно протянул ему обе руки.

— Наконец-то! — сказал он.— Я приехал только сегодня утром и, едва добравшись до посольства, сразу попробовал разыскать вас. Мне сказали, что я, вероятно, встречу вас здесь, и я попросил, чтобы мне достали пригласительный билет. У вас ужасный вид,— добавил он весело.— Что вы тут с собой сделали?

— У меня прекрасный вид,— возразил Ник.

— Вы похожи на замученного Христа... кисти какого-нибудь шведа. Ради бога, что они тут с вами сделали?

— Как ваши дела? — серьезно спросила Анни.— Что-нибудь выяснилось?

— Более или менее,— сказал он отрывисто: глаза Хэншела мгновенно стали совсем непроницаемыми, так поспешно он скрыл интерес, вызванный этим намеком на катастрофу.— Вы долго здесь пробудете, Леонард?

— Неделю, самое большее — две. Но ведь мы говорили о вас, Ник,— добавил он, упрямо возвращаясь к своей теме. Он чуть улыбнулся.— Какие-нибудь неприятности в раю?

— Бюрократические мелочи, только и всего.

— Понятно. Но, как видно, все ваши неприятности не помешали вам познакомиться с одной из самых очаровательных женщин Москвы. По крайней мере, в этом отношении вы остались прежним.— На минуту тон его стал деловым: — Мне надо поговорить с вами, Ник. Я хотел бы спросить у вас совета. Моя первая официальная встреча здесь состоится завтра вечером, и я хотел бы побеседовать с вами до этого.

— Невозможно,— ответил Ник.— Завтра мой доклад на конференции, и мне надо к нему подготовиться.

— Пустяки,— не смущаясь, парировал Хэншел.— Я поеду туда с вами. Мне интересно побывать на московской научной конференции. Я остановился в гостинице «Украина». Поедем вместе.— Он повернулся к Анни.— А теперь я должен проститься с вами: меня ждут в посольстве, и, раз я уже поговорил с Ником, мне пора идти. Только не забудьте вашего обещания.

Она засмеялась — между ними, несомненно, был какой-то уговор.

— Но я же вам объяснила,— сказала она,— и вряд ли я передумаю.

— О, я надеюсь, что вы смягчитесь,— сказал он весело.— Даже такой несгибаемый человек, как наш общий друг, уже склоняется к тому, чтобы переменить свое решение, хотя, возможно, сам об этом не подозревает.— Он нагнулся и поцеловал ей руку с изяществом, совсем не похожим на обычную американскую неуклюжесть.— Как видите,— добродушно сказал он Нику,— мои поездки за границу меня

кое-чему научили. И ведь я проделал это безупречно, не правда ли? — спросил он Анни.

— Да,— засмеялась она.— Никто бы не догадался, что вы калифорниец.

— Этого я и добиваюсь,— быстро сказал он, обращаясь сразу к обоим.— Десять лет назад я скорее умер бы, чем поцеловал женщине руку, но время меняет все. Позвоните мне, Ник!

И он отошел от них легким, упругим шагом.

— А я не знала, что вы как-то связаны с ним,— сказала Анни, помолчав.

— Я с ним не связан,— ответил он.— Куда вы вчера исчезли? Не успел я оглянуться, как вас уже не было. Я искал вас повсюду.

— Мне пришлось уехать,— ответила она, удивленная его тоном.— Нужно было закончить одну работу.

Но тут их снова перебили. С Ником сердечно поздоровался Яковлев, знаменитый анестезиолог, высокий, полный старик, в котором под тонкой оболочкой академической важности бурлила жизнерадостная энергия техасца. Затем он повернулся к Анни и начал что-то быстро говорить по-русски, но тут же перешел на английский и объяснил Нику:

— Прошу прощения, но я должен рассказать моей очаровательной учительнице Анне Томасовне... миссис Робинсон,— поправился он, слегка ей поклонившись,— о моих невероятных приключениях с англичанами, которые все — совершенно невероятные люди (его «р-р-р» гремело на истинно московский лад). Как вам известно, меня иногда подводит грамматика. В Лондоне, куда я две недели назад ездил на съезд анестезиологов, я однажды забыл завести часы. И вот я остановил какого-то прохожего и спросил: «Будьте добры сказать, что есть время?» Он задумался, а потом ответил: «Вы знаете, меня самого это очень интересует. А также — что есть пространство».— Яковлев засмеялся.— Я убежден, что только в Англии можно из грамматической ошибки устроить философскую дискуссию.

Он дружески пожал руки им обоим. поклонился и отошел.

— По крайней мере, я теперь знаю, чем вы занимаетесь,— сказал Ник после паузы.

Она засмеялась.

— Но я вовсе не преподаю английский язык. Он попросил меня помочь ему, потому что я хорошо знакома с его дочерью — мы с ней учились в школе. А так я собственный корреспондент маленькой канадской газеты, о которой вы даже не слыхали. Иногда я работаю с американскими и английскими делегациями, потому что здесь мало кто знает английскую стенографию. Но вообще я пишу.

Он снова перебил ее.

— Так чего же хочет от вас Хэншел?

Она улыбнулась.

— Он просто шутил. Вы давно его знаете?

— Почти двадцать лет. Я начинал работать под его руководством. С тех пор он очень изменился.

— Но ведь и вы, наверно, тоже.

— Да,— признал он,— конечно. Но все-таки — о чем шутил Хэншел?

Она хотела было ответить, но вдруг спохватилась и посмотрела на него с любопытством.

— Вы говорите так, словно в нем есть что-то зловещее. Разве он не такой, каким кажется?

— Нет, почему же. Он очень способный и интересный человек.

— Но?..

— Без всяких «но». Послушайте, меньше всего мне хочется разговаривать сейчас о Леонарде Хэншеле.

— А о чем вам хочется разговаривать?

— Я скажу вам...— он произнес это, словно принимая вызов.— И буду говорить откровенно, потому что не люблю светской болтовни и не умею быть обаятельным собеседником. Я погибаю от одиночества. Я здесь, но с тем же успехом я мог бы находиться в пустыне Гоби или посредине Бостонского парка. До сих пор я видел в Москве только несколько лабораторий, несколько конференц-залов, ресторан моей гостиницы, цирк и театр Вахтангова. Я хочу просить вас провести со мной вечер и показать мне Москву, пока я еще не уехал. А уехать мне, возможно, придется гораздо раньше, чем я думал. Мне хотелось бы побывать с вами в московском кино. Пообедать с вами в московском ресторане. Говорят, здесь есть замечательный кукольный театр. Мне хотелось бы побывать там с вами. В Москве есть кафе. Покажите мне кафе. В Москве есть парки. Погуляйте со мной в парке. В Москве есть магазины. Разрешите мне купить вам что-нибудь в магазине. Я еще не ходил по московским улицам. Походите со мной по улицам.

Она негромко засмеялась.

— Слава богу, наконец-то,— сказала она.— Вот теперь вы заговорили так, как я ожидала. Но вы собираетесь проделать все это за один вечер?

— Постараемся уложиться в один вечер или в несколько вечеров, если я останусь. Ну, пожалуйста!

— Когда вы уезжаете?

— Может быть, через несколько дней, а может быть, через месяц.

— Ну что ж,— сказала она, помолчав,— почему бы и нет?

Он внимательно посмотрел на нее.

— Но есть и какие-то препятствия?

— Я же сказала — почему бы и нет.

— Да,— ответил он,— но вы как будто колебались. Может быть, это для вас затруднительно? Я ведь не знаю вашего здешнего статуса...

— Моего статуса?

— Видите ли,— сказал он, подыскивая слова,— мне с каждым днем становится все яснее, что я ничего не понимаю в московских порядках.

И снова, как тогда, в американском посольстве, она после минутного раздумья выбрала наиболее конкретный ответ.

— Мой здешний статус очень прост. Я — постоянно проживающая в Москве иностранка. Я — корреспондент. Мой московский паспорт возобновляется каждые шесть месяцев. Я никому не надоедаю, и мне никто не надоедает. В былые годы, конечно, это было бы совсем не так. Но теперь все гораздо проще. А кроме того, здесь еще помнят моего отца и еще благодарны ему. У меня своя квартира. Я не богата, но все, что нужно, у меня есть. Этим мой статус и исчерпывается.— Она снова посмотрела на него.— То есть, если вы именно это подразумевали под словом «статус». А что вы, собственно, подразумевали?

Он слегка улыбнулся.

— Если вы ставите вопрос так, то, честно говоря, я сам не знаю. Вы меня смущаете. Давайте поговорим о нашем вечере в Москве. Нельзя ли назначить его на завтра?

— Мне очень жаль,— сказала она мягко,— но только не завтра. А вот сегодня вечером я свободна.

— Сегодня? — Он, правда, собирался работать над докладом, но мысль об этом остановила его лишь на секунду.— Я, пожалуй, смогу

освободиться, если уеду сейчас к себе в гостиницу и кое-что приготовлю к завтрашнему дню. Дайте мне полтора часа.— Он просто встанет пораньше и закончит все утром. Ему ни за что не хотелось упускать возможность провести с нею вечер. Если даже не принимать во внимание слова корреспондентов, никто, по-видимому, не знал ничего определенного насчет его визы, и такого случая могло больше не представиться.

— Сейчас без четверти шесть,— сказала она, посмотрев на часы.— Я зайду за вами в гостиницу в половине восьмого.

Он доехал до гостиницы на такси и с головой погрузился в работу, так как скоро обнаружил, что опровергнуть выводы Горчакова будет совсем не просто. Он уже жалел, что так легкомысленно договорился с ней о встрече. Чтобы как следует подготовить доклад, ему нужно было несколько часов, но из-за томительной неопределенности с визой, казалось, времени все равно ни на что не хватит. В голове стучало: «Скорей, скорей, скорей».

Он взял телефонную трубку и набрал номер посольства, чтобы отменить прогулку. Доклад был гораздо важнее. В эту минуту ему было безразлично, увидится ли он с ней когда-нибудь еще. Теперь он вдруг рассердился на нее: какое право имела она говорить с ним свысока, даже если под конец и изменила тон? Он сердился на нее, словно она нарочно отвлекала его от работы, а кроме того, он теперь с тревогой и неудовольствием вспоминал, как дружески она болтала с Хэншелом: этот разговор словно загрязнил ее. Настала его очередь чувствовать, что она не оправдала его ожиданий.

Ему ответили, но после того как он попросил позвать миссис Робинсон, наступила долгая тишина, нарушаемая лишь отдаленным шорохом тысяч разговоров, бегущих во все стороны по телефонным кабелям под Москвой. Через бесконечные десять минут новый голос осведомился: «Кого вы просили?» — и тоже смолк. Он подождал еще пять минут, а потом раздраженно бросил трубку. Ничего не поделаешь — придется расплачиваться за свое легкомыслие. Он работал очень быстро, и злость придавала ему силы.

5

В половине восьмого, почти минута в минуту, раздался телефонный звонок. Звонила Анни, она уже ждала в вестибюле. Ник тотчас вышел Он прошел по коридору до холла, залитого мягким, приглушенным светом, на ходу передал ключ дежурной по этажу, цветущей блондинке, сидевшей за столиком посреди зеленого озера-ковра, и торопливо зашагал дальше по ковровому ручью, тянувшемуся по широкой лестнице с мраморными ступенями. Дожидаться лифта у него не хватило терпения.

Уже с галереи, расположенной почти у самого потолка главного вестибюля, он увидел Анни. Она стояла как раз под галереей, у лестницы, и выжидательно смотрела вверх. Вечер был теплый, Анни пришла с непокрытой головой. Только она одна и стояла спокойно в этом огромном с мраморным потолком вестибюле, где непрерывно сновали люди — входили, выходили, суетились возле табачного киоска, и возле киоска с газетами и журналами в дальнем углу, и у барьера почтово-телеграфного отделения.

Пока Ник разглядывал Анни — она еще не успела его заметить,— раздражение его улетучилось. В сущности, он и не сердился на нее по-настоящему, он был рад, что она пришла.

Ник, улыбаясь, спустился вниз. Анни ждала, пока он подойдет, глядела испытующе и тоже чуть-чуть улыбалась, будто хотела увидеть его опять таким, каким он показался ей в первый раз.

— И что же вы видите? — спросил он.

— Вас,— ответила она просто и засмеялась.— Вас разве с кем-нибудь спутаешь? Вы всегда остаетесь самим собой, хотя то и дело меняетесь. Право, я уже отчаялась уследить за всеми вашими превращениями. Настоящий хамелеон.

— Но мы виделись всего два раза!

— Да, и за это время вы успели четыре раза измениться.— Она хотела добавить что-то, но удержалась и вместо этого сказала, что у нее есть билеты на спектакль кукольного театра в сад «Эрмитаж».

— А куда потом? — спросил он.— Хотя, право, не знаю, какое из моих четырех «я» задает этот вопрос.

— Не смейтесь, я ведь только хотела быть откровенной с вами. А насчет того, куда идти после театра, решим по дороге. Пойдем, куда хотите, и можем совершенно не спешить, если только, конечно, вам не надо завтра рано вставать.

Чтобы закончить доклад, завтра необходимо будет подняться в шесть часов, подумал Ник.

— Времени у меня сколько угодно,— сказал он Анни.

Анни взяла его под руку, и через массивные двери они вышли на широкий тротуар, на который все еще ложился бледный свет летних сумерек. По Охотному ряду люди двигались непрерывной толпой — кто быстрым шагом, кто неторопливо, кто еле тащился, изнемогая от усталости,— шли и молодые и старые, все с непокрытыми головами, ярко по-летнему одетые: девушки в платьях и шелковых и ситцевых, и дурно сшитых и элегантных, в легких ажурных перчатках всевозможных цветов, начиная от белого и кончая черным; мужчины большей частью в спортивных рубашках с открытым воротом, некоторые в пиджаках и с галстуками. Врезаясь в толпу, бежала компания юношей и молоденьких девушек, смеясь, оглядываясь, то и дело спрашивая друг друга: «А где же Катя?» Через минуту появилась и Катя в зеленовато-голубом платье без рукавов, с влажными от пота густыми каштановыми кудряшками. Она неудержимо хохотала и бежала прихрамывая: у нее только что сломался каблук на туфле. Но вот толпа поглотила их всех, закрыла собой.

Людской поток вынес Ника и Анни к углу площади Свердлова, и здесь они встали в автобусную очередь, которая вилась неровной живой линией по обочине тротуара. Легковые автомобили и такси на стоянке, выстроившись по диагонали, стояли почти вплотную друг к другу, и едва одна из машин выезжала из ряда, на ее место старались втиснуться сразу три новых. Два огромных туристских автобуса, один из Лондона, второй из Хельсинки, разлеглись рядом, как пара дремлющих китов. По широкому тротуару, забитому людьми, вытянулась еще одна очередь: в кино, где показывали фильмы с участием Чаплина.

— Так как же относительно моих четырех «я»?— спросил Ник, пока они стояли в очереди.— Не думайте, что вам удастся так легко отделаться.

— Мне не следовало этого говорить, я знаю,— сказала Анни виновато. Она подняла глаза, и Ник убедился, что она действительно сожалеет о своих словах.— Такие вещи обычно говорятся только затем, чтобы смутить человека. Мне ужасно стыдно, что так получилось. Простите.

— Ну, разумеется. Но я все-таки хотел бы выяснить, что вы, собственно, имели в виду.

— Просто вы меня чрезвычайно заинтересовали.

— Отлично. Вы уже принесли свои извинения, но я пока еще не знаю, что же вы имели в виду.

— Что я имела в виду?— начала она неохотно.— Я... Понимаете, когда я увидела вас тогда, как только вы вошли в комнату, я сразу подумала: вот интересный, тонкий человек. Но потом, когда мы пили коктейль, я говорю о том, что было вчера...

— Продолжайте же!

— Вы разговаривали так бойко, уверенно — типичная американская болтовня за коктейлем: пустые слова вместо настоящего разговора. Обо всем говорится небрежно, банально, с насмешкой. Будто ничто не имеет ни малейшего значения. Я, знаете, тоже научилась болтать так не хуже других, но мне это противно. Люди вдруг кажутся такими поверхностными! Но вот сегодня, в присутствии Хэншела, вас как будто подменили. Совсем другой человек. У вас с ним странные отношения. Вас обоих волнует что-то серьезное, глубокое. Не знаю, конечно, что именно, но уверена, что-то здесь кроется. А когда вы потом предложили мне встретиться, то снова стали таким, как при первой нашей встрече, только не совсем, а каким вы, вероятно, были давным-давно — прямым, бесхитростным, способным чувствовать по-настоящему. Если бы вы пригласили меня вчера, я нашла бы предлог отказаться, сослалась бы на то, что занята. А сейчас я рада, что пришла. Вот и все.

Подошел автобус, громко урча воздухом в тормозах; на остановке, выпуская воздух, он важно зафыркал.

Автобус был новый, блестящий, свежевымытый. Они нашли два свободных места рядом, и Ник настоял на том, что платить за проезд будет он: ему еще не представлялось случая потратить русские «гривенники». Стоит начать тратить деньги, имеющие хождение в городе, и город приобретает реальность. Впереди них сидела на коленях у матери девочка лет трех. Как только дверь захлопнулась и автобус тронулся, девочка прижалась носишком к оконному стеклу и радостно нараспев закричала: «А я сейчас па-е-еду!»— точь-в-точь как на тот же мотив распевали ребятишки у Ника на родине: «А я знаю се-кре-ет!», как будто этот торжествующий возглас одинаково присущ всем детям на свете, на каком бы языке они ни говорили.

— Нравится вам Москва?— спросила вдруг Анни.— Некоторые иностранцы терпеть ее не могут. Считают скучной, унылой.

Он сразу понял, что вопрос таит в себе особый, большой смысл.

— Я не говорю о некрасивых зданиях, о плохой архитектуре,— продолжала Анни.— И не о пуританстве и благочестивых выражениях, которые могут быть использованы для прикрытия жесткой регламентации в области искусства. Русские и сами признают, что бывает у них и помпезность и фальшь, и сами их всей душой ненавидят. Я не об этой Москве говорю. Я говорю о подлинной Москве — ее не сразу увидишь за этим тонким поверхностным слоем, который прежде всего бросается в глаза. Настоящая Москва — это город высокопорядочных, принципиальных людей. Деревья на улицах ночью, чудесный аромат русских булочных, детишки, бегущие в школу, студенты университета— вот это Москва.

Ник улыбнулся.

— Откуда мне знать все это? Я почти ничего еще и не видел. Потому-то мне и хочется продлить визу. Пока то, что я успел разглядеть,

так не похоже на все виденное мною прежде, что я хочу непременно разобраться в этом новом. А вы и в самом деле понимаете Москву?

Анни пожала плечами.

— Я свыклась с ней. У меня к ней тысячи самых противоречивых чувств. Мне приходилось и любить ее, и ненавидеть, мне бывало здесь и тревожно, и скучно, и весело, но всегда, во всех случаях она меня волнует, будоражит. Москва — это Москва, и нет другого подобного ей места, как есть только один Лондон и только один Нью-Йорк. Иногда я сижу работаю у себя в комнате, и кажется, будто город врывается ко мне прямо сквозь стены — вся огромная Москва, где люди живут в невообразимой тесноте. У меня всегда перед глазами такая картина: мужчина объясняется девушке в любви, а кто-то другой, буквально рядом, кричит, требуя от соседа — сосед тоже в двух шагах от них,— чтобы тот выключил радио. В такие минуты я разделяю все волнения, чаяния и страсти, которыми живет город, как будто я в большой толпе, где кричат, шумят. Знаете, как на футбольном матче, все разом: возмущение, радость, отчаяние, смех, пение и вдруг ссора и драка. А через минуту опять все по-другому. Я не могу в двух словах выразить свое отношение к Москве,— продолжала Анни.— Она и нежная, и буйная, и это русская святыня. Порой она уж чересчур серьезна, так что задохнуться можно, и тут же видишь, что нигде, как здесь, не смеются так много, так охотно, от души. Мой отец, воспитанник колледжа святого Ботольфа, потомственный член республиканской партии и аристократического клуба «Юнион лиг», был так увлечен Москвой, что пожелал называть своих русских коллег «товарищами» и очень расстраивался, если они, вместо того чтобы тоже называть его «товарищем», обращались к нему с более официальным «господин». И, однако, в этой же Москве пять лет спустя, когда началась ежовщина, все его коллеги были арестованы за сотрудничество с иностранцем, несмотря на то что отец приехал в Москву по приглашению правительства. Когда я вернулась сюда, а это было уже после войны, люди, которых я прежде знала, все еще избегали меня.

— А теперь?

— Ну, теперь иначе, времена изменились. Со мной встречаются, мне помогают, ко мне хорошо относятся. Мы снова в дружбе. Всех арестованных реабилитировали, многие занимают крупные посты. В Москве все смешано—прошлое, настоящее и будущее, и ничего нельзя изъять, не то получится бессмыслица. Я училась в московской школе, я уже вам говорила, на Каляевской улице, всего в нескольких кварталах отсюда. Средняя школа № 183. Никогда и нигде не дразнили меня так, как в этой школе. Нет-нет, не потому, что я иностранка,— рассмеялась Анни, угадав его мысль.— Это, можно сказать, пустяки по сравнению с тем, что я рыжая и к тому же левша. И одного из этих моих качеств было бы достаточно. В России рыжих очень мало. Рыжим называют клоуна в цирке, рыжий — дурак, шут. И над левшами потешаются, дразнят «левша-лапша».— Быстро, одним жестом руки она изобразила неуклюжие движения левши.— Но во дворе дома, где я жила, детворы было полным-полно, и меня принимали во все игры. Я и теперь еще время от времени сталкиваюсь то с одним, то с другим из тех ребятишек с нашего двора. Недавно ездила навестить приятельницу, она живет в новом районе, на Ленинских горах. Прохожу мимо новостройки, и вдруг один из сварщиков, здоровенный детина, снимает свою защитную маску, смотрит на меня, усмехается: «Эй, рыжая!»— Анни повернулась к Нику, и он увидел, что она заново переживает свое тогдашнее изумление.— Оказалось, это Ванюшка, я знала его двадцать лет назад — мальчишка,

который лазил на самые высокие заборы. А только на прошлой неделе на Пушкинской улице очень интересный и вполне корректного вида полковник авиации, весь увешанный орденами и медалями,— имитируя военную выправку, Анни слегка выпрямила шею и расправила плечи,— подходит ко мне и берет под руку, словно мы век с ним знакомы. И только когда он засмеялся, довольный, что так меня напугал, я узнала Васю, братишку моей подруги Наташи. У него всегда текло из носа, и в своей меховой ушанке он был похож на вислоухого зайца: одно ухо вверх, другое болтается. Если хотите знать, именно это, а не приемы в посольстве, и есть для меня настоящая Москва.

Анни замолчала. Девочка на руках у матери обернулась и смотрела на них с откровенным ребячьим любопытством. У нее были тугие золотистые косички с бантами из мягкой белой ленты. Ник скорчил важную физиономию и подмигнул девочке. Та чуть-чуть улыбнулась. Он подмигнул ей вторым глазом, и она засмеялась, принялась мигать обоими глазками и снова засмеялась. Мать повернула голову, улыбнулась Нику, как бы извиняясь и в то же время с робкой материнской гордостью, и ласково шепнула ребенку: «Не надо, не надо...», и если бы даже Ник не понял слов, он угадал бы их смысл по интонации — именно так все матери на свете увещевают своих расшалившихся детей.

Ник заметил, что Анни наблюдает за ним.

— У вас есть дети?— спросила она с улыбкой.

Вопрос застал его врасплох, и перед глазами у него вдруг возник образ Руфи, такой, как она стояла тогда перед ним, беременная. Он опустил глаза и покачал головой.

— Понятия не имею, что я стал бы с ними делать,— сказал он.— Разве что играть.

Она рассмеялась.

— Ничего другого от вас и не ждут.— Улыбка на ее лице исчезла.— Когда жив был муж, мы с ним находили тысячи доводов, почему нам еще нельзя заводить семью. Теперь, когда я перебираю их в памяти, ни один из них не кажется мне достаточно убедительным, и единственное, что я испытываю, это горькое сожаление. Да, горькое сожаление,— повторила она взволнованно.

Он промолчал. Анни будила в нем воспоминания о той поре его жизни, которую он решительно хотел забыть. У него чуть было не сорвалось с языка: «Все же причины могут быть настолько веские...», но тут автобус остановился напротив зеленой деревянной ограды, тянувшейся по другой стороне улицы. На литой чугунной арке у входа горел яркий свет. Мимо столиков, стоявших прямо на земле, за которыми кассиры продавали входные билеты, двигался живой поток людей, и над их головами Ник увидел гирлянды фонарей, уходящих в глубь парка. Сквозь гущу ветвей и листвы высоких деревьев доносилась музыка, усиленная многочисленными репродукторами.

Небольшой парк был до отказа наполнен людьми, павильонами, маленькими эстрадами и открытыми кафе, где над столиками возвышались крашеные металлические зонты. На одной из эстрад певица в красном вечернем платье исполняла душераздирающий романс. Ей аккомпанировал стоявший с ней рядом гитарист в эстрадном фраке. Посетители непринужденно бродили по парку, слушая пение и поедая эскимо. Молодые парочки шли, держась за руки, томно глядя в глаза друг другу. Пожилые, более степенные пары гуляли под руку, и от долгой совместной жизни шаги их, все их движения были одинаковы и слаженны. Певица на эстраде кончила петь, и теперь до ушей Ника и Анни доносились банальные напыщенные фразы конферансье, объявлявшего следую-

щий номер. Вместе с толпой они молча двигались по извилистым дорожкам сада.

Внезапно, как если бы их разговор в автобусе не прерывался, Ник сказал, хмурясь:

— В нашем браке это не жена, это именно я не хотел иметь детей.

Анни деликатно промолчала.

— И не из-за обычных причин, на которые принято ссылаться,— что слишком молоды и боимся обузы,— продолжал он.— В процессе моей работы мне пришлось быть свидетелем первого атомного взрыва. Это не укладывается в слова.

К полному своему изумлению, Ник вдруг осознал, что впервые заговорил об этом с посторонней женщиной прямо, открыто и по-настоящему объективно. Сейчас он не испытывал тягостного стеснения, какое у него бывало всегда, когда он пытался говорить на эту тему с Руфью, еще в пору их совместной жизни. Не было и той безнадежной уверенности, что тебя все равно не поймут, которая вообще исключала возможность разговора об этом с Мэрион. От Анни исходило душевное тепло и успокоение, и он вдруг как будто впервые разобрался в самом себе.

— Вы понимаете, я даже испытывал радость победы: годы труда не пропали даром. Естественное чувство, оно бывало у меня всякий раз, когда удачно проходил какой-нибудь эксперимент. Только в тот раз посильнее. Я вам честно признаюсь в этом. И все остальные, кто там тогда присутствовали, переживали то же самое. В тот момент мы были прежде всего учеными-физиками, и мы видели результаты наших совместных напряженных усилий. Но где-то в уголке моего сознания происходило нечто совсем другое. Отнюдь не восторг и не чувство удовлетворения. Нет, страх, совершеннейший ужас, полное отчаяние, потому что я понял, что в глубине души не хотел, чтобы опыт удался. И когда я теперь оглядываюсь назад,— проговорил он медленно,— я начинаю также понимать, что в тот день во мне что-то умерло. Не знаю, что именно, не могу определить. Но я не захотел иметь детей и даже собственного дома. Я и сейчас не хочу,— добавил он вполголоса.

— И это сознание вины — оно все еще?..

— Дело не в том,— сказал Ник терпеливо и устало.— Это было бы просто, вину можно искупить. Да и почему нам считать себя виноватыми? То, что мы делали, делалось нами в защиту родины, мы были уверены, что Германия готовит то же самое против нас, против Англии, против России. Так оно и оказалось, как мы потом выяснили. Только немцы не добились результатов. Не от гуманности, просто Гитлер допустил тут ошибку. Он не очень-то верил, что эксперименты ученых будут иметь практическое значение, и не оказал необходимой поддержки. Какая тут вина! Это научное открытие, неизбежно вытекающее из всего хода исторического прогресса. Нет, дело гораздо сложнее. Это мое чувство глубже, сильнее, чем сознание вины. Знаю только одно: жизнь моя раскололась надвое, и я уже не тот, каким был, когда учился в Кембридже.— Чтобы переменить тему, он заговорил более легким, спокойным тоном:— Да, выходит, я жил и работал почти в том самом месте, где вы родились, нас разделяла только река. Впрочем, к тому времени вы оттуда уже уехали. Скажите, если Москва значит для вас так много, как же тогда Бостон?

— Бостон?— переспросила она удивленно.— Да ведь я уже лет двадцать как не была там.

— А Лондон?

Она ответила не сразу. Они все продолжали двигаться по парку вместе с остальными.

— Лондон — это еще одна полоса моей жизни,— сказала наконец Анни еле слышно. Она глядела вниз, на землю.— Я почти всю войну провела в Лондоне. Там умерли мои родители. Там я влюбилась и вышла замуж. Мне трудно говорить о Лондоне.

— Нельзя сказать, что сегодня в Москве мы с вами самые жизнерадостные люди,— сказал Ник отрывисто.— Пойдемте смотреть кукол. Наверно, уже пора.

Они заняли свои места в маленьком зале. Едва поднялся занавес, веселое остроумие и дерзкая сатиричность спектакля рассеяли тяжелое настроение, и Ник даже не заметил, как тверды сиденья стульев и как узок для его длинных ног проход между рядами. Диалог на сцене велся в таком стремительном темпе, что он почти ничего не понимал, но ему непременно хотелось разобраться во всем самому, без посторонней помощи. Музыка была задорная, веселая, и в одном месте джаз заиграл так хорошо, что Ника вдруг, к собственному его изумлению, охватила тоска по родине, хотя он и сам не знал, о чем он, собственно, тоскует. По счастью, зрители в это время громко смеялись, и никто не заметил, что глаза у него стали влажными. Он придвинулся поближе к Анни, чтобы почувствовать, что она здесь, рядом, и Анни от него не отстранилась.

После спектакля они вместе со всеми вышли из зала, но половина публики осталась в саду. На одной из небольших эстрад под ослепительным электрическим светом танцевала молодая актерская пара в живописных украинских костюмах, исполнялся народный танец, состоявший из сложных скользящих движений и великолепных прыжков. Уже у ворот Ник оглянулся.

— Я хочу запомнить все,— сказал он.— Быть может, я все это вижу в первый и последний раз.

Они прошли по освещенной улице мимо здания больницы. На другой стороне улицы один за другим уходили вдаль переулки с темными домами — свет там шел лишь из окон. На углу Страстного бульвара толпа разбилась: одни направились дальше полутемной Петровкой, другие свернули к улице Горького, где мощные потоки света заливали памятник Пушкину. Ник и Анни дошли до площади. Над верхушками лип сияли огни фонарей, витрины еще были ярко освещены. Далеко, насколько хватало глаз, Ник видел пологий спуск улицы Горького и под ветвями лип густой поток людских голов. Продавцы мороженого у тележек-холодильников бойко торговали своим товаром.

Ник проголодался, и Анни предложила ему на выбор несколько ресторанов. В конце концов они пересекли площадь, решив зайти в «Арагви». Им удалось разыскать свободный столик внизу, в заполненном посетителями зале с мраморными стенами. Но поговорить им больше не пришлось. Едва официант принял от них заказ, как тут же еще одна пара заняла свободные места за их столиком. Молодые люди немедленно без всяких церемоний обратились к Анни, и между ними троими завязался такой быстрый, пересыпанный шутками разговор, что Ник ничего не мог понять. Его поразил контраст между вежливой сдержанностью людей, с которыми ему пришлось сталкиваться в официальной обстановке, и той свободной непринужденностью, с какой москвичи общаются между собой. На несколько минут он опять оказался в тоскливом одиночестве, но Анни тут же обернулась к нему, желая втянуть его в общий разговор.

— Они не верят, что я не русская,— сказала она, смеясь.— Думают, что я ваша переводчица из Интуриста и что я их разыгрываю. Скажите им!

— Они говорят по-английски?

— Нет, но ведь вы-то говорите по-русски! Скажите же им что-нибудь!

— Я вдруг все позабыл, решительно ничего не помню.

— Ну, бросьте,— сказала Анни.— Ведь вы сами хотели общаться с москвичами.

— Но вы же знаете, как плохо я говорю по-русски. В десять раз хуже, чем ваш Яковлев по-английски.

— О чем это он? — спросил молодой человек, улыбаясь.

Ник оказался в неловком положении — ему пришлось объяснять по-русски, что он забыл русский язык, но стоило ему заговорить — и слова сами начали приходить на память, все быстрее и легче. Молодой человек оказался инженером-металлургом, его спутница — библиотекарем. Она слушала Ника, лукаво блестя глазами, и потом сказала Анни, что произношение у Ника «просто прелесть». Ник ответил девушке, что она сама «просто прелесть». Всех их вдруг охватило чувство взаимной симпатии. Они ужинали вместе, пили вино из общих бутылок, произносили тосты за Америку и за Советский Союз, тосты за дам, за науку, за мир во всем мире, а потом уже пили, позабыв про всякие тосты. Через полтора часа они проделали все это по второму разу, обменялись адресами, уплатили каждый по своему счету, наверху у входа пожали друг другу руки и разошлись, снова став посторонними людьми.

Было уже двенадцать часов. Толпы на улице Горького поредели. Широкая мостовая блестела, словно черное зеркало, после того как по ней проехали механические мойки, похожие на чудовищ с водяными бородами,— они медленно плыли, как будто паслись на этом асфальтовом море.

— Вы заметили, что ни разу не спросили меня обо мне? — сказал Ник, когда они спускались к Красной площади.— Неужели вам нисколько не любопытно? — Он грустно улыбнулся.— Только что вы подробно расспрашивали совершенно незнакомых людей, которых, по всей вероятности, больше никогда и не встретите. Вопросы ваши были, конечно, вполне естественны, и вы получили на них столь же естественные ответы. Но обо мне вы ничего не хотите узнать, даже хотя бы откуда я родом.

— Да ведь это я уже знаю! — засмеялась Анни.— Стоило вам произнести слово, и я поняла, что вы из Нью-Йорка. Иногда проскальзывает у вас и западный говор. А как только я слышу ваше «ну ясно», я почти уверена, что вам довелось жить в Новой Англии. Так что, видите, мне известно, где проходила ваша жизнь. Впрочем...— добавила она медленно и как бы нехотя,— возможно, это ваша жена уроженка Запада.— Анни вдруг взглянула ему прямо в лицо.— Вы развелись с женой. А женились вы очень рано, совсем молодым.

Его молчание подтверждало, что она не ошиблась, и Анни улыбнулась.

— То вы были в претензии, что вам не задают вопросов, а теперь, когда я вас спрашиваю, вы молчите.

— Неужели так сразу и видно, что я в разводе?

— Догадаться было нетрудно, вы же понимаете,— сказала она мягко.— Кроме того, я думаю, вы разошлись довольно давно: вы уже успели привыкнуть к тому, что к вам приходят женщины.— Анни заметила, что лицо его застыло, и добавила: — Но вы не женщину ищете, вы ищете что-то другое.

Они вышли на пустынную ночью Красную площадь, залитую потоками света от мощных прожекторов.

— Вы правы,— сказал Ник.— Какой смысл выспрашивать друг

друга? Главное то, что сейчас мы вместе, вы и я, и пусть все будет сказано в свое время и в своем месте.

Они присоединились к тем, кто еще бродили по площади. Гулявших было немного, все больше парочки, которые как будто и не замечали снопов прожекторных лучей, падавших на них, на низкий мавзолей из красного гранита, на часовых, что стояли как вкопанные в почетном карауле, на пустые трибуны за низенькой деревянной оградой. От электрического света деревья на фоне старых кирпичных стен Кремля приняли неестественно зеленый цвет театральных декораций. Но небо, в котором высоко на куполе дворца полоскался на ветру алый флаг, было темным, и храм Василия Блаженного окутал мрак, и весь он со своими луковицами и башенками вырисовывался сплошным черным силуэтом. У Кремлевских ворот стояло несколько милиционеров: они курили и болтали между собой и даже не взглянули на Ника и Анни, когда те проходили мимо, спускаясь в темноту, к реке.

Они молча шагали по безлюдной каменной набережной вдоль неподвижной черной реки, и Ник наконец взял руку Анни в свою — жест, показавшийся ей настолько естественным, что она даже не подняла голову взглянуть на Ника. Так они шли, пока она не остановилась отдохнуть у каменного парапета. Если бы ей хотелось, чтобы Ник сейчас ее обнял, она стала бы лицом к воде и перегнулась через парапет. Но она оперлась спиной о камень, положив локти на парапет,— ее поза выражала спокойную настороженность. Ник не хотел быть назойливым, и, однако, он был уверен, что в эту минуту Анни тянется к нему так же, как и он к ней. Она не оскорбится, если он вздумает сейчас поцеловать ее, но ему хотелось гораздо большего, чем беглый поцелуй. Он не хотел рисковать, он боялся начать то, чему не будет продолжения. Он стоял и смотрел на нее в раздумье. Анни угадала, что происходит с ним, слегка улыбнулась, отодвинулась от парапета и сказала:

— Уже очень поздно. Второй час.

— Куда же мы пойдем теперь?

— Больше идти некуда,— ответила Анни.— Ночью в Москве все закрыто.

Он подождал, надеясь, что она предложит пойти к ней, но Анни молчала.

— А как насчет тех ресторанов, в которые мы не попали сегодня?

— В другой раз.

— Но когда же? Завтра вы заняты, а на субботу Горчаков пригласил меня к себе, у него собираются друзья.

— Завидую. Вы проведете интересный вечер.

— А вы?

Анни улыбнулась.

— Буду работать, только и всего,— сказала она и засмеялась.— Приходится говорить правду, вы ведь не переносите таинственности. Да я и сама терпеть ее не могу. По-моему, это такой дешевый способ вызывать к себе интерес!

— Значит, в воскресенье? Если мне не продлят визу, это будет мой последний день в Москве.

Анни кинула на него быстрый взгляд, будто только сейчас осознав эту неприятную возможность.

— Там увидим,— сказала она.— Смотрите, вон такси! Помашите ему скорее, другого мы так поздно ни за что не найдем.

Зеленый огонек, быстро движущийся им навстречу, был от них в доброй четверти километра, но уже через несколько секунд оказался рядом. Анни дала шоферу адрес гостиницы Ника, но Ник настоял на

том, что сперва довезет ее до дому: он все еще не терял надежды. Однако, когда такси остановилось возле ее дома, старого здания с массивной деревянной дверью, Анни вышла первой, протянула ему в машину руку, прощаясь по-европейски, поблагодарила за приятный вечер, и Ник понял, что поступил правильно, не проявив излишней настойчивости.

— До воскресенья,— сказала Анни. Она послала ему воздушный поцелуй и закрыла дверцу. Она уже было отошла, но тут же снова вернулась.— Не забудьте позвонить мне, как только выяснится относительно визы,— сказала она.— В любом случае.

— Вы думаете, может статься, что я и не получу ее?

— Ничего я не думаю. Я только хочу, чтобы вы мне позвонили. Я хочу знать.

Она улыбнулась ему и вошла в дом.

Глава шестая

1

Мысли Ника все еще были заняты ею, когда на следующее утро он проснулся и встал, чтобы приняться за доклад. Только уже усевшись за стол и начав приводить в порядок страницы текста, он усилием воли заставил себя не думать об Анни.

В восемь утра зазвонил телефон. Ник взял трубку и услышал голос Хэншела.

— Вы обещали позвонить мне, чтобы вместе поехать на конференцию,— сказал Хэншел.— Я звоню вам, пока вы не успели еще предпринять что-либо в этом направлении. Я не смогу прийти.

— Очень жаль,— сказал Ник.

— Дел у меня сегодня по горло, но мне все-таки очень хотелось бы повидаться с вами.

— К сожалению, не выйдет,— сказал Ник.— Сегодня мой доклад, а после конференции Академия устраивает обед, и я должен на нем присутствовать.

— Сколько вы еще пробудете в Москве?

— Неизвестно.

— То есть как это неизвестно? — сразу же насторожился Хэншел.— Насколько мне помнится, вы прямо-таки жаждали остаться здесь еще на некоторое время.

— Пока все висит в воздухе. Вопрос решается сегодня.

— Ну и ну! Так вы на это и намекали, когда говорили вчера, что столкнулись с бюрократической волокитой?

— Примерно.

— Весьма странно. За кого они вас, собственно, принимают?

— Не торопитесь с выводами, Леонард. Пока речь идет лишь об оттяжке решения, только и всего.

— Что ж, интересно, чем это кончится. Да, кстати,— продолжал Хэншел небрежно,— кто та очаровательная дама, с которой вы видели меня вчера? Я бы хотел знать о ней подробнее.

— Я вам позвоню попозже,— сказал Ник.— Сейчас я страшно занят.

Хэншел засмеялся.

— Бог ты мой, какой вы собственник! Что она делает в Москве? Это все, что мне нужно узнать.

— Я и сам знаю о ней очень мало. Как будто занимается всем понемногу: переводит, пишет в разные газеты и журналы, даже выполняет секретарские обязанности.

— По-русски говорит хорошо?

— Очевидно.

— Да, кажется, это именно то, что мне нужно, как вы полагаете?

— Судя по всему, она очень занята. И затем я понятия не имею, что именно вам нужно.

— Да-да, было бы неплохо ее заполучить. Знает язык, знакома с городом, умна, на нее приятно смотреть, с ней приятно провести время...— По ровному, задумчивому голосу, в котором таились насмешливые нотки, Ник ясно представил себе, какое сейчас у Хэншела выражение лица.— Нет, вы только подумайте, как чудесно иметь секретаршу или ассистентку, которая превращает ваш рабочий день в очаровательное содружество. Впрочем, вы сами отлично это знаете. После Москвы она сможет оказаться мне полезной и в Вене. Ну, а завтра есть у меня шансы повидаться с вами?

— Сомневаюсь.— Ник уже не чаял, как бы поскорее прекратить разговор.— Многое зависит от исхода сегодняшних дел. Я вам позвоню.

— Отлично,— сказал Хэншел и засмеялся.— А если не позвоните, я позвоню вам сам.

Ник повесил трубку и попытался вернуться к работе: еще оставалось несколько минут до того, как надо будет спуститься вниз, сесть в машину и ехать. Но нервы у него были взвинчены, он злился. Что затеял Хэншел? Куда он клонит? Что это — низость, злоба? Или и в самом деле он так нужен Хэншелу? Может быть, тот просто хочет во что бы то ни стало сломить его решимость, не дать ему побороть оцепенение, чтобы тем самым оправдать собственную сдачу позиций? Или, может, дело не в Хэншеле, а сам он слишком нервничает и видит тайный смысл там, где его нет?

Он снова попробовал заняться докладом: так или иначе, но ведь сегодня день его поединка с Горчаковым. Ник знал заранее, что после доклада развернется острая дискуссия, и не только доклад, но и всю свою аргументацию построил с учетом возможных вопросов и возражений. Наконец наступило время ехать. Когда он вместе с остальными делегатами сел в машину, все, кроме него, принялись оживленно обсуждать предстоящий через несколько дней отъезд, какие развлечения можно еще будет втиснуть в оставшееся время и что здесь стоит купить в подарок домой.

— А вы, Ник, что собираетесь делать?

— Доклад,— ответил он лаконично.— Иных планов у меня пока нет.

Все утро он искал и так и не нашел Горчакова. Конференция с каждым часом все больше выходила за рамки намеченного расписания. Только в два часа председатель наконец произнес: «Доктор Реннет...», и Ник встал и направился к кафедре. В зале вдруг поднялся шум, раздались аплодисменты, и, оглянувшись, Ник, к полному своему изумлению, увидел, что аплодируют ему. Присутствующие поднялись с мест, приветствуя его. Такого с ним еще никогда не случалось. Он поискал глазами Прескотта, но не увидел его, от волнения у него выступили слезы, и, когда он заговорил, голос его не слушался. Ник прочистил горло и начал снова. Переводчик из Академии переводил его выступление на русский язык.

С момента, когда он произнес первые слова, его уже не покидало приятное чувство, что доклад идет гладко. Он развивал свои тезисы естественно и легко — казалось, они сами выстроились в ряд и только ждут

своей очереди. Но одновременно у него было странное ощущение, будто в нем существуют и действуют три разных человека: один еще не опомнился от взрыва аплодисментов, второй объят ужасом, как обманщик, которого еще не успели разоблачить, и прячется за третьего, а этот третий уверенно, авторитетно рассказывает о своей работе. Потом все трое слились воедино, и Ник стал именно тем человеком, который выступал с кафедры.

Только к самому концу доклада Ник заметил Горчакова: тот сидел во втором ряду, спокойно сложив руки. Он пришел вовремя, сейчас начнется бой. По окончании доклада снова раздались аплодисменты, теперь можно было переходить к вопросам и обсуждению. Ник взглянул на Горчакова, ожидая, что тот поднимет руку и попросит слова, но Горчаков не шелохнулся. Вместо этого один из молодых ученых задал вопрос о фотоумножительной технике, разработкой которой Ник занимался, и Ник постарался ответить как можно короче, чтобы осталось больше времени для выступления Горчакова. Но Горчаков и тут не попросил слова, а ответ Ника вызвал еще целый град вопросов к докладчику. Горчаков сидел молча, и это молчание, вместо того чтобы успокоить Ника, встревожило его.

Дискуссия о схеме прибора приняла такой широкий размах, что, когда истекло время, отпущенное на прения, группа молодых физиков вышла вслед за Ником в коридор, и обсуждение продолжалось там. Ник был поражен тем, как подробно они знакомы с его работой. Они были деятельны, любознательны, они заражали своей энергией. Но Ник постарался как можно скорее закончить беседу и подошел к Горчакову.

— Почему вы не выступили? — спросил он.

— А зачем? — возразил Горчаков.— Для настоящей серьезной дискуссии все равно не хватило бы времени. Правду сказать, ведь этот вопрос должны разрешить мы с вами между собой, если только представится возможность.

— А будет у нас эта возможность? — настойчиво спросил Ник. Что, если Горчаков потому и решил не выступать, что пребывание Ника в Москве слишком кратковременно, незачем и начинать разговор?

— Именно это я и пытался выяснить сегодня утром,— сказал Горчаков.— Я посулил вам дать ответ сегодня и все утро проторчал у телефона — звонил, добивался и требовал, чтобы мне ответили определенно. Как нарочно, все нужные люди куда-то подевались, никого не мог застать на месте. Но ничего, день еще не кончился, попробую выяснить на банкете. А что, если я подвезу вас в своей машине? — предложил он.— Так оно будет менее официально. Если только, конечно, вы не считаете более корректным досидеть здесь до конца и потом поехать в машине с вашей делегацией.

— Делегации, я думаю, до смерти надоело быть делегацией,— ответил Ник, решив не подвергать сомнению искренность Горчакова.— Мы только и делаем, что смотрим друг на друга, слушаем друг друга, едим друг с другом, ходим друг с другом в театр — скоро мы, наверно, возненавидим друг друга. Ко всем к ним я отношусь с полной симпатией, но больше не в состоянии терпеть их общество. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Губы Горчакова растянулись в медленной улыбке.

— Все знают, что такое делегация,— сказал он.— Отлично вас понимаю.

Он повел машину по мосту через Москву-реку, выбрался на широкую, опоясывающую город Садовую улицу, затем свернул влево, и вскоре они остановились у гостиницы «Советская». До революции здесь был

загородный ночной ресторан «Яр», знаменитый не только в Москве, но и в Европе. После революции в нем помещались разные учреждения: клуб летчиков, Дом кино. Недавно его заново отделали, и старое здание с его высокими потолками и роскошными номерами ожило в новом своем обличии — теперь это образцовая советская гостиница-люкс. Обед был устроен в двусветном банкетном зале — огромном помещении с синими плюшевыми шторами и белыми занавесями. Стол в форме подковы сверкал серебром, хрустальными бокалами и расставленными конусом на тарелках белоснежными салфетками.

В начале сессии между приезжими и советскими учеными-физиками чувствовалась некоторая натянутость, тон бесед был официальный, но долгие споры и совместная работа во время сессии сняли всякий налет отчужденности. Все приняло гораздо более интимный характер. Закулисный механизм, который необходим, когда приходится принимать гостей, действовал теперь так безупречно, что казалось, все делается само собой. Иноземные гости попривыкли к Москве, а русские — к иноземным гостям. Все давно уже разбились на группы по специальностям, перешагнув через национальные и языковые рубежи, и если русский не знал французского языка, он беседовал со своим французским коллегой по-немецки, а англичанин общался с итальянцем на французском языке. Теоретики уже успели проявить обычную свою «клановость» и держались особняком, группируясь либо вокруг Ландау, либо вокруг Тамма. Ученые, работающие над проблемой циклотронов, «трубопроводчики», как окрестили их другие физики, тяготели к Векслеру и Джелепову, специалисты по сжижению водорода криогенным методом — к Капице, а Ник и все остальные, занимающиеся исследованием космических лучей, почти что уже по инерции — к Горчакову, Алиханьяну, Добротину и Зацепину. Разговор велся в основном на профессиональные темы. И теперь человек уже не испытывал чувства неловкости, когда ему вдруг задавали щекотливый вопрос, а спокойно говорил: «Простите, к сожалению, обсуждать эту тему я не уполномочен». Разговор переходил на другое, и собеседники при этом не испытывали особого смущения. Всем им на протяжении своей научной карьеры не раз приходилось считаться с напряженной политической обстановкой, и каждый относился с уважением к тому, что для его коллеги было «запретной зоной».

Кроме иностранных гостей, на обеде присутствовали академики и другие ученые не столь высокого ранга. Иностранцы составляли только треть собравшихся здесь, но приветственная речь Несмеянова от имени Академии была обращена непосредственно к ним. Когда он кончил, некоторое время царило молчание, затем Хорват, старейший и почетнейший из гостей — его блестящая ученая карьера началась еще на заре века,— медленно поднялся на своих костылях. Он выступал от лица всех приезжих. Так как большинство присутствовавших иностранных ученых в свое время были его студентами или студентами бывших его студентов, то все они (в том числе и он сам) признавали за ним роль патриарха как нечто само собой разумеющееся. Он поблагодарил хозяев за гостеприимство и отметил высокий уровень научных работ, обсуждавшихся на сессии. Хорват был по-старомодному изысканно вежлив, говорил он по-французски, и так как славился своими чудачествами и рассеянностью, то и русские и иностранцы легко догадались, что непосредственно перед своей импровизированной речью он беседовал с кем-нибудь из французов.

На этом официальная часть окончилась, и начался обед. Ник был им сражен. Он съел ломоть заливной осетрины толщиной в полдюйма, салат из крабов, окрошку (глубокую тарелку того размера, какой принят в

Европе, но какого в Америке не видели последние тридцать лет), затем немного великолепной мясистой русской форели, и тут, когда он уже еле дышал, ему подали пару больших румяных киевских котлет, так искусно поджаренных, что, когда он воткнул в мясо вилку, от нее во все стороны брызнуло горячее масло. За столом текла не прерываясь дружеская беседа; как выяснилось, увлечение физиков головоломками, парадоксами и альпинизмом носило международный характер.

После кофе кто-то тронул Ника за плечо и сказал, что с ним хочет поговорить Хорват. Ник удивился. Он даже не был уверен, что старик его помнит: последний раз они виделись пятнадцать лет назад. Хорват, как только Ник сел на свободный стул рядом с ним, спросил:

— Чем вы теперь занимаетесь?

Ник начал было излагать суть того, над чем он работал все эти пятнадцать лет, но Хорват нетерпеливо прервал его своим «знаю, знаю», и тон его мог бы показаться резким, если бы не было известно, какой у старика беспокойный ум. Он всегда всем говорил: «Я хочу выслушивать только то, чего не знаю, или если даже знаю, то хочу, чтобы мне объяснили это по-новому».

— Да нет, я имею в виду ваши разногласия с молодым русским.— Хорват бросил взгляд через стол, и Ник увидел, что, оказывается, гостей почтил своим присутствием и заместитель Несмеянова Топчиев. — Как его зовут? — обратился в нему Хорват рассеянно.

— Горчаков, — ответил Топчиев, мужчина крепкого сложения, необыкновенно деятельный, живой и энергичный. Такой человек не станет раздумывать, ответить ему «да» или «нет» на просьбу, а тут же позаботится о том, как бы ее выполнить.

— Да, правильно, Горчаков, — сказал Хорват. — Топчиев говорит, что вы собираетесь остаться здесь еще на некоторое время и поработать вместе с Горчаковым.

— Да? — Ник был несколько удивлен. Вот, значит, каким образом сообщили ему о продлении визы — быстро и внезапно, как делает разрез хирург: плоть еще не успела прореагировать, а все уже и начато, и кончено.

— Они приступят к работе с понедельника,— пояснил Топчиев по-английски. Он улыбнулся Нику.— Так ведь, кажется? Мне передали, что вам хотелось иметь ответ сегодня, и я как раз только что получил подтверждение из министерства. Итак, значит, в понедельник.

— В понедельник? — повторил Хорват и пожал плечами.— Будь я на его месте, я начал бы работу в ту самую минуту, как сошел с самолета.

— Я не мог, был занят,— сказал Ник.

— Занят? По тону угадываю, что тут замешана дама. Я бы хотел поговорить с вами перед моим отъездом, Реннет.

— Когда вы улетаете?

— Завтра в одиннадцать утра. К вечеру мне надо быть в Лондоне: у одной из моих правнучек день рождения, я обещал прийти к ней в гости. Конечно, я ее избаловал, но что ж поделаешь...

— Значит, у вас тоже есть личная жизнь,— сказал Ник.

Старик перестал срезать кожуру с яблока и сверкнул на Ника глазами из-под лохматых седых бровей.

— Когда будете в моем возрасте, вам будет позволено иметь личную жизнь. Не раньше.

Топчиев сочувственно подмигнул Нику и тут же тактично поднялся с места.

— Учитель никогда не оставит в покое ученика,— пошутил он.— Предоставляю вам самим решать ваши семейные дела.

— Что, если нам вместе позавтракать? — предложил Ник Хорвату.— В любое время, когда вам удобно. Мне тоже очень хотелось бы поговорить.

— Мой завтрак обычно состоит из чашки чаю,— сказал Хорват.— В Москве — из стакана чаю. Знаете, Реннет, кажется, я вами очень не доволен. Еще не совсем в этом уверен, но, по-видимому, да. Вы отдаете себе отчет в том, какое серьезное значение имеет ваше пребывание здесь?

— Во всяком случае, я знаю, как это важно для меня,— сказал Ник, помолчав.

— Не только для вас.

— Для самого дела, разумеется. Или еще для чего-нибудь?

— Да,— отрезал Хорват. Он снова принялся чистить яблоко.— Зайдите ко мне позавтракать угром, я втолкую вам, до какой степени все это важно. Только не приходите слишком рано. Я сплю теперь немного, но утром люблю поспать подольше.

— Отлично. В котором часу прийти?

Хорват пожал плечами и немного подумал.

— Пожалуй, в половине седьмого.— Он взглянул на Ника.— Вероятно, вы тоже любите утром поспать. Приходите к семи.

Ник мысленно вздохнул: значит, завтра опять вставать в шесть часов.

Возвращаясь к своему месту за столом, Ник остановился за стулом Горчакова.

— В понедельник можем начать работу,— сказал он вполголоса.— Только что мне официально сообщили.

Горчаков обернулся с быстрой живой улыбкой. Он встал и схватил Ника за руки.

— Великолепно! — воскликнул он.— Вот это здорово! Ну, значит, и насчет завтрашнего дня вопрос решен окончательно. Непременно приходите. Буду очень-очень рад.

— Но я все равно пришел бы, так или иначе! — сказал Ник с ноткой досады.

— Да? Отлично. Но вы меня неверно поняли. Мы договаривались условно. А вот теперь это уже наверняка. Выпьем за то, что недоразумений больше нет. Чтоб всегда все было ясно!

— Да,— сказал Ник, беря со стола бокал.— До того момента, когда что-нибудь снова станет неясным.

2

Без четверти семь огромная гостиница была еще погружена в сон. Спускаясь с лестницы, Ник видел, что на диванах в холлах спят дежурные, прикрыв плечи тонкими вязаными жакетами. Чисто выметенные улицы были во власти солнечного света, голубей и пустых такси. Даже швейцар гостиницы «Националь» еще спал, Нику пришлось его разбудить. Один только Хорват, как видно, встал давно. Чтобы избавить себя впоследствии от лишних движений, он заранее дверь номера оставил открытой. Потускневшее великолепие старомодной комнаты по времени восходило к периоду его собственной юности. Он уже начал укладывать вещи к отъезду. На столе подле телевизора стояла электрическая плитка, на ней закипал чайник. Хорват встретил Ника в белой рубашке с короткими рукавами и открытым воротом; старые, но сильные руки его

были испещрены венами, пальцы с тугими старческими суставами двигались медленно и с усилием, а когда-то Хорват славился легкостью и изяществом жестикуляции. Впрочем, улыбнулся он живо и молодо, потому что теперь лучше всего чувствовал себя утром, сразу после сна.

— Садитесь, садитесь, чай сейчас закипит. Если вам требуется что-нибудь более солидное, через полчаса откроется буфет. А пока можем поболтать, я вам объясню, почему хотел вас видеть. Ну, прежде всего, как вам понравилась Москва?

— Очень интересный город,— сказал Ник по-русски — и совершил промах, потому что Хорват, кивнув, немедленно разразился речью на русском языке, в которой Ник разобрал только первые слова: «Очень важно»,— но что именно важно, Ник так и не понял, и Хорват наконец спросил его:

— Вы знаете русский, я надеюсь?

— Честно говоря, очень слабо,— сказал Ник теперь уже по-английски.— Я понял только одно: что-то «очень важно», дальше я уже запутался.

— Н-да,— проговорил Хорват рассеянно, наливая чай в стаканы.— Ну, во всяком случае, кое-какие слова вы зазубрили, все-таки лучше, чем ничего, хотя и не бог весть как много. Важно вот что: чтобы вы здесь пришлись по душе и чтобы сами вы подошли ко всему без предвзятого мнения, иначе ничего не поймете или воспримете все только со стороны, как чужой, точно так, как иностранцы никогда не научатся видеть вас, американцев, такими, какие вы есть.

— Неужели вам кажется, что вы нас все еще не понимаете? — спросил Ник. Хорват совершил больше двадцати поездок в Соединенные Штаты и во время войны прожил там свыше четырех лет.— Ведь вы у нас жили и работали.

— Я воспринимаю вас не так, как вы воспринимаете сами себя. Я узнаю американские черты в поступках и словах только post factum, но не уверен, что могу заранее предугадать вашу реакцию, если специально над этим не подумаю. Большего от иностранца трудно ждать. Точно так же чувствую я себя и здесь, а ведь в России я бывал не раз — впервые попал сюда в 1910 году, когда мне исполнилось двадцать четыре года. Приезжал к отцу в посольство, в Санкт-Петербург. Какой прекрасный, великолепный город! Белые ночи — бог ты мой... Происходило это без малого пятьдесят лет назад, а я все еще помню, как сидел на ступенях Исторического музея возле канала в два часа ночи — светло, как днем,— и вел горячий спор с прелестной женщиной. Ее так обуревали чувства, что она не могла с ними справиться, свела с ума нас обоих, и себя и меня. Я уверял ее и клялся в том, что буду помнить ее всю жизнь. И, представьте себе, к моему изумлению, к всегдашнему моему изумлению, так оно и оказалось! Никогда ее не забывал. Я и сейчас мог бы описать вам вечернее платье, в котором она тогда была. Да. И великолепное небо.

Ник смотрел на старика пораженный. Для него Хорват того времени был только одним из физиков, положивших начало науке о космических лучах. В студенческом учебнике Ника была помещена типичная старая фотография, изображающая элегантного молодого человека с щегольскими черными усиками, в кожаной куртке, кожаном шлеме и в очках-консервах. Хорват был снят в тот момент, когда выходил из гондолы воздушного шара возле Будапешта: на этом шаре он только что поднимался со всеми необходимыми приборами в ледяную разреженную атмосферу на большую по тому времени высоту, чтобы доказать, что чем выше, тем сильнее ионизация воздуха и, следовательно, ионизирующая

радиация не является радиоактивностью земного шара, источник ее где-то за пределами видимого неба.

— В 1910 году вы поднимались на воздушном шаре,— сказал Ник.

Хорват как будто удивился, что это событие и то, о чем он сейчас рассказывал, как-то связаны между собой.

— Да, верно,— бросил он небрежно.— Осенью, после того как я уехал из Петербурга. В сущности, я разработал все детали полета, пока был здесь, в России. Но небо, которое я сейчас вспомнил, это не то небо, которое я видел во время полета над Будапештом. Нет, я говорю о петербургском небе, каким видел его тогда со ступеней Исторического музея. Во второй раз, в 1923 году,— продолжал Хорват, как будто и не прерывал своего рассказа, и Ник уже начал думать, что старик так никогда и не доберется до сути дела,— я поехал в Россию просто из любопытства.

— А не за тем, чтобы снова увидеть ту женщину?

— В сущности, это одно и то же,— снова сказал Хорват небрежным тоном.— За это время в судьбе моей изменилось многое. Война повлияла на всю мою жизнь. Я уже не был таким юнцом, мне было около сорока. Да, конечно, мне хотелось узнать, что стало с той женщиной, но не удалось разыскать ее. Здесь все, вся жизнь была перевернута вверх ногами. Страшная послевоенная разруха. Вши, голод, жестокость, энтузиазм и применение силы, высокая романтика и крушение иллюзий — невозможно было разобрать, где кто находится, и что происходит, и к чему все это приведет. Я пытался найти некоторых из моих прежних друзей, но так никого и не нашел. Зато я приобрел много новых друзей. Сидел с ними ночи напролет, разговаривал, спорил, и все дороги здесь для меня были открыты. Мог пойти, куда только вздумается, делать, что хочу. Восхитительное ощущение, оно и пьянило и пугало одновременно... Возьмите сахару. Нет, друг мой, ложечку из стакана не вынимайте. Если хотите пить чай на русский манер, то пейте так, как это здесь полагается. И научитесь придерживать ложечку указательным пальцем. Ну, вот так, молодец. Я люблю русских. Они необыкновенно человечны, даже больше того.

— Больше этого, пожалуй, и необязательно,— сказал Ник.— Возьмем, например, Горчакова. Очень человечен и очень мне нравится. С ним хорошо, просто. Но стоит нам перейти в плоскость официальных отношений, и кажется, сразу на все набегает легкая тень. Быть может, это лишь игра моего воображения, но я подозреваю, что в промежутках между нашими встречами он ведет другие, гораздо более важные разговоры где-то в ином месте, о которых я решительно ничего не знаю.

Пожав плечами, Хорват сказал:

— Примерно так дело обстоит повсюду. Относительно того, что происходит здесь, могу лишь поделиться собственными впечатлениями. Русские, по-моему, похожи на большую, очень сплоченную семью, которая живет в большом доме где-нибудь на окраине. Они предпочитают держаться особняком, а внутри, в семье — предположим, Смирновых,— все бурно между собой спорят: Валя с Галей, Вася с Машей, Аня с Ваней. Спорят, кричат, возражают друг другу, бранятся. Но вот кто-то вдруг крикнул: «Мистер Джоунз идет!» Валя немедленно перестает нападать на Галю, Маша оставляет в покое Васю, Юра отскакивает от Шуры. Все судорожно спешат привести друг друга в порядок, замывают царапины, убирают комнату и чинно рассаживаются по местам. Мистер Джоунз стучит в дверь. Его впускают, приветствуют, усаживают, угощают, и все сияют улыбками. Валя, оказывается, любит Галю, Вася — Машу, Аня — Ваню. Все мирно беседуют с мистером Джоунзом. Но вот мистер Джоунз встает, уходит, дверь за ним закрывается. Все облегчен-

но вздыхают: «Слава тебе господи, ушел!» И опять Валя наскакивает на Галю, Аня на Ваню, Юра на Шуру и так далее. Если вы, Ник, увидите, что Галя спорит с Валей, не вмешивайтесь, не принимайте ничью сторону. Раньше или позже Галя и без вашего участия помирится с Валей. А если вмешаетесь, они обе вас возненавидят. Главное вот в чем: если мистер Джоунз потом, несмотря на весь устроенный в его честь парад, вдруг заявит, что Смирновы недружно живут между собой, они страшно разобидятся и скажут, что он дурно отплатил им за гостеприимство. Помните: вы здесь только гость, пришелец. Так ведите же себя по крайней мере тактично.

— Легко сказать,— возразил Ник,— но что делать, если при первом пустяковом недоразумении ваш самый тонкий такт уже принимают за нечто совсем другое?

— Это все случайности, вполне возможные и даже неизбежные. А ваш «самый тонкий такт» с точки зрения других, быть может, вовсе и не является таковым. Эта страна, как и ваша, колоссальна, многообразна, история ее необыкновенно сложна. Все, что вы о ней читали,— верно, хотя бы отчасти: хорошее и скверное, очень хорошее и очень скверное. Я убежден, что придумать о ней ложь совершенно невозможно. Любой рассказанный о ней случай где-нибудь, когда-нибудь мог произойти или еще произойдет. Всякий, кто, описывая Советский Союз, попытается сделать примитивные обобщения, запутается, свихнет себе мозги, а тот, кто примет на веру такие обобщения,— глупец. Все, что здесь произошло и происходит, слишком сложно, необъятно, переменчиво, чтобы все это можно было аккуратно уложить в одну коробочку. Мы все, те, кто не пережили вместе с русскими их историю, по-настоящему понять эту страну пока еще не можем. Мы можем лишь с изумлением внимать рассказам о всех бесчисленных гранях ее жизни. Для тех, кто сами пережили все, что здесь происходило,— для советских людей,— история их страны слагается из отдельных фактов и событий изо дня в день на протяжении свыше сорока лет, незаметно и естественно, как незаметно и естественно для человека дыхание. Им даже непонятно наше непонимание. Они дивятся нашей неосведомленности и наивности. Они живут в особом мире, который сами для себя построили, и приемлют его. Они благодарны за те блага, которые он им дает, жадно пользуются его возможностями и возмущаются неполадками — точно так, как принимаем мы наш мир, наше общество со всеми нашими неполадками. Вы представляете себе, чтобы какой-нибудь ваш американский рабочий, только что лишившийся заработка, или ваш же биржевик, потерявший миллион долларов на Уолл-стрите, выбежал на улицу и завопил бы во всеуслышанье: «Долой капитализм!» Нет, так он не поступит. Он сделает попытку поправить свои дела. И здесь то же самое. Если человек попадает в беду, сталкивается с несправедливостью или терпит разочарование, он также не думает: «Долой советский строй». Он возмущается, но в то же время знает, что это только одна из случайностей в той общественной системе, которую в целом он принимает, которой гордится. Он постарается выпутаться из своих затруднений, найти для себя какой-то выход.

— Все это я полностью понимаю и приемлю,— сказал Ник.— И все же...

— Раз вы говорите «и все же», значит, вы и понимаете и приемлете не полностью. И не поймете, пока не разберетесь в тех сложнейших исторических условиях, при которых складывались теперешние отношения, это взаимное недоверие. Впервые я столкнулся с этим в 1934 году, в начале самого трудного периода в их истории. Меня пригласили

в Киев прочитать курс лекций. Там собралась группа интересных ученых, физиков-теоретиков. Но в конце концов большинство иностранцев были вынуждены уехать, и в последующие два десятилетия политическая обстановка была такова, что мы просто не могли ездить в Россию. Только последние несколько лет нас снова принимают радушно. Как знать, быть может, это начало совершенно новых взаимоотношений. Время покажет, действительно ли недоверие окончательно исчезло или наступила только временная передышка. Но было бы неправильным рассматривать это недоверие лишь как выражение официальной политики. Мне кажется, у него более глубокие корни. Вот, например, люди здесь обижаются, и, по-моему, с полным основанием, когда к ним относятся свысока, снисходительно. Это приводит их в ярость, они этого не прощают. Русские — очень гордый народ. Какой-нибудь иностранец, буржуа среднего пошиба, приехав сюда, начинает, скажем, высмеивать некрасивую одежду или тесноту в квартирах. Но ведь никто лучше самих русских не знает, как необходима им хорошая одежда, и новые дома, и еще тысячи других вещей, которые они страстно хотят иметь, твердо намерены получить и уже получают. Они ненавидят тех иностранных писателей, которые, явившись сюда на десять дней, а иногда и на десять недель, прикидываются друзьями, а потом отправляются восвояси и в печати высмеивают русских, публикуют то, что было им сказано в частной беседе. Русские уверены, что о них можно написать и кое-что другое, а не только потешаться над их недостатками. И они правы. То, что мы сейчас присутствуем в Москве на научной конференции, доказывает это. Страна бурлит, как кипящий котел, и такая жизнь продолжается здесь уже сорок лет. Так вот, слушайте. Конференция окончена. Насколько я понял, вы еще задержитесь здесь. Вы войдете в московскую жизнь, будете одним из первых в подобной ситуации, уж не знаю за сколько лет, и явитесь объектом острого интереса для всех, кто окажутся подле вас. Каждый ваш шаг, каждое слово будут обсуждаться еще долгие месяцы после того, как вы уедете. Поэтому выполняйте то, ради чего вы сюда приехали, но, бога ради, будьте тактичны. Даже и в этом случае возможны недоразумения, вы можете невольно, не подозревая этого, задеть кого-нибудь, обидеть.

— Кое-какие недоразумения уже имели место,— сказал Ник.

— Нисколько не удивлен. И все же повторяю: сейчас самое главное для всех, чтобы нас встречали здесь радушно — и чтобы мы платили им тем же самым у себя на родине. Сейчас пока все еще очень официально, но должно же настать время, когда общение станет иным, по-настоящему дружеским. Вы меня понимаете? — спросил Хорват настойчиво.— Ваше поведение, ваши высказывания, здесь и потом у себя,— все это столь же важно, как те физические проблемы, которые вы собираетесь разрешить.

— Дело в том, что я приехал сюда не только затем, чтобы разрешать научные проблемы. Меня очень тревожит моя личная проблема, решение ее имеет для меня жизненное значение. Я не могу быть ни политиком, ни ученым, ни кем бы то ни было, пока не буду уверен, что я именно человек, каким хочу быть. Иначе я становлюсь автоматом, нулем. Меня преследует страшная мысль, что я потерял себя, свое «я»,— произнес Ник медленно.— Я потерял или свое дарование, или способность наслаждаться им, не знаю, но я не в состоянии ничего сделать, ничего дать, пока не обрету себя вновь. Скажите, как вы считаете: может ли у человека вдруг пропасть талант? Атрофироваться, сойти на нет, ничего после себя не оставив?

Хорват энергично замотал головой.

— Не талант, а себя вы потеряли,— сказал он.— Пропасть, мне кажется, может только сам человек, талант разрушить нельзя. Но бывает, что человек, обладающий талантом, вдруг запутается — жизнь собьет его с толку или сам он сойдет с верного пути, пойдя на компромиссы, наделав кучу всяких ошибок,— и он теряет ощущение, что владеет чудесным, волшебным даром. А дар этот всегда при нем, всегда к его услугам. Представьте себе: перед роялем сидит великий пианист, и вдруг его сведенные подагрой пальцы отказываются слушаться. Рояль перед ним и готов мгновенно зазвучать, как только пальцы вновь приобретут гибкость. Не ищите потерянного таланта, Ник, он не потерян, он при вас, он существует. Лучше поищите Ника Реннета, посмотрите, что сталось с ним.

— Возможно,— подумав с минуту, сказал Ник упрямо.— А вот Хэншел убежден, что погибает именно талант, что его талант безвозвратно погиб, умер и что самое мудрое — это устроить покойнику веселые похороны, а самому заняться в жизни чем-нибудь другим. Боюсь, лично я не способен на это.

— Хэншел неглуп,— согласился Хорват.— В свое время превосходно работал. Но нашел ли он утешение в том, что в сущности не что иное, как безутешное вдовство, открыл ли он неизвестную мне истину — не знаю, никогда этого не знал. Я знаю только собственные мысли. Может быть, как раз вам, Ник, и предстоит выяснить, кто из нас прав, я или Хэншел. Теперь звоните, чтобы вам принесли завтрак, официантка уже приступила к своим обязанностям.

3

Ник ушел от Хорвата с тяжелым чувством. Вместо того чтобы успокоить, на что он в глубине души надеялся, старик навязал ему еще чувство ответственности. Он ждал, что Хорват, как добрый, мудрый отец, все на своем веку испытавший, скажет ему, что его беды — вовсе и не беды и что со временем все утрясется. Но вышло иначе. Ник возвращался к себе с неспокойным сердцем. Меньше всего ему сейчас хотелось оставаться одному, сидеть и раздумывать над бременем, которое взвалил ему на плечи Хорват. Дежурная по этажу, улыбаясь, поманила Ника к своему столику и протянула ему листок: звонил господин Хэншел, он оставил телефон своей комнаты в гостинице «Украина», чтобы господин Реннет мог позвонить ему. Ник поблагодарил, взял листок и, войдя к себе, сгоряча скомкал его и бросил, затем подошел к телефону и набрал номер Горчакова. Ответил сам Горчаков. Голос его звучал приветливо, но, как видно, разговаривать ему было некогда. Он сказал, что вечером заедет за ним.

— Это необязательно,— сказал Ник.— Дайте мне ваш адрес, я приеду сам.

— Нет, сами вы приедете в следующий раз,— добродушно возразил Горчаков.— Простите меня, дорогой мой друг, но для начала дорогу покажу вам я. Буду у вас в восемь часов.

И он повесил трубку прежде, чем Ник успел объяснить, зачем он, собственно, звонил: он хотел просить разрешения зайти в лабораторию, чтобы немного оглядеться, побывать в привычной обстановке. Все еще не снимая руки с трубки, чувствуя, что планы его на сегодняшний день рушатся, он позвонил Анни.

— Я остаюсь,— заявил он, как только Анни ответила.— С визой улажено. Я хочу отпраздновать это событие. Могу я с вами встретиться?

— Когда?

— Разумеется, сейчас.

— Но сейчас я занята,— сказала Анни тоном искреннего сожаления.— Я освобожусь к вечеру.

— На вечер я приглашен к Горчакову.

— Ах, да-да, помню. Ну что ж, тогда, значит, увидимся завтра.

Ник чуть не спросил, звонил ли ей Хэншел, но гордость удержала его, и он так и не узнал, сделал ли ей Хэншел то предложение, о котором говорил. Нет, пусть Анни сама решает. Она должна пройти через это испытание.

Ник повесил трубку, и вновь ему стало невыносимо одиноко. Он увидел скомканный листок, раздраженно отшвырнул его, потом поднял и разгладил, снова бросил и через минуту снова поднял с пола. Все-таки в прошлом Хэншел его наставник, покровитель, первый, кто вдохновлял его на исследовательскую работу. Конечно, Хэншел изменился, но ведь и сам он не остался прежним. Почему у него нет никакого снисхождения к этому человеку?

Ник набрал номер, оставленный Хэншелом, и долго ждал ответа.

— Хелло, Леонард,— сказал он, когда Хэншел взял наконец трубку.— Если хотите поговорить, у меня есть немного свободного времени. Визу мне продлили. Когда вы мне звонили, я был у Хорвата.

— Так это вы у Хорвата пропадали? Я разочарован,— сказал Хэншел шутливо.— А я-то вообразил, что вы, как ушли с вечера, так еще и не вернулись к себе. Сейчас посмотрю, как расписано мое время. Через полчаса я должен быть в посольстве. А затем...— Он скороговоркой прочел список «визитов вежливости» к советским ученым.— Да... Это «затем» забирает весь остаток дня. А вечером? Что, если нам с вами вечерком побродить по Москве? Вы мой должник за ту прогулку по Сан-Франциско, где я служил вам гидом.

— Вечером я не могу. Я занят.

— Захватите с собой и вашу прелестную даму — будете оба моими гостями.

— Но у меня свидание вовсе не с моей прелестной дамой!

Ник произнес это и сразу понял, что попал в приготовленную ему Хэншелом ловушку, потому что тот тут же засмеялся и сказал:

— Так, может статься, она сегодня вечером свободна? Я думаю, она будет лучшим гидом по Москве, чем вы. Кстати, как мне разыскать ее? У вас есть ее телефон?

— Нет,— ответил Ник не моргнув глазом. Ему хотелось зло, во весь голос крикнуть в трубку. «Да прекратите вы, черт вас возьми!», но вместо этого он сказал: — Можно узнать через посольство. Все живущие в Москве американцы там зарегистрированы.

— Превосходная мысль! Вот как раз случай поговорить с ней относительно Вены. Знаете, Ник, Вена вам понравится. И что в ней особенно очаровательно, это то, что после рабочего дня вы через несколько минут можете очутиться среди природы, в самой что ни на есть живописной местности. Я прямо-таки становлюсь лириком при одном воспоминании обо всем этом. Так как же насчет завтрашнего дня?

— Завтра я тоже занят.

Хэншел рассмеялся.

— Что-то в вашем голосе подсказывает мне, что как раз завтра-то у вас свидание с вашей дамой. Из этого я делаю вывод: сегодня мне нужно из кожи лезть вон, но уговорить ее, чтобы она устояла, когда вы завтра начнете ее отговаривать. Когда же нам встретиться? Может быть, в понедельник? Ну, мы еще созвонимся.

Ник повесил трубку. Он только еще больше разозлился на Хэншела. Ему захотелось немедленно позвонить Анни, но он взял себя в руки.

Глупо было звонить Хэншелу. Это все потому, что он испугался одиночества. Свои трудности следует разрешать самому, незачем кидаться к посторонним людям, чтобы на время отвлечься. Сейчас надо как-то убить время, вот и все. Что ж, можно наконец сделать то, что ему давно хотелось: побродить по московским улицам. Самый подходящий момент. Едва приняв это решение, Ник сразу как-то успокоился. Пусть Леонард звонит Анни, пусть делает ей какие угодно предложения. Он, Ник, здесь ни при чем, он ничего не может предотвратить и даже помышлять об этом не должен.

Он стремительно вышел из гостиницы, как будто его кто-то гнал, хотя сам понятия не имел, куда, собственно, собирается идти. Не раздумывая, он двинулся вместе с толпой. День выдался ясный, но прохладный. Улицы в Москве просторные, а дома невысокие, и над головой везде, куда ни глянешь, во всю ширь раскинулось небо. По нему быстро неслись низкие белые облака. Дома — всех оттенков коричневого: бурые, сероватые, песочные, кремовые, желтые, темно-красные, — изредка мелькают и зеленые пятна, будто старая Москва упрямо не желает отказаться от своего далекого прошлого, окрашивая и камень и дерево в цвета лесов и лугов, когда-то простиравшихся здесь под таким же мягким, негородским небом с плывущими по нему облаками.

Ник шел куда глаза глядят, по широко раскинувшимся, залитым солнцем летним улицам, сворачивал в узкие, но такие же солнечные улочки, а затем в такие же солнечные кривые переулки и видел, как то здесь, то там проглядывает древняя Москва лугов и полей: всюду, где оставался хотя бы крохотный незастроенный участок, росли цветы. В переулках стояли тесными рядами старые мрачные многоквартирные дома; иногда деревянные особнячки, осевшие и покосившиеся; тянулись дощатые заборы, на которых висели под стеклом газеты, а из-за заборов свешивали на улицу свои большие желтые головы подсолнечники, словно желая узнать последние газетные новости. На подоконниках даже самых ветхих домишек стояли горшки с цветами или просто с зеленью.

Его захлестнул золотой дождь впечатлений. Мельчайшие подробности, подмеченные уголком глаза, так прочно закреплялись в сознании, словно Ник изо всех сил старался удержать их в памяти навеки. Поражало и то, что напоминало виденное на родине, поражала и полная новизна. Сознание Ника было как разверстая рана — она истощала его, но даже усилием воли он не мог ослабить напряжение.

Он замечал все — подоконники, причудливые узоры облупившейся на стенах краски, сучки и трещины на дощатых дверях, настороженный взгляд тощей серой кошки, ритмичный топот девчурок с косичками, прыгавших через веревочку и считавших: раз, два, три, четыре... Он снова очутился на какой-то широкой улице. На углу две хорошо одетые женщины стояли одна против другой, углубившись в серьезный разговор, не обращая внимания на движущуюся мимо толпу. Одна что-то рассказывала, вторая кивала и, сама того не замечая, тихонько приговаривала: «Конечно, конечно...»

На другой стороне улицы Ник увидел книжный магазин и перешел от солнечного света в тень и прохладу. Магазин был внушительных размеров, и все в нем было так, как положено быть в любом первоклассном магазине в любой стране. Потом Ник заглянул в магазинчик фотопринадлежностей. Здесь он в первый раз увидел русские слова на этикетках обычных товаров. Фотоаппараты, все советского производства, от самых дешевых до самых дорогих, необыкновенно хорошо запоминались только

потому, что были русскими. Когда Ник увидел магазин готового платья, то зашел и туда. На железных вешалках открыто висели костюмы, покупатели подходили и выбирали их сами. Трое мужчин, смущаясь, примеряли костюмы под критическими взглядами жен. Вид у всех троих был виноватый, будто они стыдились, что руки их слишком коротки, а плечи слишком узки для примеряемых пиджаков. Ник зашел подряд в ювелирный магазин, в продовольственный, в магазин детских игрушек такого масштаба, что его, как и книжный магазин, впору было бы увидеть на Пятой авеню в Нью-Йорке. Ник подмечал решительно все, ничего не пропуская, он весь обратился в напряженное, жадное зрение.

Он закусил в маленьком кафе на боковой улочке. Официантка в синем платье и белом фартучке устало наклонилась над столиком Ника и приняла заказ, терпеливо выслушав его объяснения на русском языке, но она и не подумала переменить всю в пятнах скатерть, служившую до Ника уже многим посетителям.

Только около шести часов вернулся он к себе в гостиницу и, к своему удивлению, почувствовал, что страшно устал, все было утомлено — и тело, и мозг. Он подумал, что до конца своей жизни будет помнить все увиденное сегодня — все мелочи, каждую деталь каждого здания, каждую черточку каждого мелькнувшего лица,— и тут же заснул. А когда проснулся, оказалось, что надо торопиться, чтобы быть готовым к приходу Горчакова.

Он по-прежнему ощущал в себе эту способность необычайно острого, беспощадного видения. Его глаза подметили все: темный подъезд дома, где жил Горчаков, крашеные стены и полы без единого пятнышка — все было безупречной чистоты, но Нику показалось здесь слишком пусто и голо, потому что свет с потолка был недостаточно ярок. Вместе с Горчаковым он поднимался в узкой деревянной кабине лифта, светлые дубовые двери которой открывались вовнутрь, на французский манер, и, хотя лицо Ника сохраняло полное бесстрастие, сознание по-прежнему остро впитывало впечатления: вот мелькают тусклые огоньки лампочек, пока лифт поднимается мимо этажей, вот выкрашенный в черную блестящую краску почтовый ящик подле двери в квартиру Горчакова, примечательный только тем, что на нем по-русски было написано «Для писем и газет»; дверной звонок — на уровне плеча, гораздо выше, чем это принято в Америке, двери в квартиру двойные, а внешняя дверь и снаружи и внутри обита клеенкой для защиты от зимних холодов и во внутренней двери — американский замок: первая вещь американского происхождения, какую ему довелось увидеть за сегодняшний день, и Ника это поразило.

Он очутился в передней, и его сознание немедленно отметило, что это передняя квартиры холостяка. В ней было пусто — ни картин, ни зеркала, только высокий старомодный гардероб с резьбой, к которому были как попало прислонены пара лыж с палками, две теннисные ракетки в прессах и охотничье ружье в брезентовом чехле с потрепанными кожаными углами. Гардероб был такой большой и громоздкий, что закрывал собой стоявший рядом с ним новенький белый холодильник, на котором блестела марка из никелированной стали: ЗИЛ. От взгляда Ника не ускользнуло даже то, что электрическая проводка не скрыта, а идет по стене и укреплена на фарфоровых изоляторах.

На мгновение Ник закрыл глаза, ослепленный множеством всех этих мельчайших деталей, но это не помогло, и он понял, что вот так открывается мир взору детей: поражает каждый пустяк, каждый миг полон чудес, и потому минута кажется бесконечно долгой — ведь она вместила в себя столько новых впечатлений. В переднюю выходили две ком-

наты, одна слева, другая справа, и опять, едва заглянув в них, Ник заметил слишком много подробностей.

В комнате слева стоял внушительных размеров обеденный стол, над ним висел голубой шелковый абажур в форме тюльпана и с бахромой. Две молодые женщины — одна высокого роста, другая низенькая — расставляли на столе тарелки с едой. Ник одним взглядом охватил их обеих, не упуская ни одной детали: все казалось одинаково важно. У низенькой была почти квадратная фигура, очень короткая шея, тщательно завитые волнами светлые волосы и веселые глаза. На ней было платье в красную и белую полоску и на крохотных изящных ногах красные туфли на высоких каблуках. Рослая девушка стояла, нагнувшись над столом, держа в руках тарелки с ветчиной. Увидев Ника, она неожиданно улыбнулась ему. Лицо ее мгновенно осветилось, и это заставило Ника посмотреть на нее внимательнее. Тоненькая и стройная, она, даже когда стояла нагнувшись над столом, казалась высокой. На вид ей можно было дать лет двадцать семь — двадцать восемь. Глаза у нее были черные и ясные, а темные волосы так темны, что казалось, будто это струятся черные потоки. Кожа у девушки была цвета слоновой кости, густые черные брови, почти сросшиеся на переносице короткого изящного носа, выгнулись дугой, точно удивленно приподнятые. Ресницы такие длинные и такие темные, будто их припорошили сажей. Когда она улыбалась, ее слегка накрашенные губы широко раздвигались в мягком, нежном изгибе. Она являла собой тот итальянский тип красоты, который сейчас повсюду так в моде, и красота эта не нуждалась ни в каких ухищрениях. Честный, откровенно заинтересованный взгляд, каким она посмотрела на Ника, сражал сильнее, чем кокетство. Когда Горчаков ввел Ника в комнату, девушка выпрямилась, но так и забыла поставить тарелки на стол.

Горчаков заговорил по-русски с низенькой женщиной и представил ей Ника.

— Доктор Реннет, американский физик, — сказал он и тут же обратился к Нику уже по-английски: — А это Вера Петровна, моя маленькая сестренка. — И при этом улыбнулся, чтобы Ник понял, что это просто давнишняя семейная шутка: Вера Петровна, по всей вероятности, была старше брата.

Ник и Вера Петровна поздоровались за руку, и Ник поймал себя на том, что отвешивает ей точно такой поклон, как и она ему, будто все вокруг побуждало его хотя бы внешне уподобиться окружающим.

— А это... — начал Горчаков, слегка улыбнувшись высокой темноволосой девушке, и в его улыбке мелькнули и нежность, и веселость, и желание защитить, и еще что-то более теплое, — это Валентина Евгеньевна, наша знаменитая Валя, о которой вы уже слышали.

— Знаменитая? — медленно, тоже по-английски повторила девушка, осторожно шевеля губами, словно касаясь чего-то непривычного. Ее удивленные брови еще больше приподнялись на бледном лбу. Тут она наконец спохватилась, что тарелки все еще у нее в руках, и поставила их на стол. — Как это — знаменитая?— переспросила она, переводя взгляд с одного на другого.— И почему — знаменитая?

— Доктор Реннет на днях заходил к нам в институт, когда вас не было, и там ему рассказали о вас весьма лестные вещи, — объяснил Горчаков. — Ну конечно вы у нас знаменитая, чего уж там!

— Вот как? — Она наклонила голову с насмешливой любезностью и неожиданно рассмеялась. Зубы у нее были безупречные — белые, ровные. — Ну, если говорили хорошо, тогда это правда. — Она произнесла это медленно, потому что про себя переводила каждое слово с русского на английский. Ее манера говорить старательно и размеренно сообщала

ей детскую ясность, нежность. Ей не хватало английских слов, и она колебалась, не зная, как сказать.— А если плохо говорили, не верьте им, — добавила она по-русски. — Вы ведь немного знаете русский, да? — Ник кивнул, и она продолжала: — Мне было так досадно, что я не могла тогда прийти. Мне рассказывали, что было очень интересно. — На родном языке она говорила быстро и уверенно, и поэтому для Ника в ней вдруг как бы оказались сразу два разных существа. И оба были вполне реальными. — У меня к вам масса вопросов, — заключила она.

— Пока никаких вопросов, прошу вас! — сказал Горчаков, подняв руку.— Доктор Реннет, вероятно, и так до смерти от них устал. Я отлично знаю, каково ему. Уже на третий день моего пребывания в Америке я готов был бежать куда глаза глядят от одних и тех же вопросов. Сколько физиков в Советском Союзе? Должны ли вы обязательно быть членом коммунистической партии, если хотите стать физиком? Почему русским нравятся полные женщины? Будет ли война? Какие цены на одежду в Советском Союзе? Насколько велики родительские права при воспитании детей? Вы знаете, что больше всего восхитило меня в тот вечер, когда я был у вас дома? — обратился он к Нику. — Вы не задали мне ни одного вопроса.

— Насколько я помню, вопросы задавали вы, — сказал Ник.

— Совершенно верно. Это был первый представившийся мне в Америке случай, — шутливо огрызнулся Горчаков. — А сегодня никто, кроме доктора Реннета, не имеет права расспрашивать. Я беру вас под защиту.

Ник улыбнулся девушке — его разбирало любопытство. Какую роль играет она в жизни Горчакова и как должны сложиться отношения с женщиной, способной к таким неожиданным метаморфозам? Он позавидовал Горчакову.

— Очень мило с вашей стороны, что вы не даете меня в обиду, — сказал он ему. — Но, так и быть, сделаем исключение для «знаменитой» Вали.

— А, вот как? — удивился Горчаков. — В таком случае мое заявление теряет смысл. Ибо, предупреждаю вас, знаменитая наша Валя потопит вас в море вопросов. Она выспросит у вас все, что ей нужно, стоит только позволить ей начать. И про физику и про все, что хотите. Ну, пойдемте, я познакомлю вас с остальными.

4

В комнате, куда они вошли, было столько народу и велся такой громкий, многоголосый разговор, что Ник не мог воспринять все это сразу, и, однако, отдельные подробности с прежней необычайной ясностью откладывались в его сознании. Он увидел и пианино, и ковер на стене в углу, где стояла тахта (заметил даже, что узор ковра почти совпадает с узором ткани на тахте), и сверкание массивного гранатового перстня на руке у сидевшей на тахте женщины, и мундштук из слоновой кости у мужчины рядом с ней. На стене, подле литографии Пикассо, Ник увидел летний пейзаж, написанный маслом и так мастерски, что, глядя на него, можно было почти ощущать жару, давящую тяжесть солнца на раскаленных скалах и затуманенную белесую голубизну моря.

Ника познакомили с присутствующими, и он тотчас понял, что находится в обществе людей воспитанных и деликатных, что не может быть и речи о массовом интервью, относительно которого предостерегал его Горчаков, и никто, даже в шутку, не станет задавать вопросов, которые заставляют иностранца остро ощущать свою национальную обособ-

ленность и одиночество в чужой стране. Ник сидел и молчал, а кругом кипел оживленный разговор. Время от времени в комнату входила Валя, тихонько присаживалась, слушала разговор, потом вставала и снова уходила в соседнюю комнату выполнять порученные ей обязанности — накрывать на стол. Ник наблюдал за девушкой, пытаясь выяснить, все ли принимают как должное ее роль хозяйки дома. Но либо ее положение здесь было настолько хорошо известно, что не вызывало никаких комментариев, либо он это просто-напросто вообразил и у Вали вообще не было никакого «особого положения» в этом доме. Его интерес к ней возрастал, но, думая о ней, он с тем же вниманием продолжал рассматривать тех, кто находились вокруг. Он едва вмещал в себе все эти впечатления.

Оказалось, что он мог вполне сносно объясняться по-русски, если у него был всего один собеседник, который невольно приноравливал слова и темп речи так, чтобы Нику легче было понимать, зато он совсем терялся, едва только разговор становился общим. Слова так и сыпались, идиомы и непонятные намеки ставили его в тупик, он схватывал лишь обрывки фраз. И слушал он так, как слушает четырехлетний ребенок, которому позволили посидеть вечером попозже, вместе со взрослыми: понимая лишь отдельные слова, а остальное угадывая по интонации, мимике и реакции слушающих. Временами он вдруг особенно остро ощущал свою изолированность и погружался в страшную черную пустоту внутреннего одиночества, но тут же брал себя в руки, опасаясь, как бы другие чего-нибудь не заметили и, глядя на его застывшее лицо, не подумали бы, что ему скучно.

Почти все, кто присутствовали здесь, и мужчины и женщины, были не старше сорока лет, все хорошо одеты и, несомненно, люди мыслящие и талантливые. Если бы Ник мог хоть на минуту выключить слух и не слышать русскую речь, он легко представил бы себе, что находится не в России, а в какой угодно другой стране в обществе европейских или американских ученых. Русский ковер на стене, и за окнами красные звезды и колокольни Кремля, а еще дальше ярко освещенный и уж конечно русский небоскреб — только это и напоминало Нику, что он в Москве. И, пожалуй, то, что гости держали себя свободнее, проще.

Мужчины почти все были учеными. На круглом вращающемся табурете возле пианино сидел, закинув одна на другую длинные ноги, нервный, сардонического склада математик и рассказывал что-то, явно привирая и потешаясь. Самым благодарным слушателем был его сосед, грузный химик, — он не переставая посмеивался над экстравагантными утверждениями рассказчика, особенно смешными потому, что тот с жаром их отстаивал. Математика иногда перебивал астроном — человек с худой аскетической физиономией. Этот, поблескивая двумя передними стальными зубами, рассказывал длинные анекдоты с таким простодушным, слегка даже озадаченным видом, что Ник сперва подумал было, что речь идет о чем-то очень серьезном, но, когда, досказав анекдот, астроном изобразил вдруг на лице полную растерянность, все так и покатились со смеху.

Единственный из гостей, с кем Нику уже приходилось встречаться, был еще совсем молодой физик из лаборатории Горчакова, он прислушивался к разговору других с застенчивой улыбкой, а позднее вечером подошел к пианино и негромко, но безукоризненно точно сыграл несколько пьес Моцарта.

Ника очень удивило, что наряду с учеными, которые, естественно, везде и всюду собираются вместе, здесь среди прочих был кинорежиссер, молодой и долговязый. Он разговаривал только со своими соседями, но

так горячо и убежденно, что в ход шли и мимика, и жесты. Зятем Горчакова оказался писатель в очках в стальной оправе — он то и дело дергал себя за длинные волосы, отчего они все больше приходили в беспорядок, и развлекался тем, что подзадоривал словоохотливого математика: то сам начинал городить какие-то небылицы, то выказывал деланно презрительное недоверие к рассказам собеседника, то грозил пальцем перед самым его носом. Все собравшиеся были явно давнишними, близкими друзьями — они все кричали, спорили, шутили, смеялись, обращаясь друг к другу на ты.

Еще более удивительным показалось Нику присутствие среди ученых большеглазого преждевременно поседевшего человека, который, закинув ногу на ногу, сложив руки на коленях, сидел по-кошачьи неподвижно и лишь медленно, с едва заметной улыбкой поворачивал голову из стороны в сторону, следя за разговором. Но даже и это, казалось бы, совсем простое движение было исполнено все той же кошачьей грации. Ник узнал, что этот человек в свое время танцевал в балете, а теперь работает балетмейстером.

Дамы были в основном женами присутствующих мужчин, Ник только к концу вечера разобрался, кто чей муж. Почти все женщины ростом были пониже американок, и, так как, в отличие от американок, никто из них особенно не заботился о диете, они могли похвалиться великолепной кожей и красивыми густыми волосами с живым блеском. Одеты дамы были гораздо строже, чем это принято в Америке: вырезы довольно глухие, ни обнаженных спин, ни плеч. У всех у них были свои специальности. Одна оказалась редактором журнала. Жена математика, блондинка лет двадцати с небольшим, считалась бы в Америке красавицей, будь она дюймов на пять повыше и фунтов на пятнадцать полегче. По специальности она была паразитологом. Жена астронома, сдержанно веселая, усталого вида женщина, производила впечатление человека знающего и уверенного в себе, и Нику стало это понятно, когда он узнал от нее, что она врач-педиатр. Жена балетмейстера, тоже лет на пятнадцать моложе мужа, оказалась синологом. Она растерянно и беспомощно смеялась, когда кто-нибудь, желая подразнить ее, с невинным видом просил перевести на китайский язык самые безобидные русские фразы: очевидно, по-китайски они звучали как нецензурные выражения.

Разговор только один раз коснулся политики. Когда Валя и сестра Горчакова пришли звать всех в столовую, астроном, идя с Ником, спросил его, бывал ли он в Париже.

— Де Голль для меня загадка, — сказал он раздраженно, словно не мог найти формулы для простой мысли. Нет, он решительно не мог понять этого человека.

За столом Ник оказался рядом с Валей. Она продолжала делить обязанности хозяйки с сестрой Горчакова, и Ник стал снова гадать, какую же роль играет она в его жизни. Сам Горчаков в течение вечера говорил мало — гости его не нуждались в поощрении к беседе. Но здесь, за столом, он проявил свою обычную активность. Разговор, смех и вино привели его в веселое настроение. Он раскраснелся, охотно смеялся и то и дело прерывал свой рассказ, чтобы объяснить Нику по-английски, о чем идет речь.

— Я им тут говорил о том времени, когда мальчишкой жил в Рязани. Тогда был голод...

— Доктор Реннет понял вас, Митя, — сказала Валя по-русски, накладывая Нику в тарелку ветчины, осетрины, икры, сыру и салата. Ник впервые услыхал, что Горчакова называют уменьшительным именем.

Интересно, как Валя обращается к Горчакову с глазу на глаз: на ты или более официально — на вы.

— Рассказывайте дальше, — сказала она Горчакову.

Если они и были любовниками, то отношений своих не афишировали. Ник вдруг задал себе вопрос, почему, собственно, он решил, что между этими двумя людьми непременно должны быть интимные отношения, и сам себе ответил: потому лишь, что не мог себе представить такую женщину, как Валя, без отношений с мужчиной. Ну, а Горчаков не слепой...

— Я не все понял, — сказал Ник своей соседке негромко, сквозь гул голосов. И добавил, уже по-английски: — Когда он говорил «там был голод», я разобрал не все слова.

— Если не понимаете, то должны спрашивать меня, — ответила Валя по-английски, с милой медлительностью выговаривая слова. Она поставила перед Ником наполненную тарелку.— Я буду у вас спрашивать английские слова, а вы у меня — русские. Какого хотите вина? Я думаю, вам больше понравится грузинское, оно более сухое — американцы, кажется, предпочитают сухие вина. И сухой мартини. Кстати, что такое мартини? В романах Хемингуэя герои только и делают, что пьют мартини.— Она перешла на русский, и Ник схватывал смысл того, о чем она говорит.— Это, наверно, что-нибудь очень вкусное. Вы сумели бы приготовить мартини?

— А здесь есть джин? — проговорил он совсем тихо, почему-то вдруг застеснявшись своих слабых познаний в русском языке.

— Джин? — Да, она слыхала о таком, но никогда не пробовала.— Что-нибудь вроде водки?

— В крайнем случае, можно вместо джина водку.

— Водку я не люблю.

— Тогда вам и мартини не понравится.

— Но ведь в мартини есть и еще что-то, кроме джина?

— Вермут. Вермут здесь есть?

— Вермут? — Она никогда не пила его и поинтересовалась, что это такое.

— Он вам не понравится,— произнес Ник уверенно.— У вас привыкли к более сладким винам, чем принято пить в Америке.— И добавил по-английски:— Я не хочу вас разочаровывать. Если бы я приготовил вам мартини, это можно было бы расценить как антиамериканскую акцию с моей стороны.

Но она не поняла сказанного по-английски слова «разочаровывать», а Ник не знал, как перевести это на русский. Тогда он достал карманный словарик, и разговор повис в воздухе, пока они перелистывали маленькую книжечку. Головы их сдвинулись совсем близко. Но Валя, казалось, была занята только словарем, он привел ее в восхищение, этот двойной словарик, англо-русский и русско-английский.

— Возьмите себе,— сказал Ник.— В подарок.

Валя была в восторге.

— Но как же вам быть без словаря? — спросила она по-английски и снова стала похожа на маленькую девочку.— Вам придется звонить мне каждые двадцать минут и просить: посмотрите у...— Она взглянула на обложку словарика,— у Коллинза, как сказать по-русски... Ну, скажем, какое слово?

Ник пожал плечами.

— Например, hostess,— сказал он.

Валя слегка нахмурилась — это английское слово было ей незнакомо — и принялась старательно листать странички. Ник наблюдал за

ней. При ее темных волосах и таких густых бровях у нее должен был бы расти пушок на верхней губе, но он отсутствовал. Кожа у нее была необычайно гладкая. Наконец Валя улыбнулась.

— А, ну конечно, «хозяйка».— И она проговорила по-английски, словно выполняя заданное упражнение:— Сегодня вечером вы — гость, а я — ваша хозяйка.

— Нет,— возразил он, как будто поправляя ее.— Не моя, а Горчакова.

Она снова удивилась:

— Как я могу быть его хозяйкой? Ведь это его дом, а не мой.

Ник успел заметить, что Горчаков несколько раз бросал на них пытливый, озабоченный взгляд. Меньше всего Нику хотелось причинять неприятности Горчакову, и он откинулся на стул, подальше от Вали. И без того недоразумений было достаточно.

— Ничего, я не пропаду без словаря,— сказал он, стараясь направить разговор в другую сторону.— У меня в гостинице есть еще один такой же.

— Чудесно! Мне сказали, что в понедельник вы опять придете к нам в лабораторию. На этот раз я уж непременно там буду. Я сейчас работаю над мезонным резонансом для измерения времени спадания. Кажется, один из ваших физиков занимается приблизительно тем же.

— Очень трудно представить себе вас в лаборатории,— сказал Ник, помолчав.— Верно одно: в Америке вы не были бы физиком.

Валя сдвинула брови.

— Это почему же?

— У вас была бы работа, связанная с телевидением, рекламой или модами. Вы занимались бы не наукой, а чем-нибудь более... более...—

Он стал рыться в словарике, Валя ждала, и мысль, как испуганная птица, повисла в воздухе, готовая то ли камнем упасть вниз, то ли воспарить навстречу свободе. Слова «блистательный» в словарике не оказалось, Ник попробовал объяснить по-английски, но Валя так ничего и не поняла. Ник беспомощно пожал плечами. Валя огорченно смотрела на него.

— Коллинз составил свой словарь для каких-то других двух людей, не для нас,— сказал Ник.

— Но я все-таки не пойму, почему я не смогла бы стать физиком в Америке? — не унималась Валя.

— Я не то имел в виду.— Ник вздохнул. Разговаривать с Валей было все равно что протискивать слова в узкую щель, через которую проходят только простейшие из них, самого примитивного значения. Было утомительно и обидно все время притуплять и упрощать свои мысли.— В Америке красивые женщины не бывают физиками.

Она посмотрела на него насмешливо, приподняв темные брови.

— Американские физики не терпят в своих лабораториях красивых женщин?

Ник засмеялся.

— Этого я не говорил.

— Но вы же сказали, что там я не могла бы стать физиком.

— Вы там не захотели бы этого.

— Но я же хочу!

— Разумеется. Но ведь мы с вами оба понимаем, что я не это имею в виду.

Она взглянула на него серьезно, и так честен и правдив был ее взгляд, что Ник почувствовал, что рискует навеки заслужить ее презрение, если попытается уклониться от прямого ответа.

— Кое-что в ваших словах меня действительно заинтересовало,— сказала Валя.

— А разве вам неинтересно, когда говорят, что вы красивая женщина?

Она все не сводила с Ника внимательного, изучающего взгляда, потом передернула плечами и вдруг опустила глаза.

— В Америке, в Европе...— заговорила Валя медленно, подыскивая английские слова; акцент ее стал вдруг очень сильным.— В Азии, в Африке... и даже в Москве,— она взглянула ему прямо в глаза,— женщины всюду остаются женщинами.— Тут она засмеялась и с деланной, шутливой официальностью, которая часто служит довольно прозрачной маской, прикрывающей удовольствие, сказала: — Это очень мило с вашей стороны.— И вдруг возбужденно, скороговоркой заговорила по-русски.— Ну и напугали же вы меня, когда заявили, что я не смогла бы стать физиком! Для меня это прозвучало страшной угрозой. Вы можете себе представить, что̀ это для меня значит — ведь я столько работала, так страстно желала добиться своего!

— Да,— сказал Ник, помолчав. В конце концов Валя говорила именно о том, что уже так долго мучило его самого.— Да, я понимаю вас. Прекрасно понимаю,— снова проговорил он с расстановкой, глядя вниз на свои сцепленные пальцы и думая о том, смогла ли бы она понять, что творится в его душе. Валя была первой женщиной на его пути, которая, казалось, способна на это. Ей не надо объяснять, что значит быть физиком, она и без того понимает, как страшно потерять это счастье.

Ник поднял глаза, еще не решив, что сказать ей, но тут он перехватил взгляд Горчакова, брошенный через стол: не прерывая своего стремительного рассказа, даже не стерев с лица улыбку, Горчаков посмотрел на них обоих с холодным любопытством. И Ник снова почувствовал, что рискует вызвать осложнения, чего ему ни в коем случае не хотелось.

В дальнем конце стола кто-то запел, остальные подхватили — и Горчаков, сидевший напротив, и Валя. Все пели не стесняясь, с чувством, но Нику было неловко, и он сидел молча, только еще больше смущаясь от собственного молчания. Он не привык к такой простосердечности, к таким открытым чувствам.

Он не обольщал себя иллюзиями, что находится в райской стране, где царит абсолютная безгрешность. Вокруг были взрослые мужчины и женщины, они добились определенного общественного положения, работая в таких областях, где соперников было немало, и, очевидно, им приходилось сталкиваться и с интригами и с интриганами; быть может, среди вот этих самых людей имелись и честолюбцы и карьеристы — ведь он их совсем не знал. Они начали работать в очень сложное время. Бесхитростными эти люди быть не могли. Наивными? Ник мысленно покачал головой. Нет, это далеко не наивные люди. Но в них есть что-то новое для него. Живучесть, уверенность в своей силе и ни капли той застенчивости, которая сейчас совсем связала Ника. Они не стыдились открытого выражения чувств и ждали того же от других. Жизнь от этого становилась ярче, звучнее, интенсивнее, и было это похоже на дуновение свежего ветра в знойный, душный день — предвестника очищающей бури. Интуиция подсказывала Нику, что это именно то, за чем он сюда приехал, но он был весь еще слишком внутренне скован, чтобы приобщиться к новой для него жизни.

Когда гости стали расходиться, несколько человек предложили Нику подвезти его до гостиницы, и внизу во дворе он ждал, чтобы посмотреть, в какую машину сядет Валя. Пожав руку Горчакову, кото-

рый спустился проводить гостей, и поблагодарив его за приятный вечер, Ник решительно уселся в чью-то машину — не в ту, куда села Валя. Это оказалась машина астронома. И он, и его жена были в веселом, возбужденном настроении после хорошо проведенного вечера. Теперь, оставшись одни, они заговорили с Ником по-английски, и, между прочим, выяснилось, что они знали английский лучше, чем Ник русский, хотя на вечере смущались не меньше Ника и не решались говорить на чужом языке. К полному его удивлению, они спросили, кто такая Валя, так как видели ее впервые. Ник смог только ответить, что и сам прежде никогда с ней не встречался.

Едва войдя к себе в номер, он как будто снова окунулся в прежнюю свою жизнь. Прежние тревоги поджидали его здесь, они не исчезли, как не исчезает спертый воздух в закрытой комнате. Нику захотелось позвонить Анни, узнать, провела ли она этот вечер с Хэншелом. Вот уже несколько часов как он ни разу и не вспомнил о них, и он с благодарностью перебирал в памяти все, что было на вечере у Горчакова. Этот вечер был для него передышкой, на время он почти забыл о себе, и ему не терпелось вновь пережить это ощущение свободы от самого себя.

(Продолжение следует)

Кристофер Лог

Три стихотворения

Перевод с английского Леонида Мартынова

ПЕСНЯ ОСЛА

В соседнем городе
Существовал осел.

Всю жизнь свою, как все
Хорошие ослы,

Хозяину служил
Он ото всей души.

Когда же он подох
И отсуществовал,

Был награжден, как все
Хорошие ослы:

Из верной шкуры плеть
Хозяин сплел, и ей,

В замену сдохшего,
Был бит осел другой.

В соседнем городе
Был бит осел другой.

ПОЙМИТЕ СЕБЯ

Ежедневно в бездне университета
Студиоз восклицал: — Профессор!
И себе отвечал: — Да, я здесь, сэр!

И тогда возглашал он: — Старайся!
Говоря в знак согласия: — Есть, сэр...
И затем: — На себя надейся, не давай себя
оболванивать, не поддавайся!
Отвечал: — Да, да, так и есть, сэр!

ЭПИТАФИЯ

Я стар.
Ничем уж не интересуюсь.
Притом
Я не особенно разумен —
Не дальше ног моих
Идут мои понятья.
Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

Эрнест Хемингуэй

ОПАСНОЕ ЛЕТО

Перевод с английского Е. Калашниковой и В. Топер

Помещаемые в этом номере отрывки из новой книги Эрнеста Хемингуэя «Опасное лето» взяты из журнала «Лайф». По сообщению американской печати, вся книга должна выйти в Нью-Йорке в 1961 году. Отводя место этим страницам, мы руководствовались намерением дать нашему читателю представление о произведении, которое недавно закончил писатель.

Среди откликов иностранной прессы на книгу «Опасное лето» Хемингуэя наиболее шумными и «оригинальными» несомненно являются отклики франкистской печати. Вот что пишет по этому поводу английский еженедельник «Обзервер» в корреспонденции, озаглавленной «Испания в ярости»:

«В Испании — стране, которая так дорога его сердцу, у Эрнеста Хемингуэя большие неприятности. Газеты пестрят оскорбительными заголовками. «Мы не хотим видеть вас в Испании,— вопит одна из них, добавляя: — Пусть Хемингуэй живет до ста лет, но где-нибудь подальше от нас. Пусть не ходит по нашим улицам, не живет среди нас, не ест с нами за одним столом, не пьет наше вино, не греется в лучах нашего солнца...»

Страсти достигли накала в выступлениях многих самозванных «народных трибунов», которые требуют, чтобы ноги Хемингуэя не было в Испании...»

Что же так разгневало франкистских борзописцев и заставило их не считаться не только с мировой славой Хемингуэя, но и с элементарными нормами внешнего приличия? Непосредственным поводом для такого припадка истерии послужила недостаточно почтительная (опять же с точки зрения франкистской печати) характеристика, которую дал Хемингуэй в своей новой книге известному матадору Манолете.

Однако, как подчеркивает тот же «Обзервер», «каким-то образом политические взгляды писателя тоже оказались мишенью для нападок». Один из франкистских журналистов не моргнув глазом отважился даже написать и такую нелепость: «ничего другого и нельзя было ожидать от столь известного коммуниста, как Хемингуэй».

«Немало испанских обозревателей,— пишет «Обзервер»,— говорили о Манолете во много раз худшие вещи. Испанцев обижает то, что в данном случае сказанное исходит от иностранца». Добавим от себя: «испанцы», точнее — франкистская пресса, видимо, отлично учитывают и то, что этот иностранец — не кто иной, как Хемингуэй, с которым у приверженцев Франко старые счеты еще со времен гражданской войны в Испании. Не в этом ли главная причина их истерической ярости?

Странно было снова ехать в Испанию. Я не надеялся, что меня когда-нибудь пустят опять в эту страну, которую после родины я люблю больше всех стран на свете, да я бы и сам не поехал, пока хоть один из моих испанских друзей еще сидел в тюрьме. Но весной 1953 года, когда мы собирались в Африку, у меня возникла мысль заехать в Испанию по дороге; я посоветовался с несколькими добрыми знакомыми, сражавшимися в граж-

данскую войну в Испании на той и на другой стороне, и было решено, что я с честью могу вернуться в Испанию, если, не отрекаясь от того, что мною написано, буду помалкивать насчет политики. О визе вопрос не вставал. Американским туристам теперь виза не требуется.

В 1953 году никто из моих друзей уже не находился в тюрьме, и я строил планы, как я повезу Мэри, мою жену, на ферию * в Памплону, а оттуда мы поедем в Мадрид, чтобы побывать в музее Прадо, а потом, если нас к этому времени не посадят, еще посмотрим в Валенсии бой быков, прежде чем отплыть к берегам Африки. Я знал, что Мэри ничего не угрожает, так как она раньше в Испании не бывала, а все ее знакомые принадлежат к избранному кругу. В случае чего они сразу же поспешат ей на выручку.

Не задерживаясь в Париже, мы быстро пересекли Францию и через Шартр, долину Луары и Бордо, доехали до Биаррица, где кое-кто из знакомых, принадлежащих к избранному кругу, ожидал нас, чтобы вместе с нами пересечь границу. Мы обстоятельно закусили и выпили и условились в определенный час встретиться в отеле в Андайе и вместе ехать дальше. Один из наших приятелей запасся письмом от герцога Мигеля Примо де Ривера, испанского посла в Лондоне, которое своей волшебной силой якобы могло вызволить нас из любой беды. Узнав об этом, я несколько приободрился.

Было мрачно, и шел дождь, когда мы добрались до отеля в Андайе, мрачно и пасмурно было и на другое утро, и низко нависшие тучи скрывали от глаз испанские горы. Приятели наши в назначенное время не явились. Я подождал час, потом еще полчаса. Потом мы двинулись к границе.

Пограничный пост тоже выглядел довольно мрачно. Я предъявил наши паспорта, и полицейский инспектор долго изучал мой паспорт, не глядя на меня. Обычная испанская манера, но от этого не легче.

— Вы не родственник писателю Хемингуэю? — спросил инспектор, по-прежнему не глядя на меня.

— Из той же семьи,— ответил я.

Он перелистал паспорт, потом всмотрелся в фотографию.

— Вы Хемингуэй?

Я подтянулся почти по-военному и сказал: «A sus ordenes», что по-испански значит и «Слушаюсь!» и «К вашим услугам!». Мне случалось слышать и видеть, как эти слова произносились при самых различных обстоятельствах, и, надеюсь, я сумел произнести их и оттенить голосом как нужно.

Во всяком случае, инспектор встал, протянул руку и сказал:

— Я читал все ваши книги, и они мне очень нравятся. Сейчас я отмечу ваши документы и, если понадобится, помогу вам на таможне.

Так я снова попал в Испанию, и мне даже не верилось, что это правда, и при каждой новой проверке документов — а их еще в трех местах проверяли, пока мы ехали вдоль реки Бидассоа,— я ждал, что вот сейчас нас задержат или отправят обратно. Но каждый раз полицейский, внимательно и учтиво просмотрев наши паспорта, махал рукой в знак того, что можно ехать. Нас было четверо — чета американцев, жизнерадостный итальянец из Венеции и шофер, тоже итальянец, из Удине,— и направлялись мы в Памплону на праздник святого Фермина. Джанфранко, наш итальянский спутник, бывший кавалерийский офицер, одно время работал на Кубе и жил у нас в качестве близкого и любимого друга. Он нас встретил с машиной в Гавре. Шофер Адамо

---

* Ярмарка, праздник *(исп.)*.

мечтал со временем открыть похоронное бюро. Он осуществил эту мечту, так что, если вам доведется умереть в Удине, вы станете его клиентом. Никто никогда не спрашивал его, за кого он сражался в гражданскую войну в Испании. Для своего душевного спокойствия я тешил себя надеждой, что и за тех, и за других. Учитывая поистине леонардовскую многогранность, обнаружившуюся в нем при более близком знакомстве, можно считать это вполне вероятным. На одной стороне он мог драться за свои убеждения, на другой — за свою родину или за город Удине, а если б существовала еще третья сторона, нашлось бы за что драться и на третьей: за господа бога, или за фирму «Ланчия», или за торговлю похоронными принадлежностями — ведь все это в равной мере было дорого его сердцу. И мы были дороги его сердцу, а также вся женская половина рода человеческого. Если хоть одна десятая часть его подвигов не являлась вымыслом, Казанова по сравнению с Адамо не более как итальянский Генри Джеймс, а Дон-Жуан и Пруст ничего не стоят. Если вы, как я, любите путешествовать весело, путешествуйте с итальянцами. Нельзя было подобрать лучших спутников, чем те двое, что вместе с нами сидели в отличной, выносливой «ланчии», бодро поднимавшейся в гору по обсаженной каштанами дороге, оставив внизу зеленую долину Бидассоа; а пока длился подъем, туман вокруг постепенно редел, и я знал, что за Коль де Велате, когда мы выедем на горное плато Наварры, нас ожидает ясное, безоблачное небо.

Эта книга задумана как рассказ о бое быков, но в то время я относился к бою быков довольно равнодушно, мне просто хотелось, чтобы Мэри и Джанфранко увидели это зрелище. Мэри ездила смотреть Манолете, когда он последний раз выступал в Мексике. Погода в тот день была ветреная, быки никуда не годились, но Мэри понравилось, и я понял, что, если такая убогая коррида произвела на нее впечатление, значит, из нее выйдет настоящая любительница боя быков. Говорят, кто может прожить без боя быков год, тот и всю жизнь без него обойдется. Это не совсем верно, но доля истины тут есть, и я четырнадцать лет не видел боя быков, если не считать корриды в Мексике. Правда, для меня эти годы во многом были похожи на тюремное заключение, только не внутри тюрьмы, а снаружи.

Я читал и слышал от верных людей о недостойных уловках, которые вошли в практику при Манолете и потом укоренились. Чтобы уменьшить риск для матадора, быку спиливают кончики рогов, а затем остругивают и обтачивают для придания им естественного вида. Такие подпиленные рога чувствительны, как пальцы, на которых ногти срезаны до живого мяса, и если хоть раз заставить быка ткнуться ими в барьер, он испытает такую боль, что потом будет избегать любых ударов рогами. То же самое случится, если он боднет плотный негнущийся брезент, которым теперь защищают лошадей от рогов.

Кроме того, когда рога у быка укорочены, он теряет чувство расстояния, и матадору легче увертываться от него. На скотоводческой ферме быки постоянно дерутся между собой, и в этих подчас кровопролитных драках учатся действовать рогами, так что чем бык старше, тем больше у него опыта и умения. И вот антрепренеры, у которых всегда кроме матадоров-звезд есть еще целый штат матадоров помельче, добиваются от скотоводов выращивания так называемых «полубыков» — медиоторо. Медиоторо — это бычок не старше трех лет, еще не научившийся хорошо действовать рогами. Пастбище для него выбирается поближе к воде, чтобы ему не приходилось много ходить и чтобы ноги у него не слишком окрепли. Кормят его зерном, от чего он

быстро достигает требуемого веса и на вид ничем не отличается от взрослого быка. Но на самом деле это всего лишь полубык, лишенный настоящей силы, и матадор, которому не так уж трудно справляться с ним, должен даже беречь его, чтобы он не изнемог раньше времени.

Но и подпиленным рогом бык может пропороть человека насмерть. Немало матадоров получило тяжелые раны в боях с быками, у которых рога были укорочены. И все же работать с такими быками в десять раз безопаснее, а убивать его в десять раз легче.

Рядовой зритель ничего не заметит, он в рогах не разбирается и не обратит внимания на шершавую беловатость оструганного места. Он видит блестящие черные кончики рогов и не догадывается, что эта чернота и блеск искусственного происхождения. С помощью машинной смазки можно так обработать оструганный рог, что он будет блестеть не хуже старого сапога, начищенного седельной мазью; но опытный взгляд сразу обнаружит обман, как наметанный глаз ювелира обнаруживает изъян в брильянте — только с гораздо большего расстояния.

Во времена Манолете, да и позднее существовали бесчестные антрепренеры, которые в то же время являлись подрядчиками или же были связаны с подрядчиками и со скотоводами, поставлявшими быков. Идеальным быком для своих матадоров они считали медиоторо, и многие скотоводы специально выращивали для них таких полубыков в больших количествах. Раскормленный бык кажется крупней, чем он есть, но на самом деле это просто молодой бычок, которого легко раздразнить и легко заставить слушаться. О рогах беспокоиться нечего. Рога можно укоротить, а потом ошеломлять публику чудесами, которые проделывает с таким быком матадор: вот он ждет его, стоя к нему спиной; вот пропускает у себя под рукою, глядя не на него, а на зрителей; вот становится на одно колено перед разъяренным животным и, приложив левый локоть к уху быка, словно бы говорит с ним по телефону; вот гладит его рог или, отбросив мулету и шпагу, обводит публику взором ярмарочного комедианта, а бык, одуревший, истекающий кровью, стоит перед ним, точно зачарованный,— и публика дивится на весь этот балаган, веря, что происходит возрождение золотого века тавромахии.

Итак, по разным причинам, прежде всего потому, что возраст болельщика для меня миновал, я почти остыл к бою быков; но за это время появилось новое поколение матадоров, и мне захотелось их посмотреть. Когда-то я знал их отцов, многие были моими друзьями, но одни умерли, другие ушли с арены, уступив чувству страха или из-за чего-нибудь другого, и я дал себе слово больше не заводить друзей матадоров: слишком сильно я страдал за них и вместе с ними, когда от страха или от неуверенности, которую рождает страх, они не могли справиться с быком. Я сам испытывал этот смертный страх, когда на арене был кто-нибудь из моих друзей, а так как мне за это не платили и помочь другу я ничем не мог, я решил, что глупо мучить себя подобным образом, да еще за свои деньги. Потом, в силу разных событий и обстоятельств и благодаря тому, что время нас учит многое видеть яснее, я почти избавился от этого страха, разрешив проблему лично для себя. Я даже умею передавать и другим — вообще или в особо напряженные минуты — эту способность без страха и даже без уважения относиться к опасности. Такой дар — счастье или несчастье для человека, смотря по тому, как его ценить и как им пользоваться. Я стараюсь не злоупотреблять этим даром и хорошо знаю, что утрачу его, как только ко мне самому вернется чувство страха. А оно может вернуться

в любой день — все ведь на свете непрочно. Для меня лично самое прочное — это знание. Но нужно высказать то, что знаешь, и тут никто тебе помочь не может.

В тот раз, в 1953 году, мы поселились за городом, в Лекумберри, и каждое утро ездили за двадцать пять миль в Памплону с таким расчетом, чтобы быть на месте к семи часам, когда быки побегут по улицам. Женщинам тяжело вставать так рано, и потому жить в Лекумберри неудобно, хотя там есть хороший отель с очень милыми хозяевами, а дорога до Памплоны — одна из самых живописных в Наварре, особенно средняя ее часть, совершенно прямая; когда несешься по ней в быстроходной машине, испытываешь наслаждение полета.

В отеле в Лекумберри мы застали своих приятелей. Какие-то причины помешали им встретиться с нами в Андайе в условленное время; поскольку в конце концов все уладилось, я не стал вникать в эти причины, и сумасшедшая неделя фиесты пошла своим чередом. К концу этой недели все мы уже прекрасно друг друга знали, и все или почти все друг друга любили, а это значит, что фиеста прошла удачно. В первый день сверкающий «роллс-ройс» графа Дэдли казался мне чуть-чуть претенциозным. В последний день я был от него в восторге. Так все складывалось в том году.

Джанфранко пристал к развеселой компании, состоявшей из чистильщиков сапог и начинающих карманников, и его постель в Лекумберри по большей части пустовала. Он стяжал хоть скромную, но все же славу тем, что расположился на ночлег в загороженном проходе, через который быки попадают в цирк, чтобы утром не проспать и не пропустить энсиерро *, как с ним уже однажды случилось. Он не пропустил Быки пробежали прямо по нему. Вся его компания страшно гордилась этим.

Адамо исправно являлся в цирк каждое утро. Он хотел, чтобы ему разрешили убить хоть одного быка, но администрация не пошла навстречу его желанию.

Погода стояла ужасная, Мэри, промокнув до костей, схватила сильную простуду, и температура у нее держалась до самого Мадрида. Бой быков проходил так неинтересно, что не стоило бы о нем и говорить, если б не одно знаменательное обстоятельство. Именно тогда мы впервые увидели Антонио Ордоньеса.

Мне стало ясно, что это великий матадор, едва только он сделал первое китэ. Словно все великие мастера этого приема (а их было немало) ожили и вновь вышли на арену — только он был еще лучше. С мулетой он работал безукоризненно. Убил мастерски и без труда. Внимательно и пытливо следя за его движениями, я думал о том, что, если с ним ничего не случится, он будет по-настоящему велик. Я тогда не знал, что он все равно будет велик, что бы с ним ни случилось, и каждая серьезная рана только придаст ему еще больше мужества и страсти.

Много лет назад я близко знал Каэтано, отца Антонио, и дал его портрет и описание его боев в романе «И восходит солнце». Все в этой книге, что происходит на арене, списано с натуры. Все, что не относится к бою быков, мною вымышлено. Каэтано знал это и никогда не протестовал против моей книги.

Наблюдая Антонио во время боя, я видел в нем все, чем силен был его отец в годы расцвета. Техника Каэтано Ордоньеса была совершенна. Умело руководя своими помощниками, пикадорами и бандерильеро,

---

* Прогон быков из корраля в цирк *(исп.)*.

он неторопливо и продуманно вел быка через все три стадии боя к завершающему смертельному удару.

В современном бое быков недостаточно подчинить себе быка мулетой и привести его в такое состояние, чтобы можно было вонзить ему шпагу в загривок. Если бык еще в силах нападать, матадор должен выполнить ряд классических приемов — пассов,— прежде чем нанести последний удар. Делая эти пассы, матадор пропускает быка мимо себя на таком расстоянии, что бык может достать его рогом. Чем ближе к человеку проходит бык, которого этот человек зовет и направляет, тем сильней ощущения, испытываемые зрителями. Классические пассы чрезвычайно рискованны, и матадору приходится направлять движения быка при помощи куска ярко-красной материи, укрепленной на палке в сорок дюймов длиной. Существует много жульнических приемов, позволяющих матадору самому проходить мимо быка вместо того, чтобы пропускать его мимо себя, или же только пассивно отмечать его движения, а не управлять ими. Самый эффектный трюк состоит в том, что матадор поворачивается спиной к быку, но, зная его повадку кидаться прямо вперед, становится так, чтобы не подвергать себя слишком большой опасности. С таким же успехом можно спокойно пройти мимо идущего навстречу трамвая; однако публика любит эти фокусы, к которым ее приучил Манолете — ведь ей говорили, что Манолете великий матадор, вот она и считает все это великим искусством. Пройдут годы, прежде чем публика поймет, что Манолете хоть и был великий матадор, но не брезговал дешевыми трюками, а не брезговал он ими потому, что публика их любит. Он выступал перед невежественными зрителями, которым нравилось, когда их обманывали.

С первого же боя Антонио Ордоньеса, который мне пришлось видеть, я убедился, что он может без жульничества выполнять все классические пассы, что он знает быков, умеет мастерски заканчивать бой в должную минуту и творит настоящие чудеса плащом. Я сразу признал в нем три главных качества матадора: храбрость, профессиональное мастерство и умение держаться красиво перед лицом смертельной опасности. Но когда при выходе из цирка один общий знакомый передал мне приглашение Антонио прийти к нему в отель Йолди, я сказал себе: «Только не вздумай заводить опять дружбу с матадором, да еще с таким, как этот, потому что ты знаешь, насколько он хорош и какая это будет для тебя утрата, если с ним что-нибудь случится».

К счастью, я так и не научился следовать собственным добрым советам или прислушиваться к собственным опасениям. Я увидел в толпе Хесуса Кордову, мексиканского матадора, который родился в Канзасе, отлично говорит по-английски и только накануне посвятил мне убитого им быка, тем самым восстановив мою репутацию, ибо человек, которому посвятили быка в Испании, не может быть красным (прежде всего потому, что красные не ходят на бой быков, это противоречит их учению). Я спросил Хесуса, где находится отель Йолди, и он предложил проводить меня. Хесус Кордова — славный малый и способный, толковый матадор, и я рад был поболтать с ним. Он довел меня до самой двери номера Антонио.

Антонио лежал на кровати совершенно голый, если не считать полотенца, игравшего роль фигового листка. Я прежде всего заметил его глаза — вряд ли есть на свете другая пара таких ярких веселых черных глаз с озорным мальчишеским прищуром; потом мое внимание невольно привлекли шрамы на правом бедре. Антонио протянул мне левую руку — правую он сильно поранил шпагой, убивая второго быка,— и сказал:

— Садитесь на кровать. Скажите — ведь вы знали моего отца. Я не хуже его?

Глядя в эти удивительные глаза, которые уже больше не щурились, а смотрели доверчиво, словно не было никакого сомнения, что мы станем друзьями, я сказал ему, что он лучше своего отца, и рассказал, какой замечательный матадор был его отец. Потом мы заговорили о его раненой руке. Он сказал, что через два дня будет снова выступать. Порез был глубокий, но не задел сухожилия. В это время зазвонил телефон — Антонио заказал разговор со своей невестой Кармен, дочерью его антрепренера Домингина и сестрой Луиса Мигеля Домингина, матадора,— и я отошел, чтобы не слушать. Когда он кончил разговаривать, я стал прощаться. Мы уговорились встретиться в Эль Рей-Нобле, я уже не помню, когда именно, и встретились, и Мэри тоже была с нами, и с тех пор началась наша дружба.

Стать компаньонами — сосиос — мы решили в 1956 году. Сущность наших деловых взаимоотношений сводилась к тому, что я должен был заниматься литературной частью предприятия, а Антонио — той частью, которая относилась к бою быков. Были и другие пункты. Испанская пресса проявляла живейший интерес к нашим деловым проектам, которые всегда отличались большим размахом и смелостью. Кто-нибудь вдруг присылал мне вырезанное из газеты интервью с Антонио, из которого я с восторгом узнавал, что мы строим ряд гостиниц для автомобилистов на каком-то побережье, где я никогда в жизни не бывал. Однажды один репортер спросил нас, какие проекты мы намерены осуществить в ближайшее время в Америке. Я сказал, что мы желали бы купить Солнечную долину в штате Айдахо, но никак не сойдемся в цене с компанией «Юнион пасифик».

— Я думаю, Папа, у нас есть только один выход,— сказал Антонио.— Придется купить «Юнион пасифик».

Подобная быстрота решений, а также неограниченные наличные средства, которыми мы располагали в разных странах благодаря переводным изданиям моих книг и выступлениям Антонио в Латинской Америке, позволили нам приобрести в интересах прессы крупный пакет акций «Лас Вегас», несколько медных рудников, десяток-другой арен для боя быков, оперный театр Ла Скала в Милане и разветвленную систему комфортабельных отелей в разных городах; мы также контролируем производство опиума во Внешней Монголии и выпуск сигарет «Лаки-страйк», а в настоящее время торгуем у семейства Дюпон контрольный пакет акций «Дженерал моторс». Этим пока наша деятельность ограничивается, если не считать интереса к последним достижениям в области электроники, пока еще не принявшего определенную форму.

В то лето, когда мы впервые увидели Антонио на арене, Луис Мигель Домингин уже не выступал. Незадолго до того он купил скотоводческую ферму близ Саэлисеса на дороге Мадрид—Валенсия и назвал ее «Вилла Мира». Отца его я знал давно. Отец был родом из Кисмондо в провинции Толедо и считался неплохим матадором в те времена, когда в Испании было два великих матадора. Уйдя с арены, он превратился в энергичного и хитрого дельца: это он открыл и представил публике Доминго Ортега. У Домингина и его жены было трое сыновей и две дочери. Все три сына стали матадорами. Я не видел на арене ни одного из них. Но от людей, мнению которых я доверяю, мне приходилось слышать, что старший, Доминго, превосходно умел наносить быку завершающий, смертельный удар, однако этим его достоинства и ограничивались. Пепе был первоклассным, совершенно исключительным бандерильеро и с другими элементами боя справлялся недурно. Луис Мигель обладал подлин-

ным талантом, который сказывался во всем, он отлично владел бандерильями и вообще был то, что в Испании называется torero muy largo, иначе говоря, имел богатый репертуар пассов и грациозных телодвижений, легко подчинял быка своей воле и убивал его со всем возможным мастерством.

Домингин-отец обделывал свои дела в «Сервесерия Алемана», отличном кафе с пивным залом на Пласа Санта Ана в Мадриде, постоянным посетителем которого я был в течение многих лет. Тут же, за углом, был дом, где жило все семейство. Это он, Домингин-отец, помогал Мэри выбирать запонки мне в подарок ко́ дню рождения, и он же пригласил нас по дороге в Валенсию заехать позавтракать к Луису Мигелю на его новую ферму. Джанфранко должен был вернуться в Италию, а мы — Мэри, я и Хуанито Кинтана, старый наш знакомец, повстречавшийся нам в Мадриде,— поехали дальше, и в знойный летний кастильский полдень, когда горячий ветер из Африки взметал тучи соломенной пыли над токами, расположенными у дороги, мы остановились перед домом, от которого веяло тенью и прохладой. Луис Мигель был неотразим — высокий, смуглый, узкобедрый, с чуть длинноватой для матадора шеей, с неулыбающимся, слегка презрительным лицом, на котором сквозь профессиональную надменность вдруг проступала веселая усмешка. Мы застали там Антонио с Кармен, младшей сестрой Луиса Мигеля. Это была смуглая красавица, великолепно сложенная. Они с Антонио должны были пожениться этой осенью, и по каждому их слову и движению видно было, как они влюблены друг в друга.

Мы посмотрели стадо, побывали на птичьем дворе и в конюшне, и я даже вошел в клетку, где сидел недавно пойманный близ фермы волк, чем доставил большое удовольствие Антонио. Волк был здоровый на вид, и можно было не опасаться, что он бешеный, поэтому я решил, что ничем не рискую — ну, укусит в крайнем случае,— а мне очень хотелось войти и поиграть с ним. Он меня встретил очень дружелюбно, почуял, должно быть, любителя волков.

Мы увидели новенький бассейн для плавания, в котором еще даже не было воды, и полюбовались бронзовой статуей Мигеля в натуральную величину — не каждому удается при жизни украсить свое жилище таким предметом. Мне живой Мигель понравился больше, чем его статуя, хотя статуя, пожалуй, выглядела чуточку благороднее. Но это нелегкое дело — выдерживать постоянное соревнование со своей собственной статуей в своем собственном доме. Впрочем, в этом году Мигель оставил статую в этом соревновании далеко позади. Статуя так и осталась статуей, а Мигель показал себя в беде лучше и достойнее всех, кого я когда-либо видел в беде, а я видел многих.

Мы прекрасно провели время в доме Луиса Мигеля (друзья зовут его просто Мигель), пили сангрию — род лимонада с красным вином и на славу позавтракали перед отъездом. После этого мы ни Мигеля, ни Антонио не видели до 1954 года, до нашего возвращения из Африки. Но еще на борту парохода мы получили телеграмму от Антонио, выступавшего в это время в Малаге. Он нам желал счастливого пути. И после нашей аварии в Мэрчисон-фоллз и пожара в Бутиабе, когда мы наконец добрались до такого места, где можно было достать другой самолет, первая телеграмма, полученная нами в Энтеббе, тоже была от него.

Мигеля я увидел опять в мае 1954 года в Мадриде. Он пришел к нам в номер в отель «Палас», где все собрались после очень неудачной корриды, происходившей в дождливый ветреный день. Было полно людей, стаканов и дыма и слишком много разговоров о том, о чем лучше было бы позабыть. У Мигеля был ужасный вид. Когда он в форме, он похож

на Дон-Жуана пополам с Гамлетом, но в этот шумный вечер он был небрит, выглядел утомленным и похудевшим и весь как будто сник. Он пришел прямо из больницы, где лежала Ава Гарднер, страдавшая от жестоких болей, причиняемых какими-то камнями, которые проходят или, напротив, не могут пройти, и я потом узнал, что Мигель сутки дежурил у ее постели, делая все, что может сделать врач или сиделка, чтобы облегчить боль. Я навещал Аву в больнице, и она сама рассказывала мне, как трогательно он за ней ухаживал.

Мигель все еще не вернулся на арену, но уже подумывал о выступлениях во Франции, и несколько раз я ездил с ним на берег Гвадаррамы, где он тренировался на молодых бычках, желая определить, сколько времени ему потребуется, чтобы снова войти в форму. Мне нравилось смотреть, как он работает, упорно, настойчиво, не щадя сил и не давая себе отдыха, а если он чувствовал, что начинает уставать или что у него сдает дыхание, то все же заставлял себя продолжать и не успокаивался, пока не доводил быка до изнеможения. Тогда он принимался работать с другим быком, обливаясь потом и стараясь выровнять дыхание в короткие паузы перед вступлением нового быка в борьбу. Мне нравились его гибкость, его быстрота, его манера работать с быком, умело используя свои природные данные, его великолепные ноги, мгновенность его реакции, неисчерпаемое разнообразие его пассов и поистине энциклопедическое знание быка. Было наслаждением смотреть, как он работает, тем более что дождливая полоса кончилась и кругом было по-весеннему хорошо. Одно только меня огорчало. Его стиль не волновал меня.

Мне не нравилось, как он работает плащом. Я перевидал всех великих мастеров этого искусства, начиная с Бельмонте, открывшего современный период в истории боя быков, и уже там, в предгорьях Гвадаррамы, я сразу понял, что Мигель не принадлежит к их числу.

Впрочем, это была всего лишь частность, которая не мешала мне находить большое удовольствие в его обществе. У него был острый язвительный ум, и, когда он одно время гостил у нас на Кубе, я узнал от него много интересного о самых разных вещах. Он не только умен, но и хорошо умеет выражать свои мысли, а кроме того, одарен разнообразными способностями, ничего общего не имеющими с боем быков. Я знаю всех его родных и должен сказать, что это на редкость интеллигентная семья. Мне и раньше приходилось встречать его братьев, Доминго и Пепе, но я совершенно не представлял себе тогда, какие это образованные и умные люди, и, хоть я знал, что Кармен, их сестра, не только хороша собой, но и собеседница прекрасная, лишь в 1956 году, когда Мэри и я стали часто встречаться с Кармен и Антонио, я понемногу оценил в полной мере достоинства этой удивительной семьи.

С Мигелем всегда интересно, иметь его своим гостем — одно удовольствие; ни от кого мне не приходилось слышать таких сногсшибательных суждений о жизни и о бое быков. Я никогда их не повторял, и мы с ним оставались друзьями; тем тяжелей досталась мне вся эпопея 1959 года. Будь Мигель врагом, не будь он моим другом и братом Кармен, и Доминго, и Пепе, и шурином Антонио, все было бы просто. Ну, может быть, не совсем просто, но не пришлось бы испытать ничего, кроме обыкновенного человеческого сочувствия.

Для Антонио 1958 год был особенно удачным, такого удачного года у него еще не бывало. Два раза в этом году мы совсем было собрались ехать в Испанию, но я не мог прервать работу над своим новым романом. В поздравительной открытке, которую мы послали Антонио и Кармен к рождеству, я писал, что если нам пришлось пропустить этот сезон, то уж следующего мы не пропустим ни за что и при всех обстоя-

тельствах приедем в Мадрид не позже мая, чтобы успеть к празднику святого Исидора. Как показало время, я бы никогда не простил себе, если бы пропустил то, что произошло весной, летом и осенью этого года. Страшно было бы это пропустить, хотя страшно было и присутствовать при этом. Но пропустить такое нельзя.

Наше путешествие на «Конститьюшн» началось в солнечную, ясную погоду, но уже через день погода изменилась, и почти до самого Гибралтарского пролива мы шли в сплошной полосе дождей и туманов. «Конститьюшн» — большое красивое судно, и среди его пассажиров нашлось много приятных людей. Мы его прозвали «Конститьюшн Хилтон», потому что на нем меньше, чем на каком-либо другом судне, чувствовалось, что плывешь по морю. Его не качало. Кормили вкусно и доброкачественно. Имелось несколько отличных баров с превосходными барменами. Моряки, от капитана до матросов, были милейшие люди, обслуживание не оставляло желать лучшего. Ехать на нем после старой «Нормандии», «Иль де Франс» или «Либерте» было все равно что жить в одном из отелей Хилтона, предпочтя его уютному номеру у Ритца в Париже, с окнами в сад. Но мне жаль было, когда путешествие кончилось, потому что мы успели завести на борту много друзей.

Солнце ярко светило, и море было синее, когда мы шли через Гибралтарский пролив, и справа от нас, отступая все дальше и вырастая в вышину, темнели берега Африки. По небу неслись белые облака, подгоняемые все еще свежим ветром, и с мостика, где капитан негромко и коротко переговаривался с рулевым, который вел судно среди других заполнивших бухту судов, чтобы встать на якорь против белого мавританского городка Альхесираса, раскинувшегося на склонах зеленых гор,— с мостика, откуда, повернув голову вправо, можно было увидеть массивную, хоть и беспорядочно изрытую глыбу Гибралтара, «Конститьюшн» уже не казался плавучим отелем, а вновь обрел все свои качества огромного, неправдоподобно могучего корабля, легко и красиво двигающегося по воле направляющей его руки.

На берегу, куда нас доставил катер, таможенники и иммиграционные власти обошлись с нами очень любезно. Багаж пропустили без всякого осмотра. И сколько раз мы ни пересекали испанскую границу в то лето и осень, везде было то же самое. Только на границе Гибралтара, где шла холодная война с англичанами, у туристов проверяли чемоданы, и то наших чемоданов никто не проверял. Мои гибралтарские покупки, о которых я заявил, были обложены пошлиной, но в одном пункте таможенный чиновник сказал мне, что таможенники хотят взять на себя уплату пошлины за виски, вывезенное мною из Гибралтара. Он сказал, что читал по-испански «Старик и море» и что сам он рыбак.

Высадившись в Альхесирасе, я потратил некоторое время, чтобы выправить полицейское разрешение на ружья, которые у нас были с собой. Прежде, когда Испания еще не заботилась о привлечении в страну туристов, это заняло бы несколько дней. В альхесирасской полиции все было улажено в пять минут; меня только попросили указать тип, калибр и номер каждого ружья и мои паспортные данные. Два ружья принадлежали Мэри, но их тоже вписали в мое разрешение.

Как только ружья были уложены в машину со всем прочим багажом, мы тронулись в путь, проехали в сумерках по взбиравшимся в гору улицам белого городка и через старые кварталы, похожие на арабское селение, выехали на узкое, обсаженное деревьями черное шоссе, которое обегает бухту и, миновав полосу болот, поднимается наперерез длинному выступу, протянувшемуся вдоль неширокой долины к подножию Гибралтара, будто палец, упирающийся в гигантского ока-

менелого динозавра. У основания пальца был устроен таможенный пост — то ли для острастки контрабандистам, то ли в качестве своеобразного оружия холодной войны. Так как мы ехали из Альхесираса, нас останавливать не стали, и мы в наступившей уже темноте пустились петлять по изгибам дороги, идущей из Гибралтара в Малагу параллельно берегу моря. Машину вел шофер из Малаги, нанятый Биллом Дэвисом, который встречал нас в альхесирасском порту,— и, по-моему, вел очень плохо, особенно когда приходилось проезжать через людные улицы встречных рыбачьих городков, где в это время шло вечернее гулянье; но я решил, что просто нервничаю с непривычки после американских дорог. Я и в самом деле нервничал из-за этого шофера — и не без оснований, как выяснилось позднее.

Семейство Дэвисов — Билл, Энни и двое малышей, Тео и Нена,— обитало в горах над Малагой, на вилле, которая называлась «Ла Консула». Там у ворот, когда они не были заперты, дежурил сторож. Там к дому вела длинная подъездная аллея, усыпанная гравием и обсаженная кипарисами. Там был сад не хуже мадридского Ботанико. Там в чудесном большом прохладном доме были просторные комнаты, и тростниковые маты на полу, и много книг, а на стенах старинные карты и хорошие картины. Там имелись камины, где в холодную погоду можно было развести огонь.

Там был бассейн для купания, куда вода поступала из горного источника, и там не было телефона. Можно было ходить босиком, только не стоило этого делать, так как май был прохладный и солнце не согревало мраморных ступеней. Ели там вкусно, пили вволю. Каждый мог делать, что хотел, и, когда я, проснувшись утром, выходил на открытую галерею, опоясывавшую второй этаж дома, и смотрел на верхушки сосен в парке, за которыми видны были горы и море, и слушал, как шумит в сосновых ветвях ветер, мне казалось, что лучшего места я никогда не видел. В таком месте чудесно работается, и я сел за работу с первого же дня. У меня было целых две недели в запасе: нам достаточно было выехать в середине мая, чтобы попасть в Мадрид к первому бою быков ферии святого Исидора.

Бой быков без соперничества ничего не стоит. Но такое соперничество смертельно, когда оно происходит между двумя великими матадорами. Ведь если один из боя в бой делает то, чего никто, кроме него, сделать не может, и это не трюк, но опаснейшая игра, возможная лишь благодаря железным нервам, выдержке, смелости и искусству, а другой будет пытаться сравняться с ним или даже превзойти его, тогда стоит нервам соперника сдать хоть на миг, и такая попытка окончится тяжелым ранением или смертью. Или же ему придется прибегать к трюкам, а когда публика научится отличать трюк от подлинного искусства, его поражение неизбежно, и хорошо еще, если он останется жив и удержится на арене.

Первые двенадцать дней мая пробежали незаметно. Я рано вставал и брался за работу, в полдень ходил купаться, но плавал недолго, чтобы не устать; за второй завтрак все садились поздно, потом иногда спускались в город за почтой и газетами, заходили и в ночной кабачок в духе Сименона при «Мирамаре», большом приморском отеле в центре Малаги, где у нас завелись знакомые среди обслуживающего персонала, потом возвращались в «Ла Консулу» и обедали всегда поздно.

13 мая мы выехали в Мадрид на бой быков.

Когда едешь по незнакомой дороге, все расстояния словно удлиняются, трудные участки пути кажутся еще трудней, опасные повороты

еще опаснее, а крутые подъемы выглядят совсем отвесными. Как будто ты снова стал мальчиком или подростком. Но путь из Малаги в Гренаду через горный перевал — нешуточное дело, даже если знаешь каждую извилину этого пути, каждый объезд, который может облегчить задачу. В этот раз, с шофером, рекомендованным Биллу кем-то из знакомых, это было просто ужасно. Он все повороты делал не так, как нужно. Он только и знал, что сигналить,— как будто это могло вовремя остановить какой-нибудь встречный грузовик, нагруженный до отказа,— и у меня не раз душа уходила в пятки и на спусках и на подъемах. Я старался смотреть на долины, на маленькие городки из камня и на фермы, остававшиеся внизу под нами, на ломаные линии горных хребтов, сбегавших к морю. Я видел темные голые стволы пробковых дубов, с которых уже месяц назад срезали кору, заглядывал в глубокие расселины, открывавшиеся на поворотах, провожал глазами дроковые поля с плешинами известняка, уплывавшие к каменистым кручам, и поневоле терпел всю несуразицу этой езды, порой лишь пытаясь советом или сдержанным приказанием отвести неминуемую гибель.

В Хаэне наш шофер чуть не сбил человека, переходившего улицу, потому что несся с идиотской скоростью, не думая о пешеходах. После этого он стал больше прислушиваться к советам, да и дорога теперь пошла лучше, и мы благополучно пересекли в Байлене долину Гвадалквивира, поднялись на плато и опять поехали по горной местности, вдоль Сьерра Морены, черневшей слева от нас. Мы проезжали крутые склоны Навас де Толоса, где христианские короли Кастилии, Арагона и Наварры наносили когда-то поражения маврам. Эти места удобны и для обороны, и для наступления (если уже взят перевал), и сейчас, сидя в быстро несущейся машине, странно было думать о том, каково было продвигаться по этой самой местности 16 июля 1212 года и как выглядели тогда обнаженные горные луга.

Крутой и извилистый подъем привел нас к перевалу Деспенаперрос, который служит границей между Андалусией и Кастилией. Андалусцы говорят, что северней этого перевала не родился еще ни один стоящий матадор. Дорога и здесь отличная и хорошему водителю не сулит никакой опасности, а на самом верху есть несколько ресторанчиков и гостиниц, с которыми нам предстояло близко познакомиться этим летом. Но в тот день мы спешили, благо ехать было теперь легко, и остановились только в первом городке после перевала, у дома, за которым дорога сразу резко шла под уклон. На крыше этого дома два аиста вили гнездо. Оно еще не было готово, и между аистами шла любовная игра. Самец клювом поглаживал самке шею, а она то смотрела на него с аистиной нежностью, то отводила глаза, и он снова принимался гладить ее шею. Мы остановились, и Мэри сделала несколько снимков, хотя освещение было неважное.

Мы вспомнили, как в 1953 году, на пути в Африку, мы прочли большую статью, напечатанную в иллюстрированном французском журнале, о том, что аисты почти вывелись в Европе и, вероятно, обречены на вымирание, и как поздней зимой того года мы видели тысячи аистов, летевших из Эфиопии за тучами саранчи и других вредителей, являющихся бичом Африки. Эти два аиста были первыми, которых нам привелось увидеть в Испании, но в течение лета мы их встречали сотнями. За тридцать пять лет я еще не видел такого множества аистов. Поздней мы часто ездили по этой дороге и видели, как вывелись в гнезде два птенца и как отец и мать кормили и воспитывали их; а когда мы последний раз проезжали мимо, уже в конце октября, гнездо было пусто: вся семья улетела.

Когда мы спустились в долину Вальдепеньяс, виноградные лозы были не выше ладони, и бесконечные акры виноградников гладью стлались до подножия гор, темневших вдали. Вино Вальдепеньяс хорошо пить поутру в какой-нибудь мадридской таверне, в компании старых знакомых, таких же ранних пташек, как и ты. Это вино без претензий. Оно жестковатое и чистое на вкус, и от него внутри разгорается несильный, быстро гаснущий огонь, после которого не остается пепла, и если ты согрелся, то пить больше не хочется. В жаркий день оно сохраняет прохладу в тени и на ветру. Оно холодит, а потом поддает жару — немного, лишь бы заявить о себе. Второй стакан снова холодит, а жару поддает только, если это требуется, чтобы мотор работал. Вальдепеньяс — это шампанское бедняка, но ведерки со льдом для него не нужны. Эти гроздья так созревали и из них так давили сок, чтобы можно было пить вино при любой температуре; а перевозят его в обыкновенных бурдюках. Мы ехали по хорошему шоссе, недавно проведенному через этот винодельческий край, и смотрели, как вспархивают куропатки с обочин грунтовой дороги, идущей параллельно новому шоссе, и к вечеру уже были в Мансанаресе, где и остановились в гостинице на ночлег. До Мадрида отсюда было всего сто семьдесят четыре километра, но нам хотелось проделать этот путь при дневном свете, к тому же бой быков должен был начаться завтра только в шесть часов вечера.

Рано утром мы с Биллом Дэвисом вышли из гостиницы, где все еще спали, и спустились к центру этого старого ламанчского городка, мимо низкой оштукатуренной ограды, за которой лежала арена боя быков — та самая арена, где Игнасио Санчес Мехиас получил роковую рану в бою, воспетом Лоркой; потом узкими улочками вышли на соборную площадь и попали в толпу горожан, возвращавшихся с базара. Базар был шумный, людный, привоз большой, но многие из покупателей жаловались на дороговизну, особенно рыбы и мяса. После Малаги, где говорят на незнакомом мне диалекте, так приятно было слышать чудесную звонкую испанскую речь и понимать каждое слово.

Пожилой испанец подошел ко мне и сказал:

— Не покупайте ничего. Слишком дорого. Я ничего не купил.

— Что же вы будете есть?

— А я подожду до конца базара,— сказал он.— К концу они волей-неволей кое на что спустят цены.

— Если говорить о рыбе, то вам не придется долго ждать.

— Верно,— сказал он.— Вон к тем сардинам скоро уже можно будет подступиться. Я ведь здешний. Мне спешить некуда. Но вы ничего не покупайте. Будьте примером для других.

Мы выпили в таверне кофе с молоком, макая в него ломти вкусного хлеба, и довершили завтрак стаканчиком-другим вина и манчегским сыром. Белое вино было вкуснее красного. Город остался в стороне от нового шоссе, и человек за стойкой сказал мне, что в таверне теперь редко увидишь приезжего.

— Мертвый стал город,— сказал он.— Только в базарные дни и оживает немного.

— Как с вином в нынешнем году?

— Сейчас еще рано говорить,— ответил он.— Вы знаете столько же, сколько и я. Обычно у нас хорошо и всегда одинаково. Виноград растет, как сорняк.

— Я люблю ваше вино.

— Я сам его люблю,— сказал он.— Оттого и ругаю. Чего не любишь, того не ругаешь. Так уж повелось теперь.

Мы быстро отшагали три километра обратно в гостиницу. Идти теперь пришлось в гору, и это послужило хорошим моционом. Город, который мы покидали, выглядел уныло, и расставаться с ним было легко. Когда мы погрузились и машина выехала на проселок, ведущий к новому шоссе, шофер истово перекрестился.

— Что-нибудь неладно? — спросил я. Он уже раз крестился так в первый вечер, когда мы ехали из Альхесираса в Малагу, и я тогда решил, что мы проезжаем место, где когда-то случилось несчастье, и мысленно с почтением склонил голову. Но сейчас было ясное утро, предстоял лишь короткий переезд до столицы по отличной дороге, а особенной набожностью наш шофер, судя по разговору, не отличался.

— Да нет, все в порядке,— сказал он.— Это чтобы нам благополучно добраться до Мадрида.

Не для того тебя нанимали, чтобы ехать в расчете на чудо или на промысел господень, подумал я. Нужно знать свое дело, если садишься за руль, да хорошенько проверить резину, прежде чем приглашать господа бога в напарники. Но тут я вспомнил о женщинах и детях и о том, как важно единение в этом бренном мире,— и тоже перекрестился. Потом, желая оправдать эту чрезмерную заботу о нашей собственной целости и невредимости, пожалуй несколько преждевременную, если учесть, что мы собирались добрых три месяца колесить днем и ночью по дорогам Испании, и довольно эгоистичную, поскольку нам предстояло провести это время в среде матадоров, я помолился за всех, кого мог считать заложниками Судьбы, за всех друзей, больных раком, за всех знакомых женщин, живых и умерших, и за Антонио, чтобы ему достались хорошие быки. Последняя молитва не была услышана, но зато после рискованного пробега через Ламанчу и кастильские степи мы все же благополучно добрались до Мадрида и отсюда уже отправили нашего шофера обратно в Малагу, ибо у самого отеля «Суэсия» выяснилось, что он понятия не имеет о том, что в городе значит поставить машину.

Сделать это пришлось в конце концов Биллу, и он же взял на себя шоферские обязанности на весь сезон. Оказалось, что водительский опыт нашего шофера ограничивался ездой на грузовике в качестве подручного. Нам его рекомендовали с чисто испанской непосредственностью потому, что он приходился кому-то дальним родственником, был честным добропорядочным малым и нуждался в работе. Мы деликатно объяснили ему, что не можем пользоваться его услугами, так как он не знает мадридских улиц и мадридских порядков — что вполне соответствовало истине,— и он с незапятнанным послужным списком вернулся к своему грузовику.

Во время остановки в Аранхуэсе, пока нашу машину мыли и заправляли, мы прошли в старый ресторан на южном берегу реки Тахо и заказали спаржу и белое вино. Река была зеленая, узкая и глубокая. Вдоль берегов росли деревья, по воде плыли унесенные течением водоросли, и у пристани праздно качались лодки, предназначенные для прогулок вверх по реке, к старинному королевскому парку. Кругом было тихо, и аранхуэсский ресторан напоминал домик на Сене близ Ба-Медона с картины Сислея. Спаржа была крупная, белая, нежная на вкус, и было приятно завтракать ею в тени деревьев, глядя, как плещется в реке рыба, и попивая мягкое некрепкое вино, перед подъемом на сухую белую суровую возвышенность, которую пересекает дорога, ведущая в Мадрид.

Отель «Суэсия», новый и нарядный, выстроен позади здания, где когда-то были кортесы, в нескольких минутах ходьбы от старого Мадрида. Руперт Белвилл и Хуанито Кинтана, приехавшие раньше,

рассказали, что Антонио ночевал в отеле «Веллингтон» в новой, фешенебельной части города, где расположено большинство новых отелей. Он хотел выспаться и одеться вне дома, чтобы спастись от осаждавших его репортеров, поклонников и болельщиков. Кстати, «Веллингтон» находится недалеко от цирка, а это важно, так как во время праздника святого Исидора движение на улицах затруднено. Антонио любит заблаговременно быть на месте, и кроме того, беспрестанные остановки из-за уличных заторов хоть кого могут вывести из себя. А перед боем это совсем ни к чему.

Отель кишмя кишел народом. Много было знакомых. Еще больше незнакомых. В салоне собрался избранный круг почитателей. Большинство — люди среднего возраста. Только двое молодых. У всех был очень торжественный вид. Было много людей, так или иначе связанных с боем быков, несколько репортеров, в том числе двое из французских иллюстрированных изданий, и с ними фотографы. Ничуть не торжественно выглядели только Каэтано, старший брат Антонио, и его служитель Мигелильо.

Каэтано поинтересовался, захватил ли я свою серебряную фляжку с водкой.

— Да,— сказал я.— Для экстренного случая.

— Сейчас как раз такой случай, Эрнесто,— сказал он.— Выйдем-ка в коридор.

Мы вышли, выпили за здоровье друг друга, потом вернулись, и я пошел в комнату, служившую Антонио гардеробной. Он одевался.

Он ничуть не изменился, разве только возмужал немного и, кроме того, загорел и поздоровел от жизни на ферме. В нем не чувствовалось ни волнения, ни торжественности. Через час с четвертью он должен был выйти на арену и точно знал, что̀ это значит, что́ ему нужно делать и что̀ он будет делать. Мы очень обрадовались друг другу, и для каждого из нас все было так же, как бывало всегда.

Я не люблю гардеробных и перевязочных, и потому, после того как он спросил о здоровье Мэри, а я — о здоровье Кармен и мы уговорились поужинать вместе, я сказал:

— Ну, я пойду.

— Ты зайдешь потом?

— Конечно,— сказал я.

— Ну, до вечера,— сказал он и улыбнулся своей улыбкой сорванца-мальчишки, которая так естественно, легко и непринужденно набегала на его лицо еще до первого сезона в Мадриде. Он думал о предстоящем бое, но эта мысль не тревожила его.

Трибуны были битком набиты, но коррида шла плохо. Быки были дрянные, нападать не решались, уже устремившись вперед, вдруг останавливались на всем скаку. Они были перекормлены, тяжелы не по росту и если уж бросались на лошадей, то очень быстро выдыхались и припадали на задние ноги.

Антонио спас корриду от полного провала и показал мадридцам образчик того, на что он теперь способен.

За то время, что я его не видел, он довел до совершенства свое умение владеть плащом. Это были не просто уверенные и точные пассы, о каких мечтает любой матадор. Каждый взмах подчинял быка, заставлял его следовать за плащом, описывать круг так, что рога проходили в нескольких сантиметрах от Антонио, чьи движения были плавны и размеренны, точно в замедленном фильме или во сне.

Первый раз, когда Антонио вонзил шпагу, тщательно нацелясь на бугор между лопатками, острие уперлось в кость. Тогда он нацелился

снова и вонзил шпагу в то же место, и она вошла до самого эфеса. Когда пальцы Антонио обагрила кровь, бык уже был мертв, но еще не знал этого. Антонио следил за ним, высоко подняв руку, управляя его смертью, как управлял этой единственной схваткой его недолгой жизни, и бык вдруг содрогнулся и рухнул на песок.

Когда после боя мы сидели рядом на его кровати в номере отеля «Веллингтон» — он уже принял душ и немного остыл,— Антонио спросил меня:

— Ну как, Эрнесто, доволен?

— Ты знаешь сам,— сказал я.— Все знают. Тебе пришлось сделать этого быка. Тебе пришлось выдумать его.

— Верно,— сказал он.— Но получилось в общем неплохо.

Когда мы после боя быков в Севилье ехали через Кордову в Мадрид, по низкому небу неслись черные тучи и шел дождь, и мы только в редкие минуты прояснения могли любоваться местностью. Под стать погоде были и наши мысли, и мы оба сетовали на неудачные бои, на быков, не достигших надлежащего веса и возраста, которых кто-то сумел подсунуть, вопреки правилам, и Билл предсказывал, что таким же неудачным будет весь сезон. Ни он, ни я вообще не восхищались севильской школой. Для андалусцев и любителей боя быков это ересь. Считается, что все болельщики должны питать к Севилье прямо-таки мистическую любовь. Но я уже давно пришел к убеждению, что ни в каком другом городе не бывает так много неудачных боев. Ни Биллу, ни мне не нравилась и новая большая арена в Мадриде. Она слишком велика, и потому то, что на ней происходит, мало волнует зрителей. Даже из первого ряда плохо видны подробности боя, если только матадор и бык не стоят прямо под вами у самого барьера, и я рассказал Биллу о старой арене, где и за плохим боем было интересно следить — так хорошо можно было разглядеть все подробности. Над нами пролетали стаи аистов, искавших под дождем корм, а в горах то и дело попадались ястребы самых различных пород. Я люблю смотреть на ястребов, а в эту ненастную погоду множество их летало вокруг в поисках пищи, но дело это было трудное, потому что все малые птицы попрятались от дождя и ветра. За Байленом дорога, которую нам впоследствии предстояло так хорошо изучить, повернула к северу, и, когда тучи расходились, среди полей пшеницы, полегшей от ветра, и виноградников, где лозы выросли на пол-ладони с тех пор, как мы проезжали здесь три дня назад, направляясь на юг, виднелись омытые дождем старинные замки и белые деревушки, открытые всем ветрам — а чем севернее, тем ветров больше.

Останавливаясь, чтобы заправить машину, мы подкреплялись стаканом вина, или ломтиком сыра, или маслинами в буфете заправочной станции и пили черный кофе. Билл никогда не пил вина, когда вел машину, но я прихватил бутылку легкого росадо из Лас Кампаньяс в мешке со льдом и попивал холодное вино, закусывая хлебом и сыром манчего. Я любил эту страну во все времена года и каждый раз радовался, когда, оставив позади последний перевал, въезжал в суровый край Ламанчи и Кастилии.

Билл решил ничего не есть, пока мы не доберемся до Мадрида. Он уверял, что после еды его клонит ко сну, а ему предстоит день и ночь сидеть за рулем. Он любил поесть, знал толк в еде, и никто лучше его не умел достать хорошую еду, в какой бы стране он ни очутился. Он

очень своеобразный человек и всегда старается узнать как можно больше нового о людях, местности, винах, спорте, литературе, зодчестве, музыке, живописи, науке, жизни. Когда он впервые приехал в Испанию, он обосновался в Мадриде, а потом вместе с Энни объездил все испанские провинции. Не оставалось буквально ни одного города в Испании, где бы он не побывал, и повсюду он успел узнать и местные вина, и местную кухню, и какие именно кушанья особенно хороши, и в каких ресторанах лучше всего кормят, будь то большой город или глухой городишко. Лучшего спутника я и желать не мог, а уж водитель он был просто двужильный.

До Мадрида мы добрались не поздно и еще успели захватить второй завтрак в «Кальехоне» — тесном, похожем на коридор ресторане на Калье Тернера, куда мы всегда заходили поесть, когда бывали только вдвоем, потому что, на наш взгляд, нигде во всем городе так вкусно не кормили. Там была отличная домашняя кухня и всегда имелось какое-нибудь специальное блюдо — каждый день другое; рыба, мясо, овощи, фрукты были там самые лучшие, какие только можно было достать на рынке. Там подавали тинто и кларет вальдепеньяс в маленьких, средних и больших кувшинах, и вино было превосходное. Марио, великий автомобилист и ценитель жизненных удовольствий, говорил, что никогда еще не едал в таком замечательном ресторане. Адамо любил бывать здесь, потому что все это напоминало ему Удине. Мэри здесь не нравилось — она жаловалась на тесноту и на плохую вентиляцию. Ей чуть было не удалось наложить вето на посещения «Кальехона», но в 1956 году хозяин перехитрил ее — воспользовавшись нашим отсутствием, прикупил часть соседнего помещения и открыл прекрасно проветриваемый новый зал.

После того как мы, дожидаясь свободного столика в вестибюле ресторана, выпили у стойки по несколько стаканов вальдепеньяса, у Билла разыгрался аппетит. Меню украшала приписка, гласившая, что одна порция любого кушанья достаточна для полного насыщения, и Билл заказал сначала жареную рыбу, а затем ему подали такую порцию какого-то астурийского блюда, что ее хватило бы для полного насыщения по меньшей мере двоих. Все это он одолел и только заметил:

— А здесь кормят недурно.

Когда опустел второй кувшин вальдепеньяса, он добавил:

— И вино недурное.

Я уплетал молодых угрей в чесночном соусе, напоминавших нежные бамбуковые побеги с хрустящими кончиками, только угри были маслянистее на вкус. Передо мной стояла полная глубокая тарелка угрей, и есть их было райское блаженство, зато каждому, кто потом встретился бы со мной в закрытом помещении и даже на свежем воздухе, это сулило муки ада.

— Угри замечательные,— сказал я.— А вино — не знаю. Еще не распробовал. Хочешь угрей?

— Пожалуй, возьму одну порцию,— ответил Билл.— Выпей вина. Может, понравится.

— Еще один большой кувшин,— сказал я официанту.

— Сейчас, дон Эрнесто. Несу. Я уже приготовил.

К нашему столику подошел хозяин.

— Не желаете ли бифштекс? — спросил он.— У нас сегодня отличные бифштексы.

— Приберегите их к обеду. А нет ли спаржи?

— Отличная спаржа. Из Аранхуэса.

— Завтра в Аранхуэсе мы увидим быков,— сказал я.

— Как поживает Антонио?

— Очень хорошо. Он выехал из Севильи вчера вечером. А мы сегодня утром.

— Как было в Севилье?

— Так себе. Быки дрянные.

— Вы будете здесь ужинать с Антонио?

— Вряд ли.

— На всякий случай я оставлю для вас отдельный кабинет. В прошлый раз все были довольны?

— Очень.

— Желаю удачи в Аранхуэсе.

В Аранхуэсе нас ждали одни неудачи, но у меня не было никаких дурных предчувствий.

— Спасибо,— сказал я.

В Аранхуэсе 30 мая стояла хорошая для боя быков погода. Дождь перестал, и солнце пригревало свежевымытый город. Деревья зеленели, мощеные улицы еще не успели покрыться пылью. Понаехало много крестьян из окрестных деревень — они разгуливали по городу в черных куртках и серых штанах из жесткой полосатой материи — и довольно много мадридцев. Мы уселись на террасе старомодного кафе в тени деревьев, смотрели на реку, на катера и лодки. Река потемнела и вздулась от дождя.

Потом наши гости отправились осматривать королевский парк на берегу реки, а мы с Биллом пошли через мост к старому отелю «Делисиас» повидаться с Антонио и взять билеты у его служителя Мигелильо. Я заплатил Мигелильо за четыре билета в первом ряду, сказал молодому испанцу, который подрядился написать серию очерков об Антонио для мадридской газеты, чтобы он не приставал сейчас к Антонио, а дал ему отдохнуть, причем объяснил, почему это нужно, потом подошел к кровати поговорить с Антонио, намереваясь в назидание болельщикам уйти как можно скорей.

— Вы поедете прямо в Гренаду или переночуете где-нибудь? — спросил Антонио.

— Я думаю ночевать в Мансанаресе.

— В Байлене лучше,— сказал он.— Хочешь, я довезу вас до Байлена, там мы пообедаем, а по дороге поболтаем. Потом я пересяду в «мерседес» и буду спать до самой Гренады.

— Где мы увидимся?

— Здесь, после боя.

— Ладно,— сказал я.— До скорого.

Он улыбнулся, и я понял, что чувствует он себя хорошо и очень уверенно.

Я убедил Марино Гомеса Сантоса, юного корреспондента «Пуэбло», уйти вместе с нами. Мигелильо устанавливал портативное церковное оборудование. Он поставил лампаду и образ божьей матери на туалетном столике подле прислоненного к стене массивного кожаного футляра со шпагами.

Когда мы шли посыпанной гравием дорожкой к мощеному двору отеля, забитому машинами, я вдруг услышал грохот и, обернувшись, увидел лежащий на боку мотороллер. Люди сбегались к водителю, который, видимо, сильно расшибся. Но девушку, сидевшую позади водителя, выбросило на середину мостовой. Я подбежал к девушке, поднял ее и держал на руках все время, пока мы ловили машину, чтобы отвезти ее в больницу. Но все машины, видимо, были заняты другими делами. Я боялся, что у нее повреждены кости черепа. Крови было немного, и я

нес девушку очень бережно, стараясь не повредить ей и в то же время не запачкать кровью свой костюм. Мне не жаль было костюма, но несчастье, случившееся с девушкой, само по себе явилось достаточно дурным предзнаменованием, не хватало еще, чтобы я в таком виде сидел в первом ряду перед ареной боя быков. Наконец мы достали машину, передали девушку в надежные руки, и ее отвезли в больницу. Потом мы сошлись с нашими гостями в ресторане на набережной. Меня очень огорчало, что несчастье с девушкой случилось в день открытия фиесты, и тягостно было вспоминать ее посеревшее запыленное полудетское лицо. Я беспокоился — не повреждена ли черепная коробка, и мне было стыдно, что все время, пока я нес ее на руках, я думал не только о ней, но и о том, как бы не выпачкаться в крови.

Вокруг небольшого, старинного, чудесного, неудобного, обветшалого цирка, превращаясь в пыль, подсыхала грязь. Мы вошли, разыскали свои места и поглядели на желтеющий так близко под нами песок.

Антонио достался первый из быков с фермы Санчеса Коваледы. Бык был крупный, черный, красивый, с длинными, очень острыми рогами. Антонио проделал несколько вероник с присущим ему изяществом, неторопливо, плавно, уверенно взмахивая плащом, подходя к быку почти вплотную, заставляя его двигаться все медленней и медленней и пропуская быка мимо себя так близко, что рога только-только не упирались ему в грудь. Однако публика осталась равнодушна — чего не случилось бы в Мадриде,— и потому Антонио в дальнейшей работе с плащом действовал иначе, несколько отклоняясь от классического стиля в сторону более эффектной, но менее опасной севильской манеры. Он протягивал быку плащ, держа его обеими руками на уровне груди. Затем он медленно делал полный оборот вместе с раздувающимся вокруг него плащом, то приближаясь к быку, то удаляясь от него. На такое китэ приятно смотреть, но по существу это не прием, а трюк. Как только рога оказываются слишком близко, матадор слегка отклоняется в сторону и бык проходит мимо. Публике это нравилось. Нам тоже. Такая работа очень красива, но она не волнует. В этой части Испании люди, понимавшие, что такое настоящие быки и настоящий бой быков, были истреблены в гражданскую войну — на той и на другой стороне.

Когда Антонио взял в руки мулету, к быку еще опасно было подходить, и Антонио начал готовить его, терпеливо внушая быку уверенность и мужество. Что-то произошло с быком, может быть взмахи плаща надоели ему. Мне случалось видеть такое. Чтобы расшевелить его, Антонио вынужден был подходить к нему очень близко. Иногда к концу боя бык плохо видит. Но тут было другое, и это другое Антонио должен был преодолеть за те десять минут, в которые матадор учит быка умирать.

Антонио внушил быку уверенность, подставляя ему правую ногу и правое бедро, а затем показал ему, что он может безнаказанно следовать за красной мулетой и что это своего рода игра.

Потом они играли в эту игру. Мулета дразнила то справа, то слева. То выше, то ниже. Бык обходил Антонио кругом. Раз, еще раз. На, держи. Обойди меня, бык. Так. Ну, еще разок. Еще.

А затем быку что-то взбрело на ум. Он внезапно оборвал игру и, вместо того чтобы закончить поворот вокруг Антонио, кинулся на него. Рог прошел на расстоянии одной сотой дюйма, и бык толкнул Антонио головой. Антонио обернулся, протянул быку мулету и пропустил его у самой своей груди.

Потом он начал игру сначала и заставил быка дважды сделать поворот, во время которого бык чуть было не всадил в него рога. Теперь публика оценила его, и по ее требованию заиграла музыка. Наконец

Антонио убил быка, убил с первого удара, вонзив шпагу чуть левее высшей точки загривка. Вся публика махала платками, требуя для Антонио бычье ухо. Но когда бык падал, у него изо рта потекла кровь, что часто бывает, даже если бык убит по всем правилам, и президент не разрешил отрезать ухо, хотя зрители махали платками до тех пор, пока быка не увезли с арены.

Антонио, приветствуемый толпой, обошел арену кругом и еще дважды выходил кланяться. К барьеру он вернулся злой, стараясь казаться равнодушным, и, когда Мигелильо протянул ему стакан воды, он что-то проговорил сквозь зубы. Он отхлебнул из стакана, ни на кого не глядя, потом прополоскал рот и выплюнул воду на песок. Позже я спросил Мигелильо, что Антонио сказал.

— Он сказал: «Очень мне нужно отрезать ухо»,— ответил Мигелильо.— Все равно, он показал им, что к чему.

Второй бык Антонио был красивый, с черной лоснящейся шерстью, с отличными рогами и храбрый. Он стремительно выбежал на арену, и я понял, что Антонио хочет сразу перехватить его. Как только Антонио ступил на песок, держа плащ наготове, из рядов на солнечной стороне, слева от нас выскочил матадор-любитель — ловкий, красивый парень в кепке, светлой рубашке и синих штанах,— перемахнул через барьер и растянул перед быком мулету. Феррер, Хони и Хуан — бандерильеро Антонио — кинулись к нему, чтобы увести и передать полиции, прежде чем бык забодает его и тем самым станет негодным для боя, но парень, пользуясь естественной живостью быка, успел все же проделать несколько эффектных пассов, в то же время увертываясь от троих быстроногих преследователей, спешивших убрать его с арены. Ничто не может так скоро и непоправимо испортить быка для работы матадора, как внезапное вмешательство со стороны.

Бык учится бою с каждым приемом матадора, и искусный матадор не делает ни единого взмаха плащом, который не имел бы определенной цели. Если бык забодает человека в самом начале боя, тем самым рушится основная предпосылка профессиональной корриды — незнакомство быка с пешим человеком. Но я смотрел на Антонио, и видел, как он следит за ловкой работой парня, и понял, что Антонио ничуть не обеспокоен, хотя это вмешательство и грозило ему провалом. Он изучал быка и с каждым его движением лучше узнавал его.

Наконец Хони и Феррер схватили парня, и он покорно вернулся к барьеру. Антонио, с плащом в руках, подбежал к нему, что-то быстро проговорил и крепко обнял. Потом он вышел на середину арены и занялся быком. Теперь он знал его, успел изучить досконально.

Первые вероники Антонио — плавные, медлительные — были образцом изящества. Зрители чувствовали, что сейчас они видят работу, какой никогда не видали, и что в ней нет фальши. Никогда не бывало, чтобы матадор не только простил, но и обласкал человека, который легко мог испортить ему быка, и теперь они оценили по достоинству все то, что видели, когда Антонио работал с первым быком, но чего тогда не оценили. Никто еще с таким совершенством не действовал плащом, как Антонио в тот день. Он подвел быка к пикадору — одному из братьев Салас — и сказал:

— Береги его и делай то, что я велю.

Бык, сильный и храбрый, почувствовав укол метко нацеленного копья, стремительно кинулся на лошадь; Антонио увел его плащом и опять проделал несколько плавных, размеренных вероник. При втором уколе копьем бык опрокинул лошадь и прижал пикадора к доскам барьера.

Хуан, брат Антонио и его главный бандерильеро, настаивал, что нужно еще два раза заставить быка кидаться на лошадь, чтобы утомить мускулы шеи, тогда голова опустится ниже и легче будет убить его.

— Не учи меня,— сказал Антонио.— Он нужен мне такой, какой есть.

Антонио знаками испросил у президента разрешения перейти к бандерильям. После того как в быка вонзили одну-единственную пару бандерилий, он опять испросил разрешения перейти к мулете.

Мулетой он действовал так мягко, просто и пластично, что каждое движение его казалось изваянным. Он проделал один за другим все классические приемы, а затем постарался еще изощрить их, придать им еще большую чистоту линий и вместе с тем увеличить риск, слегка придвигая локоть к туловищу, чтобы как можно ближе пропустить быка мимо себя. Бык был крупный, неиздерганный, сильный и храбрый, с хорошими рогами, и Антонио показал публике совершенный образец классической фаэны.

Когда работа с мулетой была окончена и оставалось только убить хорошо подготовленного быка, Антонио вдруг точно с ума сошел. Он начал проделывать показные трюки в духе Манолете, какие только что проделывал Чикуэло, второй матадор, словно хотел сказать публике, что если уж такая работа ей по вкусу, то пусть посмотрит, как это нужно делать. Он стоял против быка в том месте арены, где три последних быка, кидаясь на лошадь пикадора, взрыхлили песок. Когда Антонио, повернувшись спиной к быку, делал так называемую гиральдилью, бык оступился, его правая задняя нога заскользила и правый рог вошел в левую ягодицу Антонио. Нет более прозаического и в то же время более опасного места для раны, и Антонио знал, что сам навлек на себя беду, знал, что рана тяжелая, что, быть может, у него не хватит сил убить быка и загладить свой промах. Бык сильно ударил его — я видел, как вошел рог, как подбросило Антонио. Но он, сброшенный на песок, удержался на ногах и не упал. Он прижался поясницей к красным доскам барьера, словно пытаясь остановить кровь, струйкой бежавшую из раны. Я смотрел только на Антонио и не видел, кто увел быка. Маленький Мигелильо первый перепрыгнул через барьер и уже поддерживал Антонио под руку, когда Доминго Домингин и брат Антонио, Пепе, выскочили на арену. Все видели, что рана серьезная, все трое — антрепренер, брат и служитель — вцепились в него, пытаясь увести его в лазарет. Антонио яростно стряхнул их с себя и сказал Пепе:

— И ты смеешь называться Ордоньесом?

Он пошел к быку, истекая кровью и кипя от ярости. Я уже и раньше видел, как он злится на арене, и очень часто, во время работы, безотчетно упиваясь боем, он вместе с тем чуть не задыхался от злости. Сейчас он решил убить быка, убить так, что лучше нельзя, и он знал, что должен сделать это как можно скорей, пока он не изошел кровью и не потерял сознания.

Он поставил быка перед собой, низко, очень низко опустил мулету, нацелился, всадил шпагу в самую высокую точку между лопатками быка и выпрямился над правым рогом. Потом он поднял руку и приказал быку принять смерть, которую он, Антонио, вложил в него.

Он стоял против быка, истекая кровью, никому не позволяя подойти, пока бык не зашатался и не рухнул на песок. Он стоял один, истекая кровью, потому что никто из близких не решался подойти к нему после его гневных слов, пока президент в ответ на крики размахивающих платками зрителей не подал знак, разрешая отрезать быку оба уха, хвост и копыто. Пробираясь сквозь толпу к выходу, ведущему

в лазарет, я видел, как он стоит, истекая кровью, и ждет, чтобы ему вручили трофеи. Потом он повернулся, намереваясь обойти арену, ступил два раза и упал на руки Ферреру и Доминго. Он был в полном сознании, но знал, что истекает кровью и больше уже ничего сделать не может. Сегодняшний бой окончен, и нужно готовиться к следующему.

В лазарете доктор Тамамес исследовал рану, удостоверился, насколько она серьезна, сделал все необходимое, закрыл рану и срочно отправил Антонио на операцию в Мадрид, в больницу Рубера. За дверью лазарета стоял парень, который спрыгнул на арену, и плакал.

Когда мы приехали в больницу, Антонио только успел проснуться после операции. Рана оказалась глубокой. Рог вошел на шесть дюймов в мясо левой ягодицы, едва не задев прямую кишку, и прорвал мышцы до седалищного нерва. Доктор Тамамес сказал мне, что на одну восьмую дюйма правее — и рог проник бы в кишечник. На одну восьмую глубже — и он задел бы седалищный нерв. Тамамес открыл рану, вычистил ее, привел все в порядок и зашил, оставив отверстие для дренажной трубки, снабженной часовым механизмом, который так громко тикал, что казалось — это стучит метроном.

Антонио уже не раз слышал это тиканье. Сегодняшняя рана была двенадцатая по счету. Лицо его было серьезно, но глаза улыбались.

— Эрнесто, — сказал он, выговаривая мое имя по-андалусски «Айрнехто».

— Очень больно?

— Пока не очень,— ответил он.— Зато после.

— Не разговаривай,— сказал я.— Лежи спокойно. Маноло говорит, все будет хорошо. Раз уж суждено, лучшего места для раны не придумаешь. Я все тебе скажу, что он будет мне говорить. А теперь я пойду. Ты только не волнуйся.

— Когда ты придешь?

— Завтра, когда ты проснешься.

Кармен все время сидела у постели Антонио и держала его за руку. Она поцеловала его, и он закрыл глаза. Он еще не очнулся по-настоящему, и, как он говорил, настоящие боли еще не начались.

Кармен вышла вместе со мной из палаты, и я рассказал ей, что мне говорил Тамамес. Отец ее был матадором. Три брата ее были матадорами, и она была женой матадора. Красивая, милая, любящая, она не теряла присутствия духа в минуты любых тревог и опасностей. Самое страшное было позади, теперь ей предстоял тяжелый труд сиделки. Этот труд ежегодно выпадал ей на долю, с тех пор как она вышла за Антонио.

— Как же это случилось? — спросила она.

— По глупости. Этого не должно было случиться. Зачем он становился спиной?

— Скажите ему.

— Он и сам знает. Незачем ему говорить.

— Все-таки скажите ему, Эрнесто.

— Зачем он состязается с Чикуэло? — сказал я.— Бессмысленно состязаться с тем, что уже стало историей.

— Знаю,— сказала она, и я понимал, что она думает о том, что очень скоро ее муж будет состязаться с ее любимым братом и это состязание войдет в историю. Я вспомнил, как три года назад, когда мы обедали у них, об этом зашел разговор за столом и кто-то сказал, как

это было бы замечательно и сколько бы принесло денег, если бы Луис Мигель вернулся на арену и выступал mano a mano * с Антонио.

— Молчите,— сказала она тогда.— Они убили бы друг друга.

Билл Дэвис и я оставались в Мадриде до тех пор, пока врач не сказал, что Антонио вне опасности...

— Это надолго, Маноло? — спросил я.

— Если не будет осложнений, через три недели он сможет выступать. Рана глубокая, повреждения серьезные. Жаль, что он так мучился.

— Очень мучился.

— Он поедет на поправку к вам в Малагу?

— Да.

— Отлично. Я отправлю его, как только он сможет передвигаться.

— Если он будет чувствовать себя хорошо и температура не поднимется, я уеду завтра вечером. У меня куча работы.

— Отлично. Я скажу вам, может ли он ехать с вами.

Я ушел, сказав, что зайду вечером. Мне хотелось выйти с Биллом на свежий воздух, на шумные улицы. Мы знали, что теперь все будет хорошо. Вокруг постели Антонио собрались родные и друзья, и мне не хотелось им мешать. Было самое время идти в музей Прадо. Там разное освещение в разные часы дня.

Я думал о том, что уже давал себе слово не дружить ни с одним матадором, пока он не уйдет с арены, и что и это мое здравое намерение постигла та же участь, что и остальные. В вестибюле больницы я столкнулся с матадором, из-за которого когда-то принял такое решение. В то утро он показался мне очень старым и морщинистым. Это был отец Антонио, и он сказал мне:

— Все хорошо, правда?

— Да. Рана отличная, чистая.

— Я стоял возле тебя, когда ее открыли.

— А я тебя не заметил.

— Да,— сказал он.— Мы оба смотрели на рану.

.

Когда Антонио и Кармен вышли из самолета на приветливом маленьком аэродроме в Малаге, он тяжело опирался на палку, и я помог ему пройти через зал ожидания и сесть в машину. Прошла неделя с тех пор, как я простился с ним в больнице. И он, и Кармен смертельно устали от поездки, и после ужина в тесном кругу я помог отвести его в их спальню.

Утром он принес мне маленький конвертик, на котором стояло мое имя. Я вскрыл конвертик, вынул визитную карточку и прочел: «Уважаемый коллега. Сдаю на ваше попечение моего пациента Антонио Ордоньеса. Если вам придется его оперировать, то con mano duro (да не дрогнет у вас рука). Ваш Маноло Тамамес».

— Ну как, Эрнесто? Приступим к лечению?

— Я полагаю, что не мешало бы выпить по стаканчику кампаньяс,— сказал я.

— Ты думаешь, это полезно? — спросил Антонио.

— Рановато, конечно. Но это легкое слабительное.

— А купаться можно?

— Только после полудня, когда вода потеплеет.

— Может быть, холодная вода принесет пользу.

---

* Один на один *(исп.)*.

— А может быть, ты застудишь горло.

— Ничего я не застужу. Пошли купаться.

— Мы пойдем, когда вода нагреется от солнца.

— Ну ладно. Давай погуляем. Расскажи мне, что нового. Ты хорошо писал?

— Иногда очень хорошо. Иногда похуже. День на день не приходится.

— И у меня так. Бывают дни, когда совсем не пишется. Но люди заплатили, чтобы поглядеть на тебя, вот и стараешься изо всех сил.

— В последнее время ты неплохо писал.

— Да. Но ты понимаешь, о чем я говорю. И у тебя бывают дни, когда нет этого самого.

— Да. Но я все-таки что-то выжимаю из себя. Заставляю работать мозги.

— И я так. Но как чудесно, когда пишешь по-настоящему. Лучше всего на свете.

Он очень любил называть свою работу писательством.

Мы обычно говорили о многом и разном: о месте художника в мире, о технике мастерства и профессиональных тайнах, о финансах, иногда о политике и экономике. Случалось нам говорить и о женщинах, даже часто случалось, о том, что мы должны быть примерными мужьями, и еще мы иногда говорили о чужих женщинах, не наших, и о своих повседневных житейских делах и заботах. Мы разговаривали все лето и всю осень по пути с корриды на корриду, и за обеденным столом, и в любое время, когда Антонио отдыхал или поправлялся после раны. Мы придумали с ним веселую игру: оценивать людей с первого взгляда, как быков, привезенных для боя. Но это было позже.

В тот первый день в «Ла Консула» мы просто болтали и шутили, радуясь тому, что рана Антонио заживает и силы его восстанавливаются. Он немного поплавал, но рана его еще не совсем закрылась, и я сделал ему перевязку. На второй день он уже не хромал и наступал на больную ногу осторожно, но твердо. С каждым днем он чувствовал себя лучше и крепче. Мы ходили, купались, упражнялись в стрельбе в оливковой роще за конюшней, хорошо тренировались, хорошо ели и пили и отлично проводили время. Потом он пересолил — вздумал купаться в ненастный день, море было бурное, от сильной волны шов немного разошелся, и в рану попал песок, но я видел, что она в отличном состоянии, и только промыл ее, наложил повязку и налепил пластырь.

Антонио и Кармен вместе прочли мои романы и рассказы, которые были переведены на испанский язык, и он хотел поговорить о них со мной. Когда он обнаружил, что почерк у меня такой же скверный, как у него самого, он стал усиленно упражняться в каллиграфии и заявил, что Билл Дэвис, у которого был замечательный почерк и огромная библиотека, мой «негр» и что все мои книги на самом деле написаны им.

— Эрнесто совсем не умеет писать,— говорил он.— Это Мэри все переписывает для него на машинке. Мэри — женщина образованная, культурная, вот она и помогает ему. Но Билл его негр. Эрнесто рассказывает ему всякие истории, когда они едут в город или еще куда-нибудь, а потом негр записывает их. Теперь я понял всю вашу механику.

— Неплохая механика,— сказал я.— И машину водить мой негр тоже умеет.

— Я расскажу тебе очень страшные истории, просто чудовищные. Потом ты перескажешь их негру, а он уж обработает их. Мы подпишемся под ними оба, а деньги пойдут в общий фонд нашей фирмы.

— Как бы мой негр не надорвался,— сказал я.— А вдруг он ночью уснет за баранкой.

— Мы накачаем его черным кофе и витаминами,— сказал Антонио.— И, пожалуй, лучше сначала продавать нашу писанину под одним твоим именем, пока мое еще не прославилось в литературе. Как идут наши дела под твоей вывеской?

— Помаленьку.

— Верно, что нам могут только один раз присудить эту шведскую премию?

— Верно,— сказал я.

— Какая несправедливость,— сказал Антонио.

За то время, что Антонио оправлялся от раны, Луис Мигель выступал четыре раза, и по всем отчетам выходило, что он превзошел самого себя.

Мы приехали в Альхесирас в ясный ветреный день по чудесной прибрежной дороге. Я беспокоился, что ветер затруднит работу матадоров, но арена в Альхесирасе сооружена с таким расчетом, чтобы защитить ее от порывистого восточного ветра, который здесь называют леванте. Этот ветер — бич прибрежной Андалусии, такой же как мистраль для Прованса, но матадоры не тревожились, хотя флаг на верхушке цирка сильно трепало.

Все сказанное в отчетах о Луисе Мигеле подтвердилось. Он был горделив без высокомерия, спокоен, держался непринужденно и уверенно руководил боем. Приятно было видеть, как он всем распоряжается и с каким мастерством работает. Он вел себя на арене так же естественно, без всякой натуги, как у бассейна на Кубе, где мы с ним болтали, отдыхая после купания, в ту пору, когда он не выступал. Но в нем чувствовалась безраздельная и полная почтения к своей работе сосредоточенность, которая отличает всех великих художников.

Однако рога у быков Луиса Мигеля казались мне подозрительными. Сведущие люди, сидевшие возле нас, высказывали сомнения по поводу рогов, но им было все равно: они пришли ради зрелища. Дельцам, причастным к бою быков, тоже было все равно. Большинство публики вообще не выражало своего мнения. Мне было не все равно, потому что, глядя на Луиса Мигеля, я понимал, что при таком чутье, при таком глубоком знании своего дела он мог бы справиться с любым быком и достигнуть совершенства истинно великих матадоров — быть может, самого Хоселито. Но длительная практика боев с ослабленными быками мало-помалу сделает его непригодным для боя с настоящим быком. Я не думал, что Антонио ожидает верная победа. Кто знает, не отразится ли рана на его душевном состоянии? Но после того что я видел — если только я не обманулся,— я считал, что шансы Антонио поднимаются.

Я старался быть предельно беспристрастным в моих оценках Луиса Мигеля и Антонио, но их соперничество принимало характер междоусобной войны, и сохранять нейтралитет становилось все трудней. Убедившись в несравненном и многостороннем таланте Луиса Мигеля, увидев, что он в отличной форме, я предугадывал, что ожидает Антонио, когда начнутся их совместные выступления.

Луису Мигелю нужно было удержать свое первенство. Он претендовал на первое место среди матадоров, и он был богат. Это было немаловажное обстоятельство, однако он искренне любил бой быков и на

арене забывал о своем богатстве. Но он хотел, чтобы все шансы были на его стороне. Кроме того он хотел, чтобы ему платили за выход больше, чем Антонио, что и явилось причиной их взаимного ожесточения. Антонио был отчаянно самолюбив. Он твердо верил, что он более великий матадор, чем Луис Мигель, и не со вчерашнего дня. Он знал, что может быть великим на арене, каковы бы ни были рога у быков. Луису Мигелю платили больше, чем Антонио, а я знал, что если так будет, когда они выступят совместно, то Антонио развернется вовсю, и уж ни у кого, и прежде всего у Луиса Мигеля, не останется сомнений, кто из них более велик. Антонио либо умрет, либо добьется этого, а умирать у него не было никакой охоты.

Состязание между Луисом Мигелем Домингином и Антонио Ордоньесом началось на арене в Сарагоссе. Быки были с фермы Гамеро Сивихо. Все, кто увлекались боем быков и могли оплатить проезд, собрались здесь. Приехали все мадридские спортивные обозреватели, а в обеденное время в «Гранд-Отеле» толпились скотоводы, посредники, аристократы, титулованные особы, бывшие барышники и все немногочисленные поклонники Антонио.

Поклонников Луиса Мигеля было много — политические деятели, чиновники и военные. Мы с Биллом поели в небольшой таверне, куда он меня привел, потом поднялись в номер к Антонио, и он показался нам бодрым, но слегка отчужденным. Когда он вот так двигал головой, словно у него шея плохо гнется, и говорил с чуть более заметным андалусским акцентом, я сразу угадывал, что он на кого-то злится. Он сказал нам, что спал хорошо. Мы условились после боя отправиться в Теруэль и там пообедать. Я сказал, что мы с Биллом поедем прямо из цирка, иначе Антонио на своем «мерседесе» обгонит нас. Все это слишком живо напомнило мне наш разговор перед боем в Аранхуэсе, но Антонио именно этого и хотел. Прощаясь с нами, он весело улыбнулся и подмигнул мне, словно между нами была какая-то тайна. Я бы не сказал, что он нервничал, но все-таки он немного волновался. Я зашел в номер Луиса Мигеля и пожелал ему хороших быков. Он тоже немного волновался.

День был жаркий, июньское солнце припекало. Первый бык Луиса Мигеля, сильный и напористый, очень решительно кидался на пикадоров. Луис Мигель увел быка приемом китэ и в работе с плащом показал то же искусство, ту же горделивую властность, что и в Альхесирасе, где мы видели его бой с быками Пабло Ромеро. От второго пикадора быка увел Антонио. Он увел его на середину арены и проделал все пассы так медленно и плавно, стоя так близко к быку и держась так прямо и вольно, что под конец уже казалось, будто на твоих глазах происходит невозможное. И зрители, и Луис Мигель сразу поняли, на чьей стороне превосходство в работе с плащом.

Луис Мигель отлично воткнул две пары бандерилий, а третью — блистательно: подозвав к себе быка, он дождался его, не сходя с места, в последнюю долю секунды отклонился вправо, опустил палочки и выпрямился. Он был изумительный бандерильеро.

Взяв в руки мулету, он быстро подчинил себе быка, подготовленного долгой и отличной работой. Но чародейства не было. После китэ, которое проделал Антонио с его далеко не легким быком, он словно потускнел. Он дважды заносил шпагу неудачно и делал это несколько вяло. В третий раз он нацелился лучше, шпага вошла наполовину. Луис Мигель искусно заставил быка нагнуть голову еще ниже, и, когда

бык ткнулся мордой в опущенную до самого песка мулету, он вонзил острие дескабельо *, и все было кончено. Публика приветствовала его, и он обошел арену кругом, чуть улыбаясь плотно сжатыми губами.

Первый бык Антонио хорошо вышел на арену. Антонио перехватил его и проделал все пассы, подходя все ближе и ближе, с каждым взмахом плаща все лучше применяясь к движениям быка и, по своему обыкновению, так томительно медленно, что у меня сердце останавливалось.

Антонио не дал пикадорам издергать быка, и после одной пары бандерилий он возобновил свою виртуозную работу, прерванную месяц назад в Аранхуэсе. Он был такой же, как всегда. Тяжелая рана не нанесла ему ни малейшего ущерба. Она лишь многому научила его, и он с присущим ему изяществом и мастерством воспитывал быка, превращая его в своего партнера, любовно помогая ему как можно ближе проходить мимо человека с плащом, только-только не задевая его рогом. Наконец, выжав из быка все, что тот мог дать, Антонио, перегнувшись через рога, одним ударом убил его. На мой взгляд, он всадил шпагу чуть ниже, чем полагается, но публика и президент остались довольны. Антонио присудили ухо.

И я, и Билл вздохнули с облегчением. Антонио был все такой же, он вернулся на арену, словно никогда не покидал ее. Это было самое главное. Ни шок, ни перенесенные муки не повлияли на психику. Лицо его показалось мне слегка усталым, особенно глаза, но и только.

Второй бык Луиса Мигеля был разбит на ноги. Луис Мигель очень старался. Начал он хорошо, но у быка отвалилось копыто. Мигель попросил разрешения за свой счет заменить быка и выступить еще раз после Антонио. Потом он прикончил несчастное больное животное, а на арену вышел последний бык Антонио.

После того как Антонио удачно убил быка, одним ударом вонзив шпагу до самого эфеса, на арену вышел бык, которым заменили второго быка Луиса Мигеля,— крупный, несколько тяжеловесный, с хорошими рогами и достаточно резвый. Луис Мигель работал в своей обычной манере. Он воткнул четыре пары бандерилий, не столь дорогие, как те, которые он пустил в ход с первым быком, но вполне добротные — от Маси. Мулетой он работал ловко, уверенно и спокойно. Потом он проделал все излюбленные публикой трюки, и проделал их отлично. Первый удар шпагой он нанес не очень уверенно. При второй попытке он нацелился лучше и точно попал в область сердца острием шпаги, до половины вошедшей в загривок. Потом Луис Мигель прикончил быка ударом дескабельо. Ему присудили оба уха и хвост.

Билл сказал:

— Сезон обойдется недешево Луису Мигелю, если ради того, чтобы затмить Антонио, он будет всякий раз выкладывать по сорок тысяч песет.

— Сегодняшний случай весьма знаменателен,— сказал я.— Луис Мигель очень и очень неглуп. Он отлично понял, что означает китэ Антонио с его быком. Этого он не забудет. Вот увидишь.

— К тому же Антонио всегда будет выступать после него,— сказал Билл.— Это тоже огромное преимущество.

— Придется нам последить, сколько будет замен,— сказал я.— Как бы их не было слишком много.

— Не думаю, что нам долго придется следить,— сказал Билл.

— И я не думаю.

---

* Кинжал, которым поражают спинной мозг быка *(исп.)*.

В Памплону не следует ездить с женой. Все шансы за то, что она заболеет, порежется или ушибется, и уж по меньшей мере ее затолкают и обольют вином, а недолго и совсем потерять ее. Если какая-нибудь супружеская пара и могла безнаказанно побывать в Памплоне, так это Кармен и Антонио, но Антонио не взял Кармен с собой. Фиеста — мужское дело, а от женщин только жди беды, не потому, конечно, что они этого хотят, но как-то так получается, что либо они что-нибудь натворят, либо сами попадут в беду. Когда-то я написал об этом книгу. Разумеется, если вы найдете женщину, которая говорит по-испански и поэтому не принимает шутки за оскорбление, способна день и ночь пить вино и танцевать со всяким, кому только вздумается ее пригласить, не возражает, когда на нее льется и сыплется всякая всячина, жить не может без непрерывного шума и оглушительной музыки, страстно любит фейерверк, особенно если ракеты падают совсем рядом или насквозь прожигают платье, не видит ничего нелепого в том, что вы рискуете попасть быку на рога ради забавы и совершенно бесплатно, не простужается, когда мокнет под проливным дождем, обожает пыль и беспорядок, с удовольствием ест где и как попало, умеет обходиться без сна и без горячей воды и все же быть всегда свежей и чистой,— если вы найдете такую женщину, привозите ее. Скорее всего, она сбежит от вас к кому-нибудь получше.

Памплона, как всегда, бурлила, наводненная туристами и разношерстным людом, но было много и фешенебельной публики со всех концов Наварры. Целую неделю мы спали меньше четырех часов в сутки, да и то под дробь барабанов, пронзительные звуки дудок, высвистывающих старинные мелодии, и топот неутомимых танцоров. Я уже описал Памплону раз и навсегда. Там все осталось по-прежнему, только число туристов на сорок тысяч увеличилось. Когда я впервые был в Памплоне почти четыре десятилетия тому назад, там и двадцати приезжих не набралось бы. А теперь в иные дни, говорят, их чуть ли не сто тысяч. Но так как никто туристов не считает, то мнения расходятся и называют самые разные цифры.

В Памплоне мы нашли способ рассеивать угар фиесты и спасаться от шума, который кое-кому из нашей компании действовал на нервы. Для этого мы с утра уезжали на берег реки Ирати, куда-нибудь за Аоис, гуляли, купались и возвращались в город только к бою быков. Следуя по течению этой прелестной, богатой форелью речки, мы с каждым днем забирались все глубже в дебри девственного леса Ирати, который ничуть не изменился со времен друидов. Я думал, там все вырублено и погублено, но нет, он такой же, как был,— последний большой лес средневековья, с его огромными буками и вековым ковром мха, на котором так мягко, так чудесно лежать. С каждым днем мы все дальше и дальше забирались и все больше опаздывали на бой быков и в конце концов вовсе пропустили последнюю новильяду, проведя день в одном заповедном уголке, о котором я больше ничего не скажу, потому что мы надеемся еще туда вернуться и вовсе не желаем застать там полсотни легковых машин и «джипов». Лесная дорога вывела нас почти ко всем тем местам, куда мы добирались пешком в годы, описанные мною в книге «И восходит солнце»,— впрочем, в Ронсеваль и теперь иначе, как пешком, карабкаясь по кручам, не доберешься.

Я так радовался, вновь обретя все эти места и найдя их неопоганенными, что ни разные новшества в Памплоне, ни наводнявшие ее толпы не имели для меня значения. Мы отыскали свои излюбленные кабачки вроде «Марсельяно» и, как в былое время, ходили туда по утрам, после энсиерро, завтракать, пить вино и петь песни; «Марселья-

но», где деревянные столы и деревянные ступени лестницы вымыты и выскоблены до того, что сверкают чистотой, словно тиковая палуба яхты, если не считать пролитого на столах вина, но это лишь к украшению. Вино было так же приятно на вкус, как и тогда, когда нам было по двадцать лет, еда по-прежнему великолепная. Песни пелись те же, но были и новые, хорошие песни, с выкриками и притоптыванием под дудку и барабан. Лица, молодые когда-то, постарели, как и мое, но все мы очень хорошо помнили, какими мы были в те годы. Глаза остались прежними, и растолстеть никто не растолстел. Ни у кого не залегла горечь в углах рта, хотя глазам, быть может, пришлось повидать многое. Горькие складки в углах рта — первый признак поражения. Поражения здесь не потерпел никто.

Светская наша жизнь проходила в баре Чоко, под аркадами близ отеля, где когда-то был хозяином Хуанито Кинтана. Здесь, в этом баре, один молодой американский журналист выразил мне свое сожаление, что не мог быть с нами в Памплоне тридцать пять лет тому назад, когда я ездил по стране, и знакомился с народом, и знал испанцев, и болел душой за них, и за их родину, и за свою работу, а не растрачивал время в барах, напрашиваясь на льстивые похвалы, восхищая прихвостней своими остротами и раздавая автографы. Все это и еще многое в том же роде содержалось в письме, которое он мне написал после того, как я его выругал, потому что он не пришел за билетами на бой быков, раздобытыми мной для него у одного знакомого перекупщика. Журналисту было лет двадцать с небольшим, и в двадцатые годы он бы так же рубил с плеча, как и в пятидесятые. Он не знал, что то, о чем он говорит, никуда не может деться, нужно только уметь это увидеть. Он этого не знал, и, когда он пытался корить меня Памплоной, на его красивом юношеском лице, у верхней губы, уже обозначились горькие черточки. То, о чем он говорил, никуда не делось и было открыто для него, но он не видел.

— Что вы с ним возитесь, с этим слизняком? — сказал Хотч. Хотч, иначе Эд Хотчнер, был наш давнишний приятель и уже месяц путешествовал вместе с нами, как и доктор Джордж Сэвир.

— Он вовсе не слизняк,— сказал я.— Он будущий редактор «Ридерс дайджест».

— Пусть Джордж сделает ему укол, чтобы безболезненно отправить его на тот свет,— предложил Билл Дэвис.

— А в самом деле, Джордж,— сказал Хотч.— Подумайте, от скольких лет страданий вы его избавите.

— Напомните мне, где я живу, Хотч,— сказал Джордж.— Я тогда схожу и принесу все, что нужно. Может быть, еще кому-нибудь требуется укол?

— Не мешало бы заодно позаботиться об Антонио,— сказал Хотч.— Не заживает его рана.

— Антонио сегодня выступает в Пуэрто де Санта Мария,— сказал Билл Дэвис.

— Черт побери,— сказал Джордж.— Надеюсь, он не забыл про присыпку, которую я ему дал.

После того как кончилось наше гулянье в Памплоне, Антонио дважды выступал во Франции, в Мон-де-Марсан, где имел большой успех, но быки, вероятно, были с подпиленными рогами, и он никогда не заговаривал со мной об этих боях. Из Франции он прилетел в Малагу, чтобы присутствовать при торжестве, которым Мэри решила отметить мой общий с Кармен день рождения. Торжество получилось

пышное, и я, быть может, не осознал бы, что мне стукнуло шестьдесят, если бы Мэри не устроила все так хорошо и торжественно. Но тут уж нельзя было отмахнуться от этой мысли. Я предпочел бы не говорить о своем юбилее и сразу перейти к ферии в Валенсии, где началась смертельная схватка между Антонио и Луисом Мигелем. Но есть кое-что, о чем я непременно должен сказать.

Когда тяжелая рана, полученная Антонио в Аранхуэсе, зажила, мы стали очень беспечны — в лучшем смысле этого слова. Мы говорили о смерти без страха, и я сказал Антонио все, что думаю о ней, хотя это не имеет никакой цены, поскольку никто из нас ничего о ней не знает. Я мог искренне презирать смерть и даже иногда внушать это презрение другим, но мне-то она тогда не грозила. Антонио же сталкивался с ней изо дня в день, нередко по два раза в день и для встречи с ней приезжал издалека. Он ежедневно подвергал себя смертельной опасности, и стиль его работы был таков, что он сознательно продлевал угрозу смерти до немыслимых для нормального человека пределов. Чтобы выдержать это, ему нужны были железные нервы и абсолютное спокойствие. Он работал честно, без фальши, и исход боя для него полностью зависел от его умения распознавать опасность и предотвращать ее, подчиняя себе быка одним движением кисти руки, которым управляли его мышцы, его нервы, его реакция, зоркость, знание, чутье и мужество.

Если бы не точность и быстрота его реакции, он не мог бы так работать. Если бы мужество покинуло его хоть на малейшую долю секунды, он потерял бы власть над быком и бык забодал бы его. Кроме того, по прихоти ветра он мог в любую минуту остаться беззащитным перед быком, а это означало почти верную смерть.

Все это он знал, знал досконально и без самообмана, и наша задача заключалась в том, чтобы сократить до минимума время ожидания, оставляя его наедине со своими мыслями ровно на столько, сколько необходимо для психологической подготовки перед самым боем. Это и было наше участие в ежедневном свидании Антонио со смертью. Любой человек может иной раз без страха встретиться со смертью, но умышленно приближать ее к себе, показывая классические приемы, и повторять это снова и снова, а потом самому наносить смертельный удар животному, которое весит полтонны и которое к тому же любишь,— это посложнее, чем просто встретиться со смертью. Это значит — быть на арене художником, сознающим необходимость ежедневно превращать смерть в высокое искусство. По меньшей мере дважды в день Антонио должен был убивать быстро и милосердно, вместе с тем предоставляя быку все шансы нанести смертельный удар, когда Антонио, подняв шпагу, нагибался над его рогами.

Все участники корриды помогают друг другу во время боя. Вопреки соперничеству, зависти и вражде — нет на свете более тесного братства. Только матадоры знают, какая им грозит опасность, как жестоко может искалечить их физически и нравственно неудача на арене. Те, у кого нет истинного призвания, и во сне не забывают о быках. Но перед самым выходом на арену матадору никто помочь не может; поэтому мы только старались сократить время острой тревоги. «Тревога» — не совсем подходящее слово, я предпочел бы назвать это волнением, сдержанным, мучительным волнением.

Антонио всегда молился перед боем, после того как поклонники и болельщики уходили из его комнаты и он оставался один. Если еще было время, почти все мы по дороге в цирк заходили в часовню помолиться. Антонио знал, что я молюсь не о себе, а о нем. Мне не предстоял бой, а

кроме того, я вообще никогда не молюсь о себе после гражданской войны в Испании, где столько страшного на моих глазах случилось с другими, что молиться о себе кажется мне теперь недопустимым эгоизмом.

Не знаю, хорошо ли спал Луис Мигель последние ночи перед первым решающим боем в Валенсии. Говорили, что он очень поздно ложился, но так всегда говорят после того, как что-нибудь случится. Одно я знаю: он волновался перед боем, а мы нет. Я не приставал к Мигелю, не задавал ему никаких вопросов, потому что теперь я уже окончательно принадлежал к лагерю Антонио. Мы все еще были друзьями, но, после того как я внимательно присмотрелся к его работе с быками различных пород и повадок, у меня не оставалось сомнений, что Луис Мигель — великий матадор, но Антонио — величайший. Я был убежден, что, если бы Антонио не слишком заносился, они оба могли бы заработать кучу денег — для этого нужно было только, чтобы они снизили свои требования и чтобы им платили поровну. Если же Антонио не станут платить столько же, он до тех пор будет обострять борьбу, пока Луис Мигель, попытавшись сравняться с Антонио или даже превзойти его, погибнет на арене или получит такую тяжелую рану, что уже выступать не сможет. Я знал, как беспощаден Антонио, знал его исступленную, непримиримую гордость, не имеющую ничего общего с самомнением. За этой гордостью скрывалось многое, и была в ней темная сторона.

Сатанинской гордости в Луисе Мигеле было не меньше, если не больше, чем в Антонио, и он ничуть не сомневался в своем превосходстве, на что были некоторые основания. Он так долго утверждал, что он лучший из всех, что сам в это уверовал. То было не просто мнение о своей работе, то была слепая вера. Теперь Антонио сильно пошатнул его веру в себя, и сделал он это, вернувшись на арену после тяжелого увечья, и, кроме одного раза, так бывало всегда, когда они вместе выступали. Но до сих пор имелся еще и третий матадор, и Луиса Мигеля утешала мысль, что это затрудняет сравнение его работы с работой Антонио. Луису Мигелю ничего не стоило затмить любого третьего матадора. Теперь же в Валенсии ему предстояло сразиться с Антонио один на один. Дело нешуточное для любого из матадоров, кто видел Антонио в этом сезоне, а тем более если тебе платят больше, чем ему. Антонио несся, словно река в половодье, так было весь этот год и весь минувший. Накануне боя в Валенсии мы сделали рискованный опыт — как лучше провести день,— и риск себя оправдал.

Мы провели этот чудесный буйный день на пляже, вылезая из воды только затем, чтобы поесть и поиграть в футбол. После полудня мы решили не идти на бой быков, а разложить костер и торжественно сжечь наши билеты. Но побоялись, как бы не накликать беду, и еще поиграли в футбол, а потом до сумерек купались, заплывая очень далеко, а на обратном пути к берегу борясь с сильной волной, относившей нас в сторону. Все мы смертельно устали и рано завалились спать, как очень здоровые утомленные дикари.

Антонио спал отлично и проснулся отдохнувшим, в отличном настроении. Я только что вернулся с жеребьевки. Быки были с фермы Игнасио Санчеса и Бальтасара Ибанья — красивые, с хорошими рогами. Луису Мигелю и Антонио достались равноценные быки. Ночью поднялся ветер, небо покрылось тучами. Ветер был сильный, порывистый, и казалось, сейчас не конец июля, а глубокая осень.

— Кости ломит? — спросил я Антонио.

— Ничуть.

— Ноги не болят? — У меня правая ступня распухла, оттого что я гонял мяч босиком.

— И ноги не болят. Чувствую себя отлично. Как погода?

— Ветрено,— сказал я.— Даже очень.

— Может, уляжется,— сказал он.

Ветер не улегся к началу корриды, и когда первый бык Луиса Мигеля вышел на арену, по небу неслись черные тучи, солнца не было и сила ветра достигала десяти баллов. Перед боем я заходил к Луису Мигелю пожелать ему удачи. Он дружески улыбнулся мне своей чарующей улыбкой, как это делал обычно в таких случаях. Но и он, и Антонио глядели сурово и сосредоточенно, когда во главе своих куадрилий пересекли арену и, поклонившись президенту, подошли к барьеру.

Когда Мигель окончил работу с третьим быком, ему оставалось только удачно убить, чтобы завоевать ухо. Но рука не слушалась его. Механизм разладился, и он только с четвертой попытки нанес смертельный удар. Уже темнело, и ветер дул с прежней силой. На арену въехала поливочная машина, и, пока струйки воды прибивали взметаемый ветром песок, в кальехоне царило почти полное молчание.

Мы все страдали за обоих матадоров, зная, какое это испытание — работать на ветру.

— Не повезло им с погодой,— сказал мне Доминго, брат Луиса Мигеля.

— И ветер все сильней.

— Придется свет зажечь,— сказал Пепе, другой брат Луиса.— После этого быка станет совсем темно.

Мигелильо смачивал боевой плащ Антонио, чтобы он был тяжелее и не так разлетался от ветра.

— Страх как задувает,— сказал он мне.— Просто беда. Но он может. Он справится.

Я прошел дальше по кальехону.

— Не понимаю, что со мной творится,— сказал Луис Мигель, который стоял в проходе, облокотившись на барьер.— Никуда не гожусь со шпагой.— Он говорил равнодушным тоном, словно речь шла о ком-то другом или о каком-то непонятном ему загадочном явлении.— Остался еще один. Может быть, с этим, последним, все будет хорошо.

Друзья заговаривали с ним, но он, не слушая их, смотрел на арену. Антонио ни на что не смотрел и думал о ветре. Я постоял подле него, облокотившись на барьер, и мы не обменялись ни словом.

Третий бык Антонио потерял много крови от бандерилий и больше ни в чем не желал участвовать. Чтобы поставить его в нужное положение для удара шпагой, Антонио пришлось действовать мулетой, словно парусом в шторм. Он с трудом, одной силой рук, удерживал ее, потому что мулета, натянутая воткнутой в нее шпагой, раздувалась от ветра, как парус. Я знал, что уже много лет у него побаливает правое запястье и перед каждым боем его стягивали бинтом, чтобы оно не подвело при ударе шпагой. Теперь он не думал об этом, но, когда он занес шпагу, запястье чуть вильнуло, и шпага не вошла под прямым углом. Вернувшись в проход, он стал возле меня. Лицо его было строго, даже сурово, а рука повисла, как у паралитика. Вспыхнул свет, и я увидел такой мрачный огонь в его глазах, какого никогда не видел у него ни на арене, ни вне ее. Он начал что-то говорить, но тут же умолк.

— Что такое? — спросил я.

Он покачал головой, глядя на упряжку мулов, вывозившую с арены мертвого быка. В ярком свете видно было, что борозду, проложенную быком, уже заносит песком, хотя с тех пор, как поливали арену, и четверти часа не прошло.

— Эрнесто, ветер ужасный,— проговорил он странным, жестким голосом.

Я никогда не слышал, чтобы на арене у него менялся голос, разве что когда он злился, но тогда голос звучал ниже, а не выше. Да и сейчас он звучал не выше обычного, и в нем не слышалось жалобы. Он просто констатировал факт. Мы оба знали, что случится беда, но это было единственное мгновение, когда мы не знали, с кем именно она случится. Оно длилось ровно столько, сколько потребовалось Антонио, чтобы произнести эти три слова. Он взял у Мигелильо стакан воды, прополоскал рот и, не обращая внимания на боль в руке, потянулся за своим плащом.

Последний бык Луиса Мигеля стремительно выбежал на залитую светом арену. Это был крупный бык, с настоящими рогами и очень резвый. Он загнал одного бандерильеро за барьер и несколько раз всадил левый рог в деревянные доски бурладеро*. Увидев пикадора, он одним ударом опрокинул лошадь. Луис Мигель работал плащом уверенно, но осторожно. Из-за сильного ветра его основной недостаток — слабые вероники — обнаруживался особенно отчетливо, а эффектные пассы с накинутым на плечи плащом были невозможны. Бык явно нервничал и проявлял склонность тормозить задними ногами, поэтому Мигель решил отказаться от бандерилий. Зрителям это не понравилось. Они платили большие деньги за билеты, рассчитывая увидеть Луиса Мигеля в роли бандерильеро. Он знал, что теряет благосклонность публики, но надеялся удовлетворить ее хорошей фаэной. Он поставил быка в наиболее защищенное от ветра место, у самого барьера, и протянул ему смоченную и залепленную песком мулету. Потом он потребовал еще воды и вывалял мулету в песке, чтобы она стала тяжелей.

Держа в руках мулету и шпагу, Луис Мигель плавно и размеренно два раза пропустил быка мимо себя. Он видел, что бык еще не усмирен, и потому заставил его еще четыре раза пройти под мулетой, держа ее в правой руке. Потом он увел быка на середину арены, так как быку, видимо, надоели доски барьера. Мигель проделал тот же прием еще два раза, и теперь бык покорно подчинялся его воле. Когда же он в третий раз поднял мулету, ветер подхватил ее, и бык, просунув под нее морду, вскинул Луиса Мигеля на рога и швырнул на песок. Антонио уже бежал к быку, чтобы увести его плащом, но прежде, чем кто-нибудь подоспел на помощь, бык три раза боднул лежащего навзничь Мигеля, и я очень ясно увидел, как правый рог вошел в пах.

Антонио отвлекал быка, а Доминго, спрыгнувший на арену в ту же минуту, как Луис Мигель упал, оттаскивал его подальше от рогов. Доминго, Пепе и бандерильеро подняли его и побежали с ним к барьеру. Мы все помогли поднять его в кальехон и побежали к воротам под трибунами, потом по коридору, ведущему в операционную. Я поддерживал ему голову, Луис Мигель зажимал руками рану, а Доминго большим пальцем надавливал на живот повыше ее. Кровотечения не было, и мы понимали, что рог не задел бедренной артерии.

Луис Мигель был совершенно спокоен и очень вежлив и мил со всеми.

— Благодарю вас, Эрнесто,— сказал он, когда я опустил его голову на подушку, в то время как его раздевали и доктор Тамамес разрезал

---

* Загородка, где может укрыться матадор *(исп.)*.

его штаны вокруг раны. Оказалось, что рана только одна — в паху, с правой стороны. Рана была круглая, около двух дюймов в поперечнике, с синими краями. Кровоизлияние было только внутреннее.

— Смотрите, Маноло,— сказал Луис Мигель доктору Тамамесу. Он дотронулся до живота, над самой раной.— Она начинается вот тут и поднимается выше, вот сюда.— Он пальцем провел траекторию, по которой рог двигался в паху и в нижней части брюшной полости.— Я чувствовал, как он вошел.

— Muchas gracias*,— отрывисто и сухо ответил Тамамес.— Я уж как-нибудь сам разберусь.

В лазарете было душно и жарко, как в печке, и все обливались потом. Подскакивали фотографы, вспыхивал магний, репортеры и любопытные толпились в дверях.

— Сейчас мы приступим к операции,— сказал Тамамес.— Выгоните всех отсюда, Эрнесто, и,— он понизил голос до шепота,— уходите сами.

Мигель уже лежал на столе, и я сказал ему, что приду попозже.

— До скорого, Эрнесто,— сказал он и улыбнулся. Лицо его посерело, лоб покрылся испариной, а улыбка была нежная и ласковая. У двери стояло двое полицейских, а за дверью еще двое.

— Выгоните всех отсюда,— сказал я.— Не впускайте никого. А вы стойте в дверях, но дверь не закрывайте, пусть входит свежий воздух.

Я не имел никакого права приказывать, но им это было неизвестно, и они ждали чьих-нибудь распоряжений. Они взяли под козырек и принялись очищать операционную. Я медленно вышел в коридор, но, как только очутился под трибунами, со всех ног бросился ко входу в кальехон. Над головой снова и снова раздавался восторженный рев, и, когда я поверх красных досок барьера посмотрел на залитую желтым светом арену, я увидел Антонио, который пропускал мимо себя огромного рыжего быка — пропускал так близко, так медленно и плавно взмахивая плащом, как еще никогда не делал на моих глазах.

Ему присудили оба уха, и, когда он подошел к барьеру за своей шляпой, Хуан Луис, у которого накануне мы были в гостях, крикнул ему: «Это чересчур!»

— Как Мигель? — спросил меня Антонио.

Из лазарета сообщили, что рог прорвал мышцы живота и вспорол брюшину, но внутренностей не задел. Луис Мигель еще был под наркозом.

— Обойдется,— сказал я.— Прободения нет. Он еще спит.

— Я сейчас переоденусь, и мы пойдем к нему,— сказал он.

Антонио окружили зрители, они хотели вынести его на руках, а он отбивался и отталкивал их. Но в конце концов они настояли на своем и подняли его на плечи.

Когда мы пришли в лазарет, Луис Мигель был еще очень слаб, но в хорошем настроении, и мы сейчас же ушли, чтобы не утомлять его. Он пошутил по поводу того, что я отдал приказ полицейским, и Доминго сказал, что, когда он очнулся после наркоза, первые его слова были: «Какой замечательный человек был бы Эрнесто, если бы только он умел писать». И все еще в полузабытьи он повторил несколько раз: «Если бы только он умел писать. Хоть бы кто-нибудь выучил его писать». Три дня спустя мы все снова сошлись в мадридской больнице Рубера, где Антонио лежал на третьем этаже, а Луис Мигель—на первом. Две недели спустя состоялась их вторая встреча mano a mano в Малаге.

---

* Премного благодарен *(исп.)*.

В Малагу Антонио приехал за три дня до корриды. Ему не терпелось снова потягаться с Луисом Мигелем, но он не желал ни думать, ни говорить об этом и вообще о бое быков. Он знал, какую пользу принес ему день, проведенный на пляже накануне боя в Валенсии, и мы продолжали в том же духе.

Он хотел поупражняться в стрельбе по летящей цели, которой я научил его, и мы часами предавались этому спорту в оливковой роще. Он хотел, чтобы Хотч выучил его играть в бейсбол, и Хотч с помощью теннисного мяча объяснил ему подачу и показал, как надо отбивать, и очень скоро Антонио подбрасывал мяч до верхушек самых высоких сосен. Они с Хотчем перебрасывались мячами через бассейн для плавания, стараясь так послать мяч, чтобы его невозможно было поймать. Мы часами плавали в бассейне, и Антонио учился, прыгая в воду, во время прыжка отбивать головой мяч, брошенный ему Хотчем.

— Это обыкновенный футбольный трюк,— сказал Хотч, и я перевел его слова.

— Ладно. Давайте в бейсбол,— сказал Антонио.

Он начал с того, что, прыгая в воду, ловил теннисный мяч одной рукой. Научившись делать это без промаха, он стал ловить по мячу в обе руки. Хотч отличался необычайно быстрой реакцией, а руки у него были сильные и ловкие, и мы все трое — он, Антонио и я — забавлялись тем, что бросали друг в друга всем, что попадется. Если во время пикника кому-нибудь из нас требовалась соль, ему бросали солонку. Если кто-нибудь хотел выпить, в него летела бутылка. Мы бросали решительно все и уже изобретали способ, который позволил бы нам бросать на стол стакан вина, не пролив ни капли, как вдруг пришел конец и веселью, и беззаботным завтракам, и долгим уютным обедам, и крепкому освежающему сну после купания — наступил канун боя. Никто и словом не обмолвился о предстоящей корриде, пока Антонио не сказал:

— Одеваться я завтра буду в городе, в отеле.

Это была одна из величайших корrид, когда-либо виденных мною. И Луис Мигель, и Антонио отнеслись к предстоящему бою как к важнейшему событию в своей жизни. Рана, полученная Мигелем в Валенсии, так счастливо оказавшаяся менее тяжелой, чем думали в первую минуту, вернула ему уверенность в себе, поколебленную фантастическим мастерством Антонио и его поистине львиным бесстрашием.

Антонио был ранен в Пальма де Майорка, и это убеждало Луиса Мигеля, что Антонио тоже уязвим, а его работу с последним быком в Валенсии Луис Мигель, к счастью, не видел. Думается мне, что если бы видел, то отказался бы от соперничества. Луису Мигелю деньги были не нужны, хотя он очень любил деньги и то, что на них можно купить. Самое главное, к чему он стремился,— это уверенность, что он величайший из ныне живущих матадоров. На самом деле он уже не был первым, но он был вторым, и в тот день он был подлинно велик.

Антонио ждал боя с той же уверенностью в своих силах, с какой выступал в Валенсии. То, что произошло на Майорке, не имело значения. Он допустил небольшую ошибку, больше этого не случится, а потому обсуждать ее со мной не стоит. Он рассказал бы мне, если бы я спросил его, но я не спрашивал. Он профессиональный матадор и по меньшей мере один раз в сезон совершает ошибку — как это было в Аранхуэсе. Так как он работает почти вплотную к быку, и работает честно, подвергая себя реальной, а не мнимой опасности, то малейшую его ошибку немедля исправляет своими рогами бык. Так как у быков, с которыми он имеет дело, рога не подпилены, то эти быки не лишены способности измерять расстояние, и такой бык может

всадить рог куда пожелает. Поэтому Антонио находил вполне нормальным, что за каждую ошибку он расплачивается раной и попадает в больницу. Он этого ждал и принимал как должное. Но нельзя работать, как он, и делать ошибки. Это он знал. Он совершил небольшую ошибку, понял ее и от души радовался, что она обошлась ему так дешево. Он уже давно решил, что работает лучше Луиса Мигеля. Он недавно доказал свое превосходство в Валенсии, и ему не терпелось снова доказать его в сегодняшнем бою.

Бык, которого убил Луис Мигель, был уже третьим быком, убитым с одного удара. Бык попался нелегкий, и Мигель провел бой превосходно. Он снова обрел умение владеть шпагой и вместе с умением — былую веру в себя. Он подошел к барьеру, снисходительно улыбаясь, и, скромно взяв в руки оба уха и хвост, сделал круг по арене. Прибавьте к этому аплодисменты, музыку и громкое жужжание голосов, не умолкавшее в течение всей корриды. Я заметил, что Луис Мигель осторожно ставит правую ступню, которую отдавил ему его первый бык, впрочем, он этого и не скрывал. Я знал, что правая нога у него болит и он не вполне на нее полагается. Работал он изумительно, и я безмерно восхищался им.

Теперь уже четыре быка были убиты с первого удара, и с каждым быком коррида становилась все более блистательной. За четвертого быка Антонио присудили оба уха, хвост и кусок ноги с копытом. Он обошел арену весело и беззаботно, словно мы все еще резвились у нашего плавательного бассейна. Когда он проходил мимо, я сказал ему: «Брось копыто Хотчу»,— и Антонио, поравнявшись с его местом, высоко подкинул бычью ногу, и Хотч поймал ее одной рукой. Публика шумно вызывала Антонио, и он пригласил Луиса Мигеля и дон Хуана Педро Домека, которому принадлежали быки, выйти вместе с ним.

Очередь теперь была за Луисом Мигелем. Начал он с larga cambiada, то есть, стоя на коленях, подпускал к себе быка так близко, что при каждом взмахе плаща кончик рога почти касался его груди. Бык оказался отличным, и Луис Мигель умело воспользовался этим. Пикадоры хорошо подготовили быка, и Луис Мигель велел поторопиться с бандерильями. Когда он подошел к барьеру, я заметил, что лицо у него очень усталое, но он не обращал внимания на свое самочувствие, не позволял себе хромать и работал со страстным увлечением, словно новичок, только вступающий на поприще матадора.

К концу боя Луис Мигель увел быка на середину арены и проделал классические пассы, держа мулету в левой руке. Чувствовалось, что он очень устал, но работал он уверенно и хорошо. Показав две серии по восемь натуралес, он взял мулету в правую руку — и тут-то, при очередном повороте, обходя Луиса Мигеля со спины, бык поднял его на рога. Я стоял, облокотившись на барьер, и когда Луис Мигель взлетел вверх футов на шесть, если не больше, я решил, что он серьезно ранен. Он лежал на песке, раскинув руки и ноги, мулета и шпага, выроненные им, упали ему на голову. Бык подбирался к нему, стараясь вогнать в него рог, но дважды промахнулся. Все участники боя бежали к Мигелю, размахивая плащами, и на этот раз его брат Пепе, выбежав на арену, оттащил его от рогов.

Он не пролежал и двух минут. Рог не вошел в него, а только подел его между ногами, и он был невредим.

Луис Мигель махнул рукой, приказывая всем отойти, и как ни в чем не бывало продолжал прерванную фаэну. Он повторил прием, во время

которого бык поддел его рогом, потом повторил еще раз, как будто хотел преподать урок и себе, и быку. Потом он проделал другие приемы, точно и отчетливо, словно бык и не подкидывал его. Затем он показал более эффектную и менее опасную работу. Публике это понравилось больше. Но он работал без обмана и не изображал разговора по телефону. Убил он превосходно, вонзив шпагу уверенно и четко, словно никогда в жизни он не убивал иначе, как с первого удара. Ему достались те же трофеи, что и Антонио, и он заслужил их. Он сделал круг по арене, припадая на одну ногу — теперь, когда нога одеревенела, он уже не мог скрывать хромоту,— и вышел раскланиваться на середину, позвав с собой Антонио. Президент распорядился, чтобы и мертвого быка провезли вокруг арены.

Пять быков уже были убиты пятью ударами шпаги. Когда появился последний бык и стихли аплодисменты, Антонио подошел к нему и начал свою плавную, размеренную, колдовскую работу плащом. Каждое его движение публика встречала восторженными криками. Он стоял неподвижно и прямо, только руки его медленно поднимали плащ, и публика наслаждалась зрелищем, не понимая его работы и не разбираясь в ней, но зная, что так он работает всегда, если бык воинственный и храбрый.

В последней стадии боя Антонио показал такую фазну, что дух захватывало каждый раз, когда он томительно медленно пропускал быка под мулетой, ибо, заторопись он хоть самую малость, бык отвернулся бы от красной тряпки и кинулся на него. Этот стиль работы наиболее опасный из всех, и на своем последнем быке Антонио показал совершенный его образец.

Оставалось только одно — убить безукоризненно чисто, без всяких поблажек, вонзить шпагу абсолютно точно, не выбирая места ни чуточку ниже, ни на волосок в сторону, чтобы уменьшить риск натолкнуться на кость. Антонио свернул мулету, нацелился на самую высокую точку между лопатками быка и, перегнувшись через правый рог, низко держа мулету левой рукой, нанес удар. Когда Антонио, выпрямившись, отделился от быка, длинный стальной клинок, вошедший до отказа, уже перерезал аорту. Бык дрогнул, зашатался, перебирая копытами, рухнул, задрав ноги,— и второе mano a mano окончилось.

Важно было то, что соперники провели почти безупречную корриду, не запятнанную ни трюками матадоров, ни темными махинациями антрепренеров или подрядчиков. Плохо было то, что эта коррида едва не кончилась для Луиса Мигеля смертью или непоправимым увечьем. И случилось бы это в безветренный день во время работы с отличным храбрым быком, не имеющим никаких изъянов. Это было очень плохо для такого матадора, как Луис Мигель, поскольку предполагается, что великий матадор убивает быка, а не бык убивает великого матадора, и все это знали, хотя никто об этом не говорил. Соперничество с Антонио чуть не стоило ему жизни в Валенсии и легко могло погубить его в Малаге.

Мы условились встретиться в Бильбао, в отеле Карлтон. Нам было нужно кое-что доделать в новой машине и выполнить все формальности в автомобильном клубе. Антонио заявил, что нисколько не устал. Он чувствует себя превосходно, с удовольствием поспит в машине и предвкушает завтрашний день. Быки ожидаются крупные, рога не будут ни подпилены, ни оструганы — по всему было видно, что он ничуть не сомневается в успехе. Весь год он находился в блестящей форме, и те-

перь, достигнув вершины, был полон непоколебимой веры в свои силы и в свое бессмертие. Ему хотелось именно сейчас выступить в Бильбао, где самая требовательная во всей Испании публика, где самые крупные быки и где зрители так строги и придирчивы, что после их суждения о состязании между двумя матадорами никто уже не станет говорить о каких-либо трюках или махинациях с рогами. Если выступит и Луис Мигель — отлично. Но это опасная затея.

Будь антрепренером Луиса Мигеля по-прежнему его отец — человек умный, рассудительный, понимающий, на чьей стороне преимущество,— а не милейшие братья Мигеля, которые получали десять процентов и от него, и от Антонио с каждой корриды, где они выступали вдвоем, он никогда не поехал бы в Бильбао навстречу катастрофе.

Два дня в Бильбао с утра шел дождь, но к началу корриды прояснилось. Арена там хорошо впитывает влагу; те, кто ее строили, учитывали особенности местного климата и знали, какой песок брать. Даже на этот раз под ногами было сыро, но не скользко, хотя еще в полдень казалось, что корриду придется отменить из-за дождя. Потом выглянуло солнце, но по небу все время тянулись тучи, и парило так, что трудно было дышать.

Луис Мигель после лечения Тамамеса поправился, но вид у него был тоскливый и озабоченный. Ровно год назад после жестоких страданий умер от рака его отец, и Луис Мигель думал об этом и еще о многом другом. Он держался с изысканной учтивостью, как всегда, но невзгоды укротили его. Он знал, что был на волоске от смерти во время последнего своего выступления вместе с Антонио. Он знал, что этим палхасским быкам далеко до прежних палхасских быков, которые были лучше миурских, и знал, что Бильбао — не Линарес. Но слишком многое складывалось не в его пользу за последнее время, и счастье явно изменяло ему. Одно дело — чувствовать себя номером первым в своей профессии и верить в это всеми силами души. И совсем другое, если, выходя на арену, чтобы доказать это, ты каждый раз едва остаешься жив и знаешь, что только твои богатые и могущественные друзья, несколько красивых женщин да Пабло Пикассо, который уже лет двадцать пять не видел боя быков в Испании, сохраняют веру в тебя. Луису Мигелю важней всего было верить самому. Усомнившиеся вернутся, если веришь сам и можешь подтвердить делом то, во что веришь. Больному, израненному, ему это было сейчас нелегко. Но он пошел на это в надежде, что вновь сможет повторить чудо, сотворенное им в Малаге.

Первый бык Луиса Мигеля выбежал на арену стремительно. Это было красивое животное с хорошими рогами, казавшееся крупнее, чем было на самом деле. Луис Мигель перехватил его плащом и сделал несколько отличных пассов. Его первое китэ было безукоризненным. Казалось, больная нога ничуть ему не мешает, но когда он подошел к барьеру, я увидел у него на лице тоску. Он развертывал бой планомерно и обдуманно и сам вывел быка за белую линию, готовя его к столкновению с пикадорами.

С мулетой он работал почти вплотную к быку, начав с очень недурных пассов правой рукой. Чем дальше, тем уверенней он чувствовал себя с быком, и пассы его становились все лучше и лучше. Я с тревогой следил за его ногами, но все как будто шло хорошо. Он переложил мулету в левую руку и выполнил подряд несколько натуралес. Они сделали бы честь любому другому матадору, но это было совсем не то, что в Малаге, и аплодисменты раздавались только в самых дорогих рядах. По требованию публики заиграл оркестр, и Луис Мигель сделал несколько пассов, стоя вполоборота к быку,— из тех, что были введены в моду

Манолете, причем сделал очень хорошо. Потом двумя-тремя плавными взмахами мулеты он заставил быка остановиться с поднятой головой, словно под действием гипнотической силы, и опустился перед ним на колени в «свободной зоне» — десятифутовом пространстве, которое не попадает в поле зрения быка, если тот стоит, задрав голову.

Одним зрителям это нравилось, другим нет. Антонио успел уже у многих отбить вкус к эффектам такого рода. Луис Мигель легко вскочил, не опираясь о древко мулеты,— нога не подвела. Губы его были поджаты, на лице читалось разочарование. Он убил быка прямым, уверенным ударом. Острие шпаги вонзилось в верхнюю точку, но у быка вдруг потекла изо рта кровь. Он сразу свалился на песок, и уха Мигель не получил. На мой взгляд, удар был нанесен точно, а что касается крови, то это часто бывает, если задета артерия. Хлопали много, и Мигель выходил раскланиваться. Он был мрачен и не улыбался. Но, должно быть, с ногой все обстояло хорошо, иначе он бы не рискнул стать на колени. Мы смеялись над лечением ультразвуком, а оно, видно, и в самом деле прекратило воспалительный процесс. Мигель утратил былую способность подчинять быка своей воле, и его работе недоставало прежней грации и непринужденности, в нем чувствовалась тоска, которая передавалась и другим. Дело тут было не в ноге. Дело было в чем-то гораздо более серьезном.

Выбежал бык Антонио. Он был почти совершенно такой же, как бык Луиса Мигеля, и по росту и по всем статям. Началась та исполненная красоты и достоинства работа с плащом, которая изумляла нас весь сезон, и по ропоту толпы, перемежавшемуся внезапными выкриками, можно было угадать, что ею овладевает прежний восторг. С лошадьми бык сразу обнаружил свою прыть, но, когда он кинулся вторично, один из братьев Салас ткнул его копьем туда, куда уже раз вонзился острый наконечник. Это вышло невольно, просто пикадор метил каждый раз в наиболее уязвимое место. Но Антонио пришел в ярость, потому что оплошность грозила штрафом и он специально предупреждал своих пикадоров, чтобы они были поосторожнее.

После первой же пары бандерилий Антонио испросил разрешения перейти к работе с мулетой. На расстоянии бык хорошо видел, и Антонио подманил его к себе, а потом плавными, рассчитанными до секунды движениями руки, держащей мулету, выполнил ряд медленных, безукоризненно четких натуралес. Закончил он пассом, при котором рога прошли у самой его груди, и я увидел, как красный квадрат мулеты взвился над рогами и плавно скользнул вдоль шеи, загривка, спины и хвоста быка.

Убивая, Антонио вонзил шпагу под прямым углом, и она вошла по самый эфес. Удар пришелся всего лишь дюйма на полтора левее верхней точки, и, подняв правую руку победным жестом, Антонио замер перед быком, не сводя с него своих черных цыганских глаз; победный жест, горделивый изгиб тела — все это было рассчитано на толпу, но глаза следили за быком пытливо, как глаза хирурга,— и вот задние ноги быка дрогнули, потом вся туша стала оседать, и наконец он, мертвый, рухнул на песок.

Тогда Антонио обернулся к толпе, и во взгляде его уже не было пытливости хирурга, а лицо светилось радостью удовлетворения. Матадор никогда не видит создаваемого им шедевра. Он не может в нем ничего исправить, как художник или писатель. Не может услышать его, как музыкант. Он полагается только на свое чувство и на реакцию публики. Но если он чувствует и знает, что его работа хороша, то чувство настолько захватывает его, что все остальное перестает существовать. Он

весь подчинен этому чувству, хотя в то же время подчиняет его себе, и чем ближе к быку он работает, чем размеренней и медлительней его движения в своей законченной, классической красоте, тем больше опасность. Но по мере того как разнообразятся и множатся образцы его мастерства, крепнет его уверенность. Творя свой шедевр, он помнит, что все зависит от умения и от того, насколько он знает животное, с которым имеет дело. Но он не должен подавать виду, что помнит об этом, иначе скажут, что он работает без огня. Об Антонио этого сказать нельзя было, и зрители были побеждены им все до одного. Он смотрел на них скромно, но без ложного смирения, признавая свою победу, и, когда он обходил арену с бычьим ухом в руках и жители Бильбао, города, который он любил, ряд за рядом вставали при его приближении, он чувствовал, что все сердца принадлежат ему, и был счастлив этим. Я оглянулся на Мигеля, смотревшего из-за барьера куда-то в пустоту, и спросил себя: будет ли этот день решающим или придется ждать еще?

Второй бык Луиса Мигеля был черный, немного крупнее предыдущего. Рога у него были хорошие, и выбежал он напористо и бодро. Луис Мигель подошел к нему с плащом, сделал четыре медленных, тоскливых вероники и закончил полувероникой, обводя быка вокруг себя. Черный бык медленно и покорно кружил за плащом, мрачный и тоскливый, как траурная повязка, которую Луис Мигель целый год носил на рукаве в память отца.

Но Луис Мигель не дал тоске одолеть себя. Он всегда отлично владел стратегией боя и умел рассчитывать в нем каждый шаг — это составляло одно из его главных достоинств. Он намерен был выжать из своего быка все, что можно, а потому он увел его плащом и заставил остановиться в том именно месте, откуда бык, по его замыслу, должен был кинуться на пикадора. Пикадор выехал вперед, держа копье наготове, и бык кинулся. Пикадор нанес удар в тот самый момент, когда бык боднул лошадь, потом он сделал движение, словно хотел выровнять копье, но тут бык кинулся снова, и Луис Мигель увел его плащом и опять сделал четыре медленных тоскливых вероники с тем же торжественным финалом.

Потом он привел быка на прежнее место, чтобы тот повторил атаку. Это один из самых обычных приемов в корриде, и Луис Мигель применял его тысячи раз. Резкий взмах плаща должен был заставить быка замереть, как только его передние ноги окажутся за линией круга. Но плащ не остановил быка, и, когда он кинулся, Мигель, стоявший лицом к нему и спиной к лошади и всаднику, уже занесшему копье для удара, очутился у него на пути, и бык всадил левый рог Луису Мигелю в бедро и с силой швырнул его в сторону лошади. Пикадор вонзил копье, прежде чем Луис Мигель успел упасть. Бык рванулся вперед и, когда Луис Мигель уже лежал на песке, боднул его еще несколько раз. Доминго, брат Луиса, перепрыгнул через барьер, спеша оттащить его. Антонио и Хаиме Остос оба уже бросились вперед со своими плащами, чтобы увести быка. Все понимали, что Луис Мигель ранен тяжело и опасно, что, вероятно, у него задета брюшная полость. Многим рана казалась смертельной. И это несомненно было бы так, если бы рог, пройдя насквозь, пригвоздил его к покрытой брезентом спине лошади. Когда Луиса Мигеля несли по кальехону, лицо у него было совсем серое, он кусал губы и руками зажимал низ живота.

Полиция никого не выпускала в проход, и с наших мест в первом ряду было невозможно пробраться к лазарету, поэтому я остался и смотрел, как Антонио продолжает работу с быком Мигеля.

Он выступил на арену спокойный и хладнокровный, как всегда, и

работал с быком, только что ранившим Мигеля, в той же красивой, исполненной достоинства манере, в какой провел свой предыдущий бой. Раздались аплодисменты, заиграла музыка. Антонио увлекся и с каждым пассом подпускал быка ближе и ближе. Наконец он сделал великолепную фаэну и, не дав быку опомниться, нанес смертельный удар, вонзив шпагу дюйма на два в сторону от самой высокой точки. Толпа бурно аплодировала. Но он знал, что поторопился, и потому не испытывал ни удовлетворения, ни гордости. Придется исправить дело в следующем бою, думал он.

Из лазарета дошла весть, что рог угодил Мигелю в пах как раз на месте старой, валенсийской раны. Брюшная полость была задета, но повреждены ли внутренние органы — еще не было известно. Луису Мигелю дали наркоз и приступили к операции.

Между тем на арене появился бык Антонио. Он был крупнее всех прежних. У него были хорошие рога, но он не казался особенно воинственным и бежал неторопливой рысцой, поглядывая по сторонам с довольно равнодушным видом. Как только Хуан взмахнул перед ним плащом, он отпрянул вбок, перескочил через барьер и стал метаться в проходе, пока, нырнув в открытые ворота, не очутился опять на арене. Но с появлением пикадоров он обнаружил неожиданную прыть, яростно кидаясь на лошадей. Пикадоры хорошо работали, и, когда бык, упираясь копытами в песок, упрямо лез вперед, стальной наконечник копья глубоко вонзился в него. Антонио удалось отвлечь его плащом, и дальше он работал с ним так, словно это был обыкновенный бык, без всяких изъянов. Он до миллиметра рассчитывал каждый его наскок и действовал плащом на основе этого расчета, твердо и неуклонно овладевая положением. Но публика видела лишь обычные плавные взмахи плаща, совершаемые как по волшебству, без всяких усилий. Когда Хаиме перехватил быка своим плащом, бык рассвирепел, и стало ясно, что если он выйдет из подчинения, то может быть очень опасным. Но Антонио не давал ему выйти из подчинения, все время уча его и воспитывая.

Когда дело дошло до бандерилий, бык в полной мере показал себя трудным и опасным противником, и я весь взмок от нетерпеливого ожидания, когда наконец Антонио возьмется за мулету и шпагу. Антонио и сам был в нетерпении. Я это видел, хотя с моего места мне не были слышны отрывистые замечания, которые он бросал Ферреру и Хони.

Бык нравился ему, несмотря на все проделки с бандерильями, и, когда Антонио встал против него с мулетой, он знал об этом быке все, что ему нужно было знать. Он подманил его пассом справа и, не отрывая ног от песка арены, трижды заставил тяжелую черную тушу промчаться мимо, почти касаясь его груди. Ни один матадор не мог бы рассчитывать на хорошую фаэну с таким быком, но Антонио умел предвидеть каждое движение животного и твердо знал, что делать, чтобы преодолеть его нерешительность и нервозность.

Под звуки музыки, под гул толпы, восторженными криками встречавшей каждый новый пасс и взрывом аплодисментов откликавшейся на его завершение, Антонио проделал с этим грузным, беспокойным, неподатливым и, в сущности, никчемным животным всю серию безукоризненных по красоте классических приемов, возможных только с первоклассным быком. Он пропускал его мимо себя так близко, что даже просвета не оставалось между рогами и шитьем куртки. Он поджидал его, не пытаясь умерить его разбег, и по мановению руки, державшей красный квадрат ткани, тяжелая туша быка и гибкое стройное человеческое тело сплетались в сложной фигуре движения, подчиненные единому ритму. Еще мановение, и черная туша уже снова рвалась вперед, вы-

ставив рога, несущие смерть,— заключительная фигура и самая опасная из всех. Видя, как он снова и снова повторяет это пасе де печо, я понял его замысел. Все это было точно великолепная музыка, точно поэма о быке, которую он писал у нас на глазах; но это еще не был конец. Он готовил быка, намереваясь убить его способом ресибиендо.

Только это одно ему и оставалось сделать в Бильбао. Кроме этого он сделал уже все. С плащом он превзошел то, что прежде казалось мне вершиной искусства и вдохновения. С мулетой работал так умно и красиво, как никто еще не работал до него. Убил один раз хорошо, другой — неплохо, третий — не слишком хорошо. Теперь, после этой, последней, фаэны, заставившей публику почувствовать, что время остановилось и в мире нет больше ничего, кроме зрелища на арене, ему оставалось лишь одно: убить с тем же мастерством.

Наиболее искусный способ убить быка — это так называемое ресибиендо. Этот способ самый древний, самый опасный и самый красивый, потому что матадор не бросается на быка, а, стоя на месте, вызывает его, и, когда бык кидается, левой рукой подставляет ему мулету, а правой вонзает шпагу в загривок. Опасен он потому, что, если матадор не сумеет приковать внимание быка к мулете, бык может поднять голову и нанести рану в грудь. При обычном способе, когда матадор бросается на быка, то в случае, если бык поднимет голову, рог вонзится в правую ляжку. Для безукоризненного ресибиендо требуется, чтобы матадор ждал до тех пор, когда бык окажется так близко, что еще дюйм или два — и рог достанет его. Если он откинется назад или слишком далеко отведет мулету, шпага войдет боком.

Во время долгих ночных переездов мы много говорили об этом способе и решили, что для Антонио, с его сильной левой рукой, в самом приеме нет ничего трудного. Вся трудность заключается в опасности. Малейший промах — и матадор рисковал получить удар в грудь, подобный удару кинжала, причем кинжал был бы толщиной с палку от метлы, а удар нанесен со всей силой шейных мышц быка, которая достаточна для того, чтобы опрокинуть лошадь или расколоть двухдюймовые доски барьера. Иногда концы рогов такие острые, что, словно бритвой, разрезают шелковую ткань плаща. Иногда концы рогов расщеплены, и любая рана, нанесенная таким рогом, может оказаться шириной с ладонь. Ничего в этом нет трудного, если можешь спокойно ждать приближения наставленных прямо на тебя рогов, зная, что ты должен ждать до тех пор, пока не останется никаких сомнений, что если бык, почувствовав, как в него входит стальной клинок, поднимет голову, то рог ударит тебя в грудь. Решительно ничего трудного, говорили мы в один голос.

Итак, Антонио подтянулся, нацелился шпагой и, выставив левое колено, поманил быка мулетой. Огромное животное кинулось, шпага наткнулась на кость между его лопатками, Антонио нажал на эфес, шпага согнулась, Антонио отделился от быка, взмахнул мулетой, и бык проскочил мимо.

Никто в наше время не отваживается повторить ресибиендо. Это искусство ушло в прошлое вместе с Педро Ромеро, другим великим тореро из Ронды, который жил двести лет тому назад. Но Антонио решил добиваться своего, пока бык будет в состоянии нападать. Поэтому он опять поставил быка против себя, нацелился, опять поманил его, выставив колено и взмахнув мулетой, опять подождал до той секунды, когда рога ударили бы его в грудь, подними бык голову. Опять шпага наткнулась на кость, опять Антонио отделился от быка и опять взмахом мулеты отвел от себя рога.

Теперь бык стал медлительней, но Антонио знал, что еще один раз он может заставить его кинуться. Он обязан был знать это, но, кроме него, никто этого не знал, и зрители, глядя на Антонио, не верили своим глазам. Для того чтобы закончить бой с триумфом, Антонио достаточно было бы, не подвергая себя чрезмерной опасности, нанести вполне приемлемый удар шпагой. Но Антонио словно держал ответ за всю свою жизнь, за все случаи, когда он, нанося удар, позволил себе ту или иную поблажку; а таких случаев было немало. Этому быку он дважды подставлял грудь, и ничто не мешало быку всадить в нее рога, а сейчас подставит в третий раз. Он мог уже дважды ударить шпагой чуть пониже или в сторону, и никто не осудил бы его, потому что при ресибиендо это вполне допустимо. Он знал место, куда шпага входит легко и свободно, а удар все же считается хорошим, и во всяком случае отнюдь не плохим. За такие удары большей частью и награждают ухом в современном бое быков. Но сегодня — к черту это. Сегодня он расплатится за каждую такую поблажку.

Он поставил быка против себя, и в цирке стало так тихо, что я услышал, как позади меня щелкнул веер. Антонио нацелился, согнул левое колено, поманил быка мулетой — бык кинулся, и в то самое мгновение, когда рога его, подними он голову, ранили бы Антонио в грудь, острие шпаги вошло в загривок быка, и бык рванулся вперед, следуя за красной мулетой, но стальной клинок под ладонью Антонио уже медленно входил в самую высокую точку между лопатками быка. Ноги Антонио не сдвинулись с места, и теперь он слился воедино с быком, и, когда рука его легла на черный загривок, рог уже миновал его грудь и бык был мертв. Но он этого еще не знал и смотрел на Антонио, который стоял перед ним, подняв руку,— не с торжеством, а словно в знак прощания. Я знал, о чем Антонио думает, но в первую минуту я плохо видел его лицо. Бык тоже не мог видеть его лицо, но это было очень странное, дружелюбное лицо, и я еще не встречал более странного матадора, потому что лицо его выражало сострадание, а состраданию нет места на арене. Теперь бык уже понял, что он мертв, ноги у него подогнулись, глаза остекленели, и он рухнул на песок.

Так кончился в тот год поединок Антонио с Луисом Мигелем. Для тех, кто присутствовали на корриде в Бильбао, подлинного соперничества между ними уже не существовало. Вопрос был решен. Оно могло возобновиться, но чисто формально. На бумаге, или ради денег, или чтобы привлечь публику в латиноамериканских странах. Но не было больше вопроса о превосходстве для тех, кто видели их на арене, в особенности для тех, кто видели Антонио в Бильбао. Разумеется, можно было предположить, что Антонио превзошел Луиса Мигеля в Бильбао только потому, что у Мигеля болела нога. На этом предположении, вероятно, можно было бы нажить деньги. Но повторить такой опыт — перед настоящей публикой, на испанской арене, где будут настоящие быки с настоящими рогами, было бы не только опасно, но смертоубийственно. С этим было покончено, и я очень обрадовался, когда из операционной сообщили, что, хотя Луис Мигель ранен тяжело, рог, как и в прошлый раз, не задел внутренних органов.

Неважно, сколько бычьих ушей досталось Антонио. За три корриды в Бильбао он получил семь. В городе с более восторженной публикой его наградили бы всем, что только можно отрезать у быка. Важно было то, что он совершил. Никто из матадоров еще не совершал столько за одну ферию в самом взыскательном к бою быков испанском городе, а под его ресибиендо в последний день, по окончании фаэны, которую нельзя ни с чем сравнивать, потому что она не походила ни на чью

другую и не вызывала в памяти ни единого имени ни в прошлом, ни в настоящем, мог бы подписаться другой великий матадор из Ронды — Педро Ромеро.

Как только кончилась коррида в Бильбао и Антонио переоделся, мы поехали проведать Луиса Мигеля. Машину вел Антонио. Он все еще был под впечатлением боя, и мы говорили о его работе и в номере гостиницы и сидя в машине.

— Откуда ты знал, что у него хватит пороху кинуться во второй и в третий раз?

— Просто знал,— ответил он.— Как вообще что-нибудь знаешь?

— Но как ты мог это увидеть?

— Я очень хорошо изучил его.

— Уши?

— Не только уши — все. Я тебя знаю. Ты меня знаешь. Вот так. А ты разве не думал, что он кинется?

— Конечно, думал. Но я сидел на трибуне, это очень далеко.

— Всего-то шесть или восемь футов, а кажется чуть не с милю,— сказал он.— Ты уж извини. Теперь ты до конца сезона всегда будешь в кальехоне со мной. Только в Бильбао это не удалось.

— Я не хочу быть обузой.

— Ты не можешь быть обузой,— сказал он.— Ты мой компаньон. Ну как, ты доволен?

— Не остри. А ты?

— Да,— ответил он.— Во-первых — в Бильбао. Во-вторых — никаких трюков. Sin trucos.

Луис Мигель очень мучился на своей койке в больничной палате. Рог вошел в еще не зарубцевавшуюся рану, полученную в Валенсии, вспорол шов и проник в брюшную полость. В палате находилось человек шесть, и Луис Мигель, превозмогая боль, был очень любезен со всеми. Его жена и старшая сестра должны были ночью прилететь из Мадрида.

— Мне очень жаль, что я не мог прийти в лазарет,— сказал я.— Как дела?

— Так себе, Эрнесто,— сказал он очень тихо.

— Маноло вам поможет.

Он ласково улыбнулся.

— Уже помог,— сказал он.

— Может быть, увести всех отсюда?

— Бедняги,— сказал он.— Вы так ловко их уводите. Мне вас не хватало.

— Увидимся в Мадриде,— сказал я.— Может быть, если мы уйдем, хоть кто-нибудь из них тоже уйдет.

— Мы так эффектно получаемся все вместе на фотографиях.

— Увидимся в отеле Рубер,— сказал я. Рубер — мадридская больница.

— Я оставил номер за собой,— сказал Луис Мигель.

Бьет последний час колониализма!

Деятели культуры о Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий и Обращении к народам всего мира

Рене Депестр

ДОЛГ ЛИТЕРАТОРОВ

В 1960 году в мире было две весны: одна, как и обычно, началась в конце апреля. а другую принесло народам Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих партий в ноябре. Это было весеннее половодье великих идей, волнующих наш век: борьба за национальную независимость, против империализма, за мир, за прогресс и социализм. В этом основополагающем документе предстают в их истинном свете все проблемы нашей эпохи, отвечающие извечным чаяниям народов. В первой главе Заявления содержится важнейшее положение, которое выражено одной лишь фразой, полной весеннего блеска и, несомненно, принадлежащей к самым лучшим высказываниям, которые знал страстный и скорбный язык истории человечества: «Главная отличительная черта нашего времени состоит в том, что мировая социалистическая система превращается в решающий фактор развития человеческого общества». Велик тот день, когда могли быть произнесены столь величественные слова. Веками миллионы людей с пламенным сердцем и чистой душой, полной любви и стремления к прогрессу, проливали кровь и пот во имя Человека и его благоденствия, во имя мира и процветания, и это определяло развитие общественных и личных взаимоотношений между людьми.

До Великой Октябрьской революции лишь надежда теплилась в сердцах людей. Но победа Ленина позволила воплотить эту надежду в жизнь, сделать ее стимулом развития социалистической промышленности и науки, поставленной на службу материальным и духовным нуждам людей.

Империализм, бесспорно, играл преобладающую роль в общественной жизни народов в тот момент, когда Ленин с таким глубоким провидением анализировал его природу. Империализм решал, быть войне или миру на земле, решал судьбы миллионов людей. Он диктовал свои законы. Он мог безнаказанно посылать свои военные корабли к городам, расположенным за тысячи километров от его баз, и народ, которому он угрожал, вынужден был склониться перед жестоким приказом сильнейшего. Идеология империализма, как и его материальная сила, владычествовала в мире науки, искусства и литературы. Октябрьская революция нанесла первый исторический удар господству империализма в международной жизни. Но в 1939 году социализм был еще недостаточно могуч, чтобы предотвратить империалистическую войну. Его голос не был настолько знаком и понятен во всех уголках земного шара, чтобы убедить угнетенных всех континентов, что нищета, неграмотность, разобщенность, покорность, война вовсе не историческая закономерность.

С тех пор к социализму пришли свежие силы, молодые, стремительные. Экономические успехи и технический прогресс в СССР убедительно свидетельствовали о превосходстве социалистической системы над хаосом и анархией в мире капитала. Советская экономика шла вперед семимильными шагами, а в странах Восточной Европы, освобожденных победоносной Красной Армией, народная власть расширила сферу действия социализма. В Азии после длительной и славной борьбы за национальное освобождение широко разлилось народное море, восторжествовала Народная революция в Китае, в свою очередь открывая дорогу социализму. Национально-освободительное движение в Азии и Африке тоже внесло свой вклад в ослабление сил империализма.

Латинская Америка еще оставалась той частью света, где империализм мог бахвалиться своей властью. Но кубинская революция вовлекла народы Латинской Америки в круговорот новой истории, начавшейся в октябре 1917 года. Кубинская революция закладывает основы второго движения за независимость латиноамериканских народов. Первое освободительное движение в Латинской Америке, начало которому положила в 1804 году победа черных рабов Гаити, относится к эпохе французской революции 1789 года, эпохе расцвета буржуазного общества, когда капитализм был решающей силой в развитии человечества.

Нынешнее освободительное движение развивается в эпоху полного разложения буржуазного строя, когда он навсегда лишился господствующего положения. Первая латиноамериканская революция ознаменовала превращение рабовладельческого и феодального общества в капиталистическое, буржуазное; вторая революция поставила на повестку дня переход к социализму, ибо в данный момент только социализм в состоянии разрешить мучительные противоречия зашедшего в тупик общества. Московское Заявление способствовало более четкому и ясному пониманию совокупности проблем, связанных с освободительным движением в Латинской Америке.

Изучение Заявления по-новому освещает все вопросы нашего национального возрождения. Заявление показывает, что только сплоченность всех патриотических сил может обеспечить каждому из наших народов-братьев выход из национального кризиса, порожденного империалистическим проникновением Соединенных Штатов в нашу повседневную жизнь. Заявление затрагивает также проблему участия национальной буржуазии в освободительном движении. Двойственный характер национальной буржуазии — ее стремление к прогрессу и в то же время ее политическая и идеологическая неустойчивость — проанализирован глубоко и ясно. Это позволит борцам в каждой из стран Латинской Америки принять в расчет специфические условия исторического развития, конкретную обстановку, способствующую выявлению противоречий между американским империализмом и силами феодализма, с одной стороны, и различными слоями национальной буржуазии, с другой. Заявление указывает, что реальная возможность перехода к социализму, так же как и формы такого перехода, зависит от конкретной обстановки в борьбе за освобождение в данной стране.

Другой очень важный аспект Заявления касается крушения колониализма. «Крушение системы колониального рабства под натиском национально-освободительного движения — второе по своему историческому значению явление после образования мировой системы социализма». Нет сомнения, что благодаря всемирному влиянию Октябрьской революции и образованию социалистической системы, объединившей многие страны и миллионы людей в Европе и Азии, сегодня и мы, чья кожа черна, можем подняться, чтобы разбить свои оковы о головы угнетателей. Приближается время, когда человек с черной кожей перестанет быть только резчиком камыша, поваром, дворником, кочегаром, чистильщиком сапог, конюхом. Наши умелые руки долго служили лишь тому, чтобы чистить, починять, мыть, наводить сиянье и блеск для удовольствия кучки западных колонизаторов. Уже сейчас, вследствие пробуждения Африки и влияния мировой системы социализма, колониалистскому и расистскому Западу все труднее поддерживать миф о биологической неполноценности нашей расы. Ему все труднее разговорами о цвете нашей кожи и наших расовых особенностях скры-

вать свои коммерческие махинации и погоню за прибылями, что всегда было характерно для колониальных грабителей.

Невозможно раскрыть в одной статье идеологические богатства, заключенные в Московском Заявлении. Эти строки — лишь простые мысли, пришедшие на ум одному черному гаитянскому поэту при чтении текста, где изложены с предельной ясностью жгучие проблемы второй половины двадцатого столетия. Только благодаря Великой Октябрьской революции поэты смогли гораздо легче, чем прежде, включиться в борьбу народа, в историческую борьбу рабочих и крестьян. Революция указала возможность практической переделки мира, и поэты стали действенной силой, выразителями народных стремлений. Черному поэту, присягавшему на верность своему народу на всю жизнь, великий свет Октября 1917 года помогает преодолеть старые противоречия между мечтой и действительностью, раем и адом, искусством и политикой. Черный Орфей нашел в Октябрьской революции, в социалистической революции Эвридику, которую ему нет надобности исступленно разыскивать в глубинах ада, потому что она навеки неразлучна с жизнью, ибо сама она — вечная молодость...

По-видимому, я отклонился от текста Московского Заявления. Возвращаясь непосредственно к нему, я хочу сказать, что, на мой взгляд, в нем очень много поучительного для поэтов, писателей — вообще для художников. Ведь то, что социализм стал решающей силой в развитии человеческого общества, создает объективные условия для блистательного возрождения искусства и литературы во всем мире. Это — событие необычайной культурной значимости. Оно налагает на поэтов и писателей обязанность разъяснить миллионам людей, еще не осознавших смысл событий, величайшую историческую важность возникновения народной власти на большей части земли, ибо недалек тот день, когда морально-политическое единство народов всего мира станет действительностью. Священный долг художников — сказать языком искусства, а язык искусства вовсе не противоречит языку политики, об этих глубочайших преобразованиях, которые близятся к завершению на наших глазах, отразить во всей ее необычайной сложности эпоху зарождения нового, эпоху, движущая сила которой — мы сами. Миллионы мужчин и женщин будут более склонны считать борьбу за мир своей неотложной задачей, когда осознают, что война не носит фатального характера.

Московское Заявление пронизано величайшим оптимизмом, радостью жизни. Поэты, художники должны воспринять этот революционный дух, чтобы ярче разгорелся их собственный огонь. Именно поэты должны возвестить миру, что наступила эпоха Человека, эпоха радости, что все человечество стоит у порога века подлинной свободы. Социализм открывает перед всеми народами солнечные горизонты государства рабочих и крестьян. Буржуазное «счастье» было отрицанием истинного счастья, потому что оно приносило горе большинству общества. Социализм создает объективные условия для всеобщего счастья, которое не вступает в противоречие со счастьем каждого. Люди могут сами создать общественные и личные условия для своего счастья. Слово «свобода» теперь расшифровано для всех. Прежде всего это свобода достойно зарабатывать на жизнь, свобода есть, когда голоден, пить, когда жаждешь, располагать досугом, предаваться здоровым и чистым радостям любви, свобода телесного и духовного развития, свобода мечтать, свобода восхищаться несравненной красотой земли и жизни. Социализм — всеобъемлющее и гармоничное сочетание этих свобод. И в этом — счастье! Прошли те времена, когда буржуазия в великом опьянении 1789 года и Декларации прав человека считала, что она сама может раздавать счастье. Торжествующий коммунизм стал сегодня мерой счастья на земле. Он впервые в истории поставил вопрос о счастье для всех народов без различия цвета кожи. Коммунизм укрепляет веру и братские чувства нынешней молодежи, ее надежды на прочный мир и светлое завтра. Коммунизм — единственный факел, освещающий будущее. Он способствует созданию самых высоких моральных и духовных ценностей, которые каждый день умножают славу Человека. Какой вдохновенный поэт напишет в грядущие времена Гимн Миру, рожденному на наших глазах, кто тот новый Шиллер, который возвестит

единство людей на земле, уже забрезжившее на горизонте и видимое простым глазом? Ведь социализм, как Промегей, принес в мир надежду, радость и красоту.

Да, все это заключено в Московском Заявлении, в этих определениях, в музыке, струящейся между строк, подобно прозрачному горному потоку. Поэты должны высказать то, что таится в глубине этих очищающих вод. Прекрасна эпоха, открывающая дорогу воображению, отваге ума и сердца, чувству юмора, фантазии, нежности, человечности во всех их оттенках, во всем их лучезарном блеске.

В Советском Союзе и социалистических странах созданы условия для полного исчезновения последних пережитков буржуазной идеологии в сознании людей. Моральное и политическое единство советского общества создает прочный фундамент для нравственного совершенствования каждой женщины и каждого мужчины. Новая мораль возвеличивает сильное и гордое сердце человека.

Жизнь, жизнь, слава жизни, свобода! — этот клич помогает нам расправить крылья, мы повторим его, даже если он, как пламя, обожжет нам горло. Пусть несет ветер просторов наш клич освобождения. Это призыв к объединению всех борцов за братство и красоту. Впереди, говорит нам Московское Заявление, над миром занимается заря, впереди — миллионы братьев, миллионы товарищей, рассвет побеждает ночь, великий день социализма озаряет бескрайние дали прекрасной и вечной жизни. Мы навсегда преградим дорогу войне, которая, как адская резинка, может стереть с лица земли миллионы людей, плоды их труда. Ветер свободы наполнит наши паруса, мы поклоняемся жизни, мы приветствуем ее обильные плоды кликами радости, от которых глубокой зимой могут зацвести яблони.

При чтении Московского Заявления у нас дух захватывает от счастья. Это счастье миллионов мужчин и женщин с пламенными сердцами, с руками, готовыми к честному труду, с душой, полной нежности, мудрости и стремления к прекрасному. Вот она, заря!

С. Тураев

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

В огромном наследии замечательного немецкого поэта Иоганнеса Р. Бехера трудно выделить главную тему, назвать основные мотивы — так многогранны его интересы и стремления. Но в этом потоке идей и образов, которыми так щедро отмечены жизнь писателя, его борьба, творчество, нельзя не ощутить необыкновенного волнения и не отметить той особой заботы, которую проявлял Бехер, когда говорил о своем призвании, о роли и значении искусства, о долге и высокой миссии поэта.

Четверть века тому назад Бехер нашел емкие и точные слова в сонете, посвященном Микеланджело:

Вот глыба камня. Сильными руками
Я высекаю человека в ней,
И оживает камень перед нами,
Сверкая теплым мрамором очей
Он не обманет лживыми словами,
Он вызван к жизни волею моей .
Но раз искусство властно над камнями,
Оно способно изменять людей.

(Перевод Ю Корнеева).

В одном ряду с этим сонетом о великом итальянском ваятеле стоят многие другие. Образ сменяется образом, перед нами проходят Данте и Толстой, Рименшнейдер и Маяковский — и каждый добавляет новую грань к тому величественному обобщенному образу художника, мастера, творца, который создает Бехер, как бы продолжая прометеевскую тему одного из самых своих любимых поэтов — Гете.

В последние годы жизни Бехер, подводя итог своим многолетним исканиям, часто выступал с теоретическими работами, среди которых главное место занимают четыре книги: «В защиту поэзии» (1952), «Поэтическое вероисповедание» (1954), «Власть поэзии» (1955) и «Поэтический принцип» (1957). Избранные страницы из всех четырех книг ныне стали доступны советскому читателю — они изданы на русском языке под общим названием «В защиту поэзии» *.

В свободной форме дневниковых записей, отрывков, эскизов Бехер высказывает свои мысли об искусстве и о его месте в жизни. Как внимательный и умный ученик, он обогревает поэтическое наследие и как многоопытный и доброжелательный учитель беседует с современниками, вводит нас в лабораторию творчества, раскрывает секреты мастерства, и — самое главное — художник социалистического реализма, он открывает перспективы нового большого искусства.

Невозможно и пытаться в журнальной статье охватить все богатство идей этой книги большого поэта нашего времени. Можно лишь остановиться на некоторых вопросах, чтобы дать известное представление о том, какими аргументами и от кого Бехер ведет защиту поэзии.

* * *

Совсем недавно на страницах наших газет разгорелся жаркий спор между «физиками» и «лириками». Нашлись люди, которым показалось, что искусство обречено и что человеку, который завтра полетит в космос, уже сегодня едва ли нужны стихи, живопись, музыка.

Иоганнес Бехер задолго до этого спора наметил ясное, бескомпромиссное решение вопроса. По существу, для него и не было дилеммы — останется или не останется

---

* Иоганнес Р. Бехер. В защиту поэзии. Составители Е. Кацева и В. Стеженский Перевод с немецкого Е. Кацевой. Предисловие Т. Мотылевой. М., Изд-во иностранной литературы, 1959.

место для искусства в эпоху феноменальных научных открытий и стремительного технического прогресса. В книге «Власть поэзии» он писал: «Обозначение «век техники» не соответствует основному историческому характеру эпохи; следовало бы говорить «эпоха человека»... ибо 1917 год завершил предысторию человечества и положил начало «царству человека».

Пафос теоретических выступлений Бехера состоит в том, чтобы раскрыть перед современниками безграничные возможности искусства в социалистическом обществе. Для Бехера бесспорно, что не голая техника, не машины сами по себе, не механические роботы торжествуют в двадцатом веке — побеждает человек и вместе с ним все человеческое, а значит, и поэзия!

«Поэзия не только не устарела и отстала — сегодня она более необходима, чем когда бы то ни было»,— писал Бехер в книге «В защиту поэзии». Любопытно, что при этом он сослался на высказывание американца Уолта Уитмена, который почти сто лет тому назад спорил с «физиками»:

«Один выдающийся французский критик считает, что вследствие всепоглощающего движения и научной специализации поэзию не будут больше читать. Но я предвижу как раз обратное. Предстоит возделать новую, гораздо более прочную и широкую область — и именно туда должен «отправиться» поэтический гений будущего».

К вопросу о судьбе искусства в «эпоху техники» Бехер возвращается несколько раз. Если перед взором художника расширяется и углубляется картина вселенной, утверждает он, то это заставляет его лишь по-новому определять отношение человека к природе. Бехер напоминает мысль Гете о том, что надо возвыситься над природой, чтобы не оказаться ниже ее, и приводит слова швейцарского писателя Готфрида Келлера: «Человек может противопоставить себя мощи природы, только опираясь на мощь своего человеческого величия, чтобы не оказаться обезличенным или уничтоженным». Значит, в «эпоху техники» художник должен стремиться еще ярче и полнее раскрыть человеческий характер, иначе говоря, величие человека, создавшего эту удивительную технику. Для этого мало таланта, мастерства, одного желания создать характер. Художник должен обрести твердое место в социальной борьбе. И кто, по словам Бехера, занимает в общественном движении колеблющуюся, шаткую позицию, тому не дано полнокровно воплотить образ человека в его отношении к миру, природе, вселенной.

Бехер был сыном нового века. Современник великих битв и свершений эпохи, он нашел место среди тех, кто шли в авангарде:

...я счастлив в жизни этой,
Затем что в исполинской битве века
Я поднял меч за счастье человека.
(Перевод Ю. Корнеева).

Величие Бехера как поэта и мыслителя определяется тем, что он решал свои эстетические задачи в свете всего всемирно-исторического опыта первой половины двадцатого века.

При этом Бехер был и останется великим национальным немецким поэтом. Говоря о будущем, он всегда думал о своем народе. Отстаивая права поэзии, он защищал его гуманистические традиции. Но и жребий Германии и судьбы ее искусства он осмыслял прежде всего как участник революционной борьбы за счастье человека. И когда в книгу «Поэтический принцип» Бехер вводит эпизод, рассказывающий о гитлеровских лагерях смерти, он подчеркивает прямую связь его с темой книги. Защита поэзии есть защита человека и одна из форм борьбы против варварства империализма. Утверждая поэтический принцип как самый человеческий, Бехер ведет борьбу против всех форм и проявлений современной реакции.

Мысль Бехера близка к словам Луи Арагона: я — поэт и потому — коммунист. Для Бехера, как и для Арагона, коммунизм включает в себя все то высокое, что достижимо человеком, а значит, и поэзию, эстетическое освоение мира. В любом споре о том, есть ли у искусства будущее, Бехер ответил бы просто и кратко: «Я — коммунист, как же я могу усомниться в грядущем торжестве красоты!»

Весь долгий творческий опыт Бехера — пример утверждения активной, преобразующей роли поэзии.

Он никогда не был сторонним наблюдателем, бесстрастным летописцем добра и зла. Поэтический подвиг Бехера — в его партийно-действенном вторжении в жизнь. И художественный опыт, которым делится поэт в своих творческих работах,— опыт поэта-бойца, поэта социалистического реализма.

Неустанно думая о будущем искусстве и каждой своей поэтической строкой устремленный вперед, Бехер много и упорно занимался осмыслением наследия прошлого. Можно сказать, что в бой за поэзию социалистического реализма он идет не один, а при мощной поддержке великих классиков.

Его отношение к художественному наследию прошлого необычайно активно. Он чутко улавливает каждую попытку художника подняться над окружающей его косной средой, открывает в его творчестве такие стороны, которые обращены к будущему. Художники Возрождения влекут его к себе многогранностью своего гения, тем титанизмом, о котором писал Ф Энгельс. Он ищет в их облике те черты, которые он хочет увидеть в поэтах новой формации, участниках битвы за социализм.*

«Все великие эры возрождения человечества проходили под знаком поэзии: поэзия была их провозвестником, поэзия сопровождала их, в поэзии они находили свое истолкование»,— читаем мы в книге «В защиту поэзии». Мысль его глубоко исторична. Он знает, как узок был круг гуманистов Возрождения и какими кричащими противоречиями отмечена эпоха, пришедшая на смену средневековью. Но мечта гуманистов была обращена в будущее Именно поэтому сегодня они — наши спутники и соратники, хотя мечта Рабле и Сервантеса не совпадает с нашей и понятие борьбы за справедливость имеет у нас другой смысл, чем у автора «Божественной комедии». Бехер диалектически осмысляет преемственную связь социалистической культуры с гуманистическим наследием прошлого. Основная мысль его заключается в том, что великие ценности классики на протяжении многих поколений оставались нераскрытыми и недоступными, ибо буржуазное общество было неспособно их освоить. Бехер пишет о трагедии Гете, Шиллера, Гёльдерлина, о беззащитности «немецкого духа» в его неспособности противостоять реакционной власти, невозможности воздействовать на реальный ход немецкой истории. Веймар Гердера и Гете был беспомощен перед юнкерско-королевским Потсдамом. Передовое немецкое искусство всегда несло в себе прекрасную благородную мечту, но оно было при этом трагически бессильно перед реакцией. Эта мысль настойчиво повторяется Бехером. Это не значит, что он отрицает какое-либо воздействие великих поэтов прошлого на своих современников. Но разве Гете не говорил, что всю жизнь он катил камень в гору, а камень вновь и вновь скатывался вниз. В этом было горестное признание того, что фаустовское дерзание было недосягаемо для современного Гете немецкого общества.

В 1955 году, в юбилейной речи, посвященной Фридриху Шиллеру, Бехер привел известные строки поэта из его стихотворения «Начало нового века»:

Красота цветет лишь в песнопенье,
А свобода — в области мечты.

В этом и состояла трагедия великих гуманистов прошлого — свобода оставалась поэтической мечтой. Поэзия не обладала такой силой, чтобы претворить в жизнь эту мечту, а общественные условия не только не способствовали этому, но неизменно душили ее и коверкали.

Только в условиях социалистической Германии становится реальной возможность преодолеть трагический разлад между величием гуманистических идей художников и реальной действительностью.

Одна из парадоксальных, на первый взгляд, идей Бехера состоит в том, что, борясь за новое, социалистическое искусство, возвещая грядущее его торжество, он доказывает неизмеримое превосходство мастеров прошлого. Об этом он говорит прямо в одном из фрагментов книги «В защиту поэзии»:

«Если иные современные художники и философы думают, что превзошли прошлое своим новейшим стилем, то они ошибаются: нет, Грюневальд, Дюрер или Лука Кранах— назовем лишь несколько имен — превзошли нас и находятся далеко-далеко впереди нас, а, к примеру, абстрактное направление искусства лежит позади великих средневековых созданий, но не наоборот».

Та же мысль, в еще более резкой форме, выражена Бехером в юбилейной речи о Гете: «Гете-человек бесконечно превзошел немца, каким тот был до рождения Гете. Мы чувствуем, что он бесконечно превзошел и нас, — и только теперь, открывая его величие, империю, именуемую Гете, мы словно собираемся подняться до него».

---

* Об отношении Бехера к искусству Возрождения интересно пишет Г. Маурер в своей работе «Классическое наследие, декаданс и И. Бехер» "Neue deutsche Literatur", 1960,№ II.

Здесь Бехер, несомненно, допускает преувеличение, которое не должно давать повода к ошибочным толкованиям. Он как бы игнорирует исторически объяснимые слабости великого немецкого поэта, не вспоминает о Гете-филистере, о котором говорил Энгельс, выделяет лишь то огромное, непреходящее, вечное, что связано с именем автора «Фауста». Смысл этого полемического заострения полностью раскрывается в контексте всех рассуждений Бехера. Он состоит в том, чтобы сильнее подчеркнуть идейное убожество современной буржуазной культуры, неспособной уже опереться на наследие тех, кто стояли у ее колыбели.

И за всем этим кроется горячее стремление поставить на службу социалистической революции великие завоевания гуманистической мысли прошлого. Подняться до уровня Гете для Бехера не значит вернуться к Гете. Наоборот, это означает взять Гете с собой, в будущее. Так ярко и полемически остро Бехер реализует ленинскую мысль о необходимости для коммуниста обогатить себя всеми духовными ценностями, которые накопило человечество:

«Мы обращаемся взглядом к прошлому, чтобы познать творения Гете, но, встретившись с его взором, мы словно поднимаемся на крыльях, переносимся из прошлого и сквозь настоящее смотрим в будущее, туда, где творения его обретут свое подлинное воздействие, осуществятся его идеалы».

Так гении прошлого помогают Бехеру в его защите поэзии, в утверждении нового общества, в котором все сокровища искусства будут доступны народу.

«Чтобы оставаться живым, все великое из прошлого нуждается в революционном сегодня»,— резюмирует Бехер.

Мысль о том, что социалистический поэт по-новому развивает все лучшее, что оставили нам в наследие классики, постоянно присутствует и в последних стихах Бехера. В одном из стихотворений сборника «Шаг средины века» (1958) он находит афористически отточенные слова:

И только новое
В предвидении своего совершенства
Может продолжать старое
В его наиболее совершенном выражении.

Любопытно, что, отвечая на вопрос, что такое социалистический реализм, он цитирует не только Брехта, но и Шиллера. Конечно, Бехер понимает, как далека эстетика Шиллера от социалистической. Но он хочет сказать, что и Шиллер мечтал о таком искусстве, которое будет обращено к будущему:

На крыльях отваги
Поднимитесь над ходом нашего времени,
В вашем зеркале уже брезжит
Грядущее столетие!

* * *

Борьба за новое искусство мыслится Бехером как борьба за новое содержание, выраженное в совершенных формах. Исследователи обычно отмечают, что Бехер в своих высказываниях постоянно подчеркивает примат содержания. Для материалистической эстетики эта мысль, понятно, не является новой. Но в трактовке Бехера появляется важный акцент — новое содержание необязательно должно быть выражено в новой форме. Соотношение формы и содержания Бехер при этом трактует весьма своеобразно, причем в его рассуждениях можно найти и некоторые противоречия.

Как известно, ранний период творческого развития самого Бехера был отмечен энергичными поисками новой формы. Бехер-экспрессионист склонен был бунтарски отвергать классическую традицию, ему казалось тогда, что только новая, не похожая на все старое, форма должна соответствовать новому содержанию. Это был, как однажды отметила газета «Зоннтаг», своеобразный «период «бури и натиска» в его поэтической биографии. Было бы неправильно, как это делали некоторые критики, рассматривать экспрессионизм Бехера как огорчительное заблуждение молодости. Такая позиция антиисторична. Экспрессионизм закономерно возник в немецкой литературе в годы, предшествовавшие Ноябрьской революции 1918 года, как выражение стихийного протеста против социального уклада империалистической Германии. И для Иоганнеса Бехера, стоявшего на левом крыле немецкого экспрессионизма, был совершенно логичен тот путь, который он прошел,— от экспрессионистского отрицания буржуазного мира к реалистическому утверждению социалистических идей. За эти годы совершенно изменилось его отношение к поэтической форме.

Настойчивыми поисками новой революционной формы Бехер в свое время был близок Эрвину Пискатору, известному театральному деятелю.

Теперь он спорит с Эрвином Пискатором. Бехер справедливо видит слабость Пискатора в том, что это «понятие эксперимента Пискатор распространяет только на технику, в то время как в действительности великие эксперименты мировой истории предстают пред нами прежде всего как эксперименты в области изменения человеческого общества, человеческой натуры».

Новаторство для Бехера отнюдь не является вопросом только формы. «Новое искусство,— настаивает он,— никогда не начинается с новых форм, новое искусство всегда рождается вместе с новым человеком».

А величие человека составляет мысль, говорит Бехер, ссылаясь на Паскаля. Поэтому критерием настоящего искусства является то большое интеллектуальное содержание, которое оно в себе несет. И Гете, и Шиллер, и Гёльдерлин для Бехера — художники большой мысли. «Выдающийся художник именно потому и оказывается выдающимся, что он является человеком незаурядной мысли (ein hervorragend denkendes Wesen)».

В этом — важнейший аргумент Бехера в споре против тех, кто видят новаторство только в поисках новой формы, забывая, что главная проблема поэтического искусства — проблема мировоззрения, жизни, понимания самой действительности, которую отражает поэт.

Современный прогрессивный художник противостоит упадочному искусству империалистической эпохи прежде всего в сфере мысли, ибо художник социалистического реализма — носитель самого передового мировоззрения эпохи.

Но, неизменно отстаивая приоритет мировоззрения, Бехер не устает повторять, что «речь идет именно о *художнике*», о творчестве. Именно потому, что социалистическое искусство призвано участвовать в решении исторических задач борьбы и созидания, в воспитании нового человека, художник не может не чувствовать огромной ответственности, возложенной на него. И поэтому он призывал: совершенствовать мастерство! Бехер считает недопустимым оправдывать художественную слабость ссылкой на важность темы. В книгу «Власть поэзии» включен фрагмент, озаглавленный «Демонстрация беспринципности», где Бехер резко выступает против вульгарной политизации в вопросах искусства, против прямолинейного отождествления политических позиций и художественного творчества.

В книге «Поэтический принцип» есть интересная запись по поводу последнего произведения немецкого писателя Ганса Мархвицы — «Чугун». Бехер отмечает недостаточно принципиальный и недостаточно смелый характер дискуссии об этом романе. «Наш друг Мархвица,— пишет он,— один из лучших среди нас, совсем не нуждается в «пощаде» или в том, чтобы с ним разговаривали намеками и «вокруг да около».

По мнению Бехера, неоспоримая заслуга Мархвицы состоит в том, что он вступил на целину, «но этой попыткой все и ограничилось». Бехер решительно выступает против тех критиков, которые, умалчивая о художественных недостатках, пускаются в сложные рассуждения о жанре — роман ли это, хроника, репортаж или «смешанная форма всех этих жанров».

«Но самое опасное начинается тогда, когда критика пытается найти теоретическое объяснение или оправдание такому творческому самоотречению, сделать из недостатков и пороков добродетель и преподнести это как достижение теории».

Разумеется, Бехер ведет здесь не абстрактный спор о чистоте жанра. Для него решающим является другой вопрос — в какой мере художественное произведение выполняет активную воспитательную функцию. Весьма существенно, что для Бехера одним из главных критериев подлинно художественного произведения является мастерство создания человеческого образа:

«Кто считает, что можно отказаться от фабулы, или думает обойтись без героя, изобразив героев en masse и тем самым выключив героя, тот отказывается от того, чтобы показать в своем произведении процесс развития человека, человеческие конфликты, а значит, и от воздействия на людей». Об этой записи следует вспомнить потому, что для литературы ГДР и других социалистических стран изображение современника — задача насущная и во многом еще не решенная.

Требовательность, взыскательность, высокая ответственность поэта перед собой и перед обществом пронизывают как лейтмотив все теоретические работы Бехера. Еще четверть века тому назад, в 1936 году, он писал: «Стихотворение — это дерзание».

Бехер призывал не успокаиваться, не злоупотреблять тем доверием, которое социалистическое общество оказывает поэтам, сохранять то творческое беспокойство, которое жило в первых стихотворениях, «быть по-шекспировски одержимыми, как это подобает истинному поэту».

Художественная программа Бехера — программа реализма. В своих книгах Бехер пользуется традиционным образом зеркала; можно вспомнить, что еще Стендаль рассматривал роман как «зеркало, проносимое по большой дороге», зеркало, которое отражает и небесную лазурь и придорожную грязь.

«Бывают зеркала мутные и слепые,— пишет Бехер,— разбитые и кривые, зеркала безжалостные, искренние, всепрощающие, зеркала, которые подчеркивают только все некрасивое и которые не заставишь отразить что-либо хорошее в тебе». Требуя правдивого отображения, Бехер уточняет: сама правда должна отвечать на вопрос: что делать? В эстетике социалистического реализма эта мысль отнюдь не является новой; поэт ищет при этом ответ на другой вопрос: *как* воплотить передовые идеи в искусстве? Поиски этого ответа ведут нас в лабораторию поэтического мастерства. И здесь особенно интересны наблюдения и размышления Бехера об искусстве поэтов прошлого, у которых он призывает учиться. Учиться, но не подражать. Самым любимым, наряду с Гете, поэтом Бехера был Гёльдерлин. Но что значит следовать Гёльдерлину? — спрашивает Бехер. Речь идет не о том, чтобы перенять его ритмы. «Следовать Гёльдерлину — значит сначала попытаться открыть, в чем состоят его отличительные поэтические качества».

В этом анализе «поэтических качеств» у Бехера нет четкой системы. Обычно отдельная мысль иллюстрируется поэтическим примером.

Каждый из этих примеров — будь это Гёльдерлин, Рембо, Келлер или Рильке — раскрывает какую-то грань их поэтического наследия.

В книге «Поэтический принцип» много внимания уделено искусству сонета. Бехер утверждает, что сонет — основная форма поэзии, причем именно такая форма, которая соответствует высокому уровню развития поэтического мастерства. Бехер критически оценивает прежние определения сонета, в том числе считающуюся классической формулу А. Шлегеля. По мнению Бехера, сонет обладает высшей поэтической энергией, ему присущ драматический ход развития, и поэтому на него распространяются законы драмы. Он считает, что сонетная схема исполнена глубокого диалектического смысла, ибо она отражает процесс борьбы противоположностей, столкновение тезиса и антитезиса, разрешающееся в синтезе финальных терцин. Одновременно перед поэтом открывается возможность представить в глубоком слиянии мысль и чувство, истину и красоту. По мнению Бехера, именно чеканная форма сонета, а не свободные ритмы многих поэтов двадцатого века открывают неограниченные возможности для воплощения великих идей эпохи. В частности, в книге «Поэтический принцип» Бехер комментирует свое стихотворение, посвященное Маяковскому, подчеркивая, что его классически строгая форма (стихотворение написано терцинами) полемически направлена против свободного стиха Маяковского и одновременно против собственной поэтической манеры, как она проявилась, например, в его поэме 1930 года «Великий план», также написанной в свободной манере. Можно, конечно, не согласиться с Бехером, когда он утверждает, что форма стиха Рембо, Маяковского, Уитмена, Неруды якобы чужда немецкой поэтической традиции. Это легко опровергнуть, сославшись на Гете-штюрмера или на Брехта.

Но Бехер не абсолютизирует и традиционной формы. Его нельзя, например, просто назвать учеником или последователем того или иного поэта прошлого, в том числе и тех, которых он чаще всего называет. И, конечно, Бехер не налагает запрета на свободные ритмы.

Вопрос о формах стиха, поднятый Бехером, продолжает привлекать внимание поэтов и критиков ГДР. Об этом свидетельствует дискуссия о свободном стихе, которая развернулась в 1960 году на страницах газеты «Зоннтаг» (№№ 34, 41 и др.). Во время этой дискуссии были высказаны разные мнения, но краеугольным камнем всех рассуждений оставалась мысль Бехера о том, что особенности ритма и структура стиха еще не определяют его силы и глубины. Если поэту нечего сказать народу, ему не помогут никакие формальные ухищрения.

Поэтический диапазон Бехера необычайно широк, и в этом он уверенно идет за великими классиками, стремясь на новом этапе возродить их универсальность и всеобъемлемость.

Истинное искусство для Бехера многотонально и многокрасочно. Настоящая большая тема обязательно включает в себя многообразие мира и человеческих отношений. Нет необходимости напоминать, как дорога поэту была идея мира. Бехер приводит слова Томаса Манна о том, что *мир* — категорический императив нашей эпохи. Но именно потому, что тема мира — одна из главных для современного поэта, нельзя только прославлять мир, требовать мира и клеймить поджигателей войны. Борется за мир и тот, кто пишет обо всем, что делает жизнь достойной жизни. «Если нам надлежит научиться служить миру,— пишет Бехер,— то мы одновременно должны учиться жить и давать жизни новое чудесное содержание — для всех. А самым прекрасным из чудес природы и жизни является человек, и потому все искусство и все усилия большого художника состоят в том, чтобы воплощать человека».

Бехера интересуют разные аспекты поэтического восприятия, разные инструменты в большом симфоническом оркестре мировой поэзии, ибо неодинаковыми средствами находит поэт дорогу к сердцу читателя. В связи с этим Бехер даже критически оценивает лозунг «Искусство — оружие», ибо, по его мнению, в новых условиях он недостаточно полно и многогранно выражает мысль о той большой воспитательной роли, которую играет искусство.

«Не обо всем следует говорить громко. Покой, тишина, шепот обладают своим чарующим голосом, своей патетикой, а мир поколебать могут не только бури и землетрясения, но и маленькая песня, тихое слово. Мир прислушивается не только к громкоговорителям, и правда нередко приходит легким шагом, на голубиных лапках».

Нельзя не вспомнить при этом, что «Власть поэзии» начинается интересным фрагментом о песне, которая звучит во мраке. Маленькая, простая, бесхитростная песня — но какая же в ней сила:

«Где-то поют во тьме, и в нас самих рассеивается тьма и счастливой улыбкой вспыхивает звезда. Это звезда человеческого общения, что загорается в нас. Это значит, что мы не одни в мире, не одиноки и во мраке...»

Так поэтически проникновенно варьирует Бехер главную тему своей книги.

Но в работах Бехера интересно не только «главное». Они богаты многообразными наблюдениями, яркими, тонко подмеченными деталями, какие нельзя найти в самых фундаментальных курсах теории литературы и которые естественны в книгах, написанных большим поэтом. Вот почему так жаль, что книга «В защиту поэзии» издана на русском языке в сравнительно небольшом объеме; хотелось бы видеть сборник более полным, за его пределами остались заметки, которые позволяют постигнуть многогранность мысли поэта и которые дороги нам ходом неповторимой бехеровской мысли.

Можно привести примеры, когда Бехер стремится проследить рождение образа в живом потоке поэтической речи. Так, Бехер приводит стихотворение Теодора Шторма «Соловей». Стихотворение состоит из трех строф, причем последняя дословно повторяет первую. Но незабываемое очарование стихотворения Бехер видит именно в том, что повторяемая строфа, будучи воспринята после второй, раскрывается теперь в новом, более глубоком смысле. И это означает, что в подлинно поэтическом произведении не может быть простых рефренов, «чистых» повторений. В каждом повторе должен быть заключен какой-то новый оттенок мысли и чувства.

В поисках «тайны» поэтического очарования Бехер нередко обращается к примерам, которые весьма далеки от его собственного восприятия мира, но которые привлекали его внимание какими-либо сторонами — иногда даже по контрасту.

Так, Бехер вспоминает коротенькое стихотворение Рильке — его эпитафию самому себе — «Роза, о чистое противоречие». Бехер отмечает, что скрытый смысл его постигается с трудом, и для того, чтобы ощутить таящееся в этом стихотворении очарование, надо проникнуть в сложный ход мысли Рильке и припомнить трагедию одиночества этого поэта. Он сопоставляет строки Рильке с известным стихотворением Гете «Ночная песня странника». Здесь, казалось бы, не требуется никаких усилий, и поэтические строки легко и просто воспринимаются читателем, но это еще не значит, что глубокий смысл стихотворения лежит на поверхности.

В другом случае та же эпитафия Рильке противопоставлена по контрасту сонету самого Бехера, посвященному памяти недавно убитого молодого борца за мир Филиппа Мюллера. Бехер отстаивает здесь право поэта точно, как лозунг, формулировать мысль, которая должна быть донесена до миллионов читателей.

Ясность и выразительность поэтического языка — постоянное требование зрелого Бехера.

В последние годы он особенно настойчиво боролся против изощренности и усложненности стиля, против снобизма и формалистических фейерверков, нередко прикрывающих нищету духа. В книге «Защита поэзии» прозвучал весьма темпераментный призыв учиться ясности стиля и лаконизму языка у Стендаля. «Стендализировать!» — восклицает поэт; «проходить своего рода курс лечения Стендалем (Stendhalkur), чтобы внутренне себя пронизать светом, прояснить и глубоко постигнуть, что самым найсовременнейшим (das Moderntse vom Modernen) всегда было, есть и будет одно: писать понятным, чистым, человеческим стилем».

* * *

Тружеником и бойцом ушел от нас два года тому назад Иоганнес Бехер. И сегодня хочется вспомнить один из самых глубоких и проникновенных его сонетов «Смерть Гете». Великий немецкий поэт и в час смерти предстает неутомимым, деятельным. Он пишет до последнего мгновения, пока не остановилось сердце:

Закончил. Точку ставит он. И сразу
Свисает вниз рука, утомлена,
И снова пишет, чтобы запись стала
Понятна всем. Подчеркивает фразу,
Чтоб мысль была особенно ясна.
Он отошел. Рука еще писала.

(Перевод Ю Корнеева)

Бехер завещал нам свой опыт, свою борьбу, свои художественные искания и — прежде всего — свою горячую веру в будущее, в грядущее царство поэзии, которое утвердится в коммунистическом завтра.

Богомил Нонев

В ОТВЕТЕ ЗА СУДЬБЫ ЭПОХИ

(Заметки писателя)

В своем очерке «По Союзу Советов» Горький рассказывал, как в дни революции 1917 года он встретился с одним солдатом и спросил, откуда тот родом. Солдат ответил: «...Я — вот с этой самой земли,— ну? Солдат, как видишь... Разбудили, проснулся. И я тебе, господин в шляпе, прямо скажу: землю мы обязательно в свои руки возьмем — обязательно! И все на ней перестроим...

— Круглая будет, как арбуз,— насмешливо вставил другой господин в кепке.

— Будет! — утвердил солдат.

— Горы-то сроете?

— А — что? Помешают, и горы сроем.

— Реки-то вспять потекут?

— И потекут, куда укажем. Что смеешься, барин?»

Этот широко известный эпизод хочется еще раз вспомнить сегодня. Разговор о судьбах человечества невозможен ныне без учета свершений Великой Октябрьской социалистической революции, опрокинувшей все устои старого мира, положившей начало эре социализма.

Первая социалистическая страна стала родиной не только неведомого до тех пор колхозного строя, невиданных темпов и размаха индустриального и научного прогресса, но и качественно нового искусства, опирающегося на творческий метод социалистического реализма. Этот метод не был выдуман в кабинетах теоретиков и философов. Он явился закономерным обобщением практики искусства, живой и развивающейся творческой мысли художников, оказавшихся лицом к лицу с новыми фактами истории и жизни.

Горький создал «Мать», Серафимович написал «Железный поток», Фурманов — «Чапаева», Маяковский опубликовал свои гневные стихи против капитализма и восторженный гимн отечеству, которое есть, и отечеству, которое будет,— раньше, чем принципы нового метода были провозглашены на Первом съезде советских писателей.

Художественная практика, которая дала советским писателям возможность достичь теоретических обобщений, включала в себя не только русскую и советскую литературу. Писатели многих стран, принявшие идеи коммунизма, создавали книги, которыми прокладывали путь глубоко человечному искусству, проникнутому острым социальным пафосом, стремлением к новому художественному выражению, верой в будущее. И в Болгарии «Да будет день» Христо Смирненского и «Септември» Гео Милева, крестьянские рассказы Георгия Караславова и стихи Христо Радевского, «Песни мотора» Николы Вапцарова и рассказы, очерки, стихи еще десятка талантливых мастеров слова дали нам возможность набросать контуры того искусства, которое условно мы называли в то время «новым художественным реализмом».

Таким образом, суждения о методе социалистического реализма основываются не на формулировках — спорных или бесспорных,— не на статьях специалистов по эстетике, а на самих книгах, произведениях, оставивших прочный след в развитии мировой литературы.

Миллионы людей сегодня размышляют, тревожатся, радуются, читая произведения литературы социалистического реализма. Это и есть самое главное доказательство жизненности и силы нового творческого метода.

Настоящее большое искусство никогда не было безразлично к передовым идеям. Значительный художник — всегда мыслитель, его творчество всегда содержит оценку мира, в котором он живет. И когда мы вглядываемся в непреходящие образцы искусства прошлого, то видим, что истинно великие творения всех времен и народов выражали идеи, созвучные передовым тенденциям эпохи.

Много лет тому назад Флобер говорил, что главное для писателя — найти точку опоры в современности. И он — отбросим его теории о «чистом» стиле и бесстрастности писателя — воссоздал с глубоким волнением трагедию определенной эпохи в «Воспитании чувств», кипение идей, революцию, деградацию буржуазного общества.

Точно так же ищут точки опоры в современности XX века талантливые писатели-реалисты Запада, такие как Стейнбек, Хемингуэй, Колдуэлл, Лакснесс.

О сельскохозяйственном рабочем, зарабатывающем жалкие гроши, невежественном и отупевшем, опутанном сетями жизни и не понимающем, что он является тестом, которое месят господа, мы читаем в «Табачной дороге» Колдуэлла. И, право же, поверим писателю, такие люди живут там, в Соединенных Штатах.

Мы встретимся на страницах другой книги с людьми, чья земля ограблена, чьи сердца горят справедливым гневом и ненавистью И такие люди имеются в Штатах. О них повествует Стейнбек в «Гроздьях гнева».

Голые холмы, бедные села, маленькие людишки, погрязшие в пьянстве, в религиозных предрассудках. Меры добра и зла в социальном плане они найти не могут, ищут ее в сфере религиозной, этической. И такие люди есть; о них рассказывает нам Никос Казандзакис в романе «Христа распинают вновь».

Бескрайние снежные холмы, холодный ветер, покрытые льдом озера. Овцы и олени. Одинокие домики, занесенные снегом. И люди. Грубые, первобытные, жестокие. Жизнь сурова: нужно сохранять равновесие в голоде, холоде, нищете, жить как-нибудь. Это Халлдор Лакснесс и его «Самостоятельные люди».

Солнце, бескрайняя ширь океана, лодки и рыбаки. Контрабандисты и бездельники, которые ищут острых ощущений. Героя зовут Гарри Морган. Гарри не хочет иметь больше того, что ему необходимо, чтобы он, Мэри и дети жили хорошо. Но для того чтобы это иметь, нужно перевозить контрабандой виски, перевозить бандитов и в непосильной борьбе с ними погибнуть. Мэри проводит бессонную ночь в раздумье: «Как прожить ночь, если не можешь уснуть? Наверно, в конце концов узнаешь и это, узнаешь ведь, как бывает, когда теряешь мужа. Наверно, узнаешь в конце концов. В этой проклятой жизни все узнаешь.. Просто внутри все умирает, и тогда все очень легко. Становишься мертвая, такая, как большинство людей почти всю жизнь...» Так думает жена Гарри Моргана о смелом муже, сильном муже, добром муже. Но его нет. Он погиб в жестокой борьбе ради того, чтобы «иметь». Обо всем этом рассказывает нам Эрнест Хемингуэй в «Иметь и не иметь».

Колдуэлл, Стейнбек, Казандзакис, Лакснесс, Хемингуэй — современные писатели. И большие писатели. В своих лучших книгах они говорят правду, любят человека, волнуются за его судьбу. Говорят правду о той жизни, в которой сильный убивает слабого, богатый грабит бедного, хитрый обманывает простака. Они показывают жизнь такой, какая она есть. Показывают ее беспощадно искренне, честно, без компромиссов со своей писательской совестью и писательским разумом. Они рассказывают очень талантливо, создают жизненные образы, которые трудно забыть. И вместе с тем от их книг веет таким безнадежным отчаянием, такой безысходной горечью, будто роковое «так было, так есть и так будет» должно подавить протест беспокойного сердца, погасить тревожную мысль: «Нет, так далее не должно быть». Открыть в жизни реальный источник радости и надежды этим писателям не удается. Вот почему и герои их столь же современны, сколь и несовременны. Это люди первобытных инстинктов, подчинившиеся законам мира, где «человек человеку волк». Им не подняться до уровня мыслей и чувств отряда борцов-коммунистов, а ведь этот отряд насчитывает сейчас в мире миллионы людей. Только ли в ограниченности мировоззрения писателей здесь дело, или к этому несомненному объяснению мы должны прибавить и робость писателя перед своим современником-борцом, робость творческую и гражданскую? Об ограниченном жизненном опыте идет речь или наслоениях предрас-

судков — оставим это на суд специалистов по западной литературе. Для нас гораздо важнее установить, что даже лучшие из этих писателей в поисках «опорных точек» в современности открывают лишь узкий плацдарм. Может быть, многие из них перешагнут его пределы. Тем лучше для них и для нас — читателей. Иначе они будут маневрировать между немногими своими героями, и острота художественного воплощения уступит место однообразию деталей и ситуаций.

И вот, рядом с этими художниками, испытывая не менее глубокую тревогу за судьбы своих современников, но обладая ясным взглядом на мир — взглядом, который позволяет проникнуть в самую сущность явлений, увидеть их в широкой перспективе, работают писатели социалистического реализма. Именно метод социалистического реализма позволил разорвать оковы того духовного плена, который так часто грозит талантливым художникам — критическим реалистам. Сегодня только тот писатель может быть подлинным выразителем чаяний народа, кому близки коммунистические идеи.

За последние годы мы не раз сталкивались с попытками утверждать независимость искусства от политики, борьбы, общественной жизни, нападками на метод социалистического реализма и самую его основу — принцип партийности искусства. Как известно, обвинения литературы социалистического реализма в бесплодии, отождествление принципа партийности с администрированием в области творчества выдвигались буржуазными идеологами и их прямыми пособниками — ревизионистами. Художественная практика социалистической литературы, и в первую очередь живой опыт советской литературы, начисто разбивает их клеветнические наскоки и домыслы.

В годы строительства социализма были созданы десятки произведений, которые свидетельствуют, что метод социалистического реализма является жизнеспособным, плодотворным, верным и по направлению и по результатам. Стоит просто вспомнить имена Максима Горького, Михаила Шолохова, Николая Островского, Леонида Леонова, Алексея Толстого, Владимира Маяковского, Константина Федина, Александра Фадеева, Юрия Крымова, Ильи Эренбурга, Степана Щипачева... Если говорить о болгарской литературе, то здесь мы прежде всего назовем книги Георгия Караславова и Емельяна Станева, трилогию Димитра Талева и лучшие рассказы Святослава Минкова, Ильи Волена, Ст. Даскалова, стихотворения и поэмы Ламара и Младена Исаева...

Болгарская литература стала зрелой; она выросла не только количественно, вырос ее, так сказать, внутренний потенциал. До освобождения нашей страны болгарский роман был лишен полифоничности, развивался в ограниченных сюжетных рамках, населен был героями, внутренний мир которых был по большей части беден. За небольшим исключением усилия болгарских писателей были робки не только в области романа, но и в области драмы, поэмы и ряда других жанров. Литературу представляли главным образом рассказ и лирика.

Сейчас не так. Мы можем сетовать по поводу «перепроизводства» романов, но должны признать, что робость писателей перед сложной композицией и трудными художественными задачами, которые связаны с обращением к этому жанру, уже преодолена, окрепло их умение наблюдать жизнь в более широкой перспективе, находить более объемное художественное выражение.

Художественная практика и обобщение теоретического опыта социалистического реализма всегда сопровождались спорами, столкновением различных точек зрения. Многие теории и теорийки не выдержали испытания временем. Была, например, пора, когда абсолютно серьезно утверждалось, что задача литературного критика ограничивается тем, чтобы, прочитав художественное произведение, определить экономический базис и классовую принадлежность автора. Одни ставили знак равенства между материализмом и реализмом или между идеализмом и романтизмом, другие считали, что новая форма должна породить новое содержание, а не наоборот. Находились и такие теоретики, которые сводили всю историю искусства к истории реализма.

Немало вреда принесли сторонники схемы, пытавшиеся живое развитие литературы втиснуть в тесные рамки канонов, определять границы и демаркационные линии, измерять тонус творческой страсти и определять пульс писательского кровообращения.

Они становились в тупик перед художественными фактами, уподобляясь героям той притчи, которую напомнил в одной из своих речей Анатолий Луначарский: представьте себе обыкновенную сороконожку. Конечно, этому насекомому нелегко: как ему справиться с четырьмя десятками ног? И вот однажды недоброжелательная жаба спросила у нее: «Сороконожка, когда ты ставишь вперед свою первую ногу, какие еще ноги переставляешь вперед? И когда четырнадцатая или девятнадцатая твоя нога сгибается в колене, что делает ступня двадцать седьмой ноги?» Сороконожка так над этим задумалась, что не могла больше ходить.

Вульгаризаторы порой пытаются упрощенно подвести под строгие правила и объяснения «сороконогие» по своей сложности художественные явления. Я не думаю, что настоящий писатель запутается, подобно несчастной сороконожке. Но может случиться, что в первый миг, смущенный безапелляционными советами, он заколеблется на ходу, а это будет во вред литературе.

Не потеряли ли мы много дней на обсуждение проблемы — принять или не принять «Табак» Д. Димова в лоно социалистического реализма, войдет или не войдет Йовков в наше классическое наследие? Да и многих других вопросов, которые трудно поддаются усвоению догматика. Но его способность высказываться, не терпя возражений, его привязанность к классическим примерам и убедительным цитатам. порой реализуются в столь внушительной словесной канонаде, что оглушают писателя, заставляя его сомневаться в правильности своих непосредственных восприятий художественных произведений, в логике своих многократно обдуманных суждений, даже чистоте собственных убеждений и принципов.

Но художественный метод социалистического реализма, здоровый в своем существе, исторически закономерный, динамичный и прогрессивный, непрестанно развивался, обогащаясь и порождая новую мысль, выбрасывая за борт все вульгаризаторское, гнилое.

Диалектика развития и обогащения мысли подразумевает, конечно, и страстность в обсуждениях и темпераментность в спорах, рождающих истину. Едва ли родится когда-либо такой счастливец, которому все будет ясно с самого начала, потому что нет людей, которые стоят вне закона диалектики, вне развития, истории, процесса созревания мысли.

Беседуя недавно с одним из советских журналистов, Хемингуэй высказал суждение о том, что «писатель сам себе начальник штаба и сам себе подчиненный», что секрет творчества — «нечеловеческий труд, чтобы слово стало к слову навечно, как камни китайской стены» *.

Но для писателя-коммуниста имеется и еще одна огромная аудитория и суд — оценка его современников, строителей новой жизни. Он живет для времени, в котором творит, борется, утверждает и отрицает. Потому что писатель, как справедливо говорил Луначарский в известной статье о Горьком,— «выходит на сцену не тогда, когда все социальные споры уже разрешены, и не для того, чтобы сказать: теперь я спою вам песнь, которая покажет вам окончательно, что это дело решено правильно».

В буржуазной критике, в выступлениях ревизионистов принцип партийности изображается как вульгарное иллюстрирование лозунгов или общих политических тезисов, как сухая реализация хозяйственных и политических директив. Таким образом, утверждают они, литература превращается в поверхностную агитацию, которая не имеет ничего общего с подлинным искусством.

Но разве «Во весь голос» Маяковского является голой иллюстрацией лозунга? Разве «Поднятая целина» является беллетризированием хозяйственной директивы? А «Иоган» Смирненского или «Песня о человеке» Вапцарова и столько еще волнующих произведений нашей революционной болгарской литературы — разве все это версификация передовых статей?

Эти произведения являются плодом внутреннего убеждения писателя, его коммунистической идейности и добровольной связи с великим делом пролетариата. И часто мы будем припоминать слова Михаила Шолохова, которые он произнес на II съезде советских писателей: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каж-

---

* Слова Хемингуэя цитируются по очерку Г. Боровика «У Эрнеста Хемингуэя», «Огонек» № 14, 1960. *(Прим. ред.)*

дый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством».

Вот и ответ на вопрос. Современный болгарский писатель воспринимает литературу по-ленински, как часть общепролетарского дела. Он знает, что, когда все усилия народа в области политики, хозяйства и культуры направлены к одному — к победе социализма,— литература и искусство не могут оставаться в стороне. Писатель убежден, что под руководством партии болгарским народом достигнуты невиданные успехи в социалистическом строительстве, во всех областях культуры. Может ли литература оказаться вне общего потока исторического движения, вне общего руководства со стороны партии и вне забот, которые уделяются развитию науки, искусства и литературы? Это не означало и не будет означать какой бы то ни было нивелировки творческой индивидуальности художника, невозможности иметь различные стилевые течения в литературе, ограничения писателя в выборе тем или сюжетов. Шолохова волнуют большие гражданские проблемы, которые принесла с собой социалистическая революция, а Пришвина — русская природа; Маяковский был самым злободневным из злободневных, сфера Степана Щипачева — лирические переживания, мир интимных чувств человека, Всеволод Вишневский воссоздал пафос революции, Арбузов — трепетную атмосферу любви и товарищеских чувств. И все они — советские писатели.

Героизм и патетика, человеческая страстность и романтика, воодушевление и энтузиазм, радость и трудности, сложные конфликты и изменения в человеческой душе, рост сознания героя — все это в палитре социалистического искусства. А сколько еще тем, сюжетов, конфликтов ждут своего мастера! Мы разрушаем старый мир, трудимся, чтобы создать новый. Могло бы произойти это, если бы нашу душу не волновал идеал, который связан с настоящим и будущим человечества? Могло бы произойти это, если бы мы не были коммунистами по убеждению, по поступкам и устремлениям? То есть могло бы это произойти, если бы принцип партийности литературы не стал неотделимым от творческой судьбы писателя, если бы гражданские идеалы его не составляли самую плоть его личных чувств?

Наша литература отличается широтой творческих проявлений, но она всегда основывается на партийной принципиальности. И именно в этом — истоки ее силы: в борьбе за расцвет творческих возможностей каждого писателя, за чистоту партийных принципов, против чуждых теорий ревизионистского и вульгаризаторского характера.

Только этой литературе, ответственной за судьбы человека и гуманизма, за судьбы всей земли, принадлежит завтрашний день мирового искусства. Такого искусства, которому уже будут неведомы сломанные жизнью герои Хемингуэя, Стейнбека, Миллера. Будущее—за литературой, на чьи страницы придут образы полнокровных, гармоничных, счастливых строителей нового мира.

София

Хайме Ибаньес

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ В КОЛУМБИЙСКОМ РОМАНЕ

Довелось мне однажды услышать, как сравнивали поэта с человеком, закидывающим лассо на облака; романист же будто, напротив, предпочитает дождаться, пока облака сами опустятся в петлю его лассо. И, однако, «пойманные» романистом, оказавшись на страницах его романа, облака как бы продолжают свое неторопливое, плавное скольжение, такие же трепетно-живые, сверкающие и бесконечно изменчивые, как в природе. На первый взгляд, этот образ как будто чрезвычайно далек от сферы литературных понятий. И тем не менее он почти точно разграничивает «поэтическую» и «прозаическую» стихии.

Как мы увидим далее, о поэтическом, эмоциональном начале следует говорить в первую очередь, характеризуя почти все крупные произведения колумбийской литературы. Традиции интеллектуализма, аналитического осмысления жизни развиты у нас значительно меньше — и в этом, на мой взгляд, одна из основных причин слабости нашей литературы.

Интересно проследить, как взаимопроникают, обогащая художественное произведение, два способа восприятия жизни — эмоциональный, непосредственный, «поэтический», и рационально-аналитический, «прозаический». Секрет успеха выдающихся романистов — в мастерском сочетании этих двух начал.

* * *

Любой из конкистадоров и колонизаторов, подвизавшихся на нашей земле, имел возможность накопить богатейший материал для создания яркого эпического произведения. Вероятно, и их современнику, самому Сервантесу, не досталось столь разнообразных впечатлений, как, например, двум наиболее известным нашим летописцам — Хименесу де Кесаде и Хуану де Кастельяносу. Однако единственным желанием конкистадоров было увековечить свои победы, оставить королевской власти документ — отчет о своих действиях и действиях своих ближних. Именно таково, в конечном счете, назначение «Исторического компендиума» Кесады, произведения сугубо хроникального, или же «Элегий в честь прославленных мужей» Кастельяноса.

Что же касается наследия выдающегося летописца Хуана Родригеса Фрейле, то многие из его повествований, написанные в форме летописи, обладают живой плотью романа, непосредственно и безыскусно воспроизводят подлинную картину жизни колонии, обычаев средневековой эпохи, хотя они лишены даже подобия определенного сюжета; от стиля хроники так и пышет простодушием автора, употребляющего неправильные грамматические обороты, быстро переходящего от спокойного изложения событий к бурному выражению собственных чувств, причем лирические отступления оборачиваются то дидактическим пассажем, то наивным философствованием.

Колониальный период не оставил заметного следа в истории нашего романа. Могут сказать, что отсутствие традиций сдерживало писателей, мешало им воплотить их жизненные впечатления в этом жанре. Но ведь именно в XVI веке в испанской литературе роман достигает почти такого же расцвета, как и театр,— ведущий жанр «золотого ве-

ка». Таким образом, мы не имеем права утверждать, будто в нашу литературу перекочевала из метрополии нелюбовь к романам.

Только после образования республики, или, точнее, во второй половине XIX века, складывается так называемый «костумбристский» * роман, следующий девизу Гонсало де Берсео «Каждый народ да расскажет о себе своему соседу», бытовой роман, подобный тому, какой одновременно получил распространение в Испании. Отмечу сразу же, что колумбийский бытовой роман более колоритен и сочен, хотя и менее классичен, нежели испанский. Богатство языка, выразительность характеристик, какая-то напоенность солнцем, воздухом — все эти качества делают наш бытовой роман явлением оригинальной зрелой литературы. Недаром о произведениях костумбристов с восхищением отзывался выдающийся испанский писатель Мигель де Унамуно.

Среди наиболее крупных представителей колумбийского бытового романа особо следует сказать об Эухенио Диасе, одинаково хорошо знакомом с жизнью обитателей Боготского плоскогорья и низменных жарких районов Колумбии. Он глубоко понимал жизнь простого крестьянина и описывал ее с большой любовью. Эухенио Диас — настоящий писатель-самородок. Возможности завершить образование он не имел, в связи с тяжелым материальным положением вынужден был добывать себе кусок хлеба, трудясь как простой крестьянин. Но литература была его призванием. Диас переменил много профессий: был и «мальчиком на побегушках», и пеоном, и мелким служащим. Глубокое знание жизни простого народа дало ему богатый фактический материал для написания трех, получивших широкую известность, бытовых романов: «Мануэла», «Наброшенное лассо» и «Рыбаки с Фунсы». Эти романы и сейчас тепло принимаются читателями Колумбии. В «Наброшенном лассо», да и в «Мануэле», действие развертывается на фоне величавых красочных картин родной саванны.

Томас Руэда Варгас, говоря о «Мануэле», подчеркнул, что это не просто бытовой роман, но замечательное произведение, затрагивающее социальные проблемы, которые и сейчас не утратили актуальности.

Эта оценка тем более весома, что принадлежит одному из самых видных и компетентных критиков Колумбии. Тот же Варгас отмечает, что найди «Мануэла» более благодатную почву, она имела бы успех, подобный «Хижине дяди Тома» в Соединенных Штатах.

Лично меня очень волнует роман «Наброшенное лассо», быть может, потому, что его действие происходит в местах, где я рос, и каждая деталь, описанная Диасом, связана с дорогими моему сердцу воспоминаниями детства.

Говоря о бытовом романе, мы не можем пройти мимо одного из выдающихся произведений нашей литературы: я имею в виду «Мавр» Хосе Мануэля Маррокина. В отличие от Эухенио Диаса Маррокин был аристократом, человеком рафинированной культуры. В центре этого мастерски написанного произведения — судьба коня по кличке «Мавр». Мавр сам повествует о своей жизни. В прошлом он красовался под элегантным всадником, участвовал в парадах и блистал своей сбруей на улицах столицы, а потом был вынужден тянуть старую разбитую повозку: «В каждую повозку была запряжена одна лошадь. Мы все принадлежим дону Алипио и уже доживаем свой век. Нам уже нечего терять. Погонщики — люди жестокие и безжалостные, работают за одну только похлебку; тяжкий труд непосилен для отощавших животных, получающих сухую, скверную и скудную пищу. Для жизни остается лишь несколько ночных часов, и чувствуешь, что все это скоро кончится, да оно, пожалуй, и к лучшему». Мавр принимает участие в исторических сражениях, описываемых Маррокином с едкой иронией по адресу «всадников». Приведу описание финала одной такой битвы: «Наступил момент, когда мой всадник решился на героический подвиг. Он вонзает шпоры мне в бока, прижимается к моей гриве и бросается вслед за гусаром. Мы благополучно пролетаем мимо одного из окон, из которого извергается огонь. Перед окном образовалась преграда из окровавленного мяса: бесформенная куча еще теплых останков людей и коней. Когда я увидел, какой смертельной опасности подвергаемся я и мой всадник, меня внезапно охватил панический ужас, парализовавший все мои движения. Дверь дома находилась в двадцати шагах, причем была широко распахнута и около нее никого не было

* Бытовой (от испанского "costumbre").

видно. Я быстро повернулся, влетел в эту дверь и помчался по коридору. Следовавший за нами негр, увидев солдат, которые должны были покончить с нами, громовым голосом крикнул: «Сдавайтесь, канальи!» Солдаты сдались и побросали свои ружья». «— Вот так люди и завоевывают себе славу! — восклицает Мавр.— Всадник получает повышение, которым обязан трусости лошади». И наконец финал: однажды ночью конь бесславно издыхает от истощения возле грязной лужи.

Маррокин создает в своей книге целую галерею человеческих типов, начиная от избалованных, спесивых юношей из высшего общества и кончая дорожными жуликами и задирами.

Авторы бытовых романов внесли большой вклад в колумбийскую литературу. Прежде всего они обогатили литературный язык большим количеством слов, употреблявшихся ранее только простым народом, причем зачастую писателям приходилось объяснять значение нововведенных слов. Маррокин, например, в своем произведении комментировал и пояснял многие слова, заимствованные из народной речи, заботясь о том, чтобы читатели всех слоев общества могли ясно понять, что именно хотел сказать автор. То же самое делал и Эухенио Диас.

С другой стороны, именно «костумбристы» выступили первыми мастерами пейзажа в родной литературе. Живые и яркие описания природы служат в их романах фоном, на котором предстает образ аборигена наших земель с его самобытной одеждой, лицом, манерами, с его трудом, любовью, взглядами на жизнь, воспоминаниями, иллюзиями и надеждами.

Следующим этапом в развитии колумбийской литературы является романтизм. Его наиболее ярким представителем не только в Колумбии, но и во всей Латинской Америке по праву считается Хорхе Исаакс. Его лучший роман — «Мария» — вызвал оживленную полемику в критике. Однако все единодушно отмечают заслуженную популярность этой книги у читателей. Говорят, что каждый колумбиец, достигший пятнадцатилетнего возраста, уже читает «Марию», ибо находит там отражение собственной жизни, трепетные переживания своей первой юношеской любви.

Вклад Исаакса в современный ему колумбийский роман значителен именно потому, что его «Мария» правдиво передает особенности национального характера и темперамента колумбийцев. Вначале Исаакс был известен не как романист, а как поэт. Лирическая стихия несколько подавляет архитектонику его романа. Однако именно с поэтическим вдохновением и связано в романе острое чувство эпохи, современное звучание языка, проникновенный лиризм в изображении любви. Много было споров о том, считать ли «Марию» поэмой в прозе или лирическим романом. Второе, видимо, ближе к истине.

К достоинствам, единодушно признанным за Исааксом как писателем, относится взволнованное ощущение красоты природы, которую Исаакс воспевает с экспрессией поэта, влюбленного в родной край. Может быть, поэтому один из видных литературоведов назвал «Марию» «поэмой Америки».

Посмотрим теперь, как другой из наших выдающихся романистов — на мой взгляд, наиболее характерный представитель нашей литературы — сочетает в своем произведении два главных элемента: пейзаж и быт. Я имею в виду Хосе Эустасио Риверу и его «Пучину». Писатель рисует человека во взаимодействии с природой, в драматической борьбе с ней, причем эта борьба неотвратимо приводит человека к гибели. Страна еще не освоена, и человек, беспомощный горожанин, вынужден вступать в битву с девственной природой не на жизнь, а на смерть, подобно герою романа Артуро Кова, который гибнет в алчных зеленых щупальцах тропического леса — сельвы.

С первой и до последней строки роман Риверы проникнут трагическим мироощущением. Человек — пассивное орудие неумолимого рока. Артуро Кова напрягает всю свою волю, чтобы победить природу, и все же терпит страшное поражение.

«Пучина» — это книга о тропическом лесе, сельве. Страницы романа доносят терпкий запах джунглей — запах травы, древесного сока, ила, гниющих цветов.

Сила драматического напряжения романа так велика, что обилие поэтических описаний не наносит ущерба его внутренней структуре. К примеру, знаменитая картина рассвета на равнине, нашествие страшных плотоядных муравьев или загон диких быков в корраль — не только превосходные,

непревзойденные по мастерству описания, но неотъемлемые элементы повествования

Правда, по мере развития действия в «Пучине» пейзаж начинает заслонять человека. Однако Ривера здесь отнюдь не созерцатель, ибо создает потрясающую драму, где природа выступает не как фон, а как стихия, с которой сражается человек. Трагедийный тон достигает наивысшего напряжения в описании каучуковых плантаций, где насилуют десятилетних девочек, живьем закапывают в землю мужчин, обливают бензином и сжигают мятежных индейцев. Здесь, как отмечала критика, сплетаются в единый узел судьбы героев книги — Артуро Кова, Клемента Сильвы, Эстебанеса, Сорайды Айрам и прочих несчастных, угодивших в этот ад.

В один ряд с Исааксом и Риверой следует поставить Томаса Карраскилью, столетие со дня рождения которого торжественно отмечалось страной в 1958 году. Творчество Карраскильи обогатило колумбийскую литературу новыми подлинно реалистическими элементами, новым методом воспроизведения действительности. У Карраскильи природа изображается всегда реалистически Вдоль и поперек исколесил он свою провинцию верхом на муле или на лошади, а то и пешком. Жизнь народа является центральной темой Карраскильи: погонщики, шахтеры, золотоискатели, землепашцы, служанки — вот круг его героев. Язык Карраскильи глубоко народен, богат идиомами, поговорками, областными словами, арготизмами. Стиль его резко отличен от произведений романтического толка. Карраскилья показывает человека без прикрас, таким, каков он в жизни, не прибегая к вымыслу.

Другая примечательная черта произведений Карраскильи — изображение личности во взаимодействии с обществом. Так, любой даже второстепенный персонаж непременно связан в романе с народом, массой, и коллектив, в свою очередь, влияет на действия каждого героя. Благодаря этому роман Карраскильи впервые в колумбийской литературе приобретает столь явно выраженное социальное звучание. Картины, в которых выступает народ, выписаны здесь с особой тщательностью.

Мой обзор будет неполным, если я не упомяну еще «Рисаральду» Бернардо Ариаса Трухильо. В этом произведении с огромной силой выражена любовь к земле, на которой клокочут человеческие страсти. Люди, еще примитивные, одержимы страстным желанием «пробиться», «завоевать место под солнцем», они поют, танцуют, ссорятся, дерутся — все это и есть жизнь. Достоверно и без прикрас, богатым и сочным языком живописует Трухильо нравы и обычаи народа.

«Рисаральду» можно назвать типично колумбийским романом. Особенно важную роль в развитии литературы в нашей стране сыграла вторая часть этой книги.

Касаясь произведений современных писателей, приходится с прискорбием отметить, что в художественном отношении они более слабы, нежели произведения писателей прошлого. Если последние, несмотря на различие стилей, все же придерживались единой цели — реального изображения человека и природы, то о многих современных писателях, по крайней мере последних двадцати пяти лет, можно сказать, что они чувствуют какую-то растерянность, неуверенность, ощупью ищут новых путей. Вполне возможно, что столь часто происходившие в стране социальные и политические изменения, всеобщая эволюция идей, охватившая не только Колумбию, но и весь континент, оказали влияние на писателей. До сих пор ведутся дискуссии о том, что же есть содержание литературы, какова ее общественная роль.

И тем не менее у всех наших романистов ощутимо страстное желание встать вровень с лучшими образцами мирового романа, подняться до уровня выдающихся мастеров, которым удалось поставить или решить насущные социальные, политические и экономические проблемы нашего времени.

В последнее время все чаще входят в литературу молодые писатели. Тот факт, что для молодежи открываются дороги к творчеству, сам по себе несомненно отраден. Однако многие из начинающих не обладают еще ни достаточной общеобразовательной подготовкой, ни внутренней дисциплиной, ни художественным вкусом, а главное, не сознают еще в полной мере всей ответственности, лежащей на писателе, зачастую весьма поверхностно знают жизнь.

Возможно, мое мнение чересчур строго, но слишком уж редки исключения из этого

правила. И все же именно о них я хочу сказать несколько заключительных слов.

Одним из значительных произведений современной колумбийской литературы является роман известного литератора и журналиста Эдуарда Саламеа Борда «Четыре года за пределами своего «я».

Основная тема романа — бегство героя из опостылевшего ему города, поиски первозданной чистоты, которую он обретает на полуострове Гуахира: «Гуахира — страна неутолимой жажды, иссушающих страстей, палящего солнца, неразгаданных тайн и возможной смерти...» Но и там его терзают мысли о городе: «Все мое — там. Все, чего я так долго и страстно желал и не смог добиться. На чьих-то устах трепещет для меня любовь, в чьих-то объятиях меня ожидает нежность и покой, в одном из солнечных уголков уединенного дома, полного цветов, меня ожидает столь долгожданный покой». Эта цитата дает представление о двойственности, которой отмечен весь роман.

С наиболее широкой панорамой современной действительности выступил Эдуардо Кабальеро Кальдерон. Характерная особенность его творчества — ярко выраженный гуманизм. Он глубоко понимает происходящие в Латинской Америке социальные преобразования и отражает их в своих произведениях. Достаточно хотя бы бегло просмотреть его книги «Южная Америка — земля человеческая», «Латинская Америка — мир, который нужно создать», «Христос повернулся спиной», «Раб без земли», чтобы сразу отметить их социальную направленность. Особо следует выделить романы «Раб без земли» и «Христос повернулся спиной», где на первый план выступают поиски социальных решений.

Кабальеро Кальдерон — первоклассный стилист; он внес большой вклад в развитие колумбийского романа, язык его поражает почти классической строгостью и чистотой, выразительностью и благородством. Несмотря на то, что в его произведениях чаще всего изображается быт села или провинциальных городков, он не злоупотребляет диалектизмами, местным колоритом, а глубоко и серьезно вникает в общественные отношения и жизнь нашего народа.

Из других современных писателей Колумбии мне хотелось бы назвать Хаиме Буитраго, описавшего в романе «Переселенцы» освоение Киндио, негритянского писателя Мануэля Сапату Оливелью, поднявшего в романе «Сырая земля» расовую проблему, Габриэля Гарсиа Маркеса с его романом «Опавшая листва».

Недавняя эпоха насилий и диктатуры в Колумбии получила отражение в целой серии произведений писателей — очевидцев страшных событий. Среди этих книг — «Сухой ветер» Даниэля Кайседо и «Чего не прощает небо» Фиделя Бландона Беррио.

Я верю, что колумбийские писатели, несмотря на все трудности, создадут произведения, достойные своего народа и своего времени.

Богота

Юн Се Пхён

ЛИТЕРАТУРА ОСВОБОЖДЕННОГО НАРОДА

Освобождение Кореи Советской Армией 15 августа 1945 года и установление в северной части страны народно-демократического строя открыли новую эру в истории корейской литературы и искусства.

Литература Кореи периода после освобождения — это качественно новая литература, созданная свободным народом на основе лучших традиций прошлого.

Устное народное творчество, классическая поэзия, демократическая проза эпохи династии Ли, произведения писателей-просветителей XVII—XVIII веков, в которых содержится смелая критика общественных порядков феодальной Кореи,— таково богатейшее наследие корейской национальной литературы.

Эти демократические, реалистические традиции продолжили передовые корейские писатели 20-х годов — представители «школы нового направления» и Корейской ассоциации пролетарских писателей.

Литература социалистического реализма, первые ростки которого появились у нас еще в конце 20-х годов, совершила большой качественный скачок в 30-е годы, когда корейский народ во главе с коммунистами вел вооруженную борьбу против японского империализма.

Произведения, рожденные в огне героической антияпонской борьбы, являются образцами подлинно революционной художественной литературы, которая верно раскрывает многогранный характер и богатый внутренний мир передовых людей нашего времени.

Таким образом, еще в 20-е и 30-е годы были заложены основы литературы социалистического реализма в Корее.

* * *

Корейская литература, созданная после освобождения страны от японского ига,— это литература эпохи великих перемен, когда, успешно завершив народно-демократическую революцию, наша страна вступила на путь социалистического строительства. Большое внимание развитию литературы уделяет Трудовая партия Кореи.

В таких важнейших партийных документах, как 20 пунктов политической программы товарища Ким Ир Сена (март 1946 г.) и решение 29-го заседания Президиума ЦК Трудовой партии Кореи «О строительстве демократической национальной культуры в Северной Корее» (март 1947 г.), подчеркивалось, что подлинно национальная культура должна быть демократической по содержанию и национальной по форме. В них были определены пути дальнейшего развития корейской литературы и искусства: метод социалистического реализма, требующий исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии, наследование лучших национальных традиций, использование опыта передовой культуры Советского Союза и других стран, борьба с буржуазной идеологией.

Ядро организованной в 1946 году Лиги работников литературы и искусства составили представители Корейской ассоциации пролетарских писателей, проложившие дорогу в нашей литературе социалистическому реализму как новому творческому методу.

В литературе периода мирного демократического строительства прежде всего прозвучали радость и гордость народа, сбросившего ярмо японских колонизаторов. Были созданы яркие образы людей, рожденных новой действительностью.

Ли Ги Ен, который еще до освобождения в своем творчестве часто обращался к судьбам корейского крестьянства, после проведения земельной реформы написал роман «Земля». Тема строительства новой жизни в корейской деревне раскрывается в нем как тема пробуждения рядового труженика, бывшего батрака Квак Па Ви, как тема рождения в народных массах воли к изменению старого мира.

О высокой политической активности и изменившемся духовном облике корейских крестьян, получивших землю после реформы, повествует в ряде произведений и Хан

Сер Я, в частности в рассказе «Растущее село». В другом рассказе — «Поселок шахтеров» он также раскрывает сложный процесс формирования нового человека, но на этот раз из рабочей среды.

Образ передового рабочего Ким Дин Гу, который борется с живучими пережитками прошлого, создал писатель Ли Бук Мён в рассказе «Рабочая семья».

Этой же теме борьбы нового со старым в жизни посвящены рассказы «Плавательный бассейн» Цой Мён Ика, «Серная кислота» Пак Ун Гера, «Записки животновода» Хван Гена, пьеса Сон Ена «Сестра».

Демократические преобразования явились неиссякаемым источником вдохновения и для наших поэтов. Стихотворения «Ночь сельского комитета» Ким У Чера, «Снова у реки Дерёнган» Мин Бен Гюна, «На платформе — депутат» Тён Мун Хяна и многие другие воспевают новую действительность, чувства тружеников города и деревни, идущих в первых рядах строителей демократической Кореи.

Многие произведения того периода были написаны о самоотверженной борьбе корейских коммунистов за освобождение страны. В этом смысле характерны рассказы Хан Сер Я «Кровавый путь», «Возвращение с триумфом» и ряд очерков. Подлинные исторические события легли в основу поэмы Тё Ги Чена «Гора Пэктусан», отличающейся большим драматизмом и героико-романтическим пафосом и воспевающей корейских партизан, участников антияпонской борьбы.

Революционным традициям и теме любви к родине посвящена широко известная «Песня о полководце Ким Ир Сене» (слова Ли Чана) и «Патриотическая песня» (слова Пак Се Ена), ставшая гимном Корейской Народно-Демократической Республики.

Большое место в творчестве корейских художников слова занимали произведения о братстве народов различных стран и корейско-советской дружбе. Сборник стихотворений «Вечная дружба» и сборник рассказов «Великий подвиг», а также многие другие произведения полны чувств дружбы и благодарности к великому советскому народу-освободителю.

О борьбе за ускорение мирного объединения родины, о мужественном сопротивлении народа Южной Кореи иноземным захватчикам и предательской клике Ли Сын Мана написаны пьеса Сон Ена «Начальник уезда Кымсан», сатирически рисующая прогнивший марионеточный режим Ли Сын Мана, поэма Кан Сын Хана «Гора Ханнасан», новелла Ли Гап Ки «Степь», рассказ Пак Тхэ Мина «Второй боевой участок».

* * *

Мирная жизнь корейского народа была прервана агрессивной войной, развязанной американскими империалистами и их приспешниками — кликой Ли Сын Мана.

Неисчислимые бедствия обрушились на Корею. Наша прекрасная земля превратилась в военный полигон. Но на защиту отечества поднялся весь народ Корейской Народно-Демократической Республики. И в первых рядах были писатели. Одни ушли на фронт с оружием в руках, другие самоотверженно трудились в тылу.

Задачи, стоявшие перед нашей литературой в дни войны, были четко сформулированы партией, в частности в речи товарища Ким Ир Сена от 30 июня 1951 года, обращенной ко всем писателям и работникам искусств. Учитывая огромную роль искусства в общенародной борьбе, партия призывала писателей поднимать в народных массах боевой патриотический дух, донести до их сознания справедливый характер войны, которую они ведут, вселять веру в победу. Отображать в высоко художественных произведениях невиданный героизм и самоотверженность, которые проявил наш народ на фронте и в тылу, разоблачать и осуждать злодеяния агрессоров, воспитывать в народе ненависть к врагам — в этом тогда заключался долг писателей.

В суровые годы войны, в декабре 1952 года, состоялся 5-й пленум ЦК Трудовой партии Кореи, решения которого имели огромное значение для сплочения сил деятелей культуры, для дальнейшего развития нашей литературы.

Острая идейная борьба, развернувшаяся после пленума, разоблачение группы реакционных писателей — Лим Хва, Ли Тхэ Дюна и других — способствовали преодолению влияния буржуазной идеологии.

Литература этого периода рассказывает о том, как в дни войны жили и боролись простые люди, в прошлом рабочие, крестьяне, служащие и студенты. Это были произведения, созданные писателями — участниками событий Их голос громко звучал в окопах и землянках, в трудный период поражений и в дни побед.

Очерки, репортажи, фронтовые заметки, стихи — вот те «боевые» жанры, к которым обратились наши литераторы.

Много удачных произведений о фронтовой жизни, о подвигах простых людей в боях за родную землю было создано в жанре рассказа. Высокую оценку читателя получили такие, например, рассказы, как «Старший связист Нам Гир» Пак Ун Гера, «Остров в огне» Хван Гена, «Новобранец и старый боец» Юн Се Дюна.

Война объяла пламенем всю страну. На фронте и в тылу шла одинаково напряженная борьба. Поэтому большой удельный вес занимали произведения, посвященные стойкости населения тыла, деятельности партизан во временно занятых врагом районах. К их числу принадлежит роман Хан Сер Я «Тэдонган», в котором рассказывается о том, как молодые рабочие, действовавшие под руководством подпольного партийного комитета, боролись с врагом в ок-

купированном Пхеньяне. Хан Сер Я показал мужество своих героев, их веру в победу.

О коллективном сопротивлении американским захватчикам корейских крестьян, поднявшихся на защиту своей земли, поведал читателям Чен Се Бон в повести «Люди сражающейся деревни».

О любви к родине и ненависти к врагу, о священной борьбе корейского народа за свободу были написаны многие поэтические произведения. Наиболее известные среди них — стихотворение Тен Мун Хяна «Он еще раз обернулся», поэма Мин Бен Гюна «Долина Орори», а также сборник стихов Ким Сун Сека «Земля героев».

В рассказе «Шакалы» Хан Сер Я разоблачается звериное нутро американских миссионеров, проникших в Корею под религиозной маской.

На борьбу с захватчиками воодушевляли наш народ и произведения, посвященные его героическому прошлому. К их числу следует отнести пьесу «Остров Канхвадо» Сон Ена, роман Хан Сер Я «История», в котором писатель рассказал о высоких моральных качествах корейского народа, проявившихся в годы антияпонской вооруженной борьбы, создал замечательные образы революционеров-коммунистов.

Вместе с тем в этот период писатели отдали много творческих усилий разработке темы интернациональной дружбы корейского народа с китайскими народными добровольцами, плечом к плечу сражавшимися против общего врага, и дружбы корейского народа с народами других братских стран. Здесь следует отметить сборник стихов «Песня боевых товарищей», пьесу Тё Рен Чура «Боевой друг», рассказ Юн Си Чера «Мой старый товарищ».

В дни войны пали смертью храбрых многие замечательные писатели, такие как Ли Дон Гю, Тё Ги Чен, Хён Гён Дюн, Кан Сын Хан, Цой Ин Дюн. Но жертвы не пропали даром. В жестокой схватке с врагом корейский народ сумел отстоять завоевания народно-демократического строя.

* * *

Когда смолкли пушки, наши писатели вместе со своими героями вернулись к мирному труду — на заводы, фабрики, на поля, на стройки, в учебные заведения. По зову партии они отдали все силы делу послевоенного восстановления и развития народного хозяйства страны.

Перед творческой интеллигенцией встали новые задачи, связанные с борьбой трудящихся республики за осуществление грандиозных планов индустриализации страны и кооперирования сельского хозяйства.

Литературная жизнь КНДР в послевоенные годы характеризуется дальнейшим укреплением единства писательских рядов. Большую роль в развертывании этой работы сыграло решение ЦК Трудовой партии Кореи (1956 г.) об усилении борьбы в области литературы и искусства с реакционной буржуазной идеологией.

В этом решении разоблачалась позиция фракционера Пак Чан Ока и его приспешников, которые извращали политику партии в области литературы и искусства, принижали значение национального культурного наследия и национальных традиций.

Основное направление развития послевоенной корейской литературы определилось генеральным курсом, разработанным III съездом Трудовой партии Кореи в связи с новыми задачами социалистического строительства и борьбы за мирное объединение родины. Это был курс на дальнейшее укрепление связи литературы с жизнью, на повышение художественного мастерства. В отчетном докладе съезду товарищ Ким Ир Сен, говоря о достигнутых успехах, отметил, что наша литература и искусство развиваются в правильном направлении и в основном правдиво отображают жизнь корейского народа.

В октябре 1956 года состоялся Второй съезд корейских писателей. На съезде единодушно было принято решение следовать ленинскому принципу партийности литературы и решительно бороться против проникновения в нашу среду влияния всякого рода реакционных буржуазных литературных течений.

Съезд всесторонне рассмотрел проблемы, связанные с преодолением схематизма и вульгарно-социологических тенденций. Вместе с тем он дал решительный отпор ревизионистам и еще выше поднял знамя социалистического реализма.

Второй съезд корейских писателей, обсудивший важнейшие задачи, поставленные перед нашей литературой на III съезде Трудовой партии, явился большим событием в культурной жизни страны.

Многие писатели приняли решение выехать на заводы, фабрики, рудники, в сельскохозяйственные кооперативы, в рыболовецкие поселки, в леспромхозы, где они получили возможность ближе познакомиться со своими героями — строителями социализма.

Одним из первых значительных романов о буднях социалистического строительства явился роман Юн Се Дюна «Испытание». В образах рабочих-металлургов Рим Тхэ Уна, Ким Ю Сана, Ю Гап Сока писатель показал передовых представителей рабочего класса нашей страны, смелым дерзаниям которых не могут помешать ни консерватизм, ни сопротивление чуждых сил.

Об успехах кооперативного движения в нашей республике повествуется в романе Чен Се Бона «Новая весна в Секкэуре». Писатель сам активно участвовал в работе по хозяйственно-организационному укреплению сельских кооперативов и сумел создать правдивую и увлекательную книгу о новой жизни в корейской деревне.

К числу удачных произведений послевоенной литературы можно отнести повесть Ли Гын Ена «Первый урожай» и пьесу Син Го

Сона «Пионеры», посвященные кооперированию сельского хозяйства, а также повесть Ли Сан Хена «Перелом», рассказы Ким Бук Хяна «Отец и сын» и Ли Гап Ки «Ночью на стройке», стихи Ли Ён Ака, повествующие о замечательных делах тружеников наших предприятий и строек.

Из произведений детской литературы, заслуживших признание юных читателей, хочется назвать «Генерал-топор» Ли Вон У и «Ключ к счастью» Кан Хё Суна.

В последние годы, когда все больше развиваются дружественные связи между деятелями культуры братских стран, появилось много интересных стихов, путевых заметок, статей, рассказывающих о впечатлениях наших писателей, побывавших за рубежом. Наиболее известны из них стихи Пак Пхар Яна о Нанкине, «Улан-Батор» Пак Се Ена, «Дворец» Те Се Чона, «Необозримая Сибирь» Ли Вон У.

Задачи воспитания трудящихся масс на славных революционных традициях нашего народа вызвали к жизни большое количество произведений об антияпонской вооруженной борьбе 30-х годов.

Писатели Сон Ен, Кан Хё Сун, Мин Бен Гюн, Пак Ун Гер, Хван Ген, Пак Ен Бо, Ли Дён Сун и другие выезжали на места партизанских боев, где им удалось собрать интересный материал для произведений на эту тему (очерк «Гора Пэктусан видна отовсюду», пьесы «Патриот» и «Феникс» Сон Ена, сценарий «Товарищи, пойдемте с нами» Ли Дён Суна, пьеса «Корейская мать» Пак Хека, сборник стихов «Реет красный флаг»).

По-прежнему видное место в творчестве наших писателей занимает тема Отечественной освободительной войны.

Роман Пак Ун Гера «Родина» рассказывает о самоотверженной партизанской борьбе шахтеров Ковенского рудника в период временного отступления Народной Армии; роман «Плато Кэма» Хван Гена дает картину становления характера героев в тяжелых испытаниях войны.

Героизму и патриотизму воинов Корейской Народной Армии посвящены пьесы Пак Тхэ Ена «Герой КНДР Ли Су Бок» и Хан Сена «Жди нас», а также эпическая поэма Син Сан Хо «Знаменосец полка».

О жизни сирот, лишившихся родителей во время минувшей войны, о простых людях — коммунисте Нам Дине и его жене, добровольно взявших на себя заботы по воспитанию пятерых сирот, рассказывает писатель Хан Сер Я в повести «Братья».

Среди литературных произведений, созданных в послевоенный период, видное место занимают книги, посвященные историческому прошлому корейского народа.

Ли Ги Ён опубликовал две части трилогии «Туманган». В этом романе-эпопее, действие которого развертывается на рубеже XIX и XX веков, отразились такие славные исторические события, как движение «Народного ополчения» против японских империалистов (начало девятисотых годов) и мартовское народное восстание 1919 года. В этом произведении Ли Ги Ен, показывая пути, по которым шли различные слои населения Кореи, правдиво освещает патриотические традиции нашего народа, сложившиеся в борьбе против японских захватчиков и социальной несправедливости.

Антияпонским выступлениям крестьянских масс посвящен новый роман Хан Сер Я «Гора Сельбонсан». В этом романе писатель сумел глубоко проникнуть в духовный мир своих героев, раскрыть благородный моральный облик коммунистов — борцов за всенародное счастье. О мужественном сопротивлении жителей Пхеньяна японским захватчикам во время Имдинской отечественной войны (1552—1558 гг.) повествуется в романе Цой Мён Ика «Отец Сосан», центральной фигурой которого является легендарный патриот — мудрец Сосан. О тяжелой доле корейских крестьян в годы японского владычества рассказано в романе Ли Гын Ена «Река Чхончхонган».

Мирное объединение родины — пламенное желание корейского народа. Поэтому естественно, что многие наши писатели снова и снова возвращаются к этой теме, так глубоко волнующей их сердца. Прежде всего следует отметить стихи Те Бек Ама и роман Ом Хын Себа «Рассвет», в котором нарисована мрачная картина полной деградации национальной экономики Южной Кореи, изображена борьба южнокорейских рабочих, крестьян и учащейся молодежи против американских империалистов.

События весны и лета 1960 года в Южной Корее — свидетельство ослабления устоев колониального режима американских империалистов — и дальнейшая активизация движения сопротивления по всей Южной Корее еще острее выдвинули на передний план вопрос о воссоединении страны.

В этой связи привлекает внимание появление в среде южнокорейских писателей и поэтов новой группы, которая, выступая против навязываемой американскими империалистами упадочнической и низкопробной литературы, стремится идти в ногу с передовой литературой и искусством Северной Кореи.

Успехи, достигнутые нашей литературой за 15 лет после освобождения, свидетельствуют о силе и жизненности метода социалистического реализма, знамя которого крепко держат корейские писатели.

Пхеньян

Жак Стефен Алексис

ДОРОГОЙ ЖИВЫХ ТРАДИЦИЙ

Выдающийся гаитянский романист Фредерик Марселен, исследователь фольклора Гаити, познакомил нас с одним из лучших арейтос* эпохи Колумба. Его автор, самба**, рассказав о страшных событиях, происшедших на Гаити после нашествия конкистадоров, горько сетует:

Пришельцы забрали все!
Умирает мабуйя*** в норе,
А у нас нет и нор умереть!
Нет у нас ни лесов, ни саванн,
Где сливались мелодии светлых ручьев
И прекрасные песни самба
Исчезает как дым даже память о нашем народе!
Так открой свои недра, о Баоруко!

В лесах горного массива Баоруко укрывались повстанцы — индейцы и негры****,— передавшие новым поколениям традиции знаменитых народных поэтов Гаити. Таким образом удалось сохранить часть культурного наследия Гаити, несмотря на почти поголовное истребление коренного населения острова.

Собственно гаитянская литературная традиция складывалась из нескольких элементов: повествовательное искусство американских индейцев, творчество гриотов сказителей различных африканских народностей и отчасти европейские влияния.

Гаитянская нация родилась в результате национально-освободительной борьбы, приведшей в 1804 году к провозглашению независимости. До тех пор негры рабы колонии Сан-Доминго были почти без исключения неграмотны, и поэтому, несмотря на удивительное богатство их культуры, развивавшейся уже в течение двух с половиной веков, повествовательное искусство на Гаити долгие годы не выходило из сферы устного творчества. После завоевания независимости в Гаити появляются произведения эпической и лирической поэзии, первые образцы хроникально-исторического жанра, сказки.

В 1836 году, несмотря на обскурантистскую цензуру феодального правительства Буайе, закрывавшего журналы и запрещавшего периодические издания, в Гаити была создана Литературная школа, которая повела мужественную борьбу за развитие национальной культуры. Следуя лозунгу этой школы: «Источник вашего вдохновения в вас, в вашей жизни... все, что вы можете почерпнуть,— только в этом», писатель Иньяс Но одним из первых воплотил в письменной литературе традиции гаитянского фольклора. В своих креольских сказках* он искусно развил темы, волновавшие простых тружеников. Однако это был еще не роман.

Лишь в 1859 году, уже после смерти автора, появляется произведение Эмерика Бержо «Стелла». Высказывалось мнение, что «Стеллу» тоже нельзя еще назвать романом, что это скорее аллегорическая хроника борьбы за независимость. Как будто «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле или «Хромой бес» Лесажа можно уподобить романам наших дней! Именно в книге Бержо, воссоздавшей в весьма прозрачных аллегориях образы главных героев борьбы за освобождение страны, были впервые обозначены очертания типично гаитянского романа. Образ Стеллы, странный и притягательный,— сама поэзия. Поэтичность впоследствии станет отличительной особенностью романа Гаити. О первых контурах психологического анализа можно также говорить в связи с этой книгой. По моему глубокому убеждению, Бержо, сосланному на остров Сент-Томас в эпоху тирании императора

---

* Песни индейских племен. *(Здесь и ниже прим. переводчика)*

** Народные поэты и артисты у индейцев.

*** Небольшая ящерица.

**** Вскоре после завоевания Гаити в страну были завезены рабы — африканские негры. Восставшие негры невольники присоединялись к остаткам индейских племен для совместной борьбы против поработителей.

* Литературный язык Гаити — французский, однако широкие массы страны говорят по креольски. *(Прим. автора.)*

Фаустина I, удалось в своем романе запечатлеть душу нашего народа, впитавшего черты культуры трех континентов: Африки, Европы и Америки.

В отличие от Бержо, Демесвара Делорма незаслуженно называют самобытным гаитянским романистом. Главный мотив созданных также в изгнании книг этого писателя— тоска по прекрасному миру древних цивилизаций. В его произведениях «Франческа» (1872) и «Проклятый» (1877) отталкивает манерная, претенциозная экзотичность, назойливое кокетничание эрудицией, внешними аксессуарами романтики. Примерно то же можно сказать и о Луи-Жозефе Жанвье и его единственном романе «Искательница».

Несравненно значительнее этих двух писателей Амеде Брен (1868—1896) — романист, стремившийся воспроизвести, по его выражению, «специфически гаитянскую атмосферу», подобно тому как в конце XIX века бразильские романисты провозгласили себя певцами «глубинной Бразилии». При этом Амеде Брен глубоко равнодушен к внешним, декоративным атрибутам «гаитянской специфики»; мечтая о гаитянской литературе, тесно связанной с жизнью нации, он ограничивает свои задачи выражением одной эмоциональной сущности явлений почти без «местного колорита», без широких социальных полотен. Он рисует лишь гнетущую атмосферу, в которой изнемогают «души» его столь типично гаитянских героев. Амеде Брен написал множество рассказов, некоторые из них вошли в «Отысканные страницы» — сборник, опубликованный в 1895 году; в 1896 году появляются романы «Две любви» и «Без прощения». В этом же году в возрасте 28 лет писатель умер.

Амеде Брен мастерски передает оттенки чувств, тончайшие движения человеческого сердца. Мягкость и внутренняя трепетность фразы, вибрирующей подобно чувствительнейшему резонатору, сдержанная сила каждого предложения, покоряющая интимность любой страницы придают стилю Брена изящество, подлинность и проникновенность, позволяющие, говоря о литературе на французском языке, сравнить его со стилем Аполлинера... Первый из крупных романистов Гаити, Амеде Брен был одним из представителей нашего гуманистического реализма. Следует упрекнуть его в отсутствии определенной общественной позиции, характерной почти для всех наших выдающихся романистов. Брену не удалось стать художником социального макрокосма, масс, социальных катастроф. Он предпочитал быть свидетелем того, что он называл «душевными катастрофами». Тем не менее «клиницист» внутреннего мира, реалист, изображающий микрокосм человека, Амеде Брен дал полезный урок гаитянским романистам последующих поколений.

Фредерик Марселен (1848—1917) выступил как романист позднее Брена. Марселен — политик, парламентский оратор, экономист, дипломат и очеркист — опубликовал свой первый роман «Фемистокл Эпаминондас Лабастер» в 1901 году, в возрасте пятидесяти трех лет. Часто говорят, что Фредерик Марселен был первым реалистом среди романистов Гаити, но лично я считаю, что его скорее привлекал натурализм. Необходимо тут же уточнить, что натурализм Марселена нельзя сравнивать, например, с натурализмом Эмиля Золя: романы Марселена напоены солнцем его родины, светлой поэтичностью, свойственной истинному гаитянину. Натурализм Марселена лишен черт раздражающе скрупулезного правдоподобия, это натурализм, в основе своей более умеренный, как бы смягченный интонациями сочувствия, разочарованности, снисходительности. В литературе Гаити и не может быть натуралиста-«мясника», разделывающего «куски жизни», так как у нас человек бесконечно мечтателен — такова уж природа нашей «tierra caliente»* — теплой, прогретой солнцем земли наших отцов.

Что касается политической деятельности самого Марселена, то здесь он, к сожалению, далеко не всегда был безупречен, порой допускал компромиссы, хотя и понимал лицемерие, двуличие правящих кругов Гаити

Самые, на первый взгляд, светлые из героев Марселена оказываются то болезненно-изнеженными, то желчными, наиболее благородные из них все-таки лишены подлинной душевной чистоты. Под оболочкой снисходительности скрываются горечь и пессимизм. Даже когда Марселен проповедует освобождение человечества, чувствуется, что он вовсе не верит в его возможность, по крайней мере для Гаити, не видит пути к нему.

Герои Марселена остро реагируют на красоту родной земли, ее беды и несчастья, но даже у тех немногих из них, кем как будто бы владеют мечты об идеале, тайной подоплекой поступков оказывается инстинкт самосохранения и карьеризм. Главный герой его романа Фемистокл Эпаминондас Лабастер, юноша, охваченный высокими помыслами и патриотическими порывами, готовый на все жертвы, обнаруживает свое истинное лицо, когда он с легкостью отказывается от своей нежной любви к дочери лавочника ради надежды на более выгодный брак. Да, Марселен был прав, показывая беспринципность, двуличие, корыстолюбие своих героев, но ведь в ту же эпоху существовали и другие люди, посвятившие себя борьбе за лучшее будущее. Марселен кое-где утверждает, что видит их тоже, но в таком случае он очень плохо их разглядел. И при всем том — как велика мощь этого романиста, как широка его критика быта и нравов, как живо воссоздает он облик нашей толпы!

В 1903 году выходит второй роман Марселена «Мщение», в 1908 году — «Марилис», где речь идет о тружениках. Атмосфера здесь не так сурова, любовь героев более искренна. Двусмысленная усмешка Марсе-

* Знойный край *(исп.)*.

лена смягчается, весь колорит произведения становится более светлым, но в целом сочувствие писателя к народу не получило подлинно художественного выражения. В «Исповеди Базута», появившейся в 1911 году, Марселен возвращается к своему «жестокому реализму», к «горизонтам без неба».

Умер Фредерик Марселен в изгнании, в Париже, в 1917 году.

Антуан Иносан, родившийся в 1873 году (он жив и сейчас),— автор единственного романа «Мимола» (1906). «Мимола» Антуана Иносана — самый, быть может, всеобъемлющий по «замаху» роман в нашей литературе: писатель стремится отразить в нем явления, характерные не только для Гаити, но и для всей Латинской Америки, если не для всех континентов, безжалостно порабощенных западноевропейскими империалистами. Антуан Иносан — художник большого таланта, но реализовать столь грандиозный замысел ему оказалось не под силу. На первом плане в книге оказался анализ переживаний женщины, пытающейся спасти свою тяжело больную дочь.

Современному романисту покажется, очевидно, несколько вялым и стиль книги, несмотря на свежесть и правдивость описаний и пейзажных зарисовок. Однако «Мимола» с ее наивным реализмом и каким-то особым обаянием искренности навсегда осталась в нашей литературе.

Творчество Жюстена Лерисона (родившегося также в 1873 году) представляет новый этап в развитии нашей литературы. Жюстен Лерисон — видный поэт, автор современного гимна Гаити. Блестящий рассказчик, он поставил своей целью обновить роман Гаити, революционизировать его традиционное содержание и форму с помощью выразительных средств народного искусства. То что сделал Лерисон для нашей литературы, можно сравнить со вкладом, внесенным в мировую музыкальную культуру негритянским джазом. Своей «Семьей Питит-Кай» (1904) Жюстен Лерисон опрокидывает каноны романтического жанра. Он внес в роман едкую буффонаду, вольную импровизацию, откровенную и вместе с тем мягкую, человечную шутку, какую-то особую музыкальную, «суинговую» тональность повествования, необычная форма которого удивляет и восхищает изумительной уравновешенностью компонентов.

Столь же самобытным и ярким оказался и другой его роман — «Зуна у мачехи» (1906). Короче говоря, проблему специфически гаитянского композиционного построения романа отныне можно считать разрешенной. Стиль романов Лерисона — это свободный стиль народных рассказчиков Гаити, которые не церемонятся со временем и пространством, ускоряют ход событий, возвращаются назад и могут оказаться в прошлом веке, если не раньше, или попасть куда угодно — даже на луну. Сочным народным юмором пропитана каждая «клеточка» повествования. Жюстен Лерисон, с его ритмами уличного певца, возвратил роман к истокам прекрасного, вернул ему молодость, позволил заглянуть в завтрашний день человечества и его искусства. Иногда Лерисона причисляют к критическим реалистам. С этим, пожалуй, можно согласиться, оговорив особый характер его реализма, и прежде всего стихию нравственного здоровья, озорного народного веселья, беспощадного высмеивания всяческих пороков и слабостей — начиная с политики власть имущих и кончая свойствами человеческого характера. Лерисон — певец пестрого спектакля бытия, горькой радости жизни.

Буквально через несколько недель после опубликования «Зуны у мачехи» выражения из этой книги «вторглись» в повседневную речь простого неграмотного народа. «Корчить младшего Жака» означало отныне «обмануть женщину», выражение «жить, как Зуна» употреблялось, когда речь шла о девушке слишком пылкого темперамента. Может ли писатель пережить такую славу? Жюстен Лерисон умер вскоре после появления своей книги. Ему было 34 года, и он уже начал новый роман, «Зуна в жизни»..

1873 год был знаменательным для нашего романа. В этом благодатном году родились не только Антуан Иносан и Жюстен Лерисон, но и Фернан Ибер. Как и Лерисон, Фернан Ибер — критический реалист. Он блестящий сатирик. Его смех так же неистов, как и смех Лерисона, но совсем на него не похож. Смех Лерисона добродушен, Ибер же издевается над персонажами своих книг, его смех скептичен, и сколько в нем горечи, несмотря на слабую тень сочувствия! Эта яростная, каннибальская, разрушительная, всеотрицающая ирония нигилиста обращена в первую очередь против среды, к которой принадлежал сам писатель. В то время как Лерисон интересовался жизнью простого народа и средних классов Гаити, Ибер изображал высшие круги. Он захлебывается от удовольствия, рисуя глупость и нелепые предрассудки тех, кого Жак Румен назовет впоследствии «марионетками». Высказывалось мнение, что произведения этого замечательного романиста рисуют слишком мрачную картину действительности, что их реализм — «разрушительный», но упрек этот, безусловно, несправедлив Лично я считаю Ибера оптимистом: читая его романы, невольно приходишь к выводу, которого автор, однако, прямо не высказывает: «Все это настолько ужасно, настолько глупо, что в один прекрасный день полетит ко всем чертям, не так ли?» Мне кажется, что Фернан Ибер был единственным из гаитянских романистов, писавших накануне 1915 года *, кто завуалированно предсказал оккупацию нашей страны американцами, потерю ее национальной независимости.

Ибер не ввел сенсационных новшеств в области формы: и в стиле и в композиции романа он продолжал традиции своих предшественников. Он полагал, что мятежное

---

* С 1915 по 1934 год продолжалась оккупация Гаити вооруженными силами США.

содержание его произведений требует простоты художественных средств. Стиль его прозрачен, как горный ручей Этот колосс— четвертый «мушкетер» нашего реалистического романа той эпохи. В первом романе, «Сена» (1906), художник нарисовал тип, уникальный в нашей литературе. Это Ромелюс Роротт, или Сена, который в начале романа выступает как отпетый негодяй, а затем приходит к гуманистическому и жизнеутверждающему мировоззрению Второй роман Ибера, «Семья Тазар, или Сцены гаитянской жизни», вышел в 1907 году. В 1908 и 1910 году Ибер публикует романы «Ромулюс» и «Маски и лица». Затем замолкает на 13 лет. Незадолго до смерти он выпускает «Видения, или Приключения господина Эленюса Катона» (1923), а немного спустя — самую, быть может, потрясающую из всех его книг, подлинное завещание художника, измученного постоянной борьбой с отчаянием в оккупированной стране, попавшей в руки иностранцев и правителей-космополитов, презирающих культуру, опасающихся последствий ее расцвета. Это произведение — «Рукопись моего друга», последнее «прости» представителя интеллигенции, который не захотел признать оккупационный порядок и предпочел стать простым преподавателем лицея, воспитателем подрастающей молодежи.

Поколение, которому было двадцать — двадцать пять лет к началу американской оккупации, оставило только троих романистов, достойных упоминания. Нельзя сказать, чтобы писателям того периода не хватало таланта, но они растрачивали свой талант по пустякам. Что можно было ждать от них, выросших в бесплодной атмосфере угасающего феодализма, иностранной оккупации? Что можно сказать о Феликсе Куртуа, тончайшем стилисте? Чистота его языка несомненна, но его фраза расплывчата и бесформенна. Его роман «Две бедные девочки» (1919) — произведение реализма, который я бы назвал слезливым. И в других книгах Куртуа «хнычет» — оплакивает прошедшую и современную жизнь и себя самого, отчаявшегося «понять свое время».

Не больше убеждают нас и романы Леона Лало — «Танец волн» (1919) и «Потрясение» (1921). Леон Лало считает себя «сверхинтеллектуалистом» (он не имел мужества сказать — «паяцем»). «Я думаю, что писатель должен обладать отчетливым сознанием своей непосредственной бесполезности»,— говорит он. Не знаю, как пришла Лало мысль описать потрясение, испытанное гаитянским народом, и в частности нашей молодежью, в период оккупации? «Потрясение», самый известный роман писателя,— это произведение довольно искусного мастера и вместе с тем сухое, холодное. Не было у Лало подлинной теплоты, любви к человеку, не было и необходимого чувства ответственности перед народом. Он честно описал то, что видел во время американской оккупации,— но что может видеть уличный жонглер, забавляющий прохожих? Морис Дерош, главный герой «Потрясения», покидает Гаити в самый ответственный момент и отправляется на поиски легкой жизни. Вся молодежь в изображении Лало — отрицатели и скептики по образу и подобию самого автора, чей скептицизм, в отличие от Ибера, даже в подтексте не подразумевает никакой «положительной программы».

Последний заслуживающий упоминания романист этого поколения — Стефен Алексис *. В его романах уже появляются образы настоящих участников драматических событий в стране — партизан, которые голыми руками сражались с захватчиками,— но эти герои в книгах Стефена Алексиса эпизодичны. В 1933 году вышел его политический роман «Негр под маской», в свое время пользовавшийся успехом, но теперь уже во многом устаревший. Создать запоминающиеся образы в этом произведении, описывающем различные слои городского населения, автору не удалось.

Клеант Деграв Вальсен, автор «Жестокой судьбы» (1929), «Белой негритянки» (1934) и нескольких других книг, заслуживает упоминания, так как она была первой нашей женщиной-романисткой. Вслед за ней выступили Анни Дерой, автор «Ярма» (1934), и писательница более позднего периода Мари Вьё Шове, создательница «Девушек Гаити» и «Танца на вулкане». К сожалению, все эти книги оказались слишком анемичны, беспредметны, манерны, чтобы выдержать испытание временем

Новое поколение, возмужавшее в эпоху, когда солдаты морской пехоты Соединенных Штатов день и ночь патрулировали по нашим улицам, совсем по-иному реагировало на оккупацию. Те, кому было пять-десять лет в 1915 году, не могли присоединиться к вооруженным повстанцам, укрывавшимся в горах и лесах, но они безжалостно осудили верхи, ответственные за унижение родины. Молодежь ожидала своего часа.

К 1927 году вокруг совсем молодого тогда Жака Румена сплотилась группа молодых интеллигентов, которые начали выпускать «Местный журнал». В нем сочетались различные тенденции, но всех сотрудников журнала объединяли любовь к родине, верность попранной черной расе и убеждение в необходимости пересмотра всего культурного наследия страны в свете передовых идей эпохи. Все они признавали, что искусство должно быть полезным, и высказывались за реализм, но реализм нового типа, в котором сочетались бы гуманизм, критика, широта социальных обобщений, специфическая национальная тематика. Они призывали к освоению художественных средств народного искусства, к поискам новых форм, высказывались за воинствующую, революционную эстетику. Эта эстетика восторжествовала в поэзии и стала законом для целого поколения писателей Гаити. Первым, кто воплотил ее в романе, был Жак Румен.

---

* Отец Жака Стефена Алексиса, автора настоящей статьи.

Несмотря на активную политическую деятельность, на то, что он вел полную тревог жизнь революционера, Жак Румен выступал и как поэт, романист, социолог, этнограф. Возглавив левое крыло национально-освободительного движения на Гаити, он организовал ряд стачек, вылившихся во всенародную борьбу против захватчиков, в результате которой наша страна была освобождена от оккупации. В 1930 году Жак Румен опубликовал сборник рассказов «Добыча и тень», а затем, в 1931 году, два первых своих романа — «Заколдованная гора» и «Марионетки». Но хотя черты будущего творческого метода Жака Румена уже как-то обозначены в этих книгах, писатель еще по-настоящему не обрел себя.

В этот же период появляются романы других сотрудников «Местного журнала». В 1935 году выходит «Старик» Мориса Касеюса. Герои этого романа — жизнерадостные обитатели бедных предместий. Правда, эта здоровая по атмосфере, красочная, полная движения книга несколько фотографична, и сказать, что она полностью отвечает программе, сформулированной «Местным журналом», нельзя.

Другой известный писатель Клеман Маглуар Сент-Од, начавший свой творческий путь с сюрреалистических стихотворений, создает в это время серию прозаических зарисовок «Картины нищеты». За обнаженной до предела натуралистичностью и внешней сухостью и бесстрастием множества странных сцен скрывается в этих картинах почти экзистенциалистское смятение. Маглуар Сент-Од сам жил среди описанных им отщепенцев — сутенеров, бродяг, проституток. Но оказавшись на дне этой пропасти нищеты, пороков и скуки, писатель не может выбраться из нее, чтобы выполнить задачу романиста, который должен рисовать явления не только изнутри, но и извне, давать объективную их оценку. Однако хочется верить, что Маглуар Сент-Од, художник большой искренности, еще преодолеет упадочные настроения: недавно вышедшая его повесть «Бдение» позволяет за обычной для писателя неуверенностью и сомнениями различить и светлые, обнадеживающие мотивы.

Однако оставим этого романиста, в произведениях которого причудливо смешиваются влияния Вийона, Нерваля, Золя и Кафки, и обратимся к другим писателям поколения Жака Румена. В 1939 году Петион Савен публикует книгу «Хижина Дамбалла», не лишенную достоинств, но не ставящую крупных социальных проблем. В 1943 году Пьер и Филипп Тоби-Марселены выпускают роман «Зеленое канапе», вызвавший много откликов и принесший авторам Большую премию латиноамериканского романа. Две другие их книги, «Скотина Мюсо» и «Карандаш божий», закрепляют за ними славу занимательных рассказчиков; но в произведениях Тоби-Марселенов можно найти лишь красочные описания, местный колорит, забавную выдумку. Об особой психологической глубине, идейной или художественной значительности их романов говорить нельзя, взгляд авторов скользит по поверхности.

О Жане-Батисте Синеасе обычно говорят, что это крестьянский писатель, что его романы стилизованы под народную речь, сам Синеас считает себя рассказчиком народного типа. Лично мне роман Синеаса представляется дидактичным, его персонажи неживненны, нетипичны, они лишь средство для выражения авторских идей. Однако ему удалось завоевать популярность уже первой книгой «Драма земли» (1933). В 1940 году Синеас публикует «Мщение земли», затем «Священное наследие» (1945) и «Ответное потрясение» (1948). В целом этому прогрессивному писателю не хватает, на мой взгляд, художественного чутья, он слишком интересуется вещами и событиями в ущерб живым людям.

Но вернемся к Жаку Румену, основоположнику современной литературы Гаити. После выхода в свет первых романов и стихов Жак Румен долгое время не выступал с новыми произведениями. В течение многих лет он жил в изгнании, и лишь в 1941 году ему было разрешено вернуться на родину. Вскоре Жак Румен получил назначение на дипломатический пост в Мексике, но через некоторое время вернулся на Гаити в связи с тяжелой болезнью, которая свела его в могилу раньше, чем он успел осуществить широкие теоретические замыслы и идеи, касающиеся будущего нашей литературы. Я не буду описывать здесь скорбь народа Гаити при известии о смерти Жака Румена, скорбь рабочих, потерявших политического вождя*, ученых, художников, молодежи. Перед смертью Жак Румен успел окончить новый роман, и несколько месяцев спустя, в 1944 году, появились «Хозяева росы»** — шедевр, с восторгом встреченный во многих странах мира.

В романе Жака Румена, в отличие от других произведений наших романистов, ощущается поступь истории. Гаитянские писатели предшествующих поколений не могли понять сущности и закономерностей развития нашего общества. Реализм Жака Румена носит диалектический характер; читая его книгу, видишь взаимосвязь явлений в жизни нации, видишь, как народ, массы пробуждаются к борьбе за социальное обновление, постепенно завоевывая веру и надежду.

Самый мелкий эпизод романа оказывается необходимым для развития характера героев, создается отчетливое впечатление, что цепь, казалось бы, незначительных, заурядных событий неуклонно подводит персонажей книги к выводам, которые они не могли предвидеть заранее.

Жак Румен достигает неведомого нам ранее соответствия формы и содержания: стиль

---

* Жак Румен — один из основателей Коммунистической партии Гаити.

** Роман опубликован в журнале «Иностранная литература» в № 1 за 1956 год.

и композиция его книги неразрывно связаны с ее сюжетом, продиктованы особенностями содержания Рассказать историю «Хозяев росы» иначе, чем это сделал Румен, значит существенно изменить ее смысл.

Замечательно убеждение героев романа, что братство восторжествует на обломках общества, опустошенного ненавистью.

Можно упрекать Жака Румена за то, что рассказанная им история недостаточно определена во времени и пространстве, что ее персонажи скорее аллегоричны, но роман писателя продолжает жить, он открыл перспективы дальнейшего развития нашей литературы.

Остается сказать несколько слов о романистах наших дней. Необходимо упомянуть поэта и драматурга Морисо-Леруа, создателя «Жатвы», и Антони Леспе, автора романа «Семена гнева», писателя, обращающегося к социальной проблематике, но чересчур холодного; можно отметить также Эдри Сент-Амана, скорее занимательного рассказчика, чем писателя эпического размаха («Бог смеется»).

Мне приходится упомянуть и о себе самом, о Жаке Стефене Алексисе. Но говорить о себе очень трудно, поэтому я скажу только, что написал три романа — «Добрый генерал Солнце»* (1955), «Деревья-музыканты» (1957) и «В мгновенье ока», опубликованный, как и сборник «Романсеро при свете звезд», в 1960 году. Первые две книги переведены на многие языки и положительно оценены передовой критикой.

Мы, писатели Гаити, стремимся открывать новые таланты, помогать формированию тех, кто пойдут дальше нас: народ наш нуждается в романистах так же, как и в рабочих, инженерах, артистах, крестьянах.

---

* Вышел на русском языке в Издательстве иностранной литературы.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Две Испании — две литературы

Штыками можно многое сделать, но на штыках нельзя сидеть — глубокий смысл этой истины дает о себе знать все сильнее в странах самой оголтелой фашистской диктатуры. Не миновал этой участи и франкистский режим в Испании; стремясь к самосохранению, он давно уже не прочь обратиться и к такому сильнодействующему средству, как литература.

Именно по этой причине во франкистской Испании, как в свое время и в гитлеровской Германии, насаждается литература, назначение которой состоит в том, чтобы всячески облегчить существование режима, прикрыть его кровоточащие язвы и замаскировать его трудности, отвлечь внимание народных масс от его чудовищных злодеяний.

Следует подчеркнуть, что даже в среде современных испанских буржуазных писателей приспешникам Франко нелегко найти людей, готовых прямо и открыто восхвалять существующий режим. Такие личности, как Хосе Мария Пеман — официальный поэтический «бард» франкизма,— очень немногочисленны, а популярность их в народных массах равна нулю. Приходится поэтому довольствоваться литературой, просто пытающейся отвлечь внимание читателей от безрадостной действительности,— разумеется, в меру ее скудных сил и ограниченных возможностей.

Александр Блок обвинял русских декадентов, собиравшихся на свои поэтические радения, в том, что их искусство — завиток вокруг пустоты. Используя это образное выражение, можно утверждать, что современная испанская литература, которой покровительствует франкистский режим, в общем и целом не только сама завивается в пустоту, но и старается увлечь этим малопочтенным занятием также и читателя.

Характеризуя творчество такого рода писателей, венесуэльская газета **«Эль насиональ»** пишет.

> «Это соглашательская литература, далекая от социальной действительности или, что еще хуже, произвольно фальсифицирующая эту действительность. Представляющие ее авторы в некоторых случаях — откровенные сторонники нынешнего испанского режима, но в большинстве своем это пустые и бесцветные писатели, во всем полагающиеся на чисто техническую сноровку и создающие произведения, почти полностью лишенные дарования. В наше время очень трудно даже писателю-франкисту сочинять панегирики в честь этого режима — такие книги вызвали бы возмущение читателей; именно поэтому такого рода писателям приходится довольствоваться созданием нейтральной и бездумной литературы, ситуации которой обычно не выходят за пределы анекдота и уж конечно никак не касаются социальных проблем. Эти писатели никогда не тревожат франкистский режим и не доставляют никаких трудностей цензуре...»

Нередко, однако, пустенький бытовой анекдот, составляющий основу сюжета пухлой книги в двести, триста, а то и больше страниц, сдабривается «проблемами», почерпнутыми из кадильницы «салонного католицизма» (определение газеты «Эль насиональ»). Как указывается в той же статье, наблюдаемое в такого рода литературе «приближение к богу является не чем иным, как отдалением от человека» со всеми его повседневными интересами, со всем кругом его земных забот и надежд. Подобных по-

ставщиков чтива достаточно метко охарактеризовал талантливый прогрессивный испанский писатель Хуан Гойтисоло: «Если судить по тому, что создают их умы, то, по-видимому, милость божья не благоприятствует созданию романов».

Впрочем, в современной испанской буржуазной литературе есть еще один немаловажный мотив, составляющий «идейную основу» довольно большого числа книг, вышедших в стране за последнее двадцатилетие. Характерно, что именно на это явление указал американский журнал **«Букс эброд»**. Речь идет о намеренном и регулярном насаждении неверия в какие бы то ни было политические идеалы и отсюда — в качестве вывода — в действенность каких бы то ни было политических реформ, а тем паче революционных перемен.

Говоря о романах, удостоенных в Испании высшей литературной награды — премии «Надаль», автор статьи в «Букс эброд» замечает: «В них часто говорится о том, насколько бессмысленно ждать какого-либо реального улучшения от смены властей». Тема «бесплодности политической борьбы» повторяется в разных книгах по-разному и очень часто звучит в унисон с темой бессмысленности человеческого существования, «краха всех надежд», «полной терпимости и всепрощения», необходимости принимать человека в том виде, каков он есть, ничего в нем не улучшая, и тому подобными «моральными заповедями» модернистской литературы.

Так выглядит литература франкистской Испании даже в оценке американского буржуазного журнала.

Может возникнуть законный вопрос: как реагирует читатель внутри страны на такого рода книги, удостаиваемые благожелательного внимания со стороны критики и вознаграждаемые лаврами официального признания?

> «В Испании,— пишет «Эль насиональ»,— сейчас ощущается инстинктивное недоверие к национальной литературной продукции Читатели интересуются прежде всего литературой других стран, которая нередко открывает перед ними более широкие горизонты».

Дело, однако, не только в том, что читатели в самой Испании испытывают недоверие к официозной псевдолитературе, значительно важнее то обстоятельство, что власти пытаются с ее помощью преградить путь читательским массам к той новой литературной поросли, которая рождается в ходе борьбы народных масс против режима Франко.

> «Существование официозной литературы,— говорится в той же статье «Эль насиональ»,— не имело бы большого значения для будущего испанской культуры, если бы она, кроме своего собственного бесплодия, не вела бы к иным последствиям. Но совершенно очевидно, что такого рода «литература» отгораживает массового испанского читателя от его настоящих романистов и поэтов».

Несмотря на репрессии и террор, обрушиваемый властями на все области духовной жизни, в современной испанской литературе существуют романисты и поэты, стремящиеся к тому, чтобы их творчество было подлинно национальным и действительно народным. Следует сразу же оговориться. Такого рода литература еще находится, выражаясь образно, в колыбели, причем франкистские жандармы прилагают все усилия к тому, чтобы умертвить младенца. Некоторые из поэтов и романистов, представляющие именно эту литературу, вынуждены жить вне пределов своей страны. Нередки случаи, когда книга, написанная в Испании, не может быть там издана и выходит, скажем, во Франции. Тем не менее процесс становления подлинно национальной и народной литературы продолжается, а цели и задачи ее уже сейчас служат для многих путеводной звездой. Один из ее представителей, Хуан Гойтисоло, в своей книге «Проблемы романа» отчетливо подчеркнул, что такого рода литература не может закрывать глаза на повседневную жизнь, если бы даже и хотела это сделать.

В испанском журнале **«Инсула»** была не так давно помещена статья, выразительно озаглавленная «Народная литература».

«Одним из самых горячих и страстных стремлений писателей нового поколения,— читаем мы в этой статье,— является создание народной литературы... Наиболее молодые поэты — молодые как по своему возрасту, так и по тому, что мы назвали бы «стилем жизни»,— провозгласили своим лозунгом известное изречение и одновременно жалобу Антонио Мачадо: «Писать для народа! Чего бы я мог еще желать!» Такие романисты, как Хуан и Луис Гойтисоло, Хесус Лопес-Пачеко, Педро Салинас и другие, отдают сегодня свои силы главным образом тому, чтобы создать народный роман, выражая это стремление не

только в статьях и беседах, но и в своем собственном творчестве».

Оговаривая, что эту литературу в целом предстоит еще создать, журнал «Инсула» вместе с тем утверждает:

«На сегодняшний день фактом — и фактом очевидным — является то, что большинство писателей нового поколения вдохновляется — или с энтузиазмом старается это сделать — жизнью народа, его печалями и надеждами. Большая часть этих писателей хотела бы рассказать о том, что они увидели и почувствовали, не ученому и образованному меньшинству, которое в общем-то ничего в такого рода делах не смыслит, а большинству людей, всему народу. И в этом отношении исключительное, почти пророческое значение имеет посвящение, которое написал в 1955 году большой поэт Блас де Отеро на своей книге «Прошу мира и слова». Это посвящение — «огромному большинству» — было выражением не только некоторых личных желаний или субъективных критериев поэта, но также и свидетельством того, что в те времена находилось еще в зародыше и что, может быть, лишь теперь дает первые плоды — не только поэтические, но и общелитературные. Даже больше: я готов сказать, что в этом посвящении заключалось то, что сегодня мы уже могли бы назвать смыслом исторической деятельности этого поколения».

Итак, в сегодняшней Испании официозной профранкистской литературе все более явственно начинает противостоять литература, с гордостью именующая себя народной. Она держит курс на современность и ориентируется на массы. Она смотрит без страха вперед и твердо уверена в том, что будущее принадлежит именно ей!

Этика социализма и задачи писателей

Показать превосходство социалистических идеалов в области этики над волчьими нормами морали капитализма — может ли быть задача более благородная для литературы социалистического реализма? Не удивительно, что румынская **«Газета литерарэ»** посвятила этой теме обстоятельную статью известного литератора **Михая Новикова**, озаглавленную автором **«Против буржуазной идеологии в литературном творчестве».**

Всегда ли буржуазная идеология и буржуазная мораль проявляются в обнаженной форме и ведут атаку с открытым забралом? Отвечая на этот вопрос отрицательно, автор статьи в «Газета литерарэ» справедливо подчеркивает, что буржуазная идеология пытается оказывать свое влияние (здесь уместно также употребить слово «давление») зачастую извилистыми, окольными путями. И борьбу с этим влиянием в литературе вести иной раз весьма нелегко.

«Показать превосходство этического идеала социализма,— читаем мы в статье,— значит, изобразить жизнь таким образом, чтобы носители идеала социалистической этики предстали .. бесконечно более привлекательными, более достойными и богатыми душой, более интересными, чем те люди, которые в своем повседневном поведении руководствуются правилами буржуазной морали... Мне кажется,— настаивает автор,— что именно эта сторона отражения действительности является сегодня пробным камнем партийности».

Главным аспектом борьбы между социалистической и буржуазной моралью в наше время являются, по мнению автора статьи, все коллизии, порождаемые столкновениями между буржуазным индивидуализмом и духом коллективизма, свойственным в первую очередь рабочему классу.

«Иными словами, вопрос ставится следующим образом. если буржуазная идеология представляет сегодня врага, против которого писатель мобилизует все передовые силы общества, то, значит, одной из основных обязанностей писателя является: изобразить конфликты нашего времени таким образом, чтобы было ясно, почему и как принятие (более или менее явное) буржуазной морали и идеологии меняет жизнь человека, уродует его, обезображивает его настолько, что он не может вызывать симпатий».

Анализируя ряд произведений, вышедших за последние годы в Румынии, автор статьи подчеркивает, что, с точки зрения мастерства литературной характеристики, действующие в той или иной книге передовые люди не всегда в достаточной мере превосходят людей, находящихся в плену пережитков капитализма. Нетерпимой, по мнению автора статьи, является и та снисходительность, с которой некоторые писатели

относятся к разного рода экстравагантным и разболтанным юнцам, то и дело появляющимся на страницах некоторых современных очерков и новелл.

Разумеется, в жизни встречаются люди и с «пятнами», и «без пятен». И писатель обязан изображать своих героев такими, какими они являются в действительности. Однако не само наличие «пятен» у героев литературных произведений вызывает протест и досаду, а то, что такого рода «пятна» даны как наиболее «интересная» сторона персонажа.

В самом деле, обобщает автор статьи,

> «о какой эффективной борьбе с индивидуализмом может идти речь, когда персонаж, пораженный болезнью индивидуализма, оказывается одновременно самым талантливым, самым умным, самым обаятельным и т. д.? Это будет пародия на борьбу с буржуазным индивидуализмом, а не подлинная идеологическая борьба».

Говоря о гармоничном (с точки зрения идейной и эстетической) сочетании «света» и «тени» в творчестве таких писателей, как Галан (роман «Бэрэган») и Марин Преда, автор статьи подчеркивает, что в их книгах

> «..эволюция положительных героев идет почти всегда по следующей кривой: от изолированного существования, которое именно в силу своей изолированности является мрачным, угнетающим, мучительным,— к сближению с делом *коллектива* и, как следствие этого,— к выходу из изоляции, что дает возможность обрести себя, человеческое достоинство, луч света. Таков один из методов эстетического утверждения новой жизни...»

Само собой разумеется, подчеркивает в заключение автор, что изложенные в статье мысли далеко не исчерпывают проблемы в целом. Тем не менее они могут, на наш взгляд, дать пищу для плодотворного ее обсуждения.

Ричард Райт о «черной мечте»

Творческий путь известного американского писателя **Ричарда Райта** за последние годы был достаточно извилистым и противоречивым. Его литературно-общественная деятельность давала немало оснований прогрессивной критике предъявлять ему серьезные и вполне обоснованные претензии. Вместе с тем в последние годы Райт пристально и с сочувствием следил за борьбой народов против колониализма. Вот почему ряд мыслей по поводу расовой дискриминации в США, изложенных им недавно в интервью, данном представителю французского еженедельника **«Экспресс»**, представляются нам вполне заслуживающими внимания.

Представитель еженедельника «Экспресс» напомнил Райту чьи-то слова «Цвет кожи— вот мое отечество» и спросил писателя о том, как он к этим словам относится. Райт ответил:

> «Цвет кожи не является моим отечеством. И если я имею дело с расовой проблемой, то лишь по той причине, что эта проблема возникает без моего участия и согласия... И если я пишу о расовой проблеме, то делаю это лишь потому, что хочу, чтобы раз и навсегда было покончено со всеми расовыми волнениями и связанной с ними напряженностью. И нет у меня ни малейшего желания, чтобы в мире, где мы живем, существовала вообще какая-либо точка зрения, продиктованная расовыми интересами — все равно какими: интересами белых, желтых или черных народов».

Говоря далее о своем личном опыте в области расовых ограничений, которые в США именуются «джимкроуизмом», Райт заметил с полной и горькой откровенностью:

> «Каждый негр испытал на себе, что означает жить под угрозой Джима Кроу. Хотя бы уже по одному тому, что он родился в США, ибо каждый негр, родившийся, скажем, в штате Миссисипи, первым делом ощущает, что он родился в гетто. И Джим Кроу дает ему знать о себе следующим образом: этот негр посещает школу для цветных, церковь для цветных. Входя в автобус, он занимает места для цветных. Если ему вздумается посетить ресторан — это будет ресторан для цветных. И так Джим Кроу его преследует до самой могилы, ибо хоронят его тоже как цветного. От колыбели и до конца своих дней негр является жертвой расовой дискриминации. Такова жизнь на юге США. Против этого и направлены сидячие демонстрации протеста — против жесточайшей дискриминации, которая преследует негра до самой смерти».

Весьма критически относится Райт к тому, какими методами и темпами проводятся сейчас в США такого рода реформы, как совместное обучение детей цветных и белых в школе:

«Я располагаю в этом отношении последними данными. Решение Верховного суда о совместном обучении было принято в 1954 году — шесть лет назад. За это время к обучению в школе допущено около шести процентов детей цветных Шесть процентов за шесть лет; если и дальше сохранятся эти темпы, то понадобится примерно сто лет, чтобы охватить всех детей. Я беседовал с очень хорошо осведомленными людьми, и они меня уверяли, что до сих пор в этой области не наступило никаких качественных изменений и что ребенок негр не может посещать школу для белых, не чувствуя себя морально линчеванным. Это оказывает весьма болезненное влияние на школьников, принадлежащих к черной расе».

Участники беседы перешли на литературные темы. Возник вопрос о том, действительно ли существует в США значительная по своим масштабам и звучанию негритянская литература. Райт отвечает на этот вопрос утвердительно.

«Негритянская литература в США настолько значительна, что даже правящие круги обратили на нее внимание. Писатели негры в своих книгах как бы дают показания о самой могущественной стране Запада—Соединенных Штатах. Но я убежден, что еще каких-нибудь сто лет назад никто не мог предвидеть наступление такого дня, когда негры начнут оказывать хоть какое-нибудь влияние на ход мировых событий А сейчас они именно это и делают. В США очень склонны советовать негритянским писателям: «Перестаньте описывать переживания, свойственные вам как представителям черной расы, не отделяйте себя от всех остальных. Вы такие же люди, как все другие, и потому пишите на любую тему, как это делают другие». Мне хочется по этому поводу сказать: «Поступайте наоборот! Возьмите в качестве своей темы все то, что вам приходится переживать в гетто, ибо речь идет о теме, интересующей весь мир, и если кто-либо вас за это осуждает, не обращайте на него внимания».

Речь зашла о последнем романе Райта, озаглавленном «Черная мечта». Как понять это название и какой смысл вложен в него автором? Сам Ричард Райт дал исчерпывающий и примечательный комментарий Речь идет о герое негре, который мечтает добиться равноправия в США, исходя при этом из текста американской конституции и поправок к ней.

«Когда отец моего героя,— замечает Райт,— говорит своему сыну: «Пусть только твоя мечта не заведет тебя слишком далеко»,— это означает: «Если ты действительно веришь в осуществимость всего того, что сказано в тексте конституции, то обрекаешь себя на смерть». ...Ибо если бы негр в Америке осмелился потребовать для себя те права, какие предоставляются конституцией, ему угрожал бы суд Линча».

* * *

Когда эти строки сдавались в набор, пришло неожиданное известие о смерти Ричарда Райта. Горькие мысли, высказанные в его интервью о современной американской действительности, являются, таким образом, последними мыслями писателя, опубликованными в печати.

Ультрамаккартисты французского образца

Раздавшийся не так давно в центре Парижа, на Елисейских полях, зычный и хриплый возглас «Жана Поля Сартра — к стенке!» нельзя было просто расценить, как обычную хулиганскую выходку распоясавшихся фашистских молодчиков Он представлял собой громкий и недвусмысленный сигнал о том, что над Францией нависает тень маккартизма, а на набережной Сены французская реакция ведет форменную «охоту на ведьм». В конце концов от такого рода возгласов и до костров из книг, раскладываемых на какой-либо из площадей в столице Франции, не так уж далеко. Особенно если принять во внимание, что подобные возгласы не звучат вхолостую, а служат своеобразным аккомпанементом к репрессиям, которые власти обрушивают на всех «инакомыслящих», в первую очередь на тех, кто выступают против войны в Алжире.

Вот как выглядит список лиц, лишь за последнее время подвергшихся преследованиям со стороны французских властей.

Пять человек из тех, кто подписали «Манифест 121» против войны в Алжире, подверглись судебному преследованию за «призыв к неповиновению»; три преподавателя уволены и вообще лишены возможности заниматься своей профессией; у себя на дому, в Нормандии, допрошена «с пристрастием» Франсуаза Саган; Жан Поль Сартр, Симона де Бовуар и Симона Синьоре должны быть посажены на скамью подсудимых; заключен в тюрьму журналист Робер Барра.

Французское правительство вынесло решение, согласно которому любой государственный служащий, если он осмелится высказаться в духе, не угодном властям, может быть отстранен от работы или его оклад может подвергнуться сокращению на три четверти (не исключены, разумеется, и более серьезные «методы воздействия»).

Помимо всего прочего, лицам, подписавшим «Манифест 121», запрещается выступать по французскому телевидению и радио. Театры, субсидируемые государством, не вправе ставить их пьесы. На постановку фильмов с участием «опальных» литераторов, режиссеров и актеров государство не будет отпускать никаких средств.

Административно-полицейский произвол французских властей вызвал бурю возмущения и гневные протесты как в самой Франции, так и за ее пределами... В заявлении, опубликованном французской компартией, говорилось по этому поводу:

> «Протест представителей интеллигенции, подписавших «Манифест 121», выражает стремление французского народа покончить с войной в Алжире.
>
> Вот почему Французская коммунистическая партия, имеющая свои собственные концепции по вопросу об эффективности определенных методов борьбы и считающая, что действенна лишь массовая борьба, не может допустить применения репрессий к кому бы то ни было из сторонников установления мира в Алжире, ибо цель этих репрессий — ликвидация всех форм оппозиции колониалистской войне».

В статье, проникнутой духом гневного возмущения и вместе с тем призывом к единству, газета **«Юманите»** писала:

> «Мы, коммунисты... будем защищать 121 так же, как всегда будем защищать всех сторонников мира в Алжире. Их защита есть дело всех демократов, всех республиканцев...
>
> Мы спокойно говорим, что несмотря на наше несогласие с некоторыми средствами, предложенными 121, мы считаем, что значение их призыва заключается в том, что они пробудили общественное мнение и расширили дискуссию о характере алжирской войны и способах ее прекращения».

Разбуженное общественное мнение Франции с непримиримой страстностью выступает против мер террористического устрашения прогрессивной творческой интеллигенции страны, справедливо расценивая поведение властей как посягательство «не только на свободу интеллигенции, но и на основные гражданские свободы».

Угрожающий ход событий и вызывающая позиция правящих кругов содействуют тому, что с выражением единодушного протеста выступают лица, еще недавно не обладавшие единой точкой зрения по одному из самых острых вопросов современной французской действительности — по вопросу о защите страны и народа от наступления реакции Так, **Франсуа Мориак,** откликаясь на страницах еженедельника **«Экспресс»** на арест журналиста Барра, пишет:

> «Робер Барра заключен в тюрьму Френ: значит, в этот застенок, так же как и 16 лет назад, попадают самые передовые люди наряду с самыми закоренелыми преступниками... Мы, Робер и я, не согласны друг с другом в алжирском вопросе... но я уверен, что его поступком руководила любовь к людям. А я не верю, что любовь к людям может породить преступления».

В статье Мориака содержится также призыв к генералу де Голлю взять на себя защиту «своих братьев писателей», призыв, который в современной Франции звучит по меньшей мере наивно.

Писательница **Кристиана Рошфор** назвала выступление деятелей культуры против войны в Алжире своеобразным пробным камнем демократии в стране. **Жан Мари Доменак,** редактор левокатолического журнала «Эспри», подвергшегося полицейскому налету, счел необходимым во всеуслышание объявить, что

> «Пятая республика» поставила себя вне закона в таком важнейшем вопросе, как вопрос о пытках, которые часто открыто применяются во многих районах Алжира. Власти никогда не предпринимали попыток покончить с ними, и ни один человек не был еще предан суду за то, что пытал».

Небезынтересно отметить, что французская писательница **Габриэль Марсель,** одоб-

рившая точку зрения правых кругов, вскоре направила письмо в **«Монд»**, в котором заявила, что присоединилась к этой точке зрения против своей воли (contre coeur) и что сейчас «она в гораздо большей степени согласна с левыми, чем с правыми».

Возмущение действиями реакции охватывает не только французский народ. Уже возвысили свой голос в знак протеста и многие писатели, ученые, художники ряда стран Запада. Среди них Генрих Бёль и Альберто Моравиа, Шон О' Кейси и Элио Витторини, Вольфганг Кёппен и Федерико Феллини, Норман Мейлер и Джон Осборн, Олдос Хаксли и Леонгард Франк, Гюнтер Вайзенборн и Макс Фриш, Эрвин Пискатор и Макс Борн, Фридрих Дюрренматт и Герман Гессе, а также многие другие деятели культуры.

Говоря о террористических санкциях, какие были применены властями против не угодных им представителей интеллигенции, **Пьер Дэкс** подчеркнул в **«Леттр франсез»**, что это

> «дело рук человека, который отлично знаком с литературным миром Франции Нужно было полностью находиться в курсе дела,— поясняет Дэкс в своей статье,— чтобы нанести одновременно удар по стольким людям, работающим в разных областях, и сделать это таким образом, чтобы запрещения в любой момент могли распространиться на каждого, чья физиономия придется не по вкусу.
>
> ...До сих пор душили потихоньку: отменялась та или иная передача, работы лишали тех, кто по своей профессии в ней нуждались, такая-то книга переставала существовать для критиков, и если по недоразумению с ее автором беседовал корреспондент, то запись этого интервью где-то терялась. Теперь метод этот апробирован, провозглашен открыто... Отныне «подписавшие «Манифест» — это люди на подозрении, как и те, кто посещают этих подозрительных.. Теперь наряду с опасными лицами будут опасные сюжеты.. »

Подобные мероприятия, продолжает Дэкс, ставят под удар не только интеллигентов, даже и не подписавших «Манифест», они касаются всего народа в целом.

> «Вновь в который раз ставится вопрос о природе связи интеллигенции и народа. Сарказмы в адрес выродившихся интеллигентов, столь дорогие доктору Геббельсу, насмешки Маккарти, направленные против «яйцеголовых интеллигентов (eggheads), кампания против «эксгибиционистов сердца и совести» — все это имеет целью расколоть общественное мнение.»

Со времен Сопротивления никогда еще движение, поднявшее французскую интеллигенцию, не приобретало таких масштабов, утверждает Дэкс, имея в виду массовые протесты против войны в Алжире и в защиту тех, кто решаются открыто выступать против ультраколониалистов, их пособников и их политики.

> «Это глубинное движение, которое объединяет школьников и студентов с их преподавателями, объединяет по всей Франции людей, которых все, казалось бы, должно разделять. Проявления этого движения беспорядочны, противоречивы, лихорадочны, пронизаны бунтарством. При помощи репрессий стремятся подчеркнуть существующие в этом движении разногласия и противоречия в надежде разобщить поток, чтобы отклонить его с пути, рассеять.. Как ни серьезны наши разногласия, не надо забывать, что мир и даже подлинное приближение к миру, если мы его добьемся, их снимет. Ответ на возгласы: «Сартра — к стенке!», раздающиеся на Елисейских полях, состоит не в том, чтобы непременно стать единомышленником Сартра по всем вопросам, а в том, чтобы задуматься: что общего между Сартром и Робером Мерлем, между подписавшими «Манифест» работниками просвещения и Всеобщей конфедерацией труда, Французской коммунистической партией и другими сторонниками мира? Что объединяет их для проведения общей борьбы?
>
> Сделать это не так просто, не так легко. Приходится преодолевать одновременно и нетерпение, и гнев, и отчаяние. А время не терпит. Но если победить препятствия не под силу одному человеку, кем бы он ни был, или нескольким людям, то сделать это под силу всему народу».

Французская прогрессивная общественность убеждена: чем шире распространится именно эта точка зрения в народных массах, тем значительнее будут успехи, достигнутые в борьбе против все усиливающихся атак ультрамаккартистов французского образца.

Ярослав Путик

СОВЕСТЬ

Дело профессора Оппенгеймера

Перевод с чешского П. Н. Антонова

Показания адмирала Льюиса Л. Страуса

— Предыдущие свидетели считали нужным, прежде чем начать давать показания, познакомить нас со своими настроениями. Это мне кажется ненужным и бесполезным. Комитет безопасности изучает тысячи страниц письменных документов и выслушивает целую толпу свидетелей. Если бы к тому же он должен был вникать в настроения и душевные расположения, то комитет превратился бы в психиатрическую клинику, а процесс тянулся бы до скончания света.

Цель наших показаний — облегчить комитету безопасности принятие решения: достоин ли Оппенгеймер доверия, которое ему оказывали, или нет. Ничего другого от нас не требуется.

Прежде всего я должен сказать, что это судебное разбирательство мне кажется напрасным. Каждому, наверно, ясно, что атомная комиссия не может иметь среди своих сотрудников человека, которому мы не доверяем полностью Мы считаем естественным, что предприниматель принимает на работу тех, кому абсолютно доверяет. Человека, которому он не доверяет, он лишит работы. Всегда так было, есть и будет Если мы допускаем, что частный предприниматель имеет право брать на работу лишь того, кому верит, тем скорее мы должны признать это право за людьми, которые связаны с военными объектами, ибо от них наши законы требуют сохранения тайны. Мнение о том, что атомная комиссия может поступить иначе, находится в противоречии с американскими законами

Поскольку у нас нет необходимого доверия к Оппенгеймеру, судебное разбирательство, с этой точки зрения, является напрасным. Я повторяю: мы не доверяем профессору Оппенгеймеру, и потому он не может у нас работать. Итак, что же здесь неясного, зачем нужно было собирать комитет безопасности? Этого потребовал Оппенгеймер. Может быть, он преследует еще какие-нибудь цели... Наверно, он думает, что ему удастся запутать дело, которое ясно и так, без всяких заседаний. Да, ему нужны симпозиумы, академические заседания, разговоры о совести и пацифистские дебаты. И если бы можно было, то он втянул бы в этот бесполезный спор всю Америку, чтобы в конце концов никто не смог разобраться, где у него левая, а где правая рука. Я верю, что много мошенников в этом охотно помогли бы ему и прежде всего тайные коммунисты. Но мы этого не допустим.

О личности профессора Оппенгеймера я могу сказать одно. Я знаю его много лет и уважал за его деятельность. То, о чем здесь говорили доктор Теллер и Борис Пах, мне было в основном давно известно. Я знал о коммунистическом прошлом Оппенгеймера. Ни для кого не было секретом, что его приняли в Манхэттэн дистрикт лишь потому, что не было другого американца, способного выполнить эту задачу. Иностранцам и эмигрантам мы не могли доверить эту работу во время войны. Я не предполагал, однако, что его коммунистическое прошлое влияло на него еще долгое время и после войны. Теперь я придерживаюсь иного взгляда. Для меня стало ясно, что Оппенгеймер не был с нами в 1949—1952 годах, когда мы вели трудную борьбу, чтобы дать Америке и нашим вооруженным силам водородную бомбу. В этой борьбе особенно стало очевидным, кто идет с нами, а кто против. За деятельностью Оппенгеймера я наблюдал непосредственно. Я был назначен членом атомной комиссии *, в то

Окончание Начало см в № 1.

* Первые органы для руководства атомными испытаниями были созданы в 1942 году, когда был организован Манхэттэн дистрикт, подчиняющийся армии. У этого органа до некоторой степени был международный статут, потому что он был согласован между Соединенными Штатами, Англией и Кана-

время во главе ее стоял Лилиенталь. Не могу сказать, что моя работа в комиссии была легкой и радостной. Я во многом не соглашался с Оппенгеймером и Лилиенталем. Основа наших раздоров была глубже, чем это можно было бы объяснить простой партийной ревностью. Это было тяжелое и неприятное время. Во всем чувствовалось ожидание. Перелом наступил в августе 1949 года. В то время возвратился из испытательного полета наш самолет «Б-29» и привез фотографии со следами радиоактивного излучения, которое могло происходить только от взрыва русской атомной бомбы. «Джо I», как мы называли русскую бомбу, была по крайней мере в 6 раз больше, чем наши бомбы первых типов. Не будем обманывать себя. Уже в августе 1949 года русские ушли во многих направлениях дальше нас, однако мы имели большее количество бомб, но, несмотря на это, известие о русской бомбе было страшным.

Хотя это покажется парадоксом, однако я чувствовал некоторое, хотя и горькое, удовлетворение. Подтвердилось, что я был совершенно прав, когда требовал, чтобы мы завели систему регулярной авиаразведки. Я больше верил нашим шпионам, которые бомбардировали нас сообщениями, что русские догоняют нас, чем нашим ученым. Им слава вскружила голову, и они все отвергали. А я был, как всегда, прав. Наши специальные советники, не исключая Оппенгеймера, отвергали авиационную разведку, ибо это якобы — попусту выброшенные деньги, потому что нам русских не следовало бояться в течение 10 или даже 20 лет. Сегодня все это кажется плохой шуткой. Но я, по крайней мере, получил полезный опыт: с тех пор я отношусь к прогнозам наших ученых всегда очень сдержанно и могу сказать, что благодаря этому избежал многих тяжелых ошибок.

В августе 1949 года мы стояли на перекрестке истории. Мы должны были решить, каким путем пойдем дальше. Русская бомба за одну ночь изменила соотношение сил и разрушила нашу стратегическую концепцию. Бессмысленно лгать — мы не предполагали этого. Нужно было действовать решительно и быстро. Наши ученые в те критические минуты были не на высоте. Некоторые вообще не признавали русской бомбы, другие же до смерти перепугались и истерически требовали от нас компромиссов, пока еще есть время.

Мне сразу же стало ясно, что если Америка не хочет потерять свое господствующее положение, то мы должны мобилизовать весь промышленный и научный потенциал и как можно скорее обогнать русских настолько, чтобы они уже никогда не смогли нас догнать...

По моему мнению, оставалось только одно: разбежаться и одним прыжком обогнать русских. Спасти нас могла только адская бомба, о которой я знал еще раньше от доктора Лоуренса.

Всем было известно, что существует, по крайней мере теоретически, возможность создать бомбу примерно в тысячу раз более сильную, чем обычная атомная бомба. По созданию такой бомбы еще во время войны и позже были проделаны некоторые подготовительные работы и определены конструктивные альтернативы. Я просмотрел запыленные папки бумаг, и мне сразу стало ясно, что это — наш шанс. Конечно, все было неопределенно и казалось малореальным. Однако мы были в таком положении, что хватались и за более безнадежные средства. Я загорелся этой новой мыслью, написал большой меморандум к своим коллегам в атомной комиссии. Я определил наше положение, которое из-за русской бомбы совершенно изменилось. Свою основную цель — окружить Советский Союз и восточно-европейские государства военными базами и экономической блокадой и заставить их истратить свои силы во внутренней борьбе — мы могли достичь лишь при условии, что будем владеть оружием гораздо более сильным, чем наш противник. Единственным таким оружием была водородная бомба. Ничего иного не было. Каждое другое решение означало потерю нашего ведущего положения.

К сожалению, я был одинок со своими предложениями в атомной комиссии. Лилиенталь с серьезной миной доказывал мне, что самым сильным оружием является не водородная бомба, а наша демократия. Я сразу понял, с кем разговариваю. Лилиенталь, однако, плохо знал меня, если предполагал, что я напишу меморандум, успокою свою совесть и буду равнодушно наблюдать за дальнейшим ходом событий. Я не из тех, кого можно легко уговорить. Я испытываю удовлетворение от того, что, преследуя какую-нибудь цель, ломаю все существующие преграды и уничтожаю сопротивление противников. Самой лучшей наградой для меня всегда было чувство: а все-таки я добился своего. Они не рассчитывали на такое упорство.

В атомной комиссии все были против меня, и поэтому я написал доклад Общей комиссии конгресса. Сенатор Мак Магон сразу подхватил мое предложение. Это была первая официальная поддержка, которую я получил, и я почувствовал, что дорожка, по которой иду, верная. Да, водородная бомба стала для меня колумбовым яйцом. Помню, как я ска-

---

дой . После войны Манхэттэн дистрикт был ликвидирован, и атомное производство получило гражданское управление, которое осуществляла атомная комиссия. Она состоит из пяти человек, и назначает ее президент США. Свою деятельность комиссия начала в 1947 году. *(Здесь и далее прим. ...)*

зал своему ассистенту: «Биль, я связал себя с водородной бомбой, и ничто меня не может остановить». И на самом деле меня ничто не остановило... Я не обращал внимания на кислые физиономии господ советников, включая и Роберта Оппенгеймера. Я уже не боялся. Я никому не давал времени на долгое обдумывание и торопил ход событий. По моему требованию Оппенгеймер созвал в конце октября 1949 года консультативный комитет *. Мы собрались здесь, в Вашингтоне на Конститьюшн авеню. Присутствовали все члены комитета, за исключением Г. Т. Сеаборга **, который был в то время в Швеции. С Сеаборга и начинается дело Оппенгеймера.

Как вы знаете, консультативный комитет под влиянием Оппенгеймера отклонил мое предложение о производстве водородной бомбы. Оппенгеймер на этом заседании впервые открыто признался, что он против нас. Он откровенно заявил, что сделает все, для того чтобы водородную бомбу не производить. Говорил он с необычайной горячностью, и ему удалось сбить с толку даже шефа штабов генерала Омара Бредли. Это могло иметь катастрофические последствия. В то время я, однако, еще верил, что Оппенгеймер борется против моих предложений честно и бескорыстно. Я верил, что у нас одна цель и нас разделяет только представление о том, какими средствами можно обеспечить безопасность Америки. Несколько дней спустя после собрания консультативного комитета я обнаружил, что Оппенгеймер утаил от консультативного комитета письмо, которое ему дал Сеаборг перед отъездом в Европу. Почему меня это так заинтересовало? Сеаборг полностью присоединился к моему предложению! Здесь у меня впервые появилось подозрение, что с Оппенгеймером не все в порядке .. Так может поступать только политик. Значит, Оппенгеймер действовал не как ученый, а как политик. Но зачем? Кому такая политика была выгодна? И какова должна быть эта политика, если ее сторонник применяет нелегальные методы? Я подумал о таких вещах: кто у нас применяет нелегальные методы? Коммунисты. А кем был раньше Оппенгеймер? Коммунистом. Значит, внимание! С тех пор я наблюдал за ним, и мое первоначальное непрочное подозрение быстро превратилось в твердое убеждение.

Результаты решения консультативного совета означали для меня поражение. Я, однако, привык принимать удары и не сдаюсь легко. Подозрение, которое у меня возникло против Оппенгеймера, лишь удвоило мои усилия и требовало, чтобы я не терял ни одной секунды. Так как атомная комиссия продолжала свое сопротивление, стало ясно, что уже недостаточна помощь Макмагона, я должен был идти выше, к министру обороны Джонсону, а если и это не поможет, то и к президенту. Я решил не оставлять ни одной возможности. Добиться ускоренного производства водородной бомбы — это, я чувствовал, все больше и больше становилось личным моим призванием, от которого я не смогу ни за какую цену отступить. Я использовал все свои знакомства и попал к президенту Трумену, очень долго с ним говорил, и это дало мне великие надежды ..

Президент Трумен ежедневно получал новые доказательства того, что водородную бомбу мы сможем построить, если этого твердо захотим. Через несколько дней, 30 января 1950 года, собрался комитет национальной безопасности. Он заседал в здании министерства военно-морского флота. После непродолжительной дискуссии состоялось голосование. Министр обороны Джонсон и министр иностранных дел Ачесон были за водородную бомбу. Против голосовал Лилиенталь. Свою негативную позицию он оправдывал тем, что это якобы «плохая вещь». На другой день президент Трумен окончательно принял решение — ускорить производство водородной бомбы. Первая победа на длинном пути, который нас еще ожидал, была достигнута...

Испытания начали проводиться сразу, несмотря на то, что ученые продолжали выступать против решения президента. Однако теперь уже, конечно, скрытно. Лилиенталь подал в отставку. Это было логично и совершенно правильно. Как вы знаете, вслед за этим подал в отставку и я. По разным признакам я, однако, понял, что этот мой шаг многих обозлил и что меня считают ответственным за дальнейшее развитие событий в атомной комиссии и консультативном комитете. Эти злостные слухи распространялись лишь для того, чтобы отравить атмосферу. Я ушел из атомной комиссии по личным причинам, для того чтобы иметь возможность приступить к работе в банке братьев Рокфеллеров. Я считал свою работу в атомной комиссии оконченной, и у меня не было причин, чтобы не посвятить себя своим коммерческим делам... Это — настоящая причина моего отступления, а вовсе не предвыборные интересы республиканской партии, как меня в этом кое-кто потом упрекал. Ведь каждый знает, что даже после своего ухода я не потерял интереса к работе атомной комиссии и всегда был готов помочь ей своими советами и личными связями. Я в это время занимал доля

---

* Главный консультативный комитет, председателем которого в свое время был Оппенгеймер, является вспомогательным органом атомной комиссии

** Сеаборг — ядерный физик и химик, открыл несколько транс-уранов.

ность председателя наблюдательного комитета Принстонского университета и поэтому был все время тесно связан с нашей наукой.

Итак, кто же из нас струсил — я или Лилиенталь? Одному человеку такой вопрос даже не пришел в голову. Это — Оппенгеймеру. Его взгляды были разбиты, его концепция была отвергнута, однако он делал вид, что совершенно ничего не произошло. Он не ушел, но, наоборот, судорожно держался за свое место. Этим он только подтвердил мои подозрения. Естественно, что я ставил перед собой вопрос: в чьих интересах он так поступал? Являлось ли честолюбие причиной этого или тут действовала иная враждебная нам сила? После своего ухода я продолжал следить за работой атомной комиссии и знал почти все, что творилось в нашем атомном производстве. О моих близких отношениях к проблемам атомной энергии знал каждый, и прежде всего об этом знали наши ученые. Некоторые меня не любили, я чувствовал это, другие же видели во мне опору, когда убедились, что атомная комиссия и консультативный комитет являются тормозом нашей общей программы. Они приходили ко мне и просили у меня совета и помощи. Они жаловались мне, частному лицу, на трудности и преграды, которые должны были преодолевать на пути, о котором наш народ думал, что он давно широко открыт. Меня радовало это доверие, и одновременно укреплялось мое убеждение, что Оппенгеймер ведет двойную игру.

Неопровержимые доказательства дал мне Эдуард Теллер, которому мы во многом благодарны за то, что наше дело увенчалось успехом. Доктор Теллер жаловался, что он был почти обвинен в государственной измене и антиамериканской деятельности, потому что информировал меня о проблемах атомной комиссии в период, когда я уже не был ее членом. Эта демагогия, конечно, не имела успеха. В то же время она показывала, что подпольные силы не брезгуют ничем и могут использовать в своих целях даже наши собственные законы. Однако не надо становиться сентиментальным, если кто-нибудь твердит, что то или иное наше действие не согласуется с высокими принципами идеальной демократии. Я обеими руками за демократию. Однако наша демократия не должна бояться использовать кулак, иначе мы потеряем демократию и нам покажут, где раки зимуют.

Роджер Робб:

— Совершенно верно!

Льюис Страус:

— Об этих вещах не надо дискутировать. Здесь нужно действовать. Я повторяю, наша демократия должна быть сильной. Поэтому мы должны вовремя суметь разойтись с такими людьми, как профессор Оппенгеймер. Они нам вредят даже тогда, когда нам служат.

В январе 1953 года президентом стал Дуайт Эйзенхауэр. Я с восторгом приветствовал его приход к власти. Я с самого начала увидел в его избрании гарантию того, что он энергично, быстро и с большим размахом исправит колебания политиков демократической партии. Я считал приход президента Эйзенхауэра негласным призывом к национальной мобилизации. Поэтому я решил отложить в сторону свои частные предпринимательские дела и отдать себя полностью на службу президенту.

Эйзенхауэр очень хорошо знал мой интерес к атомной энергии, ценил мои знания и поэтому назначил меня своим личным советником. Эта новая функция дала мне возможность в мельчайших подробностях познакомиться с положением дел по производству бомбы. В мои руки попали подробные отчеты о переплетении интриг, которыми были опутаны ученые, осуществлявшие ускоренную программу. Все яснее становилось, что вдохновителем этих негативных сил являлся именно Роберт Оппенгеймер. К таким выводам приходил не только я. Меня убедило в этом письмо Бордена, бывшего руководителя Общей комиссии конгресса по атомной энергии. Борден сам задал себе четыреста вопросов в связи с личностью Роберта Оппенгеймера и ответил на них. Заключение, к которому Борден пришел, говорило о том, что Оппенгеймер лжет, что он не является искренним, что он скрывает связи, совершенно недопустимые для его личности и положения. Само собой напрашивался вывод: Оппенгеймер использует свои функции для сознательного или бессознательного саботирования оборонных усилий Соединенных Штатов. Я не могу сказать, что был особенно поражен выводами Бордена. Большинство из того, что он написал, я знал уже ранее. Признаюсь, однако, что в этом свете образ Оппенгеймера казался мне прямо страшным. Я обязан был начать действия как можно скорее. Я рассказал о своем подозрении президенту Эйзенхауэру и могу сказать, что он почти тотчас же со мной согласился.

Оппенгеймер быстро почувствовал, что его звезда заходит. Он совершенно разумно начал отказываться от многих функций, и, естественно, он думал выдержать ту бурю, приближение которой чувствовал. Ведь его позиции продолжали оставаться сильными. В конгрессе у него было много доброжелателей, а общественность продолжала считать его ученым с мировым именем и доверять ему. У Оппенгеймера еще сохранялся свободный доступ к секретным материалам. Он знал все, что творилось в наших лабораториях. Если бы он был действительно шпионом, то он мог бы на-

вредить нашей стране так, как никто другой.

Я не люблю уверток и намеков. у ФБР нет фактов, которые бы доказали, что Оппенгеймер является платным шпионом. Если бы такие доказательства были, то он сейчас предстал бы перед Советом, и, несмотря на все его заслуги, его ждал бы электрический стул. Комитет безопасности собрался не для того, чтобы доказать Оппенгеймеру, что он шпион, а для того, чтобы Оппенгеймер убедился, что он думает и поступает не по-американски. Кто-нибудь мог бы сказать, что человека нельзя судить за его мысли. Я отвечу ему: можно. Атомная комиссия — учреждение настолько важное, что оно не может иметь в своих рядах того, кто думает, а следовательно, и поступает иначе, чем этого требуют интересы Америки. Кого мы боимся, когда скрываем эту правду? Оппенгеймер потому и опаснее, что он не является русским агентом!

В июле прошлого года президент назначил меня председателем атомной комиссии. Первое серьезное решение, которое я принял после вступления на этот пост, был приказ отобрать у Оппенгеймера секретные материалы. Оппенгеймер протестовал, но безуспешно. Это решение полностью входило в мою компетенцию. Я отказался дать более детальное объяснение, полагая, что он сам сделает заключение и без разговоров уйдет. Я решил отказать ему в доверии административным путем и замять это дело без большого скандала. Мне казалось, что Оппенгеймер с этим решением будет согласен Позже он стал противиться и в обширных письмах старался доказать, что он не чувствует никакой вины и хочет остаться работать. Как я уже говорил, любви или доверия нельзя требовать. Я не понимал, почему он напрасно обостряет положение. Мне казалось, однако, что он преследует этим другие цели. Но в любом случае мы его не боялись.

Гордон Грей:

— Вы убеждены, что Оппенгеймер коммунист?

Льюис Страус:

— Нет! Однако это путаник, которого абстрактные спекуляции завели так далеко, что он уже не знает хорошо, кем он, собственно, является. Я думаю, что сегодня Оппенгеймер уже не коммунист. В этом Борис Пах ошибается. Коммунизма для него, собственно говоря, слишком мало, он хотел бы большего. Он понял, что коммунистам он должен был бы служить, но у него мысли направлены на другое: он хотел бы видеть мир у своих ног и облагодетельствовать его своими спасительными советами. Так далеко завело его неограниченное самомнение и мессианство. Я знаю, что он является убежденным противником наших американских порядков. Кто-нибудь может сказать, что за убеждения нельзя никого наказывать, что наша конституция обеспечивает каждому свободу совести и т. д. Я знаю, нас будут упрекать, что мы посягаем на святые американские догмы, когда обвиняем человека в антиамериканских мыслях. Я достаточно хорошо знаю эту адвокатскую софистику и отвечу на нее очень коротко: милые господа, атомная комиссия и наши атомные лаборатории не являются дискуссионными клубами или французским парламентом. Мы производим оружие, а вокруг оружия не дискутируют, а работают и молчат. Никакой аппарат безопасности не способен уследить за всеми нашими сотрудниками. Или им доверяют, или они должны уйти...

Гордон Грей:

— Можно ли сделать заключение, что вы считаете Оппенгеймера нелояльным по отношению к Америке?

Льюис Страус:

— Объективно он нелоялен и является нелояльным даже в том случае, если субъективно думает, что хорошо служит своей стране.

Доктор Уорд Ивенс:

— Вы действительно считаете Оппенгеймера врагом нашей страны?

Льюис Страус:

— Да. Объективно — он наш враг, даже если является правдивым в своем утверждении, что субъективно он поступал честно и хотел быть полезным Америке. Однако мы не должны ошибаться и не должны дело Оппенгеймера преуменьшать. Речь идет не только об Оппенгеймере, а кое о чем намного более опасном... Случай, который мы обсуждаем, является доказательством открытого бунта нашей интеллигенции против собственного общества. В этом опасность, господа... Я признаюсь, что лишь теперь начинаю понимать, почему Оппенгеймер старался, чтобы это разбирательство имело самую широкую огласку. Ведь он, конечно, хочет показать пример остальным, которые тайно думают так же, как и он. Да, Оппенгеймер мечтает стать Жанной д'Арк. Но он не рискует, конечно, быть сожженным и верит, что он поднимет против нас американскую общественность! Внимательнее присмотритесь к нему! Оппенгеймер — это враг по нашу сторону баррикад, и его случай должен повысить нашу бдительность. Мы должны хорошо обдумать дело Оппенгеймера Вред, который здесь обнаружился, не является изолированным. Его вызвала раковая опухоль, которая скрыто подтачивает наш организм как раз в тот момент, когда нечто подобное кажется нам совершенно исключенным и мы чувствуем себя прекрасно. Нужно быть бдительными. Так это начиналось

в России, так сегодня развиваются события во Франции и Италии. Нельзя забывать, что так разрушались мировые империи. Если от своей страны откажется ее интеллигенция, то судьба народа станет трагичной. Организм, который может жить, защищается. Поэтому мы должны защищаться от Оппенгеймера. Если мы не будем настороже и не сможем вовремя решительно и без остатка уничтожить зародыш этой болезни, мы будем загублены изнутри без единого выстрела и все безмерные усилия и жертвы, которые мы приносим, чтобы удержать и укрепить свободный мир и нашу безопасность, станут бесполезными. Я верю, что у Америки есть еще люди, которые понимают веление времени. Я верю, что решение комитета безопасности оправдает надежды Америки. Ваше решение может много значить для дальнейшего духовного здоровья нашей страны.

Гордон Грей:

— Я сердечно благодарю вас и полностью с вами согласен. У кого-нибудь есть вопросы?

Роджер Робб (Льюису):

— У Америки есть вы!

Гордон Грей:

— Других вопросов нет

Who's who

Адмирал Льюис Лихтенштейн Страус, как полностью звучит его возвышенное имя, представляется читателю в общем без ретуши. Как будет в дальнейшем видно, ни его подчеркнутая бодрость и прямота, ни здоровая простота не являются настоящими, как он хотел бы в этом убедить других. Не так уж прост этот маленький бодрый человечек, который вращается в высшем обществе и все же, несмотря на это, не может скрыть своего скромного прошлого, которого он в духе американских традиций не стыдится. Во время многочисленных приступов сентиментальности он надоедает своим друзьям рассказами об отце, имевшем когда-то в Ричмонде не очень процветающий обувной магазин

«Льюис, каждый день одно знакомство — и ты попадешь в общество»,— говорил якобы отец Страуса, и сыну его эти советы запали глубоко в сердце. В то время, когда другие мальчишки организовывали военные экспедиции против ребят с соседних улиц, Льюис организовывал совместные покупки учебников, при этом он выгодно познакомился с владельцем книжного магазина. Маленький предприниматель днем продавал ботинки, а ночью изучал латынь, право и физику. Если верить рассказам Льюиса Страуса, юношеское увлечение физикой позже привело его к атомной энергии. Но это слишком неправдоподобно, чтобы этому верить.

В один прекрасный день Льюис оставил сапожное мастерство и ночные занятия, стряхнул с ботинок пыль провинциальной Виргинии и отправился в большой мир. В то время коммерция процветала так, как никогда раньше, и перед молодым энергичным человеком были открыты все двери. Все вокруг было наполнено идеями: шла первая мировая война. Ожидались большие займы. Верный наказу отца, молодой Льюис без устали стремился к новым знакомствам. Бог знает, кто его надоумил познакомиться с Гербертом Гувером, который в те годы организовывал в Вашингтоне комитет помощи Бельгии. Льюис Л. Страус так рассказывает о своем приеме у Гувера, который стал началом его неожиданной карьеры: «Я представился Гуверу, он посмотрел на меня, кивнул головой и сказал:

— Когда вы можете приступить к работе?

— Немедленно!

— Тогда снимите пальто».

Это знакомство было самой большой удачей, когда-либо выпадавшей на долю Льюиса. В канцелярию к Гуверу, секретарем которого он стал, приходили люди, правившие Америкой. Это были самые нужные и полезные знакомства. Новые знакомые представляли миллионные суммы. Страус скоро убедился, что отец его был прав, когда говорил о том, что связи имеют почти такое же значение, как богатство.

После окончания мировой войны Гувер был назначен генеральным директором учреждения, которое называлось «Conseil suprême interallié». Наш маленький ричмондец Льюис остался секретарем Гувера, но теперь уже в более высоком положении. Они поехали в Европу, послевоенную, голодную Европу. Коммерция процветала. Льюис работал, ездил, заседал, завязывал полезные знакомства, проникал в закулисные банковские дела.*

В Париже Страус сделал следующий значительный ход, который во многом способствовал его карьере. Он подружился с молодым адвокатом Р. А. Тафтом, у которого на лбу написана была удачная политическая карьера. Позже Тафт проявил себя как реакционный политик, а Страус с его помощью перешел к республиканцам, которым остался верен. С ними связан его политический путь.

Молодой человек, конечно, придерживался и других советов своего отца, мудрого ричмондского торговца обувью. Он знал, что с ним никогда не будут серьезно считаться, покуда круглая долларовая сумма

---

* Верховный межсоюзнический совет (*франц.*).

не станет гарантией его общественной солидности. Он мудро не полагался лишь на доброжелательство власть имущих в республиканской партии, а делал свой собственный бизнес. В этом ему особенно помогло полезное знакомство с Мортимером Шифом, миллионером и совладельцем мощного банковского дома «Кун энд Лоуб». Шифу понравился молодой предприниматель с кипучей энергией и с нескрываемым стремлением многого добиться.

Итак, жизнерадостный и ловкий Льюис сорвал хороший куш у Кун-Лоуба Сейчас уже никто не сможет объяснить, как за такое короткое время при помощи знакомств, связей, женитьбы и бог знает чего другого он выдвинулся в руководство этой старой и безмерно богатой фирмы. Уже в 1929 году Льюис стал ее партнером. Подобный пример «человека, который пробился», в Америке первой половины нашего века был очень редким. Такое удавалось лишь одному из миллиона. Только этим можно объяснить безграничную, прямо-таки нероновскую самоуверенность, которая чувствуется у него во всем и которую Льюис считает признаком чистого, нефальшивого американца

Страус с годами становился все более консервативным и реакционным сторонником американизма. С большой неприязнью он следил за реформами Рузвельта, который старался спасти американский капитализм при помощи вмешательства государственного аппарата. Вмешательство государства в свободное предпринимательство Страус считал недопустимым и смотрел на это как на измену принципам свободной Америки.

Страус всегда ненавидел социализм и Советский Союз.. Его стремления были направлены к тому, чтобы создать антисоветскую коалицию Соединенных Штатов, Англии и Франции Он был убежден, что главный удар надо направить против Советского Союза, а не против Германии. От своего убеждения он не отказался даже в период военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Во время второй мировой войны для него начался новый период повышения.

*В начале войны Страус предложил свои услуги правительству США. В то время он, незаметный лейтенант запаса военно-морского флота, работал на снабженческих складах, а не на военном корабле. Его личным другом, с которым он перед этим с пользой для себя познакомился, был министр военно-морского флота Джеймс Форрестол (тот самый, который позже сошел с ума от страха перед русскими и выбросился из окна небоскреба). Форрестол позвал Страуса в министерство и назначил его своим личным секретарем. В министерстве Страус энергично принялся за дело. Он давал и отбирал поставки, определял цены и комиссионные. Через его руки проходили миллиарды долларов. Его главной задачей было уменьшить взаимные раздоры различных монополистических групп. Это была не такая уж легкая задача. Устав от тяжелых схваток, он ушел в отставку после окончания войны в чине контр-адмирала, увенчанный орденами и удостоенный «Distinguished Service Medal».**

С того времени Страус стал поверенным американского флота, который по традиции является самой реакционной частью вооруженных сил США и оказывает большое влияние на политику страны Флот открыл Страусу дорогу к атомной энергии и новой карьере. Как представитель флота он был назначен в атомную комиссию. Из его показаний перед комитетом безопасности можно понять, что Страус пользовался исключительным доверием самых реакционных кругов...

* * *

Страус с удовольствием делает свои циничные признания. Однако здесь много показного, нас это не должно обманывать. Он далеко не так силен, чтобы говорить только правду. Очевидной ложью является его утверждение, что он бескорыстно работает для атомной комиссии. Банкирский дом Кун-Лоубов, интересы которого он представляет, имеет, конечно, свою долю в атомном буме, хотя его главные интересы сосредоточены в области железных дорог («Дженерал американэн транспортейшн корпорейшн» и др.). В американских монополиях все взаимосвязано: это общество принадлежит Кун-Лоубам и является главным конкурентом Дома Моргана, одного из самых крупных предпринимателей в области атомной энергии. Поэтому они не только конкуренты, но одновременно и партнеры.

При помощи атомной комиссии Страус регулирует интересы Моргана и Кун-Лоубов. Предприятие Страуса имеет, конечно, договоры и с «Вестерн Юнион», принадлежащим Рокфеллерам Они, кстати, также являются крупными предпринимателями в атомной промышленности. У Страуса есть коммерческие связи и с обществом Вестингауза, которое контролируют Меллоны-Рокфеллеры. Им тоже принадлежат атомные лаборатории и их дочерние предприятия...

Можно сказать без преувеличения, что в истории капитализма не было большего бизнеса, чем этот атомный бизнес. Никакую Панаму с ним даже и сравнить нельзя. До 1958 года только из федеральных средств было выдано атомной промышленности 20 миллиардов долларов. Предприятия принимают дополнительные заказы без всякого риска, потому что государство и армия являются покорными купцами, которые приобретают все.

* * *

Из некоторых показаний Страуса можно заметить, что он понял двоякий смысл де-

---

* Медаль за боевое отличие.

ла Оппенгеймера. Обвинения, брошенные Оппенгеймеру, относились в то же время и ко всей американской системе. Однако не правда, что этот процесс перед комитетом безопасности Оппенгеймер инсценировал нарочно. Главными инициаторами были ФБР, армия и господин Льюис Страус.

О дальнейшей жизненной судьбе Страуса достаточно сказать лишь то, что он остается верным самому себе. С годами он становится все более реакционным, недоверчивым и всюду видит дьявола, который посягает на благо Америки. По мере реакционности растет и старческое честолюбие. Он завидует Теллеру и с удовольствием присвоил бы себе сомнительный титул «отца водородной бомбы». Он не переносит критики своей персоны и своих поступков. Он считает себя олицетворением Америки и все, направленное против него лично, считает государственной изменой. Один из давних сотрудников Льюиса так описал его: «Если вы в чем-нибудь не согласны с Льюисом, он сразу вам скажет, что вы круглый и совершенный дурак. Если вы не измените своего мнения и не примете взглядов Льюиса, он будет считать, что вы являетесь предателем и как с предателем будет с вами обращаться».

Робб был прав — Америка нашла нужного ей человека.

Показания Роберта Оппенгеймера

— Уважаемые господа, я с глубоким вниманием выслушал все, что здесь говорилось. Насколько это возможно, я старался быть безучастным слушателем. Я не чувствовал себя обвиняемым, однако пытался войти в роль обвинителей, чтобы достигнуть самой высшей степени объективности. Я досконально изучил также все материалы, принял во внимание каждую мысль и каждое подозрение, и тем не менее я должен спросить: в чем же, собственно, я провинился? Мне не смогли и никогда не смогут доказать, что я находился на службе другой державы, как тут предполагали несколько свидетелей и что, конечно, никак не могло быть доказано. Если бы мне это доказали, тогда я должен был бы держать ответ перед судом, а не перед комитетом безопасности. Это здесь подтвердили свидетели.

Надеюсь, что комитет безопасности потребует доказательств и не будет удовлетворен проявлениями чувств и отдельными догадками. Мне никогда не смогут доказать, что я действовал как враг, против интересов государства. Меня не смогут обвинить в разглашении государственных секретов, то есть в поступках, в которых, например, если подходить к этому чисто формально, можно обвинить как доктора Теллера, так и Льюиса Страуса. Я повторяю, что меня нельзя обвинить ни в одном из таких грехов. Мне не доказали также, что я был нелояльным по отношению к своей стране. Хотя меня здесь, правда, и обвинили в нелояльности, однако никто не мог опровергнуть того, что я всегда поступал как американский патриот, даже в то время, когда был близок к коммунистической партии.

Я отвожу все предъявленные обвинения и считаю, что лишь два вопроса могут быть спорными. У меня были иные взгляды на некоторые проблемы, чем у свидетелей, выступающих перед этим трибуналом. Это одна из причин нашего спора. Далее, становится ясным, что не все придерживаются одного мнения — можно ли мне настолько доверять, чтобы я мог работать в атомной комиссии. Я не должен, видимо, доказывать перед этим органом, что у меня нельзя отобрать право на то, чтобы я думал так, как считаю правильным. Такое право является естественным в XX столетии, и еще более естественно это должно было быть для гражданина Соединенных Штатов. И, если у меня другие взгляды на то, что является правильным, меня никто не имеет права судить. Ведь никто не может меня судить за мой образ мыслей. Это было бы несовместимо с американской конституцией. Что же тогда остается от груды обвинений, которые были обрушены на мою голову? Ничего другого, кроме того, что я кое-кому не нравлюсь, что они мне не верят и не доверяют. Хорошо, я не нравлюсь им, но что же я могу делать? Мне также не нравятся много людей, но мне никогда не приходило в голову поставить их перед комитетом безопасности или даже выгнать с работы...

Роджер Робб:

— Господин Оппенгеймер, к людям, которым вы не нравитесь, относится и президент Соединенных Штатов. Он в первой инстанции решил, что вы должны быть лишены доверия. Это, я думаю, вам известно.

Роберт Оппенгеймер:

— Господин Робб, не искажайте моих слов. Я думаю, вы знаете, что я хотел сказать.

Гордон Грей:

— Ближе к делу, господа!

Роберт Оппенгеймер:

— Я позволю себе выступать так, как считаю нужным; господа свидетели поступали так же.

Роджер Робб:

— Вы должны нам многое объяснить.

Прежде всего, свои коммунистические связи.

Гордон Грей:

— Господин профессор, вы действительно должны были бы ответить на обвинения, которые здесь вам предъявили.

Роберт Оппенгеймер:

— Мне нечего сказать.

Роджер Робб:

— Значит, вы признаетесь?

Роберт Оппенгеймер (з л о):

— Господин Робб, вы входите слишком рано в роль государственного прокурора.

...Да, я был связан с коммунистической партией. До тех пор пока Борис Пах приводил в своих показаниях факты и держал в узде свою необычайную фантазию, он говорил правду. Ему не нужно было слишком напрягаться. Он повторял лишь то, что я сам несколько лет назад подробно описал в анкетах. Он присовокупил лишь несколько шпионских сведений, а также много своих собственных путаных рассуждений, которые никого не должны интересовать. И это результат многолетнего труда аппарата нашей безопасности? Я ли должен доказывать, уважаемый председатель, что не являюсь шпионом. Разумнее было бы, если бы Борис Пах доказал, что я являюсь шпионом. Иной порядок противоречит нашим общепринятым процессуальным и юридическим правилам.

Несмотря на всю серьезность положения, довольно комично, что я должен отвечать за поступки, в которых я сам давно признался во всех анкетах и которые, хотя они известны десятки лет, до сих пор не считались моими недостатками. Мне нечего скрывать. Да, я был близок к коммунистам, однако я никогда коммунистом не был. Некоторые коммунистические или, лучше сказать, социалистические взгляды мне были симпатичны, другие я отвергал. Так же, как и я, или подобно мне, поступали или поступают миллионы американцев. Я не понимаю, что в этом неправильного и, тем более, достойного наказания. Во всех анкетах, предложенных аппаратом безопасности, я всегда подробно объяснял мотивы моей близости к коммунистам. Если бы Борис Пах поступал лишь чуть-чуть корректнее и полностью привел здесь мои высказывания, мне не нужно было бы снова возвращаться к этому вопросу.

Абсолютной ложью является то, что к коммунистам меня привела Жанна Тотлок. Это один из многочисленных детективных вымыслов Бориса Паха. Они кажутся совершенно правдоподобными, но у них есть лишь один недостаток — они не соответствуют действительности. Все намного проще, чем представляет себе рассуждающий по полицейской логике Борис Пах. Как и многие американцы, я начал интересоваться политикой и социальными вопросами в тот момент, когда я обнаружил, что в нашем обществе не все в порядке. Это было после краха Уолл-стрита в 1929 году. Я обнаружил вдруг, что мои слушатели начали больше интересоваться тем, найдут ли они работу, чем химическими опытами и математическими теоремами. Талантливые люди не могли тогда найти работу. Я был всегда очень тесно связан со своими учениками, и их заботы меня беспокоили. Я очень скоро пришел к выводу, что политика и экономика, которыми я до сих пор совершенно пренебрегал, могут оказывать на нашу жизнь значительно бо́льшее влияние, чем я это предполагал. Я долгое время ничего не понимал. Я не читал газет, не слушал радио, никогда не выписывал «Тайм» или «Харперс». Достаточно сказать, что впервые я принял участие в выборах в 1936 году, до этого мне даже в голову не приходило, чтобы я из-за выборов портил себе воскресенье. У меня было много других любимых увлечений. Я совместно с Артуром Риденом изучал для забавы санскрит, писал стихи и коллекционировал работы французских импрессионистов. О политике у меня было почти детское представление. Потом, когда я вдруг понял взаимосвязь вещей, я со всей горячностью набросился на социальные науки. Я прочитал пламенные произведения супругов Вебб и познакомился с Марксом, которого до сих пор считаю ученым и который по своей величине относится к таким умам, каким был, скажем, Дарвин. Я до сегодняшнего дня убежден, что без Маркса нельзя правильно понять законы экономического развития...

Роджер Робб:

— Я вижу, что вы бы с удовольствием навязали этого господина американским школам.

Роберт Оппенгеймер:

— Хотя я этого и не предлагаю, однако в данном случае не произошло бы большой ошибки. Я не понимаю, почему мы должны бояться какой-нибудь философской системы, если мы убеждены, что знаем правду лучше... Вернусь, однако, к своему так называемому коммунистическому прошлому. Что меня тянуло к коммунистам? Это — дух товарищества, дружного коллектива, к которому они стремились. Мне нужен был какой-то противовес к тем абстракциям, которые вынуждали меня к монашескому затворничеству. С уважением я относился также к коммунистической программе. Коммунисты боролись против расовой дискриминации в Германии. Это будило во мне глубокие симпатии к ним, потому что я всегда сочувствовал своим несчастным родственникам, которые позже нашли смерть в Освенциме. Коммунисты выступали со всеми прогрессив-

ными организациями и против расовой дискриминации в Соединенных Штатах. Я не скрываю, что и это мне нравилось. Я был согласен также с тем, что нужно ликвидировать вопиющее социальное неравенство. Но я никогда не принимал их революционное насилие и другие положения коммунистической программы. Я повторяю, что никогда не был коммунистом. Я отвергаю любую доктрину, не только коммунистическую.

Борис Пах определил Жанну Тотлок как фанатичную коммунистку и чуть ли не американскую Мата Хари *. Это глупость. Жанна была членом коммунистической партии, но это еще не значит, что она была активной коммунисткой. Хотя у нее были периоды активной работы, когда она разносила подписки, разбрасывала прокламации, продавала газеты и изучала марксистские брошюрки, однако после этого следовали долгие месяцы, когда политика ее совсем не интересовала. Мысль о том, что Тотлок могла быть советской шпионкой,— грубый поклеп и выдумка; этого Борис Пах никогда не сможет доказать.

Роджер Робб:

— Вы встречались с Тотлок, а не Борис Пах...

Роберт Оппенгеймер:

— Я думаю, что по современным юридическим принципам обвинитель должен доказать обвиняемому его преступление. Вы хотите, чтобы я доказал, что Тотлок не была шпионкой. Намного больше права у меня требовать, чтобы Пах представил доказательства, что он свои утверждения не выдумал. Обвинить можно кого угодно. Ни один гражданин в таком случае не может быть уверенным в том, что его не обвинят в самых бессмысленных поступках. Это противоречит нашим юридическим порядкам. Пах не может ничего доказать, потому что Тотлок искренне любила свою страну и была глубоко предана принципу справедливости. Причины ее трагической гибели были чисто личные, и я не желаю говорить здесь об этой трагедии, потому что она меньше всего связана с данным случаем...

(Оппенгеймер взволнован и на время прекращает выступление.)

Роджер Робб:

— Я понимаю, почему для вас нежелательно говорить о трагедии мисс Тотлок. Мы действительно здесь собрались не для того, чтобы выяснять, что мы считаем желательным, а что нет. Мы придерживаемся фактов. Борис Пах привел убедительное доказательство, что вы своим отношением привели эту девушку к самоубийству. Вы нас убеждаете, что причины самоубийства были личными. Но все-таки, каковы были эти личные причины? Почему вы их нам не объясните? Вы не можете их нам объяснить. Вы слишком скомпрометированы, я понимаю это и поэтому буду говорить за вас. Тотлок видела в вас идеал, любимца, возвышенного и гордого борца, как она, по своей наивности, представляла себе коммуниста. Вы ее обманули, она верила в вас, как в святыню, и вдруг увидела, что вы изменяете всему, как и многие другие, когда вам предложили многообещающую карьеру. Тотлок узнала, что вы двуличный человек, что в душе вы остаетесь коммунистом, а внешне вы притворяетесь. Она предвидела, что вы предадите все: коммунистов и нас, Америку. Тотлок осудила вас пожизненно, осудила вас тем, что покончила с собой. Я не одобряю таких поступков, однако я должен сказать, что ничем иным она не могла наказать вас сильнее. Господин Оппенгеймер, если и было что-нибудь отвратительное в этом деле, так это ваше поведение. Поэтому вы нам здесь, ради бога, не говорите о великих идеалах, совести и человечности, избавьте нас от этого.

Доктор Уорд Ивенс:

— Господин советник, не кажется ли вам, что вы заходите слишком далеко.

Гордон Грей:

— Я думаю, что эта история действительно не имеет к нам никакого отношения.

Роберт Оппенгеймер (бледный):

— Повторяю, что я уже говорил: причины самоубийства Тотлок были абсолютно личными, я не буду о них говорить, потому что они не касаются нашего дела.

Роджер Робб:

— Борис Пах нам сообщил в своих показаниях, что вы, хотя и сопротивлялись, однако все же стали сотрудником нашей секретной службы и давали нужные сведения. Что вы нам об этом скажете? Не противоречат ли такие поступки вашему кодексу коммунистической морали? Что бы сделала Тотлок, если бы об этом знала? И, может быть, она об этом знала...

Гордон Грей:

— Господа, ближе к делу.

Роберт Оппенгеймер:

— Я не считаю себя сотрудником Бориса Паха, и если я, может быть, когда-нибудь что-то сказал или сделал, чего я стыжусь, то это не вы, господин Робб, будете тем, к кому я пойду на исповедь. И еще о Тотлок. Если она и знала кое-что, значит была информирована ФБР и никем другим.

Роджер Робб:

— В деле Шевалье вы тоже чисты, как лилия?

---

* Мата Хари (1876—1917) — голландская танцовщица, агент немецкой разведки периода первой мировой войны.

Роберт Оппенгеймер:

— С точки зрения вашей морали, безусловно. Что думаю об этом я, что я чувствую и как к этому отношусь, об этом я вам не скажу. У меня для этого нет ни причин, ни желания.

Роджер Робб:

— Прекрасно, это я и хотел услышать: господин Оппенгеймер подтверждает, что у него две морали — одна для общества, другая для личных нужд. У господина Оппенгеймера, возможно, есть и две правды: одна — это та, о которой он здесь говорит, а другая — настоящая, которую он оставляет для себя. Это я хотел сказать. Спасибо!

Гордон Грей:

— Ближе к делу. Господин Оппенгеймер! Я думаю, что вы могли бы продолжать рассказывать свою биографию.

Роберт Оппенгеймер (помолчав):

— Бурная фантазия Бориса Паха сделала из моей жены Екатерины убежденную коммунистку и почти агентку Коминтерна. Он полагает, что многочисленные донесения его подопечных позволяют ему познать истину. В тот период, когда Екатерина стала моей женой, коммунистический энтузиазм у нее давно уже прошел. Трагический эпизод ее короткого супружества с Джо Далетом, который пал в Мадриде, сражаясь на стороне красных, вызвал в ней настоящую ненависть к политике. Она отказалась даже читать газеты и слышать что-либо о политике.

Не она, а я проявлял горячий интерес к испанским событиям и добровольцам. Я давал деньги для испанских беженцев, и об этом я тоже писал в анкетах... Так же, как и я, поступала вся Америка, и мне нечего стыдиться. Режим генерала Франко я не люблю, и я думаю, что наша оппортунистическая тактика не заходит настолько далеко, чтобы обязать меня чествовать генерала Франко как рыцаря демократии. Я не считаю помощь испанским беженцам коммунистической деятельностью. Никто мне этого не докажет.

В анкетах органов безопасности я все подробно объяснил и рассказал обо всех связях, которые могли считаться коммунистическими. Мне даже в голову не приходило ничего скрывать, потому что я давно знал, что ФБР имеет своих агентов во всех левых организациях. Борис Пах снова подтвердил мою догадку. Этим он меня не удивил. Я понимаю, что люди, привыкшие придерживаться упрощенных категорий — да или нет,— могли считать меня коммунистом. Как я уже говорил, хотя я и был согласен с некоторыми выводами коммунистов, однако я никогда не признавал марксистской теории и, что самое главное, я никогда сам не считал себя коммунистом. Я встречался с людьми, которые, вероятно, были коммунистами, но никогда я не спрашивал, являются ли они членами партии, да и они не спрашивали меня об этом.

Роджер Робб:

— Вы, надеюсь, хотя бы признаете нежелательность такой дружбы?

Роберт Оппенгеймер:

— Я жалею, что должен выслушивать ваши вопросы.

Гордон Грей:

— К делу, господа!

Роберт Оппенгеймер:

— События, которые предшествовали нашему вступлению в войну против Германии и Японии, отдаляли постепенно меня от коммунистов. Я не соглашался с их политической тактикой и приходил к выводу, что лишь Соединенные Штаты достаточно сильны, чтобы избавить мир от страшной опасности, которую представлял собой нацистский режим... Пирл-Харбор мне полностью открыл глаза. Я понял, что должен решиться на что-то. Моя страна была в смертельной опасности, и мне не оставалось ничего другого, как бороться за дело свободы без всяких оговорок и с должным энтузиазмом, и поэтому я выбрал Америку...

В 1943 году мы покинули нашу виллу в Беркли и переселились в Лос-Аламос. На этом кончились мои связи с коммунистами и политикой левых. Я не являюсь членом ни одной политической партии, я не являюсь ни республиканцем, ни демократом, мои симпатии всегда были на стороне президента Рузвельта, великие идеи которого представляют собой богатство, к которому мы когда-нибудь в будущем возвратимся... Я за Америку, за западную цивилизацию, однако я против Маккарти, который, по моему убеждению, приносит Америке больше вреда, чем пользы. В Маккарти я вижу духовного отца того процесса, который для интересов Америки является скорее вредным, чем благоприятным.

Томас Морган:

— Вы говорите, господин профессор, что в 1943 году ваши связи с коммунистами совершенно прекратились. Как же вы объясните, что и после того вы насаждали в Лос-Аламосе коммунистов и встречались с Шевалье?

Роберт Оппенгеймер:

— Как вы знаете, мне было поручено руководить производством американской атомной бомбы. Очень нелегко было найти квалифицированных ученых и еще труднее было убедить их в том, чтобы они согласились жить в Лос-Аламосе среди кактусов и индейцев, на краю света, и добровольно приняли многолетнее затворничество. Людей было мало, и они легко находили себе намного более выгодную работу в военной промышленности. Вы знаете, что нам в конце концов должны были помочь англичане, что мы должны были принимать и эмигрантов, хотя речь шла о совершенно секретном производстве. Если бы у нас не было

этих помощников, у нас не было бы и бомбы. У нас не было бы ее и сейчас, если бы мы принимали людей по мерилам и принципам, которые предлагают Борис Пах и Роджер Робб. Каждый знает, что Ферми является убежденным антифашистом. Эйнштейна провозглашали социалистом, а Сциллард до сегодняшнего дня пропагандирует интегральный пацифизм. Посмотрите на кого угодно, и, за небольшими исключениями, все могут быть подвергнуты инквизиции Маккарти. Да, мы принимали людей, которые были коммунистами. Я считал, что они об этом сами напишут в анкетах, не мое дело было проверять — сделали они так или нет. Я должен был определять их профессиональную квалификацию и ничто другое. Я не несу ответственности за принятие людей на работу в Лос-Аламос. У меня была одна и самая главная задача: создать бомбу раньше, чем это сделают немцы. Эту задачу я выполнил.

Томас Морган:

— Почему вы встречались с Шевалье, о котором вы знали, что он является коммунистом или весьма близок к коммунистам?

Роберт Оппенгеймер:

— С Шевалье меня связывала старая дружба. Я люблю беседовать с этим душевным человеком, очень образованным и возвышенным.

Роджер Робб:

— Вы знали, что он является членом Французской коммунистической партии?

Роберт Оппенгеймер:

— Я никогда его не спрашивал, в какой он партии состоит.

Роджер Робб:

— Значит, вы не можете доказать, что он не был коммунистом?

Роберт Оппенгеймер:

— А вы можете доказать обратное?

Роджер Робб:

— Я не должен вам нічего доказывать. Мне достаточно того, что вы восхищаетесь человеком, который, по вашему собственному мнению, является коммунистом. Этого достаточно, тем самым вы показали свое презрение к американским законам.

Роберт Оппенгеймер:

— Мне нечего добавить к вашим словам.

Роджер Робб:

— А ваш брат коммунист?

Роберт Оппенгеймер:

— Извините, но я ведь не отвечаю за образ мыслей своих родственников.

Роджер Робб:

— Вы очень ошибаетесь.

Гордон Грей:

— Объясните нам, господин профессор, почему вы в 1945 году оставили Лос-Аламос и перестали работать над производством нашего термоядерного оружия. Вас не зря признавали самым лучшим специалистом в этой области.

Роберт Оппенгеймер:

— Ученый тоже является лишь человеком. Мы целые годы жили в Лос-Аламосе в громадном нервном напряжении. Нам не давала покоя мысль, что нас могут обогнать немцы. Мы во всем начинали от Адама и даже не знали о том, не взорвется ли при первом испытании весь земной шар. На нас лежала также громадная ответственность за те два миллиарда долларов, которые нам дали налогоплательщики на этот эксперимент. И я не могу представить себе, что случилось бы, если он в конце концов оказался бы неудачным. Сколько у нас было ошибок, сколько приступов страха, перед тем как мы достигли цели! Это драма, которую когда-нибудь напишут. В тот день, когда окончилась война, мы все почувствовали громадное облегчение, и мне казалась каждая минута в Лос-Аламосе просто невыносимой. Доктор Теллер прав, заявляя, что нам не хотелось заниматься производством смерти в те минуты, когда все человечество впервые вздохнуло спокойно после только что оконченной войны. Такая реакция является естественной и человеческой. Мы, физики, вкусили от древа познания, мы познали, что такое грех, и мы никогда этого не забудем. Я должен был уехать... Это мое решение было принято и по другим важным причинам. Я всегда мечтал посвятить себя чистой науке...

Гордон Грей:

— Почему вы интересовались политикой?

Роберт Оппенгеймер:

— К сожалению, я должен признать, что не остался верен своим убеждениям и поддался настояниям друзей, которые требовали, чтобы я участвовал в Главном консультативном комитете. Позже я принял предложение стать секретарем у Баруха и был председателем Американского общества физиков, а также занимал много других постов. Таким образом, я внезапно оказался втянутым в политику, от которой я до этого уклонялся. Если я борюсь сегодня против обвинений в нелояльности и против того, чтобы мне запретили доступ к секретным материалам атомной комиссии, то это не потому, что я во что бы то ни стало хочу иметь эти правительственные посты, но лишь потому, что я не могу жить с ярлыком двуличного человека, человека с раздвоенным характером, как меня здесь определил Теллер. Он не забыл ничего, что могло бы мне повредить. Я не могу с этим смириться, и потому я защищаюсь. Пусть ваш приговор будет любым, я решил в будущем значительно больше времени посвятить своей работе в Принстонском университете. То, что я должен был здесь выслушать, у меня настолько отбило охоту ко всему, что я буду счастлив, если смогу остаться в стороне.

Роджер Робб:

— Не думаете ли вы, что уже настало время, чтобы объяснить нам, почему вы саботировали производство нашей водородной бомбы?

Роберт Оппенгеймер:

— Я отвергаю такие выражения, которые позволяет себе в мой адрес господин Робб. Мне не доказали и никогда не смогут доказать то, что я саботировал нашу оборонную программу, ибо моей заслугой, больше чем кого-нибудь другого, было то, что она выполнялась. В чем выражался саботаж? Требую доказательств.

Роджер Робб:

— Вы саботировали уже тем, что не вложили в это дело свой энтузиазм, которого ждала от вас Америка и который был необходим в интересах государства!

Роберт Оппенгеймер:

— Это весьма опасное и примитивное мнение. Такой иезуитской казуистикой можно доказать все что угодно. Я не был и не являюсь восторженным поклонником водородной бомбы. Я не знаю, почему я должен был проявить восторг перед оружием, способным во время войны вызвать 300 миллионов жертв, среди которых, по всей вероятности, был бы и я. Не знаю, почему я должен восторгаться, действительно не знаю. Мне не платили за то, чтобы я восторгался, господин Робб! Производство атомной бомбы было морально оправдано тогда, когда угрожала реальная опасность, что бомбу создадут нацисты и с ее помощью уничтожат весь мир. Чтобы Майданеки и Берген-Белсены не распространились по всему миру, мы должны были создать атомную бомбу. Мы все знаем, что немцы нас могли обогнать. Производство такого страшного оружия было оправдано лишь смертельной опасностью, которая нам угрожала, и ничем иным. Однако это не может заставить меня закрыть глаза на весь ужас ситуации, в которой оказалась западная цивилизация. Мы должны понять, какая это громадная моральная и политическая проблема — построить оборону, используя оружие такого характера, какого не было у Чингис-хана. Здесь кое-что не в порядке. Если мы хотим победить коммунизм, то это надо делать иными средствами, а не атомными и водородными бомбами. Господин Робб, как я вижу, удивляется моим словам, но я не говорю ничего нового. Я никогда не скрывал этих своих убеждений. Господин Робб был бы удовлетворен, если бы я говорил так же, как он. К счастью, я не являюсь господином Роббом и позволю себе остаться при своих взглядах.

Доктор Уорд Ивенс:

— По Боссюэ*, еретиком является каждый, кто имеет свое мнение и руководствуется своими мыслями и личным чувством.

Роджер Робб:

— Что вы хотите этим сказать?

Доктор Уорд Ивенс:

— Ничего.

Роберт Оппенгеймер:

— Доктор Теллер в своих показаниях пытается доказать, что производство бомбы является вопросом чисто техническим, что ученого не должно интересовать ничто другое, кроме того, как лучше всего и быстрее всего создать бомбу. Я с этим не согласен. Хотя наука сама по себе безразлична к добру и злу, праву и бесправию, однако ученый не может быть безразличным. Водородная бомба может уничтожить целые нации; если она будет применена, никто не сможет отделить виновника от жертв, друзей от врагов, матерей от детей, все сольется в одну безликую массу, которая превратится в пепел. Если мы готовы доказывать свои взгляды такими средствами, то можно быть уверенными, что человечество их с ненавистью отвергнет, и если мы победим в военном отношении, то проиграем политически. Я убежден, что атомная и водородная бомбы не должны быть частью мировой политики. Вопрос о том, можно или нет ходить вокруг пороховой бочки с горящей свечой, не должен стать предметом политического спора. Мы должны признать, что не русские, а мы сделали из бомбы политику. Они не могли это сделать хотя бы потому, что первыми бомбу имели мы. Оценивая сейчас политику Соединенных Штатов, я должен сказать, что мы всегда основывались на ошибочном предположении, что у нас долгое время будет первенство...

Гордон Грей:

— Значит, вы против того, чтобы мы производили термоядерное оружие?

Роберт Оппенгеймер:

— Я хочу лишь сказать, что необходимо принимать во внимание и другие средства, не только ядерное оружие.

Гордон Грей:

— А что бы вы предложили?

Роберт Оппенгеймер:

— Прежде всего все американцы должны знать, в чем, собственно, состоит дело. Наша общественность не знает, почему мы производим ядерное оружие, и слабо представляет всю опасность, которая с этим связана. Люди даже отдаленно не знают всего риска. Это известно лишь малой горстке посвященных. Американцев всегда ставят перед совершившимся фактом, и у них нет ни малейшей возможности высказать свое собственное отношение к вопросам, которые имеют в тысячу раз большее значение, чем то, будет ли президентом господин X или У.

Роджер Робб:

— Значит, вы хотели запугать нашу

---

* Боссюэ, Жак Бенинь (1627—1704) — французский писатель, епископ, идеолог католической реакции и абсолютизма.

общественность сообщениями о радиоактивном излучении и привести всех в такой ужас, чтобы они в конце концов смирились перед коммунистами, так я вас понимаю?

Гордон Грей:

— Наш народ информирован о достижениях в области ядерного оружия. Президент, вся нация знала, что будет начато производство водородной бомбы, и это решение принято с энтузиазмом.

Роберт Оппенгеймер:

— Я должен, к сожалению, возразить вам. Американский народ не был подробно информирован о характере ядерного оружия. Эти важные решения были приняты без каких-либо дебатов в конгрессе или печати.

Гордон Грей:

— О водородной бомбе решили избранные представители в рамках своей компетенции и после зрелого обсуждения.

Роберт Оппенгеймер:

— Я не сомневаюсь в компетенции людей, которые приняли решение о производстве водородной бомбы. Я, однако, думаю, что этот вопрос настолько серьезен и настолько близко касается дальнейшей судьбы нашей страны, что его должен был решать самый широкий форум. Не следует опасаться, что русские смогут узнать технические открытия, которые им еще неизвестны. Тайна водородной бомбы является такой же фикцией, какой была тайна атомной бомбы. Такой тайны не существует. Но есть тысячи производственных секретов, которые каждый может со временем открыть, если он имеет достаточно средств и надлежащий уровень научных кадров. У русских это, конечно, имеется, и потому вся игра в сохранение тайны является бессмысленностью, которая нам может дорого обойтись.

Я убежден, что мы не сможем познать истину без широкого обмена взглядов, без дискуссии и свободной критики. И если бы врагу стали известны единичные факты, которые он, может быть, еще не знает, ему бы это не принесло большой пользы, а мы смогли бы принять правильное политическое решение. Та польза, которую мы бы от этого получили, была бы, конечно, намного больше, чем возможное приобретение русских. Нами не должен владеть страх, иначе мы поступим неправильно в этом кризисе. Мы должны быть отважными. Очень отважными.

Роджер Робб:

— Вы должны были бы найти в себе смелость, чтобы объяснить нам, почему вы саботировали производство водородной бомбы. Вы все еще должны нам ответить.

Роберт Оппенгеймер:

— Я не саботировал производство водородной бомбы и не убеждал наших ученых, чтобы они отказались от работы над бомбой. У меня были определенные возражения к планам использования водородной бомбы. Свои оговорки я высказывал на совещаниях и консультациях, и всегда было ясно, что это мое личное мнение, основанное на моих взглядах. Свое мнение я никому не навязывал. Я не могу принять обвинение в том, что другие ученые пришли к такому же негативному взгляду на водородную бомбу лишь под моим влиянием. Неправильно было бы недооценивать способности наших ученых. До сегодняшнего дня я убежден, что мы не должны были производить водородную бомбу. Я все время так думаю и не считаю, что я саботировал наши оборонные планы...

Роджер Робб:

— Объясните нам лучше, почему вы доказывали, что бомбу невозможно было создать. Вы как специалист должны были знать, что это неправда.

Роберт Оппенгеймер:

— Почему я должен все время объяснять? Я никогда достоверно не заявлял, что водородную бомбу нельзя произвести. Я лишь выражал свое сомнение в том, что это удастся. Эйнштейн, когда его до войны спрашивали, возможно ли будет когда-нибудь расщепить атомное ядро, заявил, что это исключено. Он ошибался, как мы знаем. Также скептически настроен был и Нильс Бор и другие гении современной физики, с которыми я не осмеливаюсь даже сравнивать себя. Ошибаться в науке — это не такой уж большой проступок. Ученый не является политиком, которого может уничтожить даже одна ошибка.

Гордон Грей:

— Значит, господин профессор, вы убеждены, что водородную бомбу не нужно было вообще производить.

Роберт Оппенгеймер:

— Нет... Производить водородную бомбу имело бы смысл лишь в том случае, если бы с ее помощью мы смогли достигнуть мощного политического нажима, то есть если бы мы достигли такого военного преимущества, чтобы без войны принудить противника принять наши требования. Для этого мы должны были бы получить многолетнее преимущество и быть убежденными, что противная сторона не сможет нас догнать. Однако тот факт, что русские в такой невероятно короткий период создали атомную бомбу, должен был бы стать для нас предупреждением. Мы могли прийти к заключению, что мы не сможем удержать нужное нам преимущество. Я знаю, русские идут за нами по пятам, а по некоторым сообщениям, они уже нас догнали. Я не могу судить, насколько эти сведения правдивы, но сама возможность того, что в ближайшее время настанет равновесие сил, доказывает мою правоту. Мы не только не добились бомбой безо-

пасности, но, наоборот, над нами и всем миром выросла страшная опасность тотального уничтожения. Наш народ отдал миллиарды долларов, международное напряжение обострилось до невероятности, однако мы не решили ничего: мы не сильнее, чем русские, и мы не добились почета и уважения свободного мира. Мы не должны были производить бомбу не в интересах мирового коммунизма, а в интересах Америки и западной цивилизации, которая нам дороже всего. Хотя Черчилль и считает, что прогресс, способствующий уничтожению одной стороны другой, приведет к тому, что никто не захочет убивать, однако я в этом не так убежден...

Роджер Робб:

— Это все слова, слова... А что бы делали вы, если перед вами поставили бы задачу создать водородную бомбу? То есть ту задачу, за решение которой должен был взяться доктор Теллер?

Роберт Оппенгеймер (колеблясь некоторое время):

— Это трудно сказать...

Роджер Робб:

— Я понимаю, что вам трудно ответить прямо. Но я хочу услышать от вас ясный ответ: вы были бы с нами или бы вышли из наших рядов и повернулись к нам спиной? Да или нет?

Роберт Оппенгеймер (снова колеблется):

— Я думаю, что я бы выполнил доверенную мне задачу... Если бы я был убежден в том, что это технически возможно...

Роджер Робб:

— Благодарю, это я и хотел от вас услышать.

Доктор Уорд Ивенс:

— Я хорошо понимаю сомнения профессора Оппенгеймера. Это чувство знает каждый ученый, который работает в ядерной физике. Нас привлекает техническая сторона каждой самой фантастической проблемы. Однако встает вопрос: смеет ли человек сделать все, что он в силах доказать? Я думаю, что не смеет. Если ученый чувствует ответственность, находится перед судом своей совести, то она ему говорит: «Ты не смеешь!» Я вступил в дискуссию лишь для того, чтобы господин Робб не делал слишком упрощенных выводов.

Роберт Оппенгеймер:

— Благодарю вас, Ивенс, я придерживаюсь такого же мнения, как и вы. Поэтому я думаю, что самая большая опасность, угрожающая сегодня человечеству,— это слепой фанатизм, который судорожно искажает веру и в который впадают люди и целые общества, обреченные на вымирание. Я боюсь этой судороги, этой наизнанку вывернутой веры. Я боюсь шовинистов всех направлений, рас, наций и религиозных убеждений. Фанатизм плюс водородная бомба, плюс безразличие — это самая прямая дорога к гибели человечества.

Роджер Робб:

— Если я не ошибаюсь, вы и меня считаете фанатиком?

Роберт Оппенгеймер:

— Сохрани бог! Ничего подобного мне не приходило в голову. Я думаю совершенно о другом... Когда-то я читал «Дневник из Хиросимы», который написал, как мне помнится, доктор Хашия. Это было горькое чтение, оно потрясло меня. Там есть и пророческие образы людей, которые горят среди реки, и безумия в больнице, где японцы умирают от лейкемии и внутреннего кровоизлияния, вызванного радиоактивным излучением. Большинство больных там обречено, жить им осталось несколько дней, всюду смерть. В саду жгут трупы, политые бензином, все говорит о том, что Япония находится в предсмертной агонии. И в эту призрачную больницу приходит какой-то человек из соседнего города и распространяет слухи о том, что японские самолеты в отместку бомбардировали Сан-Франциско, Сан-Диего, Лос-Анжелес и уничтожили еще больше людей, чем американцы в Хиросиме. И, как вы думаете, что случилось? Люди прокляли бессмысленную войну? Вовсе нет. Хашия пишет, что в этот момент все обрадовались. Те, у кого были самые тяжелые раны, развеселились больше всех. Все эти уроды и обреченные на смерть начали шутить и наконец запели песню победы, конечно японской победы...

После Хашия я прочитал еще несколько других свидетельских документов и убедился, что он не лгал. Японцы в тот самый момент, когда они были полностью разбиты и почти истреблены, по-детски радовались тем ударам, которые они нам якобы наносили. Им даже в голову не пришло, что они могли войну проиграть. Я не считаю японцев отсталой восточной нацией, такому сумасшествию может поддаться любая нация; ему поддались и немцы, которые ведь не являются восточной нацией. И это меня ужасает.

Роджер Робб:

— Вы, может быть, хотите сказать, что нашей страной руководят фанатики?

Роберт Оппенгеймер:

— Я никогда не думал, что нами руководят фанатики. Наоборот, я убежден, что у Америки наилучшие условия для того, чтобы такого фанатизма избегать. В будущем, однако, мерилом преимущества общественных систем и режимов будет нечто иное, чем только автомобили и холодильники: это — мера свободы, которую мы можем обеспечить человеку. Если мы потеряем ее, мы потеряем все...

Наука определенным образом демократична, и она не терпит никаких предписаний. Ученый может позволить себе задать любой вопрос, может сомневаться в

любом утверждении, потому что он должен находить доказательства и каждую ошибку он должен стремиться исправить. Немецкие ученые во время войны не смели даже допустить мысль, что гитлеровская империя может быть разбита и что ее солдат могут выгнать с тех территорий, которые она оккупировала. Все свои планы немецкие ученые основывали на абсолютной уверенности, что они навечно будут хозяйничать во всей Европе.

Они построили очень много заводов и принялись решать такие задачи, которые они не могли выполнить и не выполнили. Если бы, однако, какой-нибудь немецкий ученый высказал свое сомнение, на него бы набросилась вся свора, провозгласила бы его капитулянтом и он не избежал бы концентрационного лагеря. Поэтому, несмотря на усилия и прекрасные результаты в некоторых областях, они должны были проиграть. Они проиграли из-за отсутствия свободы!

Гордон Грей:

— Как же все то, о чем вы говорите, относится к Америке?

Роберт Оппенгеймер:

— К сожалению, нас это касается больше, чем нам хотелось бы. Проявляется, например, тенденция полностью подчинить науку военной дисциплине и исключить ее из сферы, на которую распространяется общественная критика. Это опасно. Я убежден, что никакой коллектив не является таким всеведущим и безошибочным, чтобы его деятельность не должна была подвергаться проверке и критике. Научный коллектив не является исключением. Кто сможет потом сказать, что, собственно, происходит в лабораториях, делается ли там вообще что-нибудь и не выбрасывают ли деньги на ветер, не открывают ли уже давно открытое? Всякая скрытность ведет к коррупции, которая является причиной возникновения глупостей и ошибок. Наука не переносит воинской дисциплины и требует свободы мнения. Военные организации, однако, не любят сомнений. Я хочу, чтобы меня поняли: наука не значит только скептицизм. Она проверяет не для того, чтобы только сомневаться... Для охраны свободы человеческого духа каждый должен быть готов стать мучеником. Ибо до тех пор пока мы будем думать, что хотим, и говорить, что думаем, условия человеческой жизни будут все время улучшаться. Мы должны сохранить в себе непоколебимую веру Томаса Джефферсона. Он был убежден, что все злодеяния прошлого не устоят перед познанием и истинным просвещением. Он верил в человека и был убежден, что человек, который знает больше, будет поступать мудрее и будет лучше жить. Мы должны признаться, что у нашего поколения уже нет таких гранитных убеждений, и это нас должно тревожить.

Роджер Робб:

— Может быть, вы хотите стать мучеником за дело свободы. Если вам у нас не нравится, идите в Россию!

Роберт Оппенгеймер:

— Слова о свободе, за которую нужно умереть, выдумал не я, это написал в 1799 году — во время, когда Наполеон разогнал Директорию и стал диктатором,— Томас Джефферсон. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что он был настоящим американцем.

Роджер Робб:

— И дьявол может мастерски цитировать библию...

Роберт Оппенгеймер:

— Если мораль общества является здоровой и нормальной, мы не должны бояться, что какой-нибудь одиночка ее отвергнет. Сейчас, когда нам угрожают тысячи ловушек техники и механизация человека, мы должны больше чем когда-либо требовать свободы личности, а не подчиняться слепо и безоговорочно тому, что обычно считается правильным и несомненным. Больше чем когда-либо мы должны заботиться о человеке. Мы видим настойчивую необходимость в новых связях между людьми. Я боюсь того, что мы переживаем; мы живем в домах и не знаем соседей, все мы чужды друг другу. И хотя вы, может быть, будете смеяться надо мной, я мечтаю об обществе, где дети учат стихотворения наизусть, где женщины танцуют в хороводах, где каждый чувствует искусство и стремится к науке. Нельзя возразить против того, что мир приобретает неорганический характер...

Мы слишком неравны, чтобы мы могли жить совместно. Художник одинок, а ученый негодует потому, что никто не прилагает усилия, чтобы научиться тому, чему он мог бы научиться. Никогда раньше нам не нужно было так настойчиво искать новые формы общественного сосуществования. Еще никогда не было под такой угрозой благородство внутреннего, вечного и настоящего искусства, честь ремесла, потребность сохранить юмор и красоту.

Томас Морган:

— Что, по вашему представлению, нужно было бы сделать, чтобы до этого не дошло?

Роджер Робб (выкрикивает):

— Он хотел бы завести у нас коммунизм!

Роберт Оппенгеймер:

— Мы должны стараться создать благоприятную творческую атмосферу. Мы должны избавиться от скрытничанья и больше доверять людям. Мы сознательно должны бороться с тайной опасностью, которая кроется в механизации взаимоотношений между людьми. По моему представлению, прежде всего нужно поднять уровень всеобщего образования. Для этого все хорошо: печать, лек-

ции, телевизор, популярные публикации. Иначе будет все дальше углубляться пропасть в нашем обществе, которая проходит не только между богатыми и бедными, но также между руководителями и не руководителями... Я не знаю, что случится, когда в нашей промышленности наконец будет достигнута полная автоматизация. А я не сомневаюсь в победе этих современных производственных методов. Это лишь начало. Однако уже сегодня ясно, что новая организация производства будет иметь решающее влияние на устройство нашего общества. И я, к сожалению, должен заявить, что это не такое влияние, которое ведет к развитию демократических отношений. Мне кажется, что аристократичность науки находит свое подобие в иерархическом устройстве всего общества. Вырисовывается возможность общества, основанного на полувоенной иерархии, которым руководил бы некий генеральный штаб, созданный из горстки предпринимателей, бизнесменов-администраторов и высококвалифицированных ученых. Ему подчинялся бы более широкий корпус специалистов, решающих определенные задачи, и это было бы все. Что будет с обычными людьми, я себе не представляю. Конечно, уменьшится потребность в квалифицированных рабочих, то есть наступит тенденция, противоположная той, которая проявлялась до сих пор...

Роджер Робб:

— Вы все время забываете, что вы не на университетской кафедре, а перед комитетом безопасности. Пусть вас не тревожит будущее Америки, господин Оппенгеймер. Однажды вы в этом уже усомнились и пошли искать спасения у коммунистов, однако Америка оказалась более сильной, чем вы ожидали. И вы снова окажетесь неправы. Я верю Джону Форду, который приветствовал автоматизацию и заявил, что Америка стоит на пороге золотого будущего. Чтобы достичь этого будущего, мы должны верить, а не поддаваться всеуничтожающему скептицизму, который вы здесь беззастенчиво пропагандируете. Вы убежденный пессимист, а этот дух Америке совершенно чужд.

Роберт Оппенгеймер:

— Я не задумывался над тем, оптимист я или пессимист. Не скрываю, однако, что меня тревожит будущее человечества. Я боюсь безразличия людей, послушных, как овцы. Я боюсь, что люди совершенно не понимают опасности, которую несет с собой наш век. Боюсь, что они поймут это слишком поздно. И часто я вспоминаю остроумный афоризм Лихтенберга, который говорил: человек мало учится на опыте, потому что каждая новая глупость является ему всегда в новом обличии. Главная проблема — не атомная энергия, а сердца людей. Я ужасаюсь, как быстро падает моральный уровень. Уже никому не кажется страшным, когда уничтожают целые города...

Гордон Грей:

— Надо, однако, вернуться к нашему делу. Господин профессор, вы должны были объяснить нам свое участие в «Проекте Виста».

Роберт Оппенгеймер:

— Борис Пах, по привычке, преувеличил мою роль в этом проекте и показал меня в самом мрачном свете. Я был одним из ведущих работников проекта, однако далеко не главным его автором. Но не скрываю, что я против того, чтобы оборона Соединенных Штатов была основана на идее запугивания врага стратегической бомбардировкой.

Гордон Грей:

— Почему вы против? Из моральных соображений?

Роберт Оппенгеймер:

— Да. Я считаю атомную бомбардировку безнравственной и думаю, что нельзя найти причин, которые доказали бы ее справедливость. У меня есть возражения и с точки зрения военной необходимости...

Гордон Грей:

— Как вы представляете себе оборону Америки?

Роберт Оппенгеймер:

— Как вы знаете, я предлагал в «Проекте Виста», чтобы мы развивали прежде всего свои оборонные средства, а не то, что предназначено для нападения. Благодаря этому мы смогли бы лишить русских возможности оправдываться тем, что они лишь повторяют то, что делаем мы. Лишь таким образом можно было бы создать атмосферу, в которой проводились бы конференции и искались бы новые пути для решения международных проблем. Ведь не может же это продолжаться до бесконечности. Попробуйте продумать без всяких иллюзий, какова реальная обстановка сегодня, что происходит? Жизнь ограничивается лишь существованием и ожиданием смерти... Каждый поступок ограничивается мерилом одного дня, который может стать последним. Человеку кажется, что он идет в ничто... Мы не должны этого допустить. Совесть говорит мне, что мы не смеем этого делать. У человечества никогда не было бо́льшей ответственности. Это, наверно, не совсем понятно, но я имею в виду не все человечество, а прежде всего нас — ученых, которые знают, в чем дело. Я имею в виду ответственность государственных деятелей, которые имеют представление о значении своих поступков...

Роджер Робб:

— Нашему правительству и нашему президенту лучше известны замыслы русских, чем вы думаете, и они знают, что с ними нельзя бороться иначе, как

силой, силой и еще раз силой. Это единственный аргумент, который они уважают. Очень странно, господин Оппенгеймер, что ваши взгляды на основные политические вопросы полностью противоречат тем, которые признают наши ведущие деятели. Вы должны были бы над этим серьезно задуматься!

Роберт Оппенгеймер:

— Я тоже американец и знаю, что такого же образа мыслей, как и я, придерживаются многие американцы. Я думаю, что настоящий американец не может быть против вековечных идеалов этой страны, идеалов, которые из Америки сделали Америку. Еще в молодости мне запало в сердце библейское пророчество, которое заключает в себе все, что мы сейчас дебатируем: «и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Роджер Робб:

— Я сердечно благодарю вас за поучительную мораль. Вы должны мне, однако, ответить, почему ваши взгляды принципиально расходятся со взглядами людей, которые руководят этой страной. Вы не объяснили нам также, как вы могли честно служить Америке, когда ваше представление о том, что хорошо и что плохо, совершенно отличается от мыслей и чувств истинных американцев.

Роберт Оппенгеймер:

— Я не думаю, чтобы мои взгляды расходились с мыслями американцев, и, даже если это так, я не знаю, какой я этим совершил незаконный поступок.

Роджер Робб:

— Не знаете? Я вам это открою. Тем, что вы не возглавили производство водородной бомбы, хотя это было в ваших возможностях, вы способствовали тому, что Соединенные Штаты потеряли несколько драгоценных лет. Вы ответственны за возможное поражение нашей страны. А это страшная ответственность!

Роберт Оппенгеймер:

— Вы несколько переоцениваете значение моей личности. Я не мог иметь такого влияния. И если бы я допустил, что вы правы, ничего бы не изменилось в том, что я уже говорил. Русские догнали бы нас через несколько лет. Если они смогли использовать расщепление атома, они смогут создать и водородную бомбу и много других вещей.

Роджер Робб:

— Это вы говорите сейчас, а когда-то вы утверждали нечто иное. Вместе с другими нашими учеными вы убеждали и, к сожалению, убедили государственных деятелей, что мы будем иметь преимущество еще приблизительно 10, если не 20 лет. Если бы наши руководители были правильно информированы, они не допустили бы этой опасности — конкуренции русских.

Роберт Оппенгеймер:

— Если я вас хорошо понимаю, вы думаете, что все могла изменить превентивная война. Я думал о такой возможности, однако я полностью убежден, что превентивная война ничего бы не изменила в этой обстановке... Мы сделали все, чтобы победить силой, господин Робб, однако я боюсь, что мы сделали далеко не все, чтобы победить мирным путем.

Томас Морган:

— Если я правильно понял ваши показания, то вы нас убеждаете, что вы никогда не сделали ничего такого, что противоречило бы интересам Соединенных Штатов.

Роберт Оппенгеймер:

— Вы поняли меня правильно. Господин Робб и Борис Пах, видимо, придерживаются другого мнения. Они считают, что безопасности нашей страны угрожает каждый, кто придерживается своих собственных взглядов, или тот, взгляды которого не совпадают полностью с официальным мнением. Они требуют полного совпадения. Но и этого мало, они требуют изъявлений восторга. Если смотреть таким образом, то я, конечно, никуда не годен...

Гордон Грей:

— Это все, что вы хотите нам сказать?

Роберт Оппенгеймер:

— Да.

Гордон Грей:

— Есть ли еще вопросы?

Томас Морган:

— Считаете ли вы, что правительство вас обидело?

Роберт Оппенгеймер:

— Нисколько. Притом я полностью согласен с Макиавелли, что неблагодарность — это основная обязанность государя.

Доктор Уорд Ивенс:

— Я совершенно удовлетворен показаниями профессора Оппенгеймера и думаю, что его лояльность вне всякого сомнения.

Томас Морган:

— У меня нет вопросов.

Роджер Робб:

— Что вам говорит ваша совесть, господин профессор?

Роберт Оппенгеймер:

— Я исполнил свой долг. Я убежден, что я поступил правильно. Необязательно знать квантовую механику и изучать Платона, чтобы знать, как действовать и на что решиться. Это знает каждый, но мы, к сожалению, слишком часто стремимся к временным выгодам и боимся первыми выйти из рядов, даже если видим, что толпа идет к гибели...

Гордон Грей:

— Благодарю вас. Нет вопросов?

(Комитет безопасности удаляется на совещание).

Who's who

Есть знаменитые люди, о величии которых окружающие узнают лишь случайно, как правило, после их смерти, когда вдруг обнаруживается, что старый, немного странный господин, который аккуратно водил на прогулку собачонку, был, ну скажем, первооткрывателем законов полета в стратосферу. Роберт Оппенгеймер относится к другому роду прославленных людей. Он принадлежит к тем немногим, которые вознесены на сверхчеловеческую высоту еще при жизни...

С большим восторгом о нем всегда говорил президент Франклин Делано Рузвельт и Давид Лилиенталь, когда-то всемогущий в атомной комиссии. Он так высказался об Оппенгеймере: «Из всех гениальных людей, которых я знаю, он единственный был настоящим гением...» Сильные мира сего преклонялись перед ним и уважали его.

Много выпало на его долю и академических почестей. Оппенгеймеру многократно присуждался диплом почетного доктора наук в американском и европейских институтах...

Но среди наград, которых Оппенгеймеру недостает, имеется одна — самая желанная для него — Нобелевская премия. Шведы награждали каждого американского ученого, если это награждение можно было бы хоть как-то объяснить. Для Оппенгеймера это при всем желании сделать было невозможно: Оппенгеймер, известный как мировой специалист в ядерной физике, не сделал никакого открытия, которое имело бы всеобщее значение. Его работа над атомной бомбой носила скорее организационный характер, чем творчески-научный. К его заслугам причисляют и то, что он первым высчитал необходимое количество расщепляемого материала для атомной бомбы. Он также разработал электромагнитный метод для отделения редкого урана U-235 от обыкновенного урана U-238. Метод Оппенгеймера дал возможность начать товарное производство расщепляемых материалов. Другие его открытия до сих пор еще являются государственной тайной, но можно предположить, что среди них нет никаких значительных теоретических открытий.

Без сомнения, среди научного штаба в Лос-Аламосе были ученые, неизмеримо большего значения, чем Оппенгеймер. При назначении Оппенгеймера на место директора атомных лабораторий сыграли роль, по-видимому, кроме чисто научной квалификации, еще и иные причины.

Кажется, что этому весьма способствовало его поистине необыкновенное обаяние, которое признают, за исключением Бориса Паха и людей его круга, даже личные враги Оппенгеймера. Худой, туберкулезный, необычайно нервный, он курит сигарету за сигаретой, он готов любому помочь и с любым завязать сердечную беседу о чем угодно. Он проявляет искреннее сочувствие к несчастьям ближних и является любимцем студентов. На его лекциях толпятся люди, которых интересуют не столько математические примеры, сколько остроумный способ чтения лекций Оппенгеймером и его умение объяснить самые сложные вопросы современной физики. Все в один голос говорят, что интеллект Оппенгеймера практичен, что он очень быстро находит правильное решение сложнейших задач...

Если мы дальше будем более подробно рассматривать причины, благодаря которым именно Оппенгеймеру, а не другому было доверено это дело, мы должны будем признать правоту Льюиса Страуса Решающим было то обстоятельство, что Оппенгеймер был американцем. Среди эмигрантов, прибывших из Европы, было много талантливых людей, однако нельзя было доверить такой ответственный пост иностранцу. Этого не допустил бы ни конгресс, ни американская общественность. Еще одно сыграло здесь свою роль: Оппенгеймер по своему происхождению относился к высшему кругу американской буржуазии. Он был полностью их человеком. Роберт Оппенгеймер был сыном миллионера; он выбрал научную карьеру и в конце концов стал выдающимся ученым. Это в американских условиях, у людей его круга, является весьма редким..

Маленький Роберт жил хорошо и беззаботно: «Мое детство,— говорил он,— меня совершенно не подготовило к горьким и трудным эпизодам жизни» Под влиянием матери интерес молодого Роберта был направлен к гуманитарным наукам и к искусству. Он очень скоро стал говорить по-французски, позже изучил латынь и греческий; он читал в оригинале Вергилия, Горация и Цезаря так же хорошо, как Гомера и Платона. Как всякий молодой человек, он начал писать и стихи, но не по-английски, а по-французски!.

Студенческие годы Роберт провел в Гарвардском университете Там он самостоятельно начал изучать античную и европейскую литературы, продолжал писать стихи. Однако все больше и больше его стала интересовать наука. В 1925 году после трехлетнего обучения он закончил Гарвардский университет, как и следовало ожидать, с отличием «summa cum laude». Ему шел двадцать первый год, и отец в день совершеннолетия подарил ему несколько десятков тысяч долларов. Роберт не купил себе ни машину, ни яхту, не поехал ловить тигров, не совершил путешествия вокруг света, а употребил эти деньги для того, чтобы совершенствовать свое образование Он легко получил место в Кембридже, где познакомился со всеми великими физиками 20-х годов: Максом Борном, Полем Дираком и Нильсом Бором. В Кембридже он

прослушал первые лекции по теории атома По свидетельству товарищей, он достиг хороших результатов в теоретических работах, но совершенно провалился в лабораторной практике. Этот провал и депрессия чуть ли не привели его к самоубийству...

После того как его позвал Макс Бор, он уехал учиться в Гёттинген. Затем он учился в Лейдене и Цюрихе. В 1929 году Оппенгеймер вернулся в Соединенные Штаты..

Молодым, талантливым, уже известным физиком заинтересовалось сразу десять американских университетов. Оппенгеймер решил работать в Калифорнийском университете в Беркли. На вопрос, почему он выбрал именно Беркли, он ответил: «Меня привлекло туда несколько старых книг: коллекции французских поэтов XVI и XVII столетий в университетской библиотеке решили все».

Он преподавал в Беркли и близлежащей Пасадене, продолжая жить по-старому: читал бесконечное множество книг и изучал языки (среди которых был и санскрит), знал лучше индийские науки, чем жизнь за воротами института. Этот уход от реального мира был так заметен, что даже сами профессора говорили о нем, как о человеке, который живет в другом веке.

Первое потрясение, нарушившее его привычный образ жизни, связано с письмами из Германии. Это были страшные сообщения родственников, подвергшихся гонениям нацистского режима. Другой удар был направлен изнутри, когда буря с Уолл-стрита дошла даже до тихого Беркли и Пасадены. Студенты, которым он с удовольствием говорил о мире, полном гармонии, вдруг перестали находить работу, а когда и находили ее, то она была очень низко оплачиваема. Через Калифорнию тянулись процессии голодающих. Оппенгеймер реагировал на эти события очень сильно. В момент, когда он понял, что существует прямая зависимость между экономической и политической жизнью и человеческим счастьем, он загорелся желанием изучать социальные науки. Он перечитал все, что было написано об этих проблемах, и дошел до марксизма. Как свидетельствуют его показания, марксистом он никогда не был, его взгляды в лучшем случае можно считать либеральными и реформистскими.

Дальнейший поворот в его жизни означала встреча с Жанной Тотлок, которая, конечно, оказала на него бо́льшее влияние, чем он признал это перед комитетом безопасности. Оппенгеймер стал «попутчиком», и можно предположить, что этой новой своей роли он отдался с такой же страстью, с какой раньше изучал санскрит и французских поэтов. Началась вторая мировая война, и Оппенгеймер должен был сыграть в ней такую роль, которая ему даже и не снилась. Начала разыгрываться история, перипетии которой можно узнать из заседаний комитета безопасности.

* * *

Об Оппенгеймере было так много сказано, что читатель может спросить: где же, собственно, правда, кому мы должны верить — Паху и Страусу или Ивенсу и Оппенгеймеру? Может быть, каждый из них прав или правда совсем иная?

Очень трудно нарисовать портрет Оппенгеймера одним быстрым штрихом. Трудно рассудить — хороши или плохи его поступки, принципиален он или нет, прогрессивен или реакционен. Однако образ Оппенгеймера и его поступки кажутся намного симпатичнее, чем образ главного его противника — Эдуарда Теллера, не говоря уже об остальных. Однако мы не можем открыть ему все наше сердце и отдать всю нашу симпатию. Нас не может удовлетворить даже то, что в нем проснулась совесть, этого еще мало, если за этим не следуют поступки.

Темным пятном в прошлом Оппенгеймера, без сомнения, является дело Шевалье. Оппенгеймер не мог сделать ничего другого, как молча признать перед комитетом безопасности, что Борис Пах был прав. Оппенгеймер действительно предал друга. И как бы мы ни рассматривали мотивы такого поступка, мы не находим смягчающих обстоятельств. Единственной причиной этого был страх Оппенгеймера, что оборвется его карьера...

Непонятны и мотивы самоубийства Жанны Тотлок. Возможно, она не могла пережить разочарования в Оппенгеймере. Нельзя, конечно, требовать, чтобы он показывал против самого себя. Однако мы будем близки к истине, если предположим, что это чувство внутренней личной неправоты сыграло большую роль в остальных его поступках.

Борис Пах — этот мефистофельский мастер интриги — прав, когда говорит, что Оппенгеймер своей изменой сжег за собой мосты, что в будущем он должен будет в решающие моменты служить американской реакции...

Послевоенный период мог еще многое исправить. Оппенгеймер понял это, он стремился уйти из Лос-Аламоса и начать новую жизнь. Но у него не было достаточно сил. Ему вскружила голову слава. Из ученого он скоро превратился в профессионального честолюбивого политика...

Конфликт, который произошел позже, не зависел от сознательного изменения позиций Оппенгеймера. Хотя он действительно никогда не был поборником водородной бомбы и сомневался в правильности американской политики, однако это были внутренние расхождения, которым он не давал общественной огласки, а если и давал, то настолько осторожно, что Борис Пах напрасно старался найти доказательства для обвинения Нападение на Оппенгеймера пришло с другой стороны. В американской политике появились новые реакционные силы, которые вызвала к жизни «холодная война». Этот процесс шел так быстро, что

в течение нескольких лет реформистские идеалы Рузвельта стали считаться почти государственной изменой, и все люди, его окружавшие, постепенно исчезли из политической жизни. Оппенгеймер относился к ним, и уже поэтому его подозревали. Сенатор Маккарти, который обвинял в коммунизме даже членов американского правительства, совершенно рассвирепел, когда узнал, что у Оппенгеймера в прошлом были какие-то связи с коммунистами. Он начал истерическое преследование. Однако он потерпел бы поражение, если бы его нападение не было в интересах самых мощных монополистических групп, стремящихся производить водородные бомбы. Все было подготовлено, оставалось только найти удобный повод. В тот момент, когда Америка начала изучать причины очевидных поражений политики силы, появилось дело Оппенгеймера. Оно должно было доказать, что виной всему — ученые, которые не проявляют достаточного энтузиазма в отношении американской политики. Ожидалось, что этот процесс поможет сломить все более явное сопротивление ученого мира, направленное против производства и испытаний ядерного оружия. Нужно было создать истерическое и погромное настроение, которое дало бы возможность еще больше усилить мероприятия по безопасности и засекречиванию работ атомной комиссии. Надо было еще сильнее натянуть узду, наброшенную на интеллектуальную жизнь.

Оппенгеймер стал героем не по своей воле. Никто из выступающих не заметил, что конфликт с совестью у Оппенгеймера начался лишь тогда, когда он почувствовал, что лишается покровительства власть имущих, с которыми он до сих пор прекрасно ладил. До этого конфликт не имел общественного значения.

Оппенгеймер не похож на таких героев, как Ян Гус или Жанна д'Арк. У него нет программы Жолио Кюри, пафоса Эйнштейна или Сцилларда. Он похож скорее на Дрейфуса, который тоже, хотя и стремился верно служить, но был отвергнут.

Оппенгеймер понял, что ему нечего терять, но приобрести он может все. Он понял, что для него бесполезно было принять компромиссное предложение Страуса и добровольно отступить. Это послужило бы лишь доказательством против него. Он почувствовал, что ему ничего не остается иного, как бороться до конца и отдать борьбе все — свою интеллектуальную силу, свою ловкость, свои знакомства, свое красноречие,— чтобы превратить поражение в победу. Кроме того, он боролся не один, лучшие американские ученые были за него Он разом вернул назад то, что потерял

Ему удалось больше, чем он сам предполагал: он ушел как моральный победитель.

Дело профессора Оппенгеймера превратилось из семейной ссоры в событие мирового значения.

Заключение

Процесс продолжался почти четыре недели. После этого комитет безопасности очень долго совещался, и, несмотря на это, приговор не был единогласным. Поскольку окончательное решение комитета безопасности нельзя принимать большинством голосов, как это делается при совещаниях, были в конце концов сформулированы два совершенно различных заключения. Гордон Грей и Томас Морган представили решение от большинства. От имени меньшинства, то есть от самого себя, решение сформулировал доктор Уорд Ивенс. Роджер Робб и остальные права голоса не имели.

Решение большинства подробно констатирует уже известные нам события и факты. В нем не говорится в общем ничего нового и неизвестного.

Комитет безопасности не согласился с мнением Паха и, в известной степени, Теллера, что Оппенгеймер был шпионом или государственным изменником. Комитет в целом положительно высказывается об его лояльности. В одном лишь Грей и Морган полностью согласны с Теллером, Пахом и другими. Они обвиняют Оппенгеймера в том, что он сделал не все, что мог, для создания Соединенными Штатами водородной бомбы. Они упрекают его в недостаточности энтузиазма: «Оппенгеймер и после решения президента Соединенных Штатов не проявлял в осуществлении этого проекта энтузиазма, который следовало бы ожидать от главного советника правительства».

Эта часть заключения большинства комитета безопасности является во многих отношениях исключительной. Вероятно, впервые в американской юриспруденции вердикт мотивировали настолько курьезным образом. Оппенгеймер был судим не за то, что он сделал, и даже не за то, что он думал, а за свои чувства. Как и следовало ожидать, это вызвало волнение среди ученых и прогрессивной части американской общественности.

Итог заключения большинства сводится к четырем параграфам, которые отражают «грехи» Оппенгеймера. Вот как они звучат:

Оппенгеймер не всегда поступал согласно принципам безопасности Соединенных Штатов и мог в будущем угрожать этой безопасности.

У Оппенгеймера в научном мире было такое влияние, которое могло оказаться в дальнейшем неблагоприятным для правительства Соединенных Штатов.

Поступки Оппенгеймера в деле создания водородной бомбы заставляют сомневаться, что он в будущем действовал бы так, как этого требуют интересы безопасности страны.

Оппенгеймер не был настолько искренним, насколько он должен был быть.

Поэтому вносится предложение не оставлять его в дальнейшем на службе атомной комиссии и не оказывать ему доверия.

Заключение доктора Уорда Ивенса весьма краткое. Он считает все обвинения, возведенные против Оппенгеймера, не доказанными. Он предлагает, чтобы его реабилитировали и вознаградили за процесс. Если этого не будет сделано, пишет Ивенс, американской науке угрожает большая потеря.

Для соблюдения формальностей дело Оппенгеймера было обсуждено еще и в атомной комиссии. Там председательствовал Льюис Страус. Само собой разумеется, что в комиссии было одобрено заключение большинства, и Оппенгеймер снова — и на этот раз решительно — был отвергнут. О симпатиях к нему свидетельствует лишь выступление Генри Вольфа Смита, единственного ученого среди пяти членов атомной комиссии. К удивлению Страуса, он выступил против решения большинства и, подобно Ивенсу, высказал свое собственное мнение, которое полностью оправдывает Оппенгеймера. Он считает, что устранение Оппенгеймера принесет американской науке большой вред, и требует, чтобы ему было оказано доверие. И хотя Смит не мог изменить решения большинства атомной комиссии, его позиция получила широкую известность.

Когда общественности стали впервые известны некоторые обстоятельства этого дела, то произошло необыкновенное волнение. Но это было не то волнение, на которое рассчитывали сенатор Маккарти и Льюис Страус. Вместо погромных настроений против ученых необыкновенно выросла слава Оппенгеймера, и он сразу же прослыл мужественным борцом за свободу мысли и смелым противником ядерного вооружения. Научный мир Америки и Западной Европы поднялся на его защиту. Это была не совсем бескорыстная позиция. Даже ученые, очень далекие от политики, поняли, что Оппенгеймер — это только начало и что если они не будут защищаться, то то же самое может случится и с ними.

Дело Оппенгеймера проходило в период межпартийных схваток демократов и республиканцев, поэтому оно получило невероятную огласку. Всеобщее смятение в конце концов стало настолько большим, что в июне 1954 года были опубликованы документы процесса, хотя каждому, кто давал показания, было дано обещание, что его выступления никогда не будут опубликованы. Поэтому свидетели и говорили так откровенно. Благодаря тому, что было опубликовано все, даже секретные материалы ФБР, не удалось разукрасить этот случай и приспособить его к потребностям момента.

На защиту Оппенгеймера поднялись также журналисты, братья Олсоп из «Нью-Йорк геральд трибюн», которые опубликовали книгу «Мы обвиняем» с явным стремлением быть похожими на Золя. Однако их тщеславие несколько трагикомично. В отличие от Золя, братья Олсоп доказывали, что Оппенгеймера ни в чем нельзя было обвинять, потому что он настоящий честный американец (по их представлениям, значит, честный реакционер) и что они не понимают, что против него имели ФБР и господа Маккарти и Страус.

О «деле Оппенгеймера» было написано много публицистических статей, стихотворений и даже театральных пьес. Льюис Страус и агенты ФБР следили за этой деятельностью с понятной неприязнью, их особенно разозлила книга «Тайная война за супербомбу», которую написали Джеймс Шеплей и Клей Блеер. Эти господа также бодро стоят на реакционных позициях, которые ненамного отличаются от взглядов господ роббов Однако репортерская ненасытность заставила их рассказать слишком

много об интересах монополистических групп, дерущихся за бо́льшую долю в производстве водородной бомбы, а значит, и о механизме, который подготовил падение Оппенгеймера. Страус попытался сначала эту книгу скупить, позже он стремился ее запретить. Аргументировал он это тем, что в книге много ошибок в технических терминах.

Трагикомичным было также заявление доктора Бардбери, руководителя лаборатории в Лос-Аламосе. Прочитав то, что о нем рассказал Теллер, он очень разозлился и написал протест... Как же это получилось, что Теллер не признает его заслуг в водородной бомбе? Ведь она, собственно, была произведена в Лос-Аламосе, а не в ливерморских лабораториях, как утверждает Теллер. Я, Бардбери, являюсь, собственно, отцом водородной бомбы! Так как за этот сомнительный титул, не очень выбирая средства, борется и Страус, то у Америки есть уже три претендента на титул отца водородной бомбы. Пусть будет слава, даже если мир должен погибнуть!

* * *

Уже прошло немало лет после того, как было закончено дело Оппенгеймера, и теперь можно спросить, чью правоту подтвердило время.

В марте 1954 года было еще много спорного. Сомневались, действительно ли у Советского Союза есть водородная бомба; об этом немало говорилось. Сейчас уже все споры бессмысленны. Их решил спутник, который был запущен в космос в октябре 1957 года. Его позывные провозгласили новую эпоху. Научный и политический престиж Соединенных Штатов был окончательно подорван. Послевоенная политика Соединенных Штатов, основанная на аксиоме, что все решает сила, оказалась абсурдной...

Интересно, как сложилась судьба наших главных героев.

Доктор Эдуард Теллер, как уже было сказано, занял много постов, которые раньше занимал Оппенгеймер. Так же, как и тот, он сразу потерял симпатии своих коллег (нужно, однако, заметить, что его никогда особенно не любили и у него не было настоящих друзей). Он стал советником Джона Фостера Даллеса, и его взгляды влияли на решения президента. В атомной комиссии до 1959 года он был крепко связан с Льюисом Страусом. Совместно с ним он добивался принятия самых реакционных предложений. Он упорно выступает против запрещения ядерного оружия и является врагом любого совещания с социалистическими странами. Этот блестящий союзник смерти весьма повысился в глазах Рокфеллеров. Он стал членом треста Нельсона А. Рокфеллера. Этот трест, «Оверолл пэнел», сотрудничает с республиканской партией и вырабатывает свою политическую линию. Нет нужды подчеркивать, что эта линия последовательно реакционная. Позиция Теллера напоминает психоз, который стоил жизни министру Форрестолу. Профессор геохимии Браун написал о Теллере, что он слеп от страха перед коммунизмом и что произойдет катастрофа, если точка зрения Теллера станет точкой зрения правительства Соединенных Штатов...

Льюис Лихтенштейн Страус руководил атомной комиссией в течение пяти лет. Его полномочия закончились в июне 1958 года. Так же, как и Теллера, Страуса не любят ученые. Из-за своей бестактности, с которой он защищал интересы монополий, он приобрел врагов даже и среди республиканских политиканов в конгрессе...

Если бы Страус мог увидеть в зеркале свои собственные поступки, он должен был бы признать, что историческое развитие за короткое время полностью разбило его представления и взгляды. Американскую науку несколько раз за короткое время обогнали. Ее превзошел не только Советский Союз, но и Англия, Япония и другие страны. Первые управляемые термоядерные реакции были осуществлены не в Соединенных Штатах, а в Дубне и Харуэлле. Первый спутник был запущен не с мыса Канаверал, а из Сибири. Страус должен был пережить и другие разочарования. Он выстроил в Германтауне, недалеко от Вашингтона, громадное убежище, способное выдержать прямое попадание водородной бомбы. В этой грандиозной постройке, более таинственной, чем пещера Али-бабы, и оснащенной электронными щупальцами, он спрятал все научные секреты американской атомной и вообще военной науки. Германтаун

должен был дать Америке незыблемую гарантию, что никто не получит ничего из этого «сейкрид траст», о котором Трумен сказал, что он был ниспослан Америке прямо господом богом. Когда это строительство принималось 8 ноября 1957 года, у них над головами летал советский спутник, и все сразу превратилось в грустный фарс. Если бы у Страуса не был твердый характер, он бы, вероятно, зарыдал.

О Борисе Пахе ничего неизвестно: как обыкновенный шпик, он опять погрузился в неизвестность. Пусть там и останется.

Роберт Оппенгеймер работает и читает лекции в Принстоне. Он переселился туда со всей своей семьей. Живет здесь спокойно, бродит в глубокой задумчивости по принстонским аллеям, читает французских поэтов, и можно было бы сказать, что он счастлив. Однако это только кажется Он придерживается измененной сентенции Лукреция, что несчастлив тот, кто познал смысл вещей.

С годами он снова получил и научное признание. В 1957 году — в год катастрофы американской науки — его имя неоднократно выплывало. Много раз открыто писали, что произошла ошибка, что американская наука могла бы продвинуться дальше, если бы не было «дела Оппенгеймера». В том же смысле выступал однажды перед палатой представителей и фон Браун, известный немецко-американский конструктор ракетного оружия: «Мы не должны были этого допускать. Мы не должны были его увольнять. Это была серьезная ошибка. Англичане вместо увольнения произвели бы его в аристократы». Не один раз выдвигались предложения, чтобы ему доверили военные научные исследования. Вернется ли он к ним когда-нибудь снова? Пах обещал ему, что этого никогда не произойдет, однако Пах не всемогущ.

Оппенгеймер неплохо живет. Иногда он выезжает в свет, путешествует, собирает картины и читает лекции Охотнее всего он ездит в свой любимый Париж, в Сорбонну. Он живет в скромной гостинице на улице Касетте. На его лекциях всегда полно, и молодежь с восторгом внимает человеку, на аскетическом лице которого — ироническая грусть и вечная тень меланхолии. Он убежден, что умение угадать будущее — это губительный дар.

Он любит сравнивать современных ученых с любопытными, которые открыли ящик Пандоры, посланный человечеству Зевсом, чтобы отомстить за то, что Прометей украл огонь. «Являемся ли мы союзниками ада?» Этот вопрос он все время пытается разрешить. Оппенгеймер говорит красивыми и плазными фразами, одновременно глубокомысленными и простыми. В них всегда что-то недосказано, немного тумана, в котором скрывается тревога. Он как бы хочет сказать: я знаю почти все и смирился, но ты, смертный, покуда можешь, не желай все узнать.

Он смирился, но знает, что правы те, которые не покорились, которые б о р ю т с я и отвечают противникам гордым Non possumus — иначе не можем!

Послесловие к русской публикации

В чешском издании «Совести» события, связанные с делом профессора Оппенгеймера, заканчиваются июнем 1958 года. Но история идет вперед необыкновенно быстро. И многое, что еще недавно казалось лишь смутной догадкой, превратилось в неопровержимые факты. Время решительно отделяет правду от лжи.

Советская ракета, которая достигла Луны, убедительно свидетельствует, на чью сторону склоняется чаша весов мирового развития.

В невероятно короткий срок обнаружилась полная несостоятельность стратегических концепций, связанных с именем ныне покойного государственного секретаря США Джона Фостера Даллеса. Сегодня уже мало кто верит, что можно запугать социалистические государства, силой навязать им чужую волю и поставить их на колени. В 1954 году во время процесса над Оппенгеймером кое-кто из заблуждавшихся еще мог поверить, что ослабление и отставание американской военной промышленно-

сти и науки приведет к нападению со стороны Советского Союза. Теперь уже всем ясна лживость этого утверждения. Именно в тот момент, когда весь мир увидел, что военное превосходство склоняется на сторону Советского Союза, Н. С. Хрущев внес высокогуманное предложение о полном и всеобщем разоружении.

Многие иллюзии рухнули, их крушение привело к ослаблению позиций наиболее агрессивных сил, которые вдохновляли процесс Оппенгеймера. Глава атомной комиссии Льюис Страус в июне 1958 года подал в отставку и остался на незначительной должности личного советника Эйзенхауэра по вопросам атомной энергии. Американская печать признала уже тогда, что отставка Страуса была вызвана его крайней непопулярностью среди американских ученых. На его счету было не только дело Оппенгеймера, но гакже и различные торговые махинации. Однако президент Эйзенхауэр некоторое время спустя назначил своего любимца министром торговли. И тогда произошло нечто неслыханное в Соединенных Штатах — конгресс не одобрил решение президента и Страус должен был выйти из правительства. Само собой разумеется, что уход Страуса нельзя считать концом его карьеры. Голос Страуса слышится всюду, где речь идет о борьбе против идеи мирного сосуществования, запрещения атомного оружия и мирного разрешения международных проблем. Он стареет, но страстное стремление господствовать и диктовать свою волю его не покидает.

Характерна и судьба другого героя нашей книги Эдуарда Теллера. Будучи профессором Калифорнийского университета, он по-прежнему верно служит своим покровителям Рокфеллерам. Он один из приверженцев концепции «локальной атомной войны», созданной им вместе с американским военным теоретиком Киссингером. Сегодня Теллер главный противник доктора Лайнуса Полинга, лауреата Нобелевской премии, представляющего тех американских ученых, которые борются за мир и разоружение. Развивая собственную теорию о необходимости подготовки к всеобщей атомной войне, Теллер занят планами постройки подземных городов и заводов, которые, по его замыслу, должны помочь Соединенным Штатам одержать победу над коммунизмом.

В прошлом году американская печать сообщила, что Теллер принимает деятельное участие в подготовке нового вида оружия массового уничтожения — так называемой нейтроновой бомбы. Как всегда, выступления Теллера сопровождаются большой шумихой и рекламой.

Наш главный герой, профессор Оппенгеймер, по-прежнему преподает в Принстоне. Раздаются голоса ученых, требующих возвращения Оппенгеймера на его прежнюю должность. Но влияние тех, кто добились устранения Оппенгеймера, все еще очень сильно.

* * *

Осенью 1959 года я посетил Хиросиму. В музее, построенном недалеко от эпицентра взрыва атомной бомбы, возле сплавов бетона, кирпича, стекла и человеческих костей, сплавов, которые выглядят как абстрактные скульптуры безумных художников, я обнаружил фотографию Роберта Оппенгеймера. Фотограф запечатлел выразительное лицо этого человека в тот момент, когда он пытался улыбнуться, но левый уголок губ скривился, и получилась сардоническая, горькая усмешка. Прохожие, только что склонявшиеся перед памятником хиросимским жертвам, видят лицо человека, мозг и творческая энергия которого были использованы для такого неслыханного злодеяния. Большинство быстро проходит мимо, не обратив внимания на портрет; ни это лицо, ни это имя им ровно ничего не говоряг. Но некоторые смотрят долго и внимательно. Я хотел бы, чтобы таких взглядов стало больше. Может быть, именно для этого я и написал свою книгу.

Прага, декабрь 1960.

В. Быков

К БИОГРАФИИ ДЖЕКА ЛОНДОНА

(85 лет со дня рождения)

РЕДКАЯ фотография

Я нашел эти фотографии в библиотеке Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, когда занимался там весною прошлого года, собирая материалы для диссертации о творчестве Джека Лондона. Они относятся к разным годам жизни писателя и советскому читателю неизвестны.

1. В начале 900-х годов Джек Лондон жил в Окленде, небольшом городке штата Калифорния, рассыпавшем свои строения по берегу широкого залива как раз напротив одного из самых красивых городов Америки — Сан-Франциско. Но городская жизнь тяготила писателя. «Городская жизнь слишком неестественна и ужасна для нас, людей Запада»,— жалуется Лондон в письме к другу Клоудслею Джонсу.

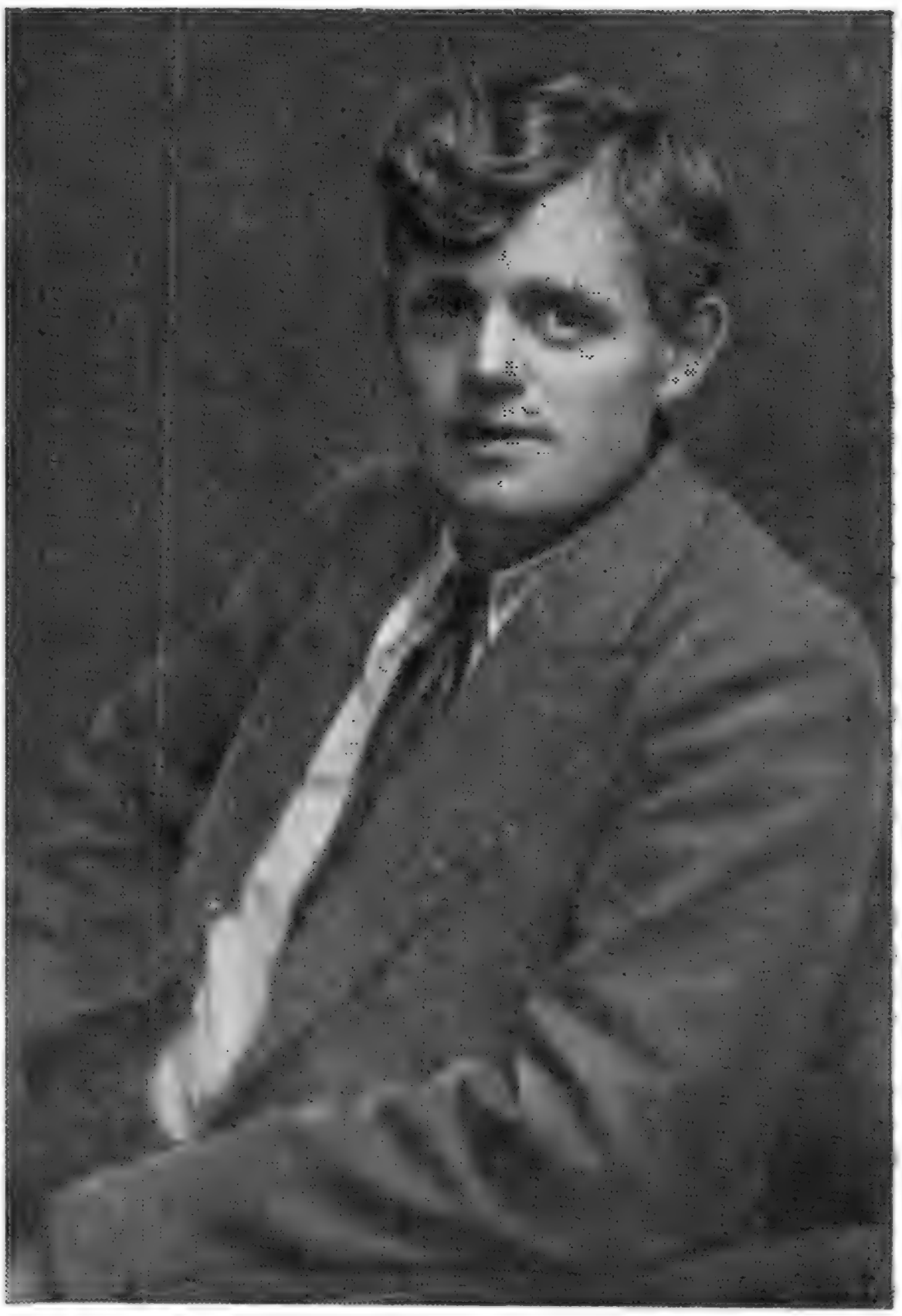
Весной 1903 года писатель на время переехал с семьей в Лунную долину, в домик Нинетты Эймс, тетки своей второй жены Чармиан. Сюда, в местечко Глен-Эллен, затерявшееся в зарослях пышной растительности, к писателю приезжали друзья. Он здесь работал над книгами, занимался боксом, охотился, ездил верхом. По вечерам устраивались чтения только что опубликованных произведений: романа «Письма Кемптона и Уэсса», повести «Зов предков» и других. Здесь за грубым дощатым столом в лесу был написан роман «Морской волк». Это было весной 1903 года, а некоторое время спустя здесь же Джек Лондон купил собственное ранчо, ставшее постоянным его домом. Там и сделан этот снимок.

2. А на этой фотографии я запечатлел дом Лондона в Лунной долине таким, как он выглядит сейчас.

3. В январе 1904 года Джек Лондон отплыл в качестве газетного корреспондента в Японию, а затем в Корею к театру военных действий русско-японской войны. Японские власти чинили много трудностей, не пуская корреспондентов на фронт. Джека Лондона даже арестовали. Из-за всего этого он последним добрался до Сеула, но все же первым проник на фронт. Иностранным репортерам мешали наблюдать и писать. Японская цензура не давала возможности посылать правдивые корреспонденции. Лондон счел, что при таких условиях нет смысла в дальнейшем пребывании на японской стороне. Он симпатизировал русским и просил либо добиться его переброски на русскую сторону, либо отозвать. Летом того же года писатель вернулся в Америку.

На фотографии Джек Лондон за работой в сеульской гостинице.

4. От первого брака с Элизабет Маддерн у Лондона родились две дочери: Джоан и Бесс. От второго брака у него детей не было. Лондон часто навещал дочерей, живших с матерью в Пьемонте, который был тогда предместьем Окленда. Снимок запечатлел одно из таких посещений в 1905 году. Справа — старшая дочь Лондона Джоан, слева — младшая, Бесс.



5. Эта фотография сделана в 1905 или 1906 году. В то время Джек Лондон был особенно активен как социалист, он совершил лекционное турне по стране, выступая с лекциями о социализме и революции во многих городах США. Его избрали президентом Студенческого социалистического общества США, он подписал воззвание Общества друзей русской свободы в защиту революции в России.

НАШИ ГОСТИ

ДИАЛОГ О СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ

Мы беседуем в редакции с группой польских драматургов, познакомившихся за время своего трехнедельного пребывания в Советском Союзе с некоторыми спектаклями в Москве и Ленинграде, встретившихся с советскими писателями, деятелями театра.

У нас в гостях — Ванда Жулкевская, известный автор пьес для детей и молодежи (наибольшей популярностью пользуется ее пьеса «Ученик волшебника»), драматург Галина Аудерская, успешно работающая в трудном жанре радиопьесы (одна из последних ее пьес «Хотим быть другими» получила третью премию на международном конкурсе Чехословацкого радио), Казимеж Корцелли — член редколлегии театрального журнала «Диалог» (как драматург он начинал еще до войны, но настоящее признание получил в новой, народной Польше. Его пьеса «Дом на улице Твардой» шла на многих сценах, переводилась на русский язык), руководитель делегации — драматург Здзислав Сковроньский, лауреат Государственной премии, автор пьесы «Выпускники», ставившейся в Советском Союзе.

Разговор идет о советских театральных впечатлениях наших гостей, о новых тенденциях в театральной жизни Польши.

ВПЕРВЫЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

З. Сковроньский: Делегация польских драматургов впервые гостит в Советском Союзе.

Зачем мы приехали? Если говорить о сугубо деловой, практической стороне поездки, то прежде всего нам хотелось проверить, насколько полно и удачно представлена советская и русская драматургия на польской сцене, а также познакомиться с польским репертуаром у вас в Москве и Ленинграде.

Естественно, в наших беседах затрагивались и чисто творческие проблемы.

Один из советских театральных критиков, говоря о московской премьере «Первого дня свободы», упрекнул Л. Кручковского в том, что он в своей пьесе оперирует традиционными «девятнадцативековыми» формами. Вопрос о современной форме сейчас очень актуален. Речь идет, конечно, о новаторстве, продиктованном самим современным содержанием. Проблема нового в театре — это прежде всего проблема языка драматургии, способа воссоздания действительности, это стремление избежать «дословной» передачи происходящего.

Если я, драматург, пишу пьесу с определенной тенденцией, то я, разумеется, не могу все время пояснять ее — иначе пьеса будет просто декларативной. У зрителя по ходу действия должно родиться собственное отношение к тому, что он видит на сцене. Задача драматурга, таким образом, заключается в том, чтобы разбудить в зрителе работу мысли, воображения...

В этом смысле для всех нас блестящий пример — драматургия Чехова. Ваш Чехов великолепно владел искусством подтекста. Мы же, современные драматурги, еще не можем освоить опыт великого писателя: нам никак не удается постигнуть высокое чеховское умение, применить его на материале нашей современности.

Мы видели ряд ваших спектаклей. По-нашему мнению, в ваших театрах, как и у нас, идут поиски новых сценических решений. Особенно интересными в этом смысле нам показались «Дамоклов меч» Н. Хикмета в Театре сатиры и «Весенние скрипки» А. Штейна у Охлопкова. Но что бросилось в глаза: пьеса А. Штейна, безусловно, могла бы быть поставлена в обыкновенных декорациях. Охлопков же попытался найти новую форму для ее постановки, которая органически не вытекает из содержания

самой вещи. Здесь особенно резко обозначилось несоответствие между традиционным построением пьесы и ее сценическим воплощением.

О РЕЖИССЕРСКОМ РЕШЕНИИ СПЕКТАКЛЯ

Г. Аудерская: Хорошо, когда автор пьесы работает в контакте с театром, ставящим его произведение. Плодотворность такого содружества мы наблюдали на примере Л. Кручковского. Он приезжал в Москву, беседовал с постановочным коллективом, и в результате его новая пьеса поставлена так, что драматург доволен. Московский спектакль «Первого дня свободы» не расходится с видением автора.

Желательно, чтобы режиссер при постановке пьес, особенно переводных, не уходил далеко от замысла автора. Дело в том, что когда пьеса переводится на другой язык, а затем осуществляется ее постановка, то некоторые дополнения режиссера нередко значительно искажают первоначальную мысль драматурга. В результате получается не совсем то, что было написано. Я говорю это в связи со спектаклем «Дамы и гусары» в Театре им. Вахтангова по пьесе Александра Фредро. Мне спектакль понравился. Но хотя он и хорош, нельзя сказать, чтобы спектакль верно следовал оригиналу. Режиссер ввел действующее лицо, которого нет у Фредро. Изменился и самый жанр пьесы: перед нами не столько комедия, сколько фарс или, скорее, даже водевиль...

К. Корцелли: Наши мнения здесь разделились. Театр им. Вахтангова сделал хороший спектакль. Дело в том, что эта пьеса не принадлежит к лучшим созданиям Фредро. Поэтому незачем делать такое обобщение, будто театр обязан всегда, в любой ситуации педантично следовать авторскому тексту, не допуская ни малейших изменений при постановке. Другое дело, если бы, например, театр принялся на свой лад излагать Мицкевича. Это был бы произвол.

Новаторская форма постановщика имеет смысл тогда, когда режиссер как бы идет по линии, предложенной самим автором. Лучшим примером, на мой взгляд, является памятная всем сценическая судьба чеховской «Чайки». Станиславский понял новаторское содержание чеховской пьесы, сумел выявить и раскрыть его, и пьеса, сначала провалившаяся в Петербурге, нашла живой отклик у зрителя. Заслуга молодого театра была в том, что он раздвинул рамки внутренней жизни человека, глубже показал его психологию.

Вот почему мне кажется — хорошо, когда в театре есть большой режиссер, который в своих поисках идет не от буквы, а стремится сохранить сам дух автора. Таким замечательным режиссером был у нас

СКОВРОНЬСКИЙ: ...Сейчас в Польше можно говорить скорее о своеобразной прелюдии к настоящему новому театру — театру больших чувств и мыслей.

Леон Шиллер. Известно, что он иногда допускал некоторые «вольности» с авторским текстом, но всегда во имя того, чтобы глубже раскрыть замысел драматурга.

НЕ УПРОЩАТЬ ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ, НЕ УПРОЩАТЬ ДРАМАТУРГА...

В. Жулкевская: Мне хочется сказать несколько слов о пьесах для детей и юношества — эта проблема меня, естественно, больше всего волнует.

Во время наших московских и ленинградских встреч я не заметила слишком больших охотников говорить на эту тему. Меня, по правде сказать, такой факт несколько удивил. Ведь многие спектакли на вашей сцене — в сущности, спектакли для молодежи, адресованы в первую очередь ей. Я видела здесь несколько постановок молодежного репертуара. И мне кажется, что трудности, которые переживает этот те-

атр — и у вас и у нас,— до некоторой степени сходны, так как вызваны примерно одними и теми же причинами. Замечаешь подчас, что целый ряд сложных жизненных проблем «подается» юному зрителю в каком-то облегченном решении как в пьесе, так и в спектакле.

К примеру, мы видели в одном из ваших театров «Внука короля» Л. Шейнина. Меня удивила в спектакле та легкость, с какой театр решает проблему, в сущности очень трудную и сложную. Видимо, постановщики полагали, что если спектакль в основном рассчитан на молодежь, то и говорить с ней о сложных проблемах можно как бы не всерьез, упрощенно. Мне кажется, что театр в этом случае явно недооценивает свою юную аудиторию... *

З. Сковроньский: Нужно особо сказать о том, как изображаются в театре враги. Наши враги — опасные люди не только потому, что у них в руках атомное оружие, но и потому, что они — носители идеологии, враждебной человечеству. Неразумно и вредно преуменьшать опасность, которую они представляют. Скажу в этой связи несколько слов о пьесе Ж. П. Сартра «Лиззи Мак-Кей». Эта пьеса при правильном ее прочтении вызывает гнев, возмущение против того западного мира, который представлен в ней образом Сенатора. Мы помним, как этот спектакль был поставлен у нас несколько лет назад ныне покойным режиссером Леоном Шиллером. Мир, который открывался перед зрителем в спектакле Шиллера, был бесчеловечен, опасен и страшен. Но когда Лиззи, женщина, оказавшаяся на самом дне жизни, решалась вдруг на самоотверженный поступок, это и потрясало. Такой «взлет» героини придавал спектаклю высокое гуманистическое звучание. Глубоко скрытые в ее характере человеческие чувства внезапно выявлялись здесь в результате напряженного внутреннего конфликта, потрясения, которое пережила Лиззи.

В московском же спектакле удивило чисто комедийное разрешение проблемы. В результате — в одной из самых напряженных сцен, когда полицейский сбивает Лиззи с ног, публика смеется. Драматический эпизод, вместо того чтобы взволновать, возбудить гнев, вызвал такую неожиданную реакцию зрителя. Это произошло потому, что режиссер упростил авторский замысел.

Удачным же примером творческого, углубленного прочтения пьесы театром мне представляется спектакль «Дамоклов меч» в московском Театре сатиры. Здесь постановщик умело и широко использовал те возможности, которые давала ему пьеса Н. Хикмета.

* В. Жулкевская высказывает свое мнение о спектакле «Внук короля» в Театре Советской Армии. В пьесе Л Шейнина рассказано о довольно необычной судьбе молодого американца Митчела, внука «табачного короля», который становится студентом Московского университета, приобретает новых друзей и знакомых. Новая жизненная обстановка сказывается и на его характере, на его взглядах убеждениях. Спектакль ЦТСА критиковался в нашей печати за упрощенно-буффонадное, чисто развлекательное сценическое решение пьесы, отчего большинство действующих лиц превратилось в «условные маски» «студентов», «девушек», «американцев» (см статью Л. Жуковой «Маски и лица» в «Советской культуре» от 25 IV 59)

ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ СОВРЕМЕННОГО ПОЛЬСКОГО ТЕАТРА

К. Корцелли: Большинство наших современных театров — реалистические. Давние традиции имеет у нас революционный советский театр. Такие пьесы, как «Бронепоезд № 14-69», «Оптимистическая трагедия», «Кремлевские куранты», «Нашествие», ставятся на многих сценах лучшими нашими режиссерами. Эти пьесы — прекрасная школа как для театров, так и для нас, драматургов.

Собственно, наши современные театры развиваются в двух направлениях. Одно из них, продолжающее традиции Станиславского, берет начало от довоенной «Редуты», возглавлявшейся режиссером Юлиушем Остэрвой. Огромное влияние на современный польский театр оказал наш замечательный режиссер-коммунист Леон Шиллер. Параллельно с этими основными направлениями возникали новые театры, пытавшиеся говорить иным изобразительным языком. Я имею в виду, в частности, так называемую Малую сцену в варшавском Национальном театре. Здесь постановщики тяготеют к большей условности, смещению действия во времени и т. д.

Многие польские театры стремятся сейчас как-то расширить понятие реализма на сцене, раздвинуть прежние сценические рамки. Иногда такие удачно найденные средства более разностороннего художественного выражения позволяют театру полнее показать зрителю события, которые происходят сегодня в мире, сохранив при этом всю отчетливость наших принципиальных взглядов и оценок.

Чрезвычайно плодотворным для польских режиссеров оказалось обращение к драматургии Брехта.

Широкое распространение в Польше получили студийные театры, которые пользуются дотацией государства. Они экспериментируют в разных планах и жанрах, поэтому здесь трудно говорить о чем-то едином, целостном. Эти эксперименты не всегда, к сожалению, бывают удачны и плодотворны: часто они оканчиваются поражением.

Так, например, случилось недавно с одним из варшавских молодежно-студийных коллективов, поставившим спектакль «Альбом Шагала». Этот эксперимент был встре-

чен резкой критикой со стороны многих театральных группировок.*

Некоторые театры ставили пьесы Беккета, Ионеско, Тенесси Уильямса, Уайльдера, которые первоначально публиковал наш журнал «Диалог». Мне представляется правильным, что журнал их напечатал. Тем самым он помог развеять превратное мнение, бытовавшее в определенных кругах нашей молодежи, будто бы в современной западной драматургии есть произведения, у нас несправедливо замалчиваемые. Кстати, зритель принял эти пьесы более чем холодно: их художественная «ценность» оказалась в некоторых случаях просто ничтожной...

З. Сковроньский: Думается, что нынешнее состояние нашего театра у вас не совсем ясно представляют. Некоторые считают, что на нашей сцене и сейчас, как два-три года назад, только экспериментируют, только ищут новых формальных решений. Это неверно. Что же касается современной драматургии буржуазного Запада, то долгое время эти пьесы не шли на нашей сцене. Случилось так, что мы не ставили даже такую вещь, как «Смерть коммивояжера» А. Миллера.

Когда же наши театры широко обратились к современному западному репертуару, то получилось, что зритель был шокирован ультрамодной условностью некоторых постановок.

По-настоящему интересной, на мой взгляд, была постановка пьесы Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы» в одном из варшавских театров. Она привлекала рядом остроумных и смелых сценических решений, позволявших лучше оттенить особенности, своеобразие драматургии Дюрренматта, глубже раскрыть гротесковость его пьесы. В смысле экспериментальном эта постановка пьесы Дюрренматта была поучительной.

Кстати, для человека моего возраста многое в формальных поисках наших театров было уже знакомо. Я вспоминал ряд постановок 30-х годов, некогда нашумевшие спектакли по пьесам Игнацы Виткевича. Внешне эффектные, эти пьесы, однако, сошли со сцены, так как их броская, яркая форма не могла восполнить отсутствие настоящего содержания, глубокой мысли...

Конечно, расширение нашего репертуара в последние годы, поиски новых сценических решений, стремление театров к дальнейшей сценической обобщенности имели определенный положительный результат.

---

* В этом спектакле как бы инсценировались отдельные шагаловские сюжеты и образы, причудливо переплетавшиеся с библейской, религиозной тематикой «Новаторство» театра, по отзывам польской критики (см., например, статью П. Герца в журнале «Диалог» № 7, 1960), оказалось здесь довольно поверхностным и неудачным Автор статьи в «Диалоге» считает, что этот спектакль — наглядный пример того, когда «само понятие новаторства превращается в абсурд».

КОРЦЕЛЛИ: ...Хорошо, когда в театре есть большой режиссер, который в своих поисках идет не от буквы, а стремится сохранить самый дух автора...

ЖУЛКЕВСКАЯ: Мне кажется, что трудности, которые переживает молодежный театр — и у вас и у нас,— до некоторой степени сходны...

Постепенно выработался новый тип интеллектуального актера. К достижениям школы Станиславского прибавилось нечто, свойственное французскому театру. Кто немного знаком с польской сценой, замечал, вероятно, что наши актеры играют в несколько иной, чем у вас, манере. При встречах с нами некоторые ваши товарищи говорили, что у нас — отличные актеры. Мы же, между прочим, повидав ваших, отвечали им: вот нам бы таких!..

Буржуазный Запад показал нам все, что мог показать, и мода на него быстро прошла. Первой покинула театры публика. И вот теперь в нашей театральной жизни иное положение, не то, что было два-три года назад. Большинство варшавских театров в своих поисках обращается сейчас как к репертуару польской и зарубежной классики, так и к более широкому кругу современных (не только западных!) пьес.

Из наиболее удачных постановок последнего времени следует назвать прежде всего «Войну и мир». Этот спектакль явился подлинным событием в театральной жизни Варшавы.* Дело не только в оригинальном сценическом воплощении. Многие просто идут посмотреть Толстого, которого в Польше знают и любят, иных интересует и то, как такое огромное произведение можно показать в театре...

По-современному решена и другая постановка из классического репертуара — пьеса «Ноябрьская ночь» С. Выспянского...

К сожалению, мы не располагаем еще новыми польскими пьесами такого звучания, которое соответствовало бы нашим запросам. А пока нет таких пьес, никакая, даже самая яркая сценическая форма не может удовлетворить современного зрителя. Я бы сказал, что сейчас в Польше можно говорить скорее о своеобразной прелюдии к настоящему новому театру — театру больших чувств и мыслей. Идут споры, искания, но нет практических результатов...

В. Жулкевская: Еще два слова о студийных театрах. Дело в том, что радиус их действия даже в театральной Варшаве невелик. В масштабах же театра всей Польши их влияние и роль просто ничтожны. Я говорю это для того, чтобы у вас не создалось впечатления, будто им придается у нас слишком большое значение. Если же отвечать прямо на вопрос: есть ли в сегодняшней Польше пьесы, которые отвечали бы требованиям сегодняшнего дня, то придется ответить, что их пока не существует.

---

* Постановщик Ирена Бабель использовала здесь сценический вариант прогрессивного немецкого режиссера Эрвина Пискатора. Польская печать оценила спектакль как несомненную удачу творческого коллектива.

АУДЕРСКАЯ: Желательно, чтобы режиссер при постановке пьес, особенно переводных, не уходил далеко от замысла автора

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, ДРУЗЬЯ!.

З. Сковроньский: Те 20 дней, что мы провели в Советском Союзе, были для всех нас необычайно интересными не только в смысле театральных впечатлений. Мы уезжаем, увозя с собой много ярких, волнующих воспоминаний о том, как живет — в будни и праздники — советский народ, как борется он за новое.

Можно ли забыть, например, картину, которую мы наблюдали однажды в праздничный день возле памятника Маяковскому? Там на площади молодежь читала его стихи, а подножие постамента утопало в живых цветах. Эта любовь к Маяковскому нам близка и понятна. Ведь и в Польше он один из любимейших поэтов молодежи...

Нас всех очень взволновала теплота, с какой встречали и принимали всюду польскую делегацию. Еще и еще раз мы воочию убеждались в том, какие тесные узы дружбы связывают наши народы. Мы уезжаем с надеждой снова побывать в вашей стране, снова встречаться с вашими людьми, разговаривать с вашими писателями, смотреть ваши новые спектакли...

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

ПОЭЗИЯ ДЕТСТВА

□

Йозеф Плева. Маленький Бобеш. Перевод с чешского С. Кульмановой и Н. Николаевой. Москва, Детгиз, 1959. 480 стр.

□

Фантазия ребенка преображает все на свете: снежинки превращаются в падающие звезды, разбитая чернильница — в драгоценный клад, груда лучин — в заколдованный замок, а кошка Мися — в принцессу. Сто тысяч «почему?» не дают покоя любознательному герою книги, маленькому Бобешу, когда он пытается постичь все происходящее в этом сложном мире. И сто тысяч злоключений ждут его при попытке проникнуть в таинства вещей. Но мальчик растет, и постепенно раскрывается перед ним жизнь — порой радостная, а порой трудная. Обо всем этом с большой эмоциональной силой рассказывает известный чешский писатель Йозеф Плева в повести «Маленький Бобеш». Вместе с героем книги читатель пытается понять смысл многообразных жизненных явлений. Почему так несправедливо устроено — действие происходит в буржуазной Чехословакии,— что одни бедные, а другие богатые? И как было бы хорошо найти клад и раздать деньги тем, у кого нет хлеба, молока, сахара, «чтобы все были веселыми».

История маленького Бобеша сложна и проста. Он один из многих чешских мальчиков, рано познавших тяжесть социального неравенства. Он один из тех, кто потом вступят на путь борьбы за справедливость. Но Бобеш, как и всякий мальчик, немножко проказник, немножко неслух — трудно ведь удержаться от всех соблазнительных приключений, которые ждут тебя на каждом шагу. Эта поэзия детства покоряет и взрослого и маленького читателя. Автор заставляет нас взглянуть на мир глазами лукавого, доброго и отзывчивого Бобеша, заставляет нас пережить вместе с ним веселые и горькие минуты.

Вот Бобеш потерял бабушкины очки, разорвал штаны, помог товарищу стащить конфеты... Отец не успел вовремя доставить на вокзал молоко — и лишился работы. Сосед-пьяница избил жену и дочь. На фабрике произошла забастовка — отец арестован... Каждое такое событие для Бобеша целая эпоха.

Рассказ о жизни маленького мальчика в сущности очень поучителен. Показывая условия, в которых жил Бобеш, сталкивая его с самыми различными людьми, среди которых много хороших, а много и плохих, Йозеф Плева раскрывает становление характера своего героя. И, расставаясь с Бобешом, читатель твердо уверен, что из него получится настоящий человек.

Интересна судьба этой книги. «Маленький Бобеш» был написан в 1929—1934 годах и издан Объединением прогрессивных учителей в Брно после того, как все официальные издательства отказались напечатать повесть. В то время в Чехословакии шла ожесточенная борьба между реакционными и прогрессивными силами за влияние на молодое поколение. Выступил со статьей «О детской литературе» и Юлиус Фучик, который призывал всех честных художников слова включиться в эту борьбу. От того, какой вырастет молодежь, зависят судьбы народов, говорил он, а чтобы

она выросла морально здоровой, нужно в литературе показывать правду жизни. Й Плева — настоящий художник, он показал эту правду во всей ее суровости и красоте. Поэтому книга его стала классическим произведением чешской детской литературы.

Когда-то М. Горький писал о «Маленьком оборвыше» Д. Гринвуда, что он прочитал книгу от начала до конца со светлой улыбкой, несмотря на то, что в ней было много печального. Хочется то же самое сказать и о «Маленьком Бобеше». Светлый оптимизм, радость бытия освещают всю повесть. «С сегодняшнего дня у нас опять начинается новая жизнь. Может быть, она будет все-таки получше...» — так верой в будущее заканчивается книга чудесного мастера слова Йозефа Плевы.

И. Чернявская

НОВОЕ ИЗДАНИЕ «САГИ О ФРИТЬОФЕ»

□

Э. Тегнер. Сага о Фритьофе. Перевод со шведского Д. Бродского. Вступительная статья В. Адмони. Примечания Ю. Светланова. Москва, Гослитиздат, 1959. 223 стр.

□

Первый перевод этой книги на русский язык появился в 1841 году, и первым русским критиком, рецензировавшим ее, был В. Г. Белинский. В восторженном отзыве отмечалось, что основным достоинством «Саги о Фритьофе» является «идея мужества, доблести, правды, любви и всего, чем гордится человечество, в чем люди сознают свое братство...»

Поэмы выдающегося шведского писателя первой половины XIX века Эсайаса Тегнера прочно и надолго заняли свое место на полках русского читателя. Перевод Я Грота был затем переиздан в 1874 и 1898 годах, а в 1935 издательство «Academia» выпустило новый, более соответствующий подлиннику и более талантливый перевод, который ныне стал библиографической редкостью. Поэтому последнее издание «Саги о Фритьофе» является своевременным.

Тегнеровское произведение — вольная поэтическая обработка древнеисландской саги, и это обусловило его суровую простоту, сугубую конкретность изображаемого, всепроникающий национальный и временной колорит. Но главным источником непреходящей молодости «Саги о Фритьофе» стала отчетливость и масштабность гуманистического идеала Тегнера, демократизм его идейных принципов, органическое слияние двух, казалось бы взаимоисключающих, начал: классической стройности и стихийной темпераментности, подчеркнуто рационального и столь же подчеркнуто эмоционального.

Перечитывая поэму, убеждаешься, что и сегодня она не покрылась налетом антикварной пыли, что и сегодня она интересна не только чисто литературными достоинствами, но способна глубоко влиять на эмоциональный мир человека середины двадцатого столетия. Поистине пророческими оказались слова Белинского: «Да, народная поэзия *такого* племени доступна всем народам и всем векам...»

В новом, третьем по счету, переводе Д. Бродского учтены и достижения и ошибки предшественников, сохранено сложное ритмическое и размерное многообразие поэмы.

Тексту предпослана вступительная статья В. Адмони, в которой историко-литературный и эстетический анализ самой поэмы дан в непосредственной связи с общей характеристикой творческого наследия Тегнера. Книга издана сравнительно большим тиражом и, надо думать, найдет путь к уму и сердцу советского читателя.

Вл. Матусевич

РОМАН, БЬЮЩИЙ ТРЕВОГУ

□

Гюнтер Вайзенборн. Построено на песке. Перевод с немецкого Е. Закс и Н. Португалова. Редактор Е. Фрадкина. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 296 стр.

□

Бывший убийца становится добрым мороженщиком. Бывшие палачи сотрудничают с бывшими жертвами, томившимися в тех самых застенках, куда первые неукогда аккуратно, без опозданий приходили на «работу». Ночью несколько человек тайно роют под зданием банка подземный ход. И в ту же ночь бешено мчится машина, увозящая задавленного во время обвала рабочего...

Это не новая сказка и не кадры из гангстерского фильма. Это фрагменты, выхваченные из будничной жизни современного Бонна, «федеральной столицы», «нового Вавилона», как его называет один из персонажей романа Гюнтера Вайзенборна «Построено на песке»,— Бонна, где разместился бундестаг, его административная машина, многочисленные солдатские «союзы» и штаб-квартиры неофашистских организаций.

Стремительно развертывая одну за другой картины по-американски модернизированной жизни этого когда-то идиллически тихого старонемецкого города, писатель призывает не верить ее миражам. Не верить кажущейся надежности в дей-

ствительности призрачного «экономического чуда». Не верить статистике уголовных преступлений и автомобильных катастроф в стране — цифры и тех и других систематически занижаются полицией. И не верить успокоительной видимости того, что в боннском парламенте бывшие узники фашистских концлагерей заседают рядом с бывшими нацистами. Это, подчеркивает Вайзенборн, не что иное, как второй акт того кощунственного политического фарса, первым актом которого было проведение в ФРГ пресловутой кампании по денацификации. Писатель как бы говорит: вглядитесь в лица прохожих на улицах Бонна, многие из них — маски. Палач превратился в мороженщика, эсэсовец — в зубного врача. На улицах уже привычным стал новый жаргон — особый «эзопов язык» реваншистов, на котором они разговаривают между собой и на котором написаны их песни, одна из них вот-вот станет новым «Хорст-Весселем».

Книга ветерана антифашистской борьбы, участника немецкого Сопротивления, узника концлагеря, освобожденного советскими войсками, Гюнтера Вайзенборна, написана с непримиримой ненавистью к фашизму. И напряженный темп, в котором, точно кадры на экране, сменяют друг друга эпизоды, и сдержанная взволнованность авторских отступлений — все это внушает читателю тревогу и мысль: нельзя допустить, чтобы стук солдатских сапог снова заглушил голос разума, справедливости, совести и фанфары реваншистской пропаганды заревели, порождая массовый военный психоз. Все это надо остановить. Сегодня. Сейчас же. Не медля ни минуты.

...В Бонн одновременно приезжают два человека. Витекинд — матерый рыцарь наживы, тертый коммерсант, прослышавший о распределении поставок для бундесвера. И двадцативосьмилетний Клаус Буцбах, бывший солдат, бывший военнопленный. Клаус хочет поднять кампанию за то, чтобы запретить промышленникам обрабатывать хлеб химикалиями, вредными для здоровья. Вступая на тернистый путь поборника справедливости, Клаус не помышлял о политической борьбе и поэтому не знал, с какими страшными силами ему придется столкнуться. Раскрывая закономерность такого столкновения, автор подчеркивает: всякая борьба с неправдой, какой бы далекой от крупной политики она ни казалась, ведет сегодня в ФРГ к схватке с возрождающимся фашизмом

Будучи до конца последовательным в своей ненависти к неофашизму, Вайзенборн вместе с тем не столь последователен в своих представлениях о конкретных путях борьбы с ним.

Веря в буржуазную демократию, писатель при всей своей умудренности опытом прошлого все же переоценивает ее способность преградить путь возрождению фашизма, того озверелого шовинизма, который он с такой тревогой распознает в оловянных «унтер-офицерских» глазах прохожих в штатском, вымуштрованной, деревянной походкой вышагивающих по улицам Бонна. Именно поэтому Вайзенборн, хотя и знает, что решающее слово в этой борьбе принадлежит немецкому народу, надеется также на то, что сегодня ее еще можно выиграть в боннском парламенте.

Но, изображая бундестаг и политические нравы «федеральной столицы», писатель сам противоречит себе; роман убеждает читателя, что в Федеративной Республике Германии для подавления антиимпериалистических сил внутри страны используются методы, напоминающие те, которыми пользовался Гитлер. И эта бескомпромиссная правдивость реалиста уравновешивает в книге Вайзенборна идеалистическую наивность

авторской политической доктрины. Читатель ясно видит, что дело не в том, удастся ли молодому задору Клауса пробудить от апатии прославленного вождя демократической оппозиции Рау, воплощающего в романе «добродетели» буржуазной демократии, некогда сыгравшей известную роль в немецком Сопротивлении, но, как утверждает Вайзенборн, затянутого ныне в вязкую тину мелкого парламентского политиканства. Дело в том, чтобы все прогрессивные силы внутри страны вовремя сплотились в борьбе против реваншизма.

Стремительность развертывания многопланового сюжета романа, охватывающего при сравнительно небольшом объеме разнообразный жизненный материал, потребовала от автора поисков особой формы повествования, резко ускоренного и в то же время емкого. И эта, условно говоря, «кинематографичность» поэтики романа поставила перед автором вопрос о замене детально разработанных характеристик персонажей своего рода «мгновенными снимками», а широко развернутых публицистических отступлений — глубоко вмонтированными в сюжет политически точно заостренными аллегориями. Таким мгновенным, но действительно страшным

«снимком» главаря закулисных деятелей в бундестаге является эпизод прихода молодой женщины Лоло фон Вид к Штерценбаху за помощью. В том садизме, с которым этот холеный политикан играет со своей жертвой, заставляя ее пройти сквозь самые изощренные унижения, мы видим, каким он был в дни нацизма и каким он будет, если неофашизм восторжествует.

Клаус Буцбах принадлежит к так называемому поколению «вернувшихся» или «уцелевших». Но что решительно отличает его от героев книг писателей, выступивших от имени этого поколения западногерманской молодежи,— это полное отсутствие в Клаусе трагической изломанности, того внутреннего надрыва, того пассивного отчаяния, которые свойственны, например, молодым героям Вольфганга Борхерта или Генриха Бёля. И здесь ощущается уже не только выражение симпатии Вайзенборна к этому поколению молодежи, но и его полемика с писателями известной литературной «группы 47». В своем романе Вайзенборн, пожалуй, впервые в западногерманской литературе заговорил о том, что уже наступило время, когда этому поколению пора подумать о *гражданском* возмужании. Именно на путь такого возмужания и встает Клаус Буцбах, постепенно расстающийся со своей политической инфантильностью.

Одна из первых деклараций Клауса начинается словами: «Наш хлеб болен!». Под фундаментом банка вдовы Виолет обнаружена не разорвавшаяся авиабомба. Попытка тайно, не компрометируя прославленного банкирского дома, извлечь ее не увенчалась успехом. Эти два образа — банка, стоящего на угрожающей взрывом бомбе, и «больного хлеба» — становятся в романе как бы своего рода символом всего «построенного на песке» боннского режима.

В. Неделин

СБОРНИК ЭФИОПСКИХ СКАЗОК

□

Огонь на горе. Эфиопские сказки, записанные Харолдом Курлендером и Вулфом Леслау. Перевод с английского Б. Носика и И. Эйтвид. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 102 стр.

□

Эта небольшая книжка вводит нас в многоцветный и самобытный мир эфиопского фольклора. Народная фантазия населила его львами и леопардами, шакалами и гиенами, она дала ему щедрые краски африканского пейзажа — желтизну пустыни, синь моря и суровую зелень леса, она заставила говорить ветер и шептаться траву. У некоторых сказок долгая история — одни пришли в Эфиопию с севера, из Аравии и Индии, другие — с юга, из Конго. Но большинство из них впервые было создано на этой земле.

В сказках отразилось живое и трезвое сознание народа, с его здравым смыслом и той неповторимой непосредственностью, которая всегда поражает в фольклоре. Здесь и бытовой анекдот, и притча, и незатейливая историйка, и сказка басенного склада — с хорошей, по-житейски мудрой моралью. Трусость и жадность, глупость и коварство осмеиваются во множестве эпизодов и с неистощимой изобретательностью. Сквозь сказки как лейтмотив проходит мечта о справедливости, о счастливой доле труженика, о добре, торжествующем над злом. Поэтому алчный хозяин оказывается побежденным стойкостью бедняка, царь склоняется перед мудростью простого крестьянина, леопард уступает добычу зайцу, а мартышка побеждает свирепого хищника.

Сборник заключает сказка «Золотая земля». В ней рассказывается о европейских путешественниках, пришедших на землю Эфиопии. Их приветствовал сам император, им преподнесли подарки и оказали знаки уважения. А когда европейцы уезжали, их попросили снять ботинки и счистить с них землю. Таков был народный обычай, и его следующим образом объяснили путешественникам: «Эта земля дорога нам. В нее мы бросаем семена, в нее мы закапываем мертвых. Мы ложимся на нее, когда отдыхаем от трудов, на ее лугах мы пасем свой скот.

Тропки, по которым вы шли из долины в горы, из степей в леса,— эти тропки протоптали ноги наших предков, наши ноги и ноги наших детей. Эфиопская земля и отец нам, и мать, и родной брат. Мы оказали вам гостеприимство, мы поднесли вам ценные дары. Но земля Эфиопии — самое ценное, что у нас есть, и поэтому мы не можем отдать вам и крупицы этой земли».

В сказках есть особый аромат. Аромат земли, которую народ назвал золотой.

Б. Гиленсон

ПОЭТ ВОСТОЧНОЙ БЕНГАЛИИ

□

Джасим Уддин. Плач земли. Стихи. Перевод С. Северцева. Предисловие А. Гнатюка-Данильчука. Подстрочный перевод с языка бенгали Б. Полянского и С. Цирина. Москва, Издательство иностранной литературы, 1959. 82 стр.

□

Этот сборник знакомит наших читателей с творчеством Джасима Уддина — видного современного поэта Восточной Бенгалии (Пакистан). Его стихи с их тонкой красочной образностью характерны для того своеобразного романтизма, который заметен сейчас в поэзии многих прогрессивных писателей Индии и Пакистана. Таковы, например, стихи Фаиза Ахмада Фаиза или Али Сардара Джафри.

Интересно программное стихотворение Д. Уддина «Новая поэзия». Долг поэта — говорить от имени тех, «кто сам не в силах говорить», поведать всему миру о людских страданиях, дать человечеству надежду в борьбе за лучшее будущее.

С глубокой болью пишет поэт о царящей вокруг него социальной несправедливости. Народ угнетен, он лишен плодов своего упорного труда («Наш край»). Бесправен скромный, честный труженик («Слуга»), но всего мрачней и горестней жизнь пакистанской женщины, чья судьба опутана сетью старинных обычаев и предрассудков («Золотая девушка»). Красота и талант задыхаются, гибнут в тисках нужды и невежества («Анвара», «Девушка из трущоб»). Уддин выступает против бессмысленной индо-мусульманской резни. При виде страданий поэт порою приходит в отчаянье («Плач земли»). Но тем горячей и призывней звучат страстные, революционные мотивы других его стихов («Брат Хашу-Миа», «Родина»). Всем сердцем верит поэт, что придет время, когда

Свои натруженные плечи
повсюду человек
расправит
Увидит солнце над собою
и жизнь свободную
восславит!

Переводы С. Северцева удачно передают национальный колорит, богатую образность и музыкальный строй этих стихов. При всем разнообразии тематики и ритмики, сборник в целом един по своему поэтическому звучанию.

М. Белиловская

Вышли в свет

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ИСКУССТВО»

Абелль, К. Потерянная мелодия Пьеса. Перевод с датского Ю. Яхниной. Послесловие Вл. Матусевича. 102 стр.

Ануй, Ж. Жаворонок. Пьеса. Перевод с французского К. Хенкина 74 стр.

Бенюк, М. В долине Кукушки. Комедия. Авторизованный перевод с румынского А. Садецкого. 115 стр.

Броутон, Дж. Знойным летом. Пьеса. Перевод с английского С. Бенкендорфа. 39 стр.

Григ, Н. Но завтра... Поражение. Пьесы. Перевод с норвежского. Предисловие В. Лидина Комментарии Матусевича. 230 стр.

Гуцков, К. Пьесы. Перевод с немецкого. Вступительная статья и примечания М. Тронской. 653 стр.

Джонсон, Б. Пьесы. Перевод с английского. Редакция перевода А Смирнова. 750 стр

Каллаи, И. Танец на проволоке. Пьеса. Перевод с венгерского К. Горфана и И. Салимона. 100 стр.

Маленькие комедии XIX века. Перевод с польского и других языков. Составитель и автор вступительной статьи А. Гершкович. 122 стр.

Мештерхази, Л. Люди из Будапешта. Драма. Авторизованный перевод с венгерского О. Громова и Г. Лейбутина. 109 стр.

Мрштик, А. и Мрштик, В. Мариша Драма в 5-ти действиях. Перевод с чешского и послесловие В. Д. Савицкого. 94 стр.

Реньяр, Ф. Комедии. Перевод с французского М. Донского. Вступительная статья и примечания И. Гликмана. 626 стр

Рид. А. Девушка с большим ртом (Жили-рифмовали). Комедия в 3-х актах. Перевод с английского И. Архангельской. 102 стр.

Скарпетта, Э. Беднота и знать. Комедия в 3-х актах. Перевод с итальянского Р. Гуарриеро и С. Токаревича. Предисловие Р. Хлодовского. 148 стр.

Скриб, Э. Пьесы. Перевод с французского. Вступительная статья и примечания Е. Финкельштейн. 720 стр.

Современные чехословацкие пьесы. Перевод с чешского и словацкого. Примечания Л. Солнцевой. Послесловие И. Гаека. 92 стр.

Фейхтвангер, Л. Пьесы. Перевод с немецкого. Вступительная статья А. Дымшица. 672 стр.

Фигейредо, Г. Эзоп (Лиса и виноград). Смешная трагедия. Пьесы. Перевод с португальского С и П. Лиминик. Вступительная статья Ж. Амаду. 169 стр.

Хейвуд, Т. Ворожея из Хогсдена. Комедия. Перевод с английского П. Мелковой. Предисловие А. Смирнова 159 стр.

Цао Юй. Пьесы. В 2-х томах. Перевод с китайского.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Альтман, Ф. Закон стервятников. Роман. Перевод с английского С. Кругерской и В. Рубина. 253 стр.

Брезан, Ю. Повесть про девушку Трикс, ее друзей и вола Исая. Перевод с немецкого Л. Яковенко. Послесловие Л. Копелева. 175 стр.

Гёрлих, Г. Черный Петер. Повесть. Перевод с немецкого С. Комарова. 269 стр

Гуляшки, А. Золотое руно. Перевод с болгарского М. Михелевич и Б. Ростова. Предисловие И. Шептунова. 406 стр.

Молодые поэты Индии. Сборник. Составление, предисловие и примечания Е. Челышева. 160 стр.

Отченашек, Я. Ромео, Джульетта и тьма Повесть. Перевод с чешского В. Петровой. 128 стр.

Пуйманова, М. Новеллы. Перевод с чешского и послесловие Н. Николаевой. 158 стр.

Издано за рубежом

О ЛЮБВИ, О ДРУЖБЕ И ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

□

Едно поколение. Избране стихове. София, Народна младеж, 1959.

Свежа струя. Избрани разкази. София, Народна младеж, 1959.

□

Перед нами две книги: «Одно поколение» — сборник стихотворений, «Свежая струя» — сборник рассказов. В них собраны произведения молодых болгарских литераторов, пришедших в литературу в конце 40-х или в 50-е годы. Многие из этих писателей являются авторами оригинальных и талантливых книг. Широким кругам болгарских читателей хорошо знакомы имена таких поэтов, как Д. Овадия, П. Матев, Г. Джагаров, И. Радоев, Л. Стефанова. Тепло были встречены литературной общественностью и читателями произведения молодых прозаиков И. Петрова, Д. Асенова, Д. Гулева, В. Баруха, С. Караславова и др. Все они — участники обоих сборников — составили как бы новое поколение в литературе, со своим взглядом на мир, новыми настроениями и своей художественной манерой письма. Сейчас уже невозможно представить развитие современной болгарской литературы без творческих достижений этих литераторов, без той живительной струи, которую они вносят в полноводное течение своей национальной литературы. И потому вполне естественно, что обе книги вышли в Болгарии к 15-й годовщине освобождения страны от фашизма, когда народ и литературная общественность отмечали свои достижения.

Один из секретов успеха молодых поэтов и прозаиков состоит в том, что они находят поэзию в трудовых буднях, что они больше, чем их предшественники, говорят о любви и дружбе, о новой морали и этике человека социалистической Болгарии. Их глубоко волнуют события, участниками которых они сами являются.

Биографии молодых литераторов довольно лаконичны и просты. Немногие из писателей участвовали в антифашистской борьбе. Зато большинство из них начинало свой жизненный путь на фронте мирного труда — в молодежных бригадах, сельских кооперативах, народных стройках, а некоторые проходили военную службу на рубежах страны. Там рождались их первые произведения.

В сборнике «Одно поколение» представлено творчество 25 молодых поэтов. Мы найдем здесь интимную лирику и пейзажные зарисовки, стихи, проникнутые высоким гражданским пафосом, и стихи сатирические. Все они вместе как бы рисуют многосторонний облик молодого человека сегодняшней Болгарии, который предстает перед нами то нежным влюбленным юношей, то беспокойным, жаждущим активной деятельности тружеником и всегда большим патриотом и нашим дорогим другом. Любящий родной край, родную природу, лирический герой стихов И. Давидкова мечтает сохранить свою душу «беспокойной, трепетной и нежной». А в стихотворении «О нежности» он говорит:

Меня за нежность не
корите
Да будет вечно нежность
жить!
О, сколько силы
неизвестной
сумеет в нас она вложить!
Из нежного побега вырос
дуб, тучи тронувший
челом,
в орлов орлята вырастают
под нежным матери
крылом.

Перевод В. Бурича

Да, эти орлята, выросшие и сложившиеся в кипучей жизни мирного труда, мечтают, «чтобы волны грохотали, чтобы гром грозился с высоты, чтоб, как молнии, блистали новые желанья и мечты» (Л. Стефанова). Они умеют горячо любить и страстно ненавидеть; любить тех, кто помог им избавиться от мрачного прошлого, кто уважает и ценит их труд сейчас, кто вместе с ними борется за мир между народами. В стихах Н. Зидарова, Л. Стефановой, В. Голева, Д. Дублева и др. мы найдем задушевную теплоту и сердечность к советским людям, к советской молодежи. В стихах болгарских поэтов выражено большое чувство любви и симпатии к молодежи многих стран, отстаивающей свою независимость и свои национальные идеалы. П. Стефанов, например, восхищается негритянкой из Конго. В ее темпераментном танце на фестивале молодежи он видит порыв к свободе самого негритянского народа.

Дочь Африки, пляши! Такой прекрасной,
как нынче, никогда ты не была.
Так в чаще джунглей гнется лук опасный
и отлетает гневная стрела!

Перевод В. Цвелева

Стихи молодых поэтов дороги нам пафосом утверждения, оптимистическим ду-

хом и неугасимой верой в торжество коммунистических идеалов.

Творческое возмужание в прозе обычно приходит медленнее, чем в поэзии. Здесь от автора требуется бóльшее знание жизни, бóльшее проникновение в человеческие характеры. Может быть, поэтому в творчестве молодых болгарских прозаиков нет таких ярких книг, как в поэзии. У рассказчиков нет еще должной взыскательности к языку своих произведений, нередко мы сталкиваемся и с описательностью. Хотелось бы пожелать молодым авторам смелее вторгаться в современную жизнь и больше внимания уделять строительству социалистической Болгарии.

Свыше двадцати прозаиков выступают в сборнике «Свежая струя». Небольшая часть рассказов воспроизводит мрачные и тяжелые картины недавнего прошлого. Так, запомнятся читателю еврейская свадьба в канун расстрела в концентрационном лагере («Свадьба» В. Баруха), душевная драма молодой болгарки, от которой отказался в последний момент богатый жених («Тетю сватают» И. Петрова), тяжелая участь мальчика из крестьянской семьи, рано потерявшего мать и сестру («Мамины слезы» Б. Митова). Однако большинство рассказов в сборнике посвящено сегодняшней жизни, новым отношениям людей.

Д. Гулев изображает острую борьбу новых людей против старой морали, против темных сил суеверия и предрассудков («Свои»), Р. Игнатов показывает задорный характер молодого болгарского воина, трагически погибшего на границе от пули врага («Мечты Стояна»), Н. Нинов рассказывает о внутренней борьбе крестьянина - собственника, оказавшегося в стороне от сельскохозяйственного кооператива («К своим»). Во всех этих случаях мы знакомимся с рядовыми болгарскими тружениками, с их повседневной жизнью. И в этой повседневности мы находим красоту человеческой души, богатство характеров.

Иногда писатели ставят своих героев в исключительные обстоятельства, и тогда с особой силой проявляются их социалистический гуманизм, их высокие моральные качества. Особенно примечательны в этом отношении рассказы П. Бонева «Когда люди друг друга не видят» и С. Караславова «Шестеро за одного». В первом из них изображены три шахтера, оставшиеся в шахте после обвала. Отрезанные от внешнего мира, они, казалось, были обречены на мучительную смерть. Старый шахтер оставляет каравай хлеба для своих молодых друзей, а сам умирает от голода. В последний момент его друзья находят в темноте этот хлеб, делят его между собой, а затем приходит спасение. В рассказе «Шестеро за одного» мы узнаем, как во время занятий парашютистов командир взвода неудачно прыгает и в смертельной опасности повисает под летящим самолетом. Посадку провести было невозможно, не жертвуя жизнью всего экипажа и жизнью парашютиста. И тогда началась самоотверженная борьба всего экипажа за жизнь человека, борьба, увенчавшаяся успехом. Чувство товарищества, взаимопомощи, уважения к коллективу и ответственность за него— вот те новые моральные качества, которые мы найдем у молодого человека в Болгарии сегодня и которые запечатлены во многих произведениях молодых писателей.

Среди рассказов этого сборника нам особенно близок своим содержанием и лирическим повествованием рассказ Л. Робертова «Подснежники для Шуры». Это история о тяжело раненном советском бойце, который во время Отечественной войны попал в болгарский госпиталь и там стал всеобщим любимцем. Волевой, мужественный и жизнерадостный, он находил в себе силы утешить раненого друга, ободрить разуверившегося, нарисовать картину скорой победы, счастливой мирной жизни. Таким он уехал из этого госпиталя в другой. А вскоре его болгарские друзья узнали, что их любимец Шура скончался от ран, не дождавшись победы. В их сознании он остался человеком широкой души, горячего сердца, остался как символ оптимизма и гуманизма советского человека.

В среде молодых болгарских патриотов, как об этом говорят сами стихи и рассказы молодых литераторов, мы находим немало таких людей, каким был Шура. И мы радуемся тому, что внутренне, духовно мы стали ближе друг другу.

В. Злыднев

КИНОСЦЕНАРИИ — ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА!

□

René Clair. Comédies et commentaires. Paris, Gallimard, 1959.

□

Во Франции издают романы, пересказывающие содержание фильмов и очень редко дающие представление об их художественном своеобразии. Таков и роман Андре Серфа «Большие маневры» (1955), написанный по одноименному сценарию известного французского кинодраматурга и режиссера Рене Клера, произведения которого знакомы и советским зрителям. В 1959 году Рене Клер опубликовал сценарии своих последних пяти картин. Среди них «Большие маневры» — художественное произведение, во всем совпадающее с фильмом (премьера его состоялась на первом французском кинофестивале в Москве). Сценарий нанес роману А. Сер-

фа удар, более сокрушительный, нежели самая придирчивая критика: в мире подлинного искусства пересказом невозможно подменить оригинал. Сборник Рене Клера «Комедия и комментарии» своим содержанием утверждает: киносценарий — разновидность драматической литературы, молодой, но полноценный литературный жанр.

Для вошедших в сборник сценариев, как и для фильмов Рене Клера, характерны удивительное чувство меры, ясность, гармоничность, неповторимая музыка ритма, объединяющая описание и диалог. Но не только мастерством кинодраматурга объясняется увлечение, с каким читаешь эту книгу: *ее автору есть что сказать.*

Чтобы разглядеть своеобразие творческой индивидуальности Р. Клера, целесообразно обратиться к лучшей в сборнике «драматической комедии» «На окраине Парижа» («Пор де Лила»). Вдохновленный романом талантливого французского романиста Рене Фалле «Окружная железная дорога» (1956), Р. Клер создал произведение, чрезвычайно отличающееся от первоисточника.

Р. Фалле развил мотивы, типичные для французских «популистов» — писателей, натуралистически и беспросветно мрачно изображающих быт бедноты. Бесстрастно, подобно буржуазному этнографу, описывающему нравы отсталого, всегда голодного племени, Р. Фалле подробно рассказывает о своих героях. Его Жюжю — не только подонок общества, но и полуживотное, не только пропойца, но и подлец. Единственное человеческое, что в нем осталось,— мечта о солнечной Корсике. Жюжю благоговеет перед Пьером Барбье, преследуемым полицией: ведь тот, настоящий авантюрист, даже застрелил двух полицейских! Но, узнав, что в кармане Барбье лежит толстая пачка банковских билетов, Жюжю, не задумываясь, убивает ножом в спину своего «лучшего друга» Барбье. Однако воспользоваться добычей и уехать на Корсику Жюжю не удается: его нервы сдают, и, разбросав деньги по снегу, он гибнет под колесами поезда... В натуралистическом по стилю, насыщенном арго «черном» романе Рене Фалле изображена среда, в которой, по мнению писателя, животное, зверское в людях торжествует над человеческим.

Подобное восприятие жизни и такие изобразительные средства чужды Рене Клеру. Обратясь к роману Р. Фалле, он оставил имена, но совершенно изменил характеры, поступки и их мотивировки. Главное в сценарии — гуманистическая мораль, юмор, грустный лиризм. И с волнением следит зритель, читатель за тем, как Жюжю — неудачник и пьянчужка, но в сущности добрый, наивный и доверчивый, как ребенок, неспособный обидеть и муху — во имя справедливости наказывает за вероломство человека-волка Пьера Барбье той высшей мерой наказания, от которой он, Жюжю, ранее спас его.

Отпечаток творческой индивидуальности Р. Клера отчетлив и в остальных сценариях сборника, в которых кинодраматург по-новому разработал темы и сюжеты, увековеченные классической литературой. Обратясь к «Школе жен» Мольера (сценарий «Молчание — золото»), к варианту темы Дон-Жуана («Большие маневры»), к легенде о докторе Фаусте («Красота дьявола» — сценарий, написанный совместно с драматургом Арманом Салакру), Р. Клер изобрел оригинальное развитие действия, щедро проявляя свою иронию и остроумие, свой лиризм и юмор, насыщая сценарии реалистическими деталями, искусно добиваясь впечатления достоверности при изображении самых неожиданных ситуаций. Не подражая великим предшественникам в развитии фабулы, Рене Клер вместе с тем остается верен их гуманистическим и демократическим традициям. Благодаря тонкости диалога, естественного, лаконичного, изящно непосредственного, драматургу удается создавать ту атмосферу легкой иронии и лиризма, которая, быть может, более всего делает его кинокомедии неповторимо своеобразными.

У героев комедий есть своя «философия», и, развивая действие—очень весело, лирически или драматически,— Р. Клер обнажает ее ложность. Эмиль добросовестно обучает робкого Жака «искусству» овладеть сердцем женщины. Жак послушно усваивает его уроки и влюбляется в Мадлен. Между тем Эмиль сам полюбил Мадлен. Но он в отцы ей годится, а Жак молод, и Мадлен предпочитает его («Молчание—золото»). Бедному молодому композитору Клоду явно не везет, он неловок, какофоническая «астма» испорченных моторов в автомобильной мастерской, находящейся под его окнами, мешает ему сочинять музыку. Лишь переносясь в сновидениях в далекое прошлое, он удачник, его любят красивые женщины. Он хочет не просыпаться — грезить интереснее, чем жить! Но романтические приключения Клода во сне сменяются кошмарами. Теперь он боится уснуть и убеждается, что мог проспать реальное счастье («Ночные красавицы»). Драгунский офицер Арман, провинциальный сердцеед, неожиданно для себя влюбляется в женщину, которую он обязался соблазнить, держа пари с другими вертопрахами. Любимая, узнав о пари, уже не верит ему. Легкомысленная «философия» Дон-Жуана оказалась для него западней («Большие маневры»). Слабее других — что признает в этой книге и сам Р. Клер — сценарий «Красота дьявола». В нем Р. Клер и А. Салакру полемизируют с Марло и Гете: стоит ли «продавать душу» науке, если она создаст водородную бомбу?

Фауст предпочитает науке успех при дворе. Он бесхарактерен и мелок; хитроумный и красноречивый Мефистофель — сродни лукавому и трусливому бесу-пакостнику из средневековых народных сказок и представлений. Занимательная фабула не может восполнить несовершенство замысла...

В общем же сборник говорит читателю: сценарии Рене Клера подлинно художественны.

Я. Фрид

ПОЭЗИЯ И ПРАВДА ГАИТЯНСКОГО НАРОДА

□

J. St. Alexis. L'espace d'un cillement. Roman. Paris, Gallimard, 1959.

J. St. Alexis. Romancero aux étoiles. Contes. Paris, Gallimard, 1960.

□

Две новые книги известного гаитянского романиста Жака Стефена Алексиса различны по жанру, но обе они пронизаны мыслью о том, что народ нельзя уничтожить ничем — ни голодом, ни нищетой, ни пулями, что он так же неистребим, как неистребима сама жизнь.

Роман «В мгновенье ока» примыкает к ранним произведениям Алексиса о гаитянском народе, о крестьянах, защищающих свои клочки земли от американских монополий, о безработном, становящемся солдатом «генерала Солнца». «В мгновенье ока» — это также книга о возрождении человека, задавленного страшными условиями жизни, но это книга о проститутке. Как, скажут, история проститутки? Но это уже столько раз было, еще Гонкуры... Дело не в литературных реминисценциях. Это роман о проститутке, потому что в странах Карибского бассейна проституция — неизбежное порождение беспредельной, немыслимой нищеты этих маленьких государств, искусственно задержанных в своем развитии, стонущих под железной пятой США. «В мгновенье ока» — книга, бесстрашно говорящая о многом, книга, безжалостная к читателю и вместе с тем глубоко человечная. Она написана неровно, но лучшие ее образы врезаются в память.

Публичный дом. Орда грубой, озверевшей от пьянства и разврата американской матросни. И юная Эстрельита — истерзанная, растоптанная. Забвение прошлого, вплоть до своего настоящего имени, утрата всех чувств, утрата, казалось бы, даже самой возможности любить и мыслить. Превращение в вещь, в полумертвое от усталости тело. Очередной матрос уходит, оставив новенький доллар. И Эстрельита привычным движением опускает его в туго набитый монетами чулок. У нее все же есть «мечта»: пока молода и красива — промучиться несколько лет в этом доме и копить, копить; а потом уйти, чтобы в одиночестве дожить жизнь. Временами сквозь образ опозоренной и прекрасной девушки как бы просвечивает образ истерзанной родины. Звучат в памяти строки Депестра: «Это ты, моя родина!.. Это черная грязь торгашей на лице твоем... О разбитая грубым ударом гитара! Ты в наручниках. Ты на коленях...»

И все же этот роман — не столько история отчуждения человеческого, сколько история его возрождения, показ того, как даже среди беспредельного отупения может проснуться надежда.

Рядом с девушкой романист ставит Эль Каучо, человека, твердо стоящего на земле, как и она, кубинца по рождению. Этот новый герой Карибских островов, рабочий и революционер, исколесил Латинскую Америку, дружил с такими замечательными людьми, как вожак рабочих сахарных плантаций Кубы Хесус Менендес, из-за угла убитый наемниками Батисты. И когда между Эль Каучо и Эстрельитой, этими столь противоположными людьми, «в мгновенье ока» вспыхивает любовь, Эль Каучо понимает, как трудно возродить девушку для жизни и любви. За три дня их странный «роман» проходит все стадии и завершается неожиданной развязкой: вместо того чтобы уехать с Эль Каучо, девушка решает уехать одна. Надо снова стать самой собой и, может быть, тогда войти с ним в новую жизнь.

Оба характера намечены сильно и верно. Но порой в описаниях Алексис-медик оттесняет Алексиса-писателя. И это порождает чрезмерный физиологизм некоторых сцен, излишне кропотливый анализ извращений и неврозов. Однако окончательная оценка книги была бы сейчас преждевременной. Она лишь начинает серию романов об Эль Каучо и его подруге, обретающей снова свое детское имя — Эглантина. Во втором томе — «Эглантина» — эта девушка должна предстать перед читателем в одиночестве и труде. Встретятся ли герои Алексиса снова, какими дорогами пойдут они — мы увидим дальше.

Но одно впечатление остается уже сейчас: сквозь всю грязь и нищету пробивается большая человеческая чистота, оттесненная, но не убитая. Ощущается сила и твердость людей, подобных Эль Каучо, людей, которым предстоит превратить их острова в место жизни, а не умирания, которым предстоит бороться и строить, как это делают сейчас на Кубе.

«Романсеро при свете звезд» — книга сказок, органически связанная с идеями Алексиса о реализме в современной гаитянской литературе и большой роли в

нем фольклорного начала. Недаром в программной сказке «Король снов», «остров сказок Гаити» противопоставляется гигантскому муравейнику Нью-Йорка, пожирателю снов и мечты. Алексис считает фольклор источником поэтичности гаитянской литературы. И в этой книге автор хочет быть «самба» — сказителем своего народа.

Но, конечно, речь идет не о механическом следовании традициям народного творчества. В устах Алексиса даже сказки с явно фольклорной основой приобретают современные черты и интонации. Так, ирония автора проступает в сказке о самых популярных героях гаитянского фольклора Буки и Малисе: разве до сих пор подловатые, хитрые и умные Малисы не обирают простодушных и доверчивых Буки, разве не бывает, что во время большого голода Малис объедается бульоном, сваренным из матери Буки, разумеется, угостив и глупого Буки тарелочкой супа и рекламируя при этом собственную помощь?

«Легенда о Золотом Цветке» переносит нас в далекие времена, когда испанские конкистадоры уничтожили верхушку индейских племен, а народ увели в рабство. Но как современно звучат эти образы хищных конкистадоров, не понимающих красоты и знающих цену лишь золоту. Как современно звучат мечты легендарной царицы Анакаоны, Золотого Цветка, о том, чтобы объединить все индейские племена — ацтеков и майя, инков и карибов — для сопротивления противнику, обладающему грозным оружием. Современные ассоциации еще более открыто проступают в легенде о зачарованном лейтенанте, прекрасная героиня которой, наверно, напомнит русскому читателю бажовскую хозяйку Медной горы. Это предание о молодом американском лейтенанте, который в поисках золотых кладов, будто бы зарытых когда-то индейцами, поднимается в горы Гаити и встречает там «хозяйку горы», женщину сказочной красоты. Зачарованный, он остается с ней, отказавшись от «сокровищ золота» ради «сокровищ жизни». Предание гласит, что во время оккупации Гаити Соединенными Штатами американские моряки расстреляли их обоих, подозревая в шпионаже. Богатства страны, говорит легенда, откроются когда-нибудь самому гаитянскому народу.

Обаяние сказок Алексиса, как, впрочем, и всего, что он пишет, в его огромной любви к жизни. Эта любовь связана с ясностью цели, с ясностью взгляда передового художника, она полна совершенно непосредственного, изнутри идущего ощущения прелести бытия во всей его чувственной полноте. Поэтому так звучит в его книге сказок этот мотив неистребимости жизни. Кто такая таинственная «Анна с длинными ресницами»? Кто знает? Может быть, это фея Гаити, душа страны, которой не понимают жадные конкистадоры XX века. Поэт ощущает ее присутствие всюду, и никакие тайфуны, землетрясения, и апокалиптические потопы, и даже те люди, в сравнении с которыми тайфун кроток, как газель,— ничто не может ее уничтожить. Она возрождается, как возрождается дерзкая «райская птица», которая вызывающими песенками на креольском языке предупреждает преследующего ее стрелка: «Не смей меня убивать... не смей меня есть». И даже съеденная, все равно с дерзким хохотом вылетает из живота убийцы. Впрочем, так бывает во всех народных сказках. Народы требуют справедливости. И утверждают жизнь, как утверждал ее Тиль Уленшпигель, вылезавший, отряхиваясь, из могилы. А Тиля вспоминаешь очень часто, читая книги Алексиса.

В «Романсеро» два рассказчика — старый Карибский Ветер, воплощение древней фольклорной традиции, и автор, говорящий на языке сегодняшнего дня. Но даже и сам Карибский Ветер чувствует, что сейчас новые времена и новые песни.

Назвать ли книги Алексиса обновлением фольклора? Назвать ли их попыткой привить крепкий черенок народного искусства к современной прозе? Это две стороны одного процесса, происходящего во многих странах национального подъема. Главное, однако, не в этом. Главное в словах старика Карибского Ветра: «На свете всегда будут птицы, сынок».

Е. Гальперина

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛБАНИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПИСАТЕЛЕЙ

«Я собираю материалы для нового романа,— сообщил писатель Петро Марко на страницах журнала «Мичесия».— Этот роман посвящается человеку, который боролся против режима Зогу и оккупантов, многое испытал в тюрьмах, сражался в рядах партизан. Легендарная борьба наших партизан — неиссякаемый источник для нас, писателей. И каждый наш писатель, прошедший через войну, пишет о партизанах. Конечно, нужно писать и о нынешних днях. Я лично буду писать об этом в самом ближайшем будущем. Роман о наших днях задуман мною как продолжение романа о войне, для которого я сейчас подыскиваю материалы.

Многие мои товарищи по перу одобряют мой план создать книгу о войне, а затем и о нынешнем времени, насыщенном героической романтикой преобразования. Я мечтаю поездить по стране, чтобы увидеть еще раз места действия моего будущего произведения, поговорить с бывшими партизанами — как можно полнее воссоздать атмосферу всенародного героизма».

«Я чувствую себя в долгу перед народом, который с огромным энтузиазмом трудится на стройках социализма,— пишет драматург Коль Якова.— Наш народ, особенно рабочий класс, ждет от нас, писателей, новых произведений, которые показывали бы успехи нашей страны в области индустриализации и строительства, придавали бы людям новые силы».

В планах писателя — сценарий художественного фильма, пьеса о коллективизации албанского села, а также героико-эпическая поэма о борьбе против фашизма, стихи о новостройках. С читателями журнала «Мичесия» поделился своими планами и писатель Зини Сако: «Главным образом занят обработкой фольклорных сюжетов для детей. Пишу рассказы и стихи для детских газет и журналов. Готовлю к печати свой дневник партизанских лет, а также большой роман о войне и первых послевоенных годах. Мечтаю создать киносценарий из партизанской жизни».

АНГЛИЯ

БЕРНАРД ШОУ И МАРК ТВЕН

В одном из последних номеров издаваемого обществом имени Шоу журнала «Шовиан» опубликованы материалы о встрече английского писателя с Марком Твеном.

Встреча произошла случайно. В 1907 году Марк Твен должен был приехать в Англию для получения почетного звания доктора. 19 июня репортеры ожидали его на одном из лондонских вокзалов. Вдруг в толпе поверх голов они заметили знакомую худощавую фигуру. По платформе шагал Бернард Шоу. Репортеры тут же окружили его, но Шоу заявил им, что явился сюда не затем, чтобы встречать Твена, а поджидает с очередным поездом своего друга Арчибальда Гендерсона, который, по

Шарж на Марка Твена (сделан при жизни писателя).

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

словам писателя, «отважился писать» его биографию.

«Что вы думаете о «Прыгающей лягушке»? — спросил корреспондент газеты «Дейли ньюс», имея в виду известный рассказ Марка Твена.— Смешно ли это, по-вашему?» — «Во всяком случае, — строго ответил Шоу,— это рассчитано на комический эффект. В американской литературе есть два достойных имени — Эдгар По и Марк Твен. Американцы избегают говорить о По, но себя Марк Твен не позволил не принимать в расчет». — «По-вашему, Твен — юморист?» — спросил корреспондент. «Нет, отнюдь,— отозвался Шоу.— Юмористов много было и без него. Я думаю, он скорее социолог».

Подошел поезд. Шоу скрылся среди встречающих. Из вагона показался невысокий, подтянутый, аккуратно одетый Марк Твен. Ему было лет семьдесят, но выглядел он бодрым.

«Пишете ли вы что-нибудь новое?» — спросили его журналисты. «Нет, — ответил Твен,— мне кажется, я достаточно много сделал, и вот уже два года ничего не пишу. Ежедневно я посвящаю два часа своего времени лишь работе над автобиографией — этого достаточно, чтобы поддерживать жизненную силу и кровообращение». — «Когда же вы собираетесь кончить автобиографию?» — спросили писателя. «Не раньше,— с усмешкой сказал Твен,— чем будет послано за гробовщиками».— «Знаете ли вы,— задали вопрос писателю, — что здесь находится Бернард Шоу?» Лицо Твена просияло: «Правда? Мне очень хотелось бы встретиться с ним. Шоу я никогда не видел».

Вскоре появился Шоу. Трудно сказать, заметили репортеры, кто из двух писателей больше был рад встрече. Шоу рассказывал Твену: «Стоило мне ступить на платформу, как британская пресса задала мне вопрос, были ли вы серьезны, когда писали «Прыгающую лягушку». Марк Твен смеялся от души. «Могу вас уверить,— продолжал Шоу,— что я ответил им правильно».

«Без вдохновения,— заметил Марк Твен,— я никогда не пишу. Не важно, откуда оно приходит, но должен быть огонь! Огонь!»

ПЕРВЫЙ РОМАН МАРГОТ ХАЙНЕМАНН

Первый роман писательницы Маргот Хайнеманн, по словам газеты «Дейли уоркер», в какой-то степени напоминает роман Джона Брейна «Путь наверх».

Некоторые черты главного героя романа «Авантюристы» Дэна Оуэна роднят его с Джо Лэмптоном, главным персонажем книги Брейна, но устремления Дэна идут значительно дальше, чем мечты ограниченного Джо Лэмптона о собственной машине и богатой жене.

Дэн Оуэн сложнее и умнее, чем Джо Лэмптон, хотя, может быть, и не менее беспринципен. Дэн знает жизнь рабочего класса, откуда он сам происходит, и, быть может, не прочь что-нибудь для него сделать в качестве... лейбористского члена парламента (о чем он, кстати, мечтает). Рассуждения его невесты Лены о том, что они «что-то делают важное», ее сознательный самообман свойствен, как указывает «Дейли уоркер», многим деятелям лейбористского движения. Блестяще проанализирован циничный и в то же время претендующий на нечто идейное карьеризм, пишет рецензент газеты Арнольд Кеттл.

Литературный стиль Маргот Хайнеманн, по оценке Арнольда Кеттла, прост и реалистичен. Писательница ведет повествование логично; внимательно изучая и показывая читателю будничную жизнь, она избегает сложных психологических экскурсов и выспренности изложения. Отметив некоторые недостатки в романе, Кеттл рекомендует читателям газеты познакомиться с этим интересным и содержательным произведением.

АРГЕНТИНА

КНИГИ ШОЛОХОВА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Аргентинское издательство «Кетсаль» выпускает собрание сочинений Михаила Шолохова.

«Шолохов является, несомненно, выдающимся современным русским романистом, он всемирно известен благодаря многочисленным изданиям чуть не на всех языках его произведений. Четыре части «Тихого Дона» и две части «Поднятой целины» производят впечатление огромных классических фресок», — пишет буэнос-айресская газета «Кларйн».

Рецензируя недавно вышедшие в переводе на испанский язык главы из романа Шолохова «Они сражались за Родину», газета отмечает «особые композиционные достоинства, столь характерные для пера этого писателя. Человеческие характеры обрисованы во всей своей сложности. Герои Шолохова — это живые люди со всеми присущими им положительными сторонами и недостатками. В этом и заключается величие произведения».

В заключение газета пишет: «Действие романа Шолохова развертывается в дни последней мировой войны, знакомит с борьбой русского народа против захватчиков. Однако во всяком случае это не еще одна повесть военных лет, а широкая панорама советской жизни, показ доблести советских солдат».

АНТОЛОГИЯ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ

В Буэнос-Айресе издана антология «Китайская поэзия». Отбор произведений

для этой книги, перевод и пояснения осуществлены известным испанским поэтом Рафаэлем Альберти и его женой писательницей Марией Тересой Леон, проживающими в настоящее время в Аргентине.

Критика отмечает, что перед составителями антологии стояли огромные трудности, однако, по оценке критики, Альберти и Леон успешно справились со своей задачей.

БОЛГАРИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ

У болгарских писателей установилась хорошая традиция — периодически проводить творческие обсуждения актуальных вопросов.

Еженедельник «Литературен фронт» сообщает, что в текущем году намечено провести две теоретические конференции писателей. Первая — на тему «О художественном мастерстве» — состоится в феврале, а вторая — «О проблемах современности в болгарской литературе» — в апреле.

«В этих двух темах,— пишет «Литературен фронт»,— как в фокусе, сконцентрированы интересы, мысли и творческие искания, волнующие в настоящее время большинство болгарских писателей. Это — основные темы, и под их знаком будет протекать идейно-творческая жизнь Союза писателей».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ

В издании «Дас нейе Берлин» вышел в свет новый роман Карла Грюнберга «Слава победе!».

«Первый, появившийся в 1928 году, роман Грюнберга «Пылающий Рур» вселял уверенность в победу пролетариата. Новое произведение этого автора также оптимистично — оно вселяет уверенность в победу мира над войной»,— пишет газета «Берлинер цейтунг». ...В первую мировую войну берлинский рабочий Зейдлер потерял семью, лишился здоровья. Вместе с тем не осталось и следа от его былой лояльности по отношению к кайзеровскому «отечеству». В конце концов Зейдлер приходит к заключению, что виновники его личного несчастья и несчастья всех немецких трудящихся должны предстать перед судом народа.

По оценке газеты, новый роман Грюнберга, предостерегая против надвигающейся опасности новой войны, призывает широкие массы трудящихся к защите мира.

ЛИРИКА ВАЛЬТЕРА ВЕРНЕРА

«Еще недавно Вальтер Вернер не был известен как автор лирических произведений. А ныне мы читаем его стихи, поставившие поэта в первые ряды наших молодых лириков»,— отмечает газета «Берлинер цейтунг», сообщая о новой поэме Вальтера Вернера «Человек проявляет себя».

Поэма посвящена новому человеку молодой республики, выросшему вместе с ней, строящему ее.

«Поэма написана от имени автора,— пишет газета,—но личные переживания поэта, непосредственно участвующего в строительстве республики, тесно переплетаются в поэме с судьбой рабочего класса, с судьбой всего немецкого народа».

«ТЕ, КОМУ СЕГОДНЯ ЗА СОРОК»

Да, о них повествует новый фильм студии ДЕФА, поставленный режиссером Куртом Юнг-Альсеном по сценарию Франца Фюмана.

В фильме показаны люди, на долю которых выпали тяжелые годы фашизма и война и которым в послевоенный период надо было решать, по какому пути дальше будет идти Германия.

В фильме два героя, они родились в один и тот же день в маленьком городке Тюрингии. Один — сын фабриканта, другой — сын ремесленника. Оба росли вме-

Кадр из фильма «Те, кому сегодня за сорок».
(Газета «Берлинер цейтунг»)

сте, но жили по-разному. Кристоф, сын фабриканта, начал войну офицером, Георг — солдатом. После войны Георг возвращается из плена и начинает новую жизнь. Кристоф бежит на Запад.

И вот недавно они — им обоим уже за сорок — встречаются во Франкфурте-на-Майне. Кристоф — представитель западногерманского концерна. Георг прибывает во Франкфурт в качестве руководителя торговой делегации ГДР. Здесь, несмотря на запрет боннских властей, они подписывают торговый договор.

По оценке демократической прессы, фильм «Те, кому сегодня за сорок» заставит задуматься многих немцев о судьбе своей родины.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Двадцать один западногерманский деятель культуры опубликовали во Франкфурте-на-Майне заявление об отказе сотрудничать с телевизионной компанией «Дейчланд-фернзеен», поддерживаемой боннским правительством и лично канцлером Аденауэром.

Среди подписавших — Генрих Бёль, Ганс Вернер Рихтер, Ганс Магнус Энценсбергер, Гюнтер Грасс и другие известные западногерманские поэты и прозаики.

Отказ от сотрудничества с телевизионной компанией, как говорится в заявлении, вызван реваншистской и милитаристской направленностью деятельности этой компании — «инструмента боннской правительственной партии и промышленных концернов». Подписавшие заявление призвали последовать их примеру всех честных художников и писателей.

Незадолго до этого коллективного заявления молодая популярная киноактри-

Сабина Зиньен.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

са Сабина Зиньен поместила в западногерманском журнале «Фильм-ревю» статью «Жить в мире», в которой она смело выступила против «холодной войны», против выпуска «военных» фильмов.

«Бойкот политики «холодной войны» со стороны представителей лучшей части западногерманской интеллигенции направлен против диктаторской политики в области культуры правящей партии Западной Германии»,— пишет газета «Нейес Дейчланд».

ДВА КРИТИЧЕСКИХ РОМАНА

В обзоре книжных новинок журнал «Бюхершифф» указывает, что в западногерманской литературе наметился сдвиг в сторону критики и полемики. «Ныне много пишут о том, что немцы упустили возможность честно включиться в полемику о недавнем прошлом и настоящем»,— отмечает обозреватель, — и сейчас наибольший успех обеспечен роману, критически освещающему прошлое или обличающему действительность.

Писатель Гуго Гартунг, автор романа «Мы—вундеркинды», по которому был снят известный антифашистский сатирический фильм, выступил с новой книгой «Тост за бессмертие» (издательство «Дросте-ферлаг»). Характерно, что автор уточняет в подзаголовке: «Не веселый роман». По словам газеты «Тагесшпигель», писатель еще на обложке книги предупреждает, что в произведении нет места улыбке.

В центре романа — студент Бернд Хеммат, гражданин Германии 1930—1946 годов. Накануне пришествия «коричневой чумы» он оставил гимназию и окунулся в жизнь. Став журналистом, он проходит через все испытания, которые ждали молодого человека в Берлине 30-х годов. Жизнь его тесно переплелась с судьбами страны. Случай приводит Хеммата на сцену, и, работая в качестве актера, герой познает на себе, что означает гитлеровская «культура». А затем подошел срок призыва в армию...

Своей критической заостренностью внимание читателя привлек и роман Мартина Вальсера «Один тайм», вышедший в издательстве «Зуркамп-ферлаг». По мнению газеты «Зюддейче цейтунг», 900 страниц плохого настроения в книге заставляют читателя критически осмотреться вокруг.

Название романа не имеет отношение к спорту. «Один тайм» — это «половина времени», 50-е годы Западной Германии, когда вызревало так называемое «экономическое чудо». Это «чудо» и послужило причиной «плохого настроения» автора, объектом его иронии.

«Зюддейче цейтунг» отмечает, что в романе Вальсера без прикрас показана жизнь западногерманского общества, во всей неприглядности представлен мир чувств и мыслей его людей.

ПОД МАСКОЙ

Группа молодых неофашистов, маскируясь под названием «Берлинское литературное общество», откры-

ла в Западном Берлине библиотеку, состоящую более чем из 200 затрепанных томов «произведений» бывших нацистских главарей. По сообщению газеты «Фольксштимме», неофашисты, пытаясь привлечь читателей, установили мизерную плату за пользование этой литературой — одну марку в месяц.

Это, так сказать, частное предприятие, но в Западном Берлине есть и более «солидные» библиотеки.

Недавно многие западноберлинские газеты объявили об открытии выставки книг в так называемом «Доме восточнонемецкой родины». 800 экспонированных книг изобличают реваншистские цели устроителей выставки. Характерны названия: «Буковина была немецкой землей», «Балтика принадлежит Германии» и т. п. Несмотря на пышную рекламу, как признает западноберлинская пресса, эту выставку посетило очень мало людей. «Видимо, население Западного Берлина избегает посещения подобного рода пропагандистских мероприятий, организуемых неофашистами»,— замечает газета «Берлинер цейтунг».

ГРЕЦИЯ

ПРОТИВ КИНОФАЛЬСИФИКАЦИЙ

За последнее время в Греции снимается множество западных фильмов. Греческие власти поощряют этот новый вид рекламы для туристов, однако греческая общественность реагирует иначе. Она обеспокоена не только развращающим влиянием, которое оказывают на молодежь голливудские «боевики». Речь идет о бесцеремонном искажении фактов греческой истории и содержания мифологических произведений во многих западных фильмах, снятых на греческие темы.

Приводя пример с картиной американского режиссера Роджера Кормана «Атлант», газета «Авги» выступает с протестом против фальсификации истории и традиций греческого народа. От сюжета древнегреческой мифологии, положенного в основу этого фильма, не осталось ничего. Газета предлагает установить контроль над сценариями фильмов, снимаемых в Греции. «Голливуд давно уже доказал,— пишет газета,— что он способен на все».

ИСПАНИЯ

ПАМЯТИ МИГЕЛЯ ЭРНАНДЕСА

«Объединенные любовью к высокочеловечному творчеству Мигеля Эрнандеса, мы обращаемся к писателям, художникам, любителям поэзии, разделяющим наши чувства, с призывом приложить все усилия, чтобы добиться издания наиболее полной антологии произведений Эрнандеса и публикации работ, которые бы помогли изучению его творчества. Мы призываем редакторов литературных журналов посвятить специальные номера поэзии Эрнандеса... Глубоко уважая личность поэта и высоко ценя его творчество,— говорится далее в обращении,— считаем, что, воздавая почести Эрнандесу, мы воздаем почести земле, где он родился и которую прославил».

Крупнейшие деятели испанской культуры — в том числе Висенте Алейхандре, Камило Хосе Села, Габриэль Селайя, Хуан Гойтисоло, Хосе Иерро, Леопольдо де Луис, Хесус Лопес Пачеко, Анхела Фигера Аймерич — поставили свои подписи под обращением, опубликованным мадридским журналом «Инсула» в связи с недавно исполнившимся пятидесятилетием поэта-антифашиста, погибшего в 1939 году во франкистской тюрьме.

Мигель Эрнандес (портрет работы художника Грегорио Приэто).

(Журнал «Инсула»)

АНТОНИО МАЧАДО — СЕГОДНЯ

Во французском издательстве Сегер вышла книга Мануэля Туньона де Лары «Антонио Мачадо». Очерк жизни и творчества Мачадо сопровождается подборкой из его избранных стихотворений и поэм, переведенных на французский язык.

Еженедельник «Франс-обсерватер» в рецензии на эту книгу подчеркивает актуальность произведений Антонио Мачадо, «который, как никто, является именно «поэтом сегодняшиего дня». Ведь он был глашатаем новой Испании, выступая против господствующего на испанской земле режима «лжи и подлости», как называл его Мачадо.

«Франс-обсерватер» указывает на особое значение этой тенденции поэзии Мачадо для сегодняшней французской интеллигенции, которая, выражая массовый протест против войны в Алжире, разоблачает официальную Францию «лжи и подлости» и возвещает новую Францию, «которая хочет жить...»

ИТАЛИЯ

КНИГИ ПОД ЗАПРЕТОМ

Прогрессивная печать сообщает о трудностях, чинимых властями в деле культурного обмена между Италией и странами социалистического лагеря.

Чтобы получить какую-нибудь книгу из Советского Союза или Китая, Венгрии или Чехословакии, итальянцу требуется выполнить исключительно сложную процедуру. Достаточно сказать, что для получения пусть нескольких книг художественной литературы необходимо подать заявление в министерство внешней торговли Италии, которое пересылает его в канцелярию... председателя совета министров! К заявлению нужно приложить список желаемых книг, отпечатанный в 15 экземплярах, а прохождение этого заявления со списком по всем инстанциям занимает 3—4 месяца.

Итальянские власти, как сообщает печать, запретили проведение в Риме книжной выставки Германской Демократической Республики.

«Существующее положение свидетельствует о том,— пишет газета «Унита»,— что вся политика нашей страны направлена на то, чтобы саботировать, всеми возможными средствами осложнять и затруднять культурные связи с частью мира, представляющей все, что только есть самого передового в области литературы и науки».

ТРАВЛЯ ВИСКОНТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О преследованиях, которым подвергается в Италии выдающийся фильм «Рокко и его братья», созданный режиссером Висконти в содружестве с писателями Васко Пратолини и Джованни Тестори, уже сообщалось (см. «Иностранную литературу» № 1, 1961 г.).

Теперь клерикальная цензура ополчилась против пьесы «Ариальда», написанной Джованни Тестори, которую ставит труппа итальянских артистов Рины Морелли и Паоло Стоппа, пригласившая в качестве режиссера Лукино Висконти.

Как отмечает печать, цензура запретила постановку пьесы Тестори фактически из-за того, что эта пьеса

Висконти, Тестори и артисты труппы Стоппа—Морелли перед дворцом президента (Квиринальским дворцом) в Риме. *(Газета «Унита»)*

реалистически рисует трудную жизнь обитателей миланских окраин, а главное потому, что создатели спектакля, Висконти и Тестори, уже навлекли на себя гнев клерикальных кругов фильмом «Рокко и его братья», также показывающим жизнь миланской бедноты.

Висконти, Тестори, Стоппа и Морелли созвали пресс-конференцию, на которой рассказали представителям печати, писателям и критикам о происшедшем с пьесой «Ариальда» и выразили свой протест против цензурных преследований. В тот же день Висконти устроил читку запрещенной пьесы театральным критикам.

В связи с запретом «Ариальды» Висконти, Тестори и все артисты труппы Стоппа — Морелли решили обратиться к президенту республики.

НОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ФРАНКО СОЛИНАСА

Молодой писатель и кинодраматург Франко Солинас — автор знакомой советскому читателю повести «Скуарчо» (перевод опубликован в «Иностранной литературе» № 11, 1958 г.), по которой был снят известный фильм «Большая голубая дорога», — закончил сценарий новой кинокартины «Человек с края земли». Ставить его будет кинорежиссер Джилло Понтекорво, постановщик «Большой голубой дороги».

Новый фильм Солинаса и Понтекорво, как сообщает печать, также посвящается жизни простых людей Италии. Это история сардинского пастуха, которого нужда гонит с одного края острова на другой.

КАНАДА

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ИЗ ЖИЗНИ ЭСКИМОСОВ

Канадский писатель Лэн Петерсен написал драму из жизни эскимосов, назвав ее «Великий голод». Эта пьеса поставлена на сцене «Сентр стейдж». Для изучения быта и нравов своих будущих героев Петерсен, как сообщает газета «Глоуб энд мейл», ездил на крайний север Канады, в Арктику.

«Великий голод» — это первая пьеса из жизни эскимосов, коренных жителей северных районов Канады.

КИТАЙ

«ОЧЕРК ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ ПРОЗЫ»

Недавно вышедший в свет «Очерк истории китайской прозы» написан коллективом литераторов Пекинского университета.

Коллективный труд многих авторов, пишет журнал «Вэньи бао», показывает преемственность национального культурного наследия китайского народа.

ЛУ СИНЬ О ГУМАНИЗМЕ

«Вэньи бао» опубликовал большую статью «Горький и Лу Синь о гуманизме и человеческой индивидуальности».

Напомнив об известных высказываниях Максима Горького, автор статьи подробно разбирает выступления Лу Синя с разоблачением реакционных литераторов, сторонников буржуазного гуманизма и либералов.

Лу Синь вскрывал те литературные и «внелитературные» приемы, к которым прибегали реакционные деятели гоминьдана для удушения всего передового, светлого, прогрессивного. Писатель справедливо возмущался тем, что негодяи и «всякого рода подонки» находят приют в гоминьдановском Китае.

В высказываниях о человеческой и писательской индивидуальности Лу Синь гневно разоблачал группу «надклассовых» писателей как врагов революционной литературы, которые фразами о непричастности к политике прикрывали свое подлинное лицо идеологов и защитников реакционного феодального строя. Лу Синь наглядно доказал, что создавать «надклассовые» произведения в классовом обществе невозможно, так же как нельзя «самого себя за волосы оторвать от земли».

Кадр из фильма «Первая весна шестидесятых годов». *(Журнал «Шанъин хуабао»)*

«ПЕРВАЯ ВЕСНА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ»

Известный китайский режиссер Шэнь Фу совместно с режиссерами Лю Цюном и Линь Яном поставил художественный фильм «Первая весна шестидесятых годов».

Картина повествует о технической революции на промышленных предприятиях Шанхая, о простых китайских тружениках — людях пытливого ума и неутомимой творческой мысли. Перед зрителем развертываются трудовые будни шанхайского сталелитейного завода «Дахуа», рабочие которого решили в короткое время коренным образом изменить облик завода и превратить его в передовое высокомеханизированное предприятие.

Фильм снимался коллективом двух студий: «Тяньма» и «Хайянь». В главных ролях заняты актеры Дэн Нань, Гао Бо, Сунь Юн-пин и другие.

КУБА

СБОРНИК ФОЛЬКЛОРА

Под названием «Открытый дневник» отдел исследований фольклора Центрального университета в городе Лас Вильяс издал сборник народных песен и сказаний, записанных кубинским писателем Самуэлем Фейхоо.

«Богатейший фольклор Антильских островов — залитых солнцем берегов, где раздаются песни кубинских, пуэрто-риканских, доминиканских и многих других тружеников,— нашел в Фейхоо неутомимого исследователя и энтузиаста»,— отмечает критик газеты «Кларин» в рецензии на этот сборник. Записи народного творчества прокомментированы личными воспоминаниями Фейхоо, что «придает характер дневника этой книге, похожей на привлекающую красотой своей цветистую мозаику».

ПОЛЬША

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ

Четвертый раз в Польше был проведен фестиваль молодой поэзии в Познани.

До сих пор встречи молодых поэтов на фестивалях носили скорее камерный характер и были главным образом посвящены личному сближению отдельных поэтов и взаимному познанию представителей различных направлений в поэзии. Однако последний фестиваль превзошел предыдущие не только по числу участников, но главным образом удельным весом обсуждавшихся на нем вопросов.

«Ясно и выразительно,— пишет в газете «Трибуна люду» критик Януш Вильгельми,— на фестивале прозвучал вопрос, уже давно в подобных обстоятельствах не произносившийся: каким должен быть идейный смысл современной польской поэзии?»

Несмотря на то, что докладчики Ян Юзеф Липский и Ежи Кмит сосредоточили свои выступления на понятии «рационализма» в применении к современной поэзии, дискуссия развернулась вокруг вопроса об идейности и современности польской поэзии.

«Нет ничего удивительного, — резюмирует Януш Вильгельми,— что на фестивале прозвучало требование идейности поэзии, ее участия в деле формирования социалистического сознания».

Это требование, сформулированное с различной степенью четкости, прозвучало и в выступлениях поэтов старшего поколения — Юлиана Пшибося и Яна Спева-

ка. Слова их нашли живой отклик у молодых поэтов, особенно у тех начинающих, которые еще ждут выхода своих первых поэтических книжек.

«Не подлежит сомнению,— пишет Януш Вильгельми,— что перемены в умах и чувствах литературной молодежи требуют от нас чрезвычайно заботливого отношения и одновременно энергичных действий. Всем, кто ищут, кто находятся в стадии творческой кристаллизации, мы должны прийти на помощь».

НОВЫЕ ТЕМЫ В КИНО

Режиссер Войцех Хас снимает новый художественный фильм «Расставание». В основу сценария положена новелла Ядвиги Жилинской, изданная под тем же названием.

...Магдалена, героиня фильма, приезжает на несколько дней из Варшавы в маленькое местечко, где она провела свое детство и юность. Многое довелось пережить Магдалене за эти несколько дней: печаль и сомнения, любовь и горечь расставания с воспоминаниями и людьми. Ведь она встретила здесь не только прошлое, но и настоящее, а может быть, и будущее — молодого человека по имени Олек.

Олек олицетворяет собой новую, кипучую жизнь, новый мир, который так не похож на мир прошлого, представленный родственниками Магдалены — аристократами по происхождению.

— Я хочу сделать фильм,— заявил Войцех Хас представителям польской печати, — который прежде всего показывал бы фрагмент подлинной жизни на фоне больших перемен и событий, характерных для нашей эпохи.

Весной я намерен заняться постановкой по-настоящему современного фильма. Меня по-прежнему интересует раскрытие внутреннего мира человека. Но на этот раз таким человеком будет строитель на одной из больших социалистических строек. Действие фильма будет развертываться на строительстве большого топливно-энергетического комбината в Турошове, в Нижней Силезии.

Роль Магдалены в фильме «Расставание» играет известная польская киноактриса Лидия Высоцкая. В роли Олека — молодой актер Владислав Ковальский

(Журнал «Экран»)

США

ПОД ПЯТОЙ БИЗНЕСА

Влияние доллара на литературу уже давно беспокоит мыслящих писателей в Америке. Яркое отражение этих настроений можно найти в вышедшей книге «Перерождение романа» Альберта ван Нострандa, профессора литературы в университете Брауна.

В рецензии на его книгу, опубликованной в «Нью-Йорк таймс бук ревью», говорится, что в выхолащивании художественной ценности литературы виноват в основном коммерсант-издатель, которого интересует только вопрос прибыли. В свою очередь он руководствуется «сигналами» от агентства по распространению. Куда легче «распространить» сексуальный романчик или детектив, чем глубокое и серьезное произведение. В одном американском журнале была опубликована карикатура — издатель возвращает непринятую рукопись писателю и говорит ему: «Ваша книга очень хороша, но дело в том, что мне сейчас необходимо издать какую-нибудь дребедень».

Именно это положение вещей и обрисовано в книге Альберта ван Нострандa. Как указывает рецензент, книга отличается живостью изложения, блестящим анализом.

Если писатель в Америке хочет заработать себе на жизнь, он ни в коем случае не должен писать роман, за-

мечает автор книги,— так он не проживет. Единственная его надежда — дешевые журналы, кино и «дайджесты» (журналы, где печатаются «выжимки»). Причина таится в том, что в журналах и «дайджестах» можно торговать сексом, садизмом и ужасами, а в кино—сентиментальными сусальными рассказиками с благополучным финишем. Таким образом, с горечью заявляет Ностранд, под влиянием Голливуда и дешевых журналов наша литература снижается до степени макулатуры.

Кадр из фильма «Тени».
(Еженедельник «Обзёрвер»)

КАК СОЗДАВАЛИСЬ «ТЕНИ»

Поставленный молодым американским режиссером Джоном Кэссавитсом фильм «Тени» демонстрировался в Лондоне и Париже с неизменным успехом.

«Идея фильма, — пишет критик газеты «Дейли телеграф энд морнинг пост»,— зародилась как-то поздно вечером в Манхэттэне, на чердаке одного дома 46-й улицы. Это было около трех лет тому назад. Группа актеров-любителей, в большинстве своем — студентов, занималась под руководством Джона Кэссавитса. Они импровизировали диалог между членами негритянской семьи. Случилось так, что диалог принял драматический характер. И тогда им показалось, что возникшая правда жизни могла бы послужить основой для фильма. Профессионалом среди них был только один — Кэссавитс. Они решили сделать фильм в районе Бродвея, без сценария, и брать кадры прямо из жизни».

Как пошло дело дальше, рассказывает сам Джон Кэссавитс на страницах английского еженедельника «Обзёрвер»:

«Итак, мы снимали на Бродвее и вокруг Бродвея, без всякого сценария. Финансировался фильм в основном после сделанного нами призыва к общественности оказать нам поддержку. Это принесло свои плоды. Фильм обошелся очень дешево — около 40 тысяч долларов, эта сумма представляет собой приблизительно одну шестую стоимости среднего английского фильма. Большинство участников фильма работало без жалованья. Я им дал обещание, что они получат свои проценты в случае, если фильм принесет какие-нибудь прибыли. Делали мы его около трех лет.

Фильм — история негритянской семьи. В качестве основы я избрал мелодраматическую ситуацию: молодую девушку обольщает белый юноша, только впоследствии узнающий, что у нее негритянская кровь. С этого момента и начинается личная трагедия девушки, внешне не похожей на негритянку. Такая завязка давала актерам возможность эмоционального толкования и «отображения» исполняемых персонажей».

Необычный прием, при котором у актеров не было ни сценария, ни расписанных ролей, а имелась лишь заданная ситуация, в рамках которой они вольны были импровизировать, принес впечатляющий результат. Что же касается самого названия «Тени», то Кэссавитс поясняет: «В самом начале нашей совместной работы над фильмом один из актеров забавлялся тем, что делал углем набросок кого-то из участников фильма и назвал этот рисунок «Тенью». Нам всем тогда показалось, что это название подходит и для нашего фильма».

В поисках правды руководимый Кэссавитсом коллектив, видимо, судя по отзывам критики, обрел правду жизни. По словам «Санди таймс», «создан замечательный, выдающийся фильм. Тема важна и своевременна. Рассказанная на экране эпопея из жизни негритянской семьи в Америке всех взволнует и вызовет глубокую симпатию».

Однако этот фильм, как сообщает американский еженедельник «Ньюсуик», до сих пор не показан в США.

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ ФЕНИМОРА КУПЕРА

Американцы считают Фенимора Купера основоположником отечественного романа. Под заголовком «Наш первый профессиональный романист» еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» опубликовал рецензию на вышедший двухтомник «Письма и дневники Джеймса Фенимора Купера». В этом двухтомнике помещено много документов, впервые увидевших свет.

В произведениях Купера в определенной мере отразилась борьба индейских

Рисунок из книги «Письма и дневники Джеймса Фенимора Купера».

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

племен против колонизаторов. Он передал трагизм гибели родового уклада индейцев в результате хищнического наступления «цивилизаторов».

И примечательно, что «Нью-Йорк таймс бук ревью», положительно отзываясь по поводу опубликования «Писем и дневников» Фенимора Купера, вместе с тем пытается доказывать, что мировоззрение писателя якобы «контрастировало» с социально острыми мыслями, высказанными в его романах.

ТУРЦИЯ

РОМАН ХАНЧЕРЛИОГЛУ

Орхан Ханчерлиоглу, автор известных в Турции романов «Мир в потемках», «Игра», «Незасеянное поле», «Седьмой день», «Али» (напечатан в «Иностранной литературе» № 2, 1959 г.) и других, недавно опубликовал свой новый роман «Море бьется в наши борта». В этой книге автор развивает линию обличения социальной несправедливости буржуазного общества, затронутую им в других его произведениях.

Ханчерлиоглу знакомит с одной буржуазной семьей. Ее члены—чуждые друг другу люди, живущие врозь. Деньги отца не принесли счастья детям. Единственный человек в семье, пытавшийся выступить против окружающего его мира, гибнет, и смерть эта не вызывает ни у кого сожаления. Да и те, кто остались живы,— моральные мертвецы.

Показывая распад буржуазной семьи, Ханчерлиоглу не сумел подняться до политических обобщений, однако, по оценке журнала «Еди тепе», бесспорно, что его новый роман — яркое явление в современной турецкой литературе.

УРУГВАЙ

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА ЭНРИКЕ АМОРИМА

Под названием «Птицы и люди» издательство «Галериа либертад» в Монтевидео опубликовало сборник сказок и коротких новелл недавно умершего известного уругвайского писателя Энрике Аморима. Высоко оценивая последнюю книгу Аморима, критик газеты «Кларин» отмечает, что «хвалебные отзывы на произведения Энрике Аморима, высказанные еще три десятка лет назад, были подтверждены и в конце его творческого пути. Во всех своих произведениях, как и в личном отношении к жизни, Аморим оставил особую печать своего четко определенного, цельного характера».

Критик подчеркивает, что при написании в будущем истории современной уругвайской литературы надо воздать должное Энрике Амориму, большому художнику слова, воспевавшему свою родину и свой народ.

ФИНЛЯНДИЯ

«ЗАБЫТЫЕ» ПЬЕСЫ НА СЦЕНАХ ТЕАТРОВ

В последнее время в финской прессе проходила оживленная дискуссия о так называемых «забытых» пьесах — наследии классической национальной драматургии.

В нынешнем театральном сезоне на сценах большинства театров страны появились пьесы, написанные в начале пути сравнительно молодой финской драматургии (как известно, «началом» финского театра считается премьера в 1869 году в Хельсинки пьесы Алексиса Киви «Леа», главную роль в которой исполняла шведская артистка Раа, выучившая свою роль на незнакомом ей финском языке).

«Забытые» сокровища финской драматургии утвердили свою неувядаемую свежесть и жизненность наряду с современными отечественными и зарубежными пьесами. Об этом свидетельствует их огромный успех у зрителей. Так, пьесы «Леа» и «Куллерво», принадлежащие перу национального писателя Финляндии Алексиса Киви и долгие годы считавшиеся лишь литературно-историческими ценностями, были тепло приняты зрителями в Хельсинки и Турку.

Сцена из спектакля «Северяне». В роли Лиисы — артистка Марьятта Каллио, роль Юсси исполняет артист Аймо Хилтунен.

(Газета «Кансан уутисет»)

Финская Национальная опера открыла свой сезон новой постановкой оперы финского композитора Л. Мадетоя «Северяне» на сюжет одноименной пьесы Артура Мерилуома. Народный театр открыл свой зимний сезон этой пьесой, в которой, по словам газеты «Кансан уутисет», «дан глубокий анализ не только исторической обстановки 50-х годов прошлого столетия в Финляндии, но и социальных противоречий между финским крестьянством и шведским чиновничеством».

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Дать финскому народу книги на родном, финском, а не на шведском «государственном» языке (шведский был официальным языком в Финляндии вплоть до 1863 года) было мечтой и делом жизни филолога и издателя Вернера Сёдерстрема, начавшего свою деятельность в обстановке ожесточенной борьбы, которую вела передовая финская общественность во второй половине XIX века за уравнение в правах родного языка со шведским.

В статье, посвященной 100-летнему юбилею финского книжного издательства Сёдерстрема, газета «Кансан уутисет» приводит высказывание видного финского писателя Юхани Ахо: «Многие произведения финской литературы могли бы остаться в незаконченном, рукописном виде, если бы не уверенность автора в том, что существует молодой энтузиаст Вернер Сёдерстрем, не боящийся ответственности за издание произведений молодых писателей, пишущих на финском языке».

Особенно велика просветительная роль издательства «Вернер Сёдерстрем» в издании русских классиков — Толстого, Тургенева, Гоголя — среди других произведений классической мировой литературы.

По сообщению газеты «Кансан уутисет», жюри юбилейного конкурса на лучший роман на современную тему первую премию — два миллиона финских марок — присудило тридцатилетнему начальнику смены одного из заводов в городе Тампере Матти Саариахо за роман «Безработные». Эта первая книга молодого писателя основана на воспоминаниях юности, когда в поисках заработка ему пришлось сменить много разных профессий — кочегара, садовника и других. Жюри конкурса отметило: «Наряду с художественными достоинствами романа необходимо подчеркнуть его социальное значение, так как сюжетом произведения является одна из серьезных проблем современного общества».

ФРАНЦИЯ

К ЧЕМУ ПРИВЕЛА «ОХОТА ЗА ВЕДЬМАМИ»

Тем, кто подписали «Манифест 121» (см. «Иностранную литературу» № 11, 1960 г.),— а их уже более двухсот человек, играющих значительную роль в культурной жизни Франции,— запрещено выступать по радио и телевидению. Даже их имена не должны упоминаться, причем спектакли, в которых они принимали какое-либо авторское участие, не могут идти в театрах, получающих государственные субсидии, то есть в ведущих театрах столицы. Фильмы, поставленные с их участием, лишаются финансовой поддержки, практически не могут идти в прокат.

К чему же привели правительственные репрессии? Печать сообщает, что парижские театры теряют значительную часть своего репертуара. Так, например, Национальный народный театр не сможет возобновить «Смерть Дантона» и «Матушку Кураж» (эти пьесы шли в адаптации одного из подписавших—Артюра Адамова), а также «С любовью не шутят» (декорации принадлежат художнику Пиньону). То же самое происходит и в других театрах. Кино лишается девяти фильмов, которые уже должны были выйти на экраны, и девяти фильмов, находящихся еще в работе. Радио и телевидение тоже понесли значительный урон. Большая группа писателей и критиков отказалась от участия в традиционных ежегодных литературно-критических и искусствоведческих обозрениях. «В самом деле, как может критик говорить о литературе, о театре или о кино, не произнося имен ни одного из «подписавшихся», ни разу не обратившись к произведениям ни одного из этих писателей, режиссеров или актеров»,— пишет еженедельник «Леттр франсез». «Если радио-телевидение подчиняется государству, то ведь оно также служит слушателям и телезрителям. Откажется ли оно говорить о первоклассных книгах или пьесах?.. Если оно пойдет по этому пути, то, чтобы быть последовательным, правительство должно сжигать книги проклятых писателей», — заявляет газета «Монд».

Среди работ, выставленных в «Осеннем салоне», особое внимание привлекают полотна молодых художников, впервые за многие годы появившиеся в этом выставочном зале Парижа На снимке: Картина Вине «Сена течет».
(Газета «Юманите»)

Парижский театр «ННТ» поставил пьесу Бертольта Брехта «Карьера Артура Уи». «В этой пьесе показано прошлое,— рассказал представителям французской печати постановщик и исполнитель главной роли Жан Вилар,— но это может послужить уроком и на будущее. Я хотел придать пьесе большую актуальность и решил на данном конкретном примере показать диктатуру реакции. Пусть зрители увидят, каким путем приходит к власти фашизм». По словам газеты «Либерасьон», «в наши дни эта пьеса звучит как сигнал тревоги Не столь важно, что Сустель не Геббельс, а генерал Массю — не Геринг Самое главное показать методы, с помощью которых режимы, подобные гитлеровскому, приходят к власти. Ведь то, что произошло в Германии, может повториться во Франции». На снимке. Сцена из спектакля В ролях — артисты Жан Вилар и Кристиан Минадзоли

(Газета «Юманите»)

400 актеров телевидения недавно провели забастовку солидарности с теми, кто пострадали от репрессий. Четыре синдиката журналистов, объявив стачку в знак протеста против этих репрессий, требуют гарантии безопасности журналиста и свободы в выполнении его профессиональных обязанностей. Коммюнике, в котором подписавшие «Манифест 121» протестуют против мер правительства, называет эти меры покушением на свободу французских граждан. «Пора покончить с охотой на подписавших манифест»,— заявляет «Леттр франсез». По мнению Жоржа Садуля, «эта охота может стать смертельной для французского кино — ее можно сравнить только с черным списком Маккарти в Голливуде в 1950 г.»

Даже английская газета «Таймс» считает: «что касается мер, принятых французским правительством, то они могут только обескуражить друзей Франции... Действовать так... это значит поступать недостойно по отношению к нации, которая считает себя цивилизованной».

Кстати, англичане предложили известной киноактрисе Симоне Синьоре, также подписавшей «Манифест 121», выступать по английскому телевидению, поскольку французское ей теперь недоступно. Симона Синьоре отказалась от этого предложения, но некоторые из «подписавшихся» иронизируют, что в конце концов им придется говорить с французами по лондонскому Би-би-си, «следуя одному примеру» (имеются в виду выступления де Голля по лондонскому радио во время оккупации Франции).

Национальный комитет писателей Франции, требуя немедленно прекратить войну в Алжире, заявляет: «Охота за ведьмами», которая вводится во Франции, одновременно с батальонами вермахта в Сиссоне и Мурмелоне, со всей очевидностью является прелюдией к ликвидации французского престижа и лица Франции».

ТЕАТР ДЛЯ РАБОЧИХ

Рабочему, живущему в пригороде Парижа, трудно попасть в театр: театры расположены главным образом в центре, да и билеты стоят недешево.

Руководители театра Менильмонтан, созданного в 1957 году, решили приблизить театральное искусство к рабочим окраинам. Но эту задачу оказалось непросто осуществить. У театра нет своего помещения. Газета «Юманите» с горьким юмором отмечает, что перспективы театра выражаются лишь в условном наклонении: если было бы помещение, то деятельность театра стала бы шире, можно было бы открыть концертный зал, артисты получили бы возможность более тесного общения со зрителем.

Но и в настоящих — нелегких — условиях театр не прекращает работы, знакомит рабочих с выдающимися произведениями французской и мировой драматургии.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

«Ливни» — так называется новый поэтический сборник двадцативосьмилетнего чешского поэта Мирослава Червенки, привлекший читателя свежестью мысли.

Помещенные в первой части сборника новые стихи направлены против врагов мира, против стремления спрятаться от борьбы со злом, против тупого безразличия. «Широко открытыми глазами» смотрит поэт на людей, на мир. А стихи

последнего раздела — «Пешеходы» — посвящены людям дорогой сердцу поэта Праги.

«Мирослав Червенка — это поэт не только чувств, но и мысли. Он хочет, чтобы все было ясно. И в сердце, и в голове,— пишет рецензент еженедельника «Литерарни новины».— Думается, что после сборника «Ливни» он пойдет с широко открытыми глазами вперед, к солнцу».

«ГОЛУБКА»

В рыбацком поселке на берегу Балтийского моря тщетно ждет светловолосая немецкая девочка Сузанна возвращения своей белой голубки. Буря занесла птицу в далекий стобашенный город Прагу. Она опустилась на шахту лифта большого дома, и здесь ее подстрелил из окна Михаил — мальчик, прикованный болезнью к постели. Голубку спасает отец мальчика — художник, который убеждает Михаила в том, что он не имеет права вымещать на других свое несчастье. В стремлении помочь птице Михаил выздоравливает и сам. С грустью он расстается со своим крылатым другом. Голубка в последний раз кружит над крышами Праги, над древними соборами и телевизионными антеннами. Она вернется к далекой Сузанне.

Таково содержание поэтического фильма «Голубка», получившего золотую медаль на кинофестивале в Венеции.

Фильм поставлен талантливым чешским режиссером Ф. Влачилом и оператором Чуржиком по сценарию И. Кирхнера.

Глубокая лирика, поэтичность образов, пишет журнал «Свет в образех», умело сочетаются в фильме с большим гуманизмом, с мыслью о дружбе детей всех народов, с мыслью о мире.

Фильм представляет собой лирический жанр, который, по словам журнала, должен занимать в кинематографии такое же место, как поэзия в литературе.

Кадр из фильма «Голубка».
(Журнал «Свет в образех»)

«КЛУБ ДРУЗЕЙ ПОЭЗИИ»

Весть о создании этого клуба быстро разнеслась по Чехословакии. И вот клуб уже насчитывает более шести тысяч членов, а запись еще не закончена. Как сообщает еженедельник «Литерарни новины», ряды друзей поэзии растут. На столе редакции клуба все больше и больше писем: «Дорогой клуб! Приветствую твое рождение и желаю, чтобы ты не обманул наших надежд!»

ШВЕЙЦАРИЯ

ФИЛЬМ НАПОМИНАЕТ...

За швейцарским кино, пишет газета «Зюддейче цейтунг», утвердилась своеобразная молва: выпускаемые в Швейцарии фильмы большей частью повествуют или о детских приютах И. Г. Песталоцци, или о спасательных операциях в горах...

О том, что молва не всегда соответствует действительности, говорит появление на экранах нового фильма — «Страх перед силой», снятого по роману писателя Вильгельма Трейтлингера «Десятое мая». Это произведение швейцарской художественной кинематографии, указывает газета «Вельт», дает документальное отражение недавней истории.

...10 мая 1940 года. Из фашистской Германии спасается немец. Он ищет убежища в нейтральной Швейцарии. Описывая судьбу героя, показывая борьбу одиночки за свою свободу, фильм одновременно раскрывает угрозу свободе всего швейцарского народа: в тот же самый майский день, когда беженец пересек границу Швейцарии, германские войска подошли к границам этого нейтрального государства.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Тадеуш Ружевич — Tadeusz Różewicz (род. в 1921 г.) — польский поэт. Опубликовал первую книжку сатирических стихов «В ложке воды» («W łyżce wody», 1946). Затем были напечатаны сборники «Тревога» («Niepokój», 1947), «Красная перчатка» («Czerwona zękawiczka», 1948), «Пять поэм» («Pieć poematów», 1950), «Равнина» («Równina», 1954), «Разговор с князем» («Rozmowy z księciem», 1960).

В 1956 г. вышел из печати однотомник его стихотворений, куда поэтом были включены стихи из ранее вышедших сборников.

Выступал также как прозаик — сборник рассказов «Первый экзамен» («Pierwszy egzamin», 1960) и как драматург — его пьеса «Картотека» («Kartoteka») с успехом шла в 1960 г. на сцене варшавского драматического театра. Публикуемые в этом номере стихи взяты из сборника «Избранные стихи» («Poezje zebrane», 1957).

Вольфганг Нейхауз — Wolfgang Neuhaus (род. в 1928 г.) — немецкий писатель (ГДР). Автор сборника рассказов «Черные флаги над Диттерсдорфом» («Die schwarzen Fahnen von Dittersdorf», 1952), романа «Зарницы над Вадриной» («Wetterleuchten um Wadrina», 1954) и др.

Роман «Украденная юность» («Gestohlehe Jügend») опубликован в 1959 г.

Кристофер Лог — Christopher Logue — молодой английский поэт, автор поэтического сборника «Песни» («Songs», 1959), откуда и взяты публикуемые стихи.

Эрнест Хемингуэй — Ernest Hemingway (род. в 1899 г.) — известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии. Произведения Хемингуэя неоднократно издавались на русском языке.

Главы из романа «Опасное лето» («The Dangerous Summer») взяты из журнала «Лайф».

Богомил Нонев (род. в 1920 г.) — болгарский писатель, журналист, критик. Автор сборника литературно-критических статей «Жанровое и художественное мастерство» («Жанрове и художествено майсторство», 1956), книг путевых очерков «Города и люди» («Градове и хора», 1955), «Добрые дороги» («Добрите пътища», 1957), сборника публицистических статей «Сквозь время» («Брод през времето», 1960) и др.

Статья «В ответе за судьбы эпохи» написана автором для нашего журнала.

Хаиме Ибаньес — Jaime Ibañez (род. в 1919 г.) — колумбийский писатель и литературовед.

Публикуемая статья написана для «Иностранной литературы».

Юн Се Пхён — корейский критик и литературовед, автор книг и статей по корейской литературе.

Публикуемая статья написана для журнала «Иностранная литература».

Жак Стефен Алексис — Jaques-Stéphen Alexis (род. в 1922 г.) — гаитянский писатель. Автор романов «Добрый генерал Солнце» («Compère Général Soleil», 1955), «Деревья-музыканты» («Les arbres musiciens», 1957), «В мгновенье ока» («L' éspace d'un cillement», 1960), сборника новелл «Романсеро при свете звезд» («Romancero aux étoiles», 1960). О двух последних книгах см. рецензию Е. Гальпериной в этом номере журнала.

Статья «Дорогой живых традиций» написана для журнала «Иностранная литература».

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И.И. Анисимов, М.Я. Аплетин, М.О. Ауэзов, Б.Г. Гафуров, С.А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.

Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев.*

А 00967 Сдано в производство 16/XII 1960 г. Подписано к печати 31/I 1961 г.

Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.; печ. л. 24,66 Зак. 2432

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.